Дэвид Саттер

ВЕК БЕЗУМИЯ

Распад и падение Советского Союза

Киев

David Satter

AGE OF DELIRIUM

The decline and fall of the Soviet Union

Alfred A. Knopf
New York 1996

Дэвид Саттер

ВЕК БЕЗУМИЯ

Распад и падение Советского Союза

ДУХ І ЛІТЕРА

УДК 947:323
С214

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКИХ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

С214 **Саттер Дэвид. Век безумия. Распад и падение Советского Союза.** Пер. Бориса Кипниса. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. — 560 с.
ISBN 978-966-378-523-3

Советский Союз стал первой в истории державой, в которой официальная идеология пронизывала все сферы и уровни жизни, превращая граждан в безликие и взаимозаменяемые винтики колоссальной системы. Американский журналист Дэвид Саттер, работавший в 1970–1990-е годы корреспондентом в СССР, в своей книге показывает жизнь советских людей и трагические последствия этого социального эксперимента.
Для широкого круга читателей.

Издатели: *Константин Сигов, Леонид Финберг*
Литературный редактор: *Валерия Богуславская*
Научный редактор: *Наталия Риндюк*
Ответственная за выпуск: *Анастасия Негруцкая*
Корректура: *Анна Давидова*
Верстка: *Каринэ Терзян*

ISBN 978-966-378-523-3

Памяти моих родителей

Он нашел Архимедову точку опоры, но применил ее против себя самого; похоже, ему позволили найти ее лишь при этом условии.

Франц Кафка

Содержание

Предисловие

Эта книга задумана как коллективная хроника последних пятнадцати лет существования Советского Союза – периода, на протяжении которого советская система начала загнивать и в конечном итоге потерпела крах.

Люди, о судьбах которых рассказывается на этих страницах, – это по большей части те, кого я встретил за почти два десятилетия работы корреспондентом в России, но также и те, о ком я узнал из рассказов их родственников или друзей, потому что сами они или не имели желания общаться, или были недоступны, или находились в заключении.

Как правило, мои герои не были «типичными» советскими гражданами. Однако именно типичная советская жизнь служит здесь тем неизбежным фоном, на котором разворачивались жизнь и истории этих «нетипичных» людей, вплоть до завершения – часто несчастливого – этих историй.

Я приехал в Советский Союз в июне 1976 года и провел там шесть лет, работая корреспондентом лондонской газеты *Financial Times.* В 1980-х годах я продолжал писать об СССР, а после 1990-го имел возможность жить там в течение продолжительного времени. Благодаря такому опыту, я также присутствую на страницах этой книги. Фактически, ее персонажей объединяет лишь данное в то или иное время согласие встретиться со мной, что, в свою очередь, определенным образом сказалось на их, часто трагических, судьбах.

Хотя Советский Союз уже растворяется в тумане истории, советский тоталитарный эксперимент все еще нуждается в осмыслении. СССР был продуктом новейшей формы мании величия – идеи, что навести порядок в человеческих отношениях возможно и без помощи трансцендентного закона. Эту книгу

можно воспринимать как рассказ о последствиях воплощения подобной идеи, а также как описание человеческой жизни в экстремальных социально-бытовых условиях.

Что касается последнего, то это имеет особенное значение для жителей США, потому что, как показывает опыт, советские люди не так далеки от нас, как нам бы хотелось надеяться.

Никогда не разговаривайте с незнакомцами

Дэвид Саттер
Февраль 1977 года

Неприветливый, мрачный день в Риге сменился ночью – ясной и пронзительно холодной. Часы над второй платформой показывали две минуты одиннадцатого. В морозном воздухе горели красные огни последнего вагона ночного поезда Рига–Таллин, который задним ходом въезжал на вокзал. Небольшая группа людей, притопывая от холода, стояла под металлическим табло, которое несколько раз щелкнуло и теперь показывало «Таллин» на русском и «Tallina» на латышском. Женщина–проводник в форменной одежде, стоя на ступеньке последнего вагона, подала сигнал фонариком, и женский голос на чистом русском языке объявил по радио о начале посадки на поезд до Таллина.

Я взял вещи и пошел к седьмому вагону, где и отдал билет проводнику. Войдя в свое купе, я с удивлением воззрился на молодую женщину, сидевшую на одной из нижних полок и смотревшую в окно. Она на мгновение обернулась, и меня поразила ее внешность: красиво уложенные черные волосы, бледное лицо «сердечком», прелестные темные глаза. Ей было лет 28. Когда она опять отвернулась, я отметил, что одета она необычно для советской гражданки – хорошо сшитый темный костюм и белый кашемировый свитер, облегавший пышную грудь.

Я снял пальто, поставил свой чемодан под полку и сел напротив женщины. Вскоре к нам присоединились еще два пассажира: высокий плечистый мужчина с волосами цвета соломы, в тяжелом пальто и двубортном костюме (он представился тренером по боксу из Украины) и женщина лет двадцати с чем-то, которая вошла в купе, таща за собой багаж. Она была худощава, похожа на птичку, с капризным выражением лица, рыжими во-

лосами и ярко-красной губной помадой, состояние которой она непрерывно проверяла с помощью зеркальца. Она сказала, что ее зовут Маша Иванова.

Когда поезд тронулся, женщина-проводник вернула нам билеты и принесла стаканы с чаем. Когда она ушла, закрыв за собой дверь, тренер вынул из своего портфеля бутылку коньяка и несколько стаканов, раздал их, налил и предложил выпить «за знакомство».

За окном мелькали реки и очертания мостов в лунном свете, кое-где на горизонте появлялись и исчезали бледные огни поселков, а поезд разгонялся и скоро уже с ритмичным стуком мчал сквозь хвойные леса и заснеженные поля.

Мне вдруг пришло в голову, что это может быть не простым совпадением – то, что мужчина и две привлекательных женщины моего возраста едут в одном купе со мной, но я отбросил эту мысль. Я решил считать купе этого поезда, который тихой субботней ночью (когда, несомненно, отдыхает даже КГБ) шел из одной прибалтийской столицы в другую, вполне безопасным убежищем и почувствовал облегчение – в любом случае, я верил, что у людей моего поколения есть что-то общее, где бы мы ни очутились.

В Прибалтику я решил поехать, согласившись на предложение литовца Кестутиса Йокубинаса, в прошлом политзаключенного, с которым познакомился в Москве. Мы договорились встретиться в Вильнюсе, где он обещал дать мне имена и контакты людей в Риге и Таллине. Но, поскольку я был в СССР новичком, то попросил советское информационное агентство «Новости» (АПН) о помощи в организации официальных интервью.

В Вильнюс я прибыл поездом рано утром 15 февраля 1977 года. Меня встретил местный представитель АПН и отвез в гостиницу на улицу Ленина. На этот день у меня не было запланировано встреч, и, зарегистрировавшись и получив номер, я позвонил по телефону Йокубинасу. Через полчаса он уже был в гостинице, в холле второго этажа. Там мы встретились в присутствии пред-

ставителя АПН, и я познакомил их, несмотря на то, что они явно не были в восторге друг от друга. Мы с Кестутисом вышли из гостиницы и сели в автобус, который привез нас к многоквартирному дому на окраине города, где в однокомнатной квартире жил мой спутник. Сквозь единственное окно в комнате проникал серый свет мрачного зимнего дня, стены были голыми, за исключением прямоугольника из колючей проволоки над диваном – в память о семнадцати годах, проведенных Кестутисом в лагерях.

Мы сели за столик, и хозяин налил мне чашку чаю. Заговорили о судьбе литовцев, и Кестутис сказал, что не очень надеется, что его поколение доживет до независимости Литвы. Но потом прибавил, будто опомнившись, что именно завтра – 16 февраля – годовщина литовской независимости.

К пяти часам вечера стемнело. Мы вышли из квартиры Кестутиса и поехали автобусом в Старый город, сердце исторического Вильнюса – с запущенными каменными строениями, извилистыми узкими улицами и мрачными внутренними дворами в тени богато украшенных католических церквей. Начал падать снег, и народ толпами повалил к магазинам, чтобы, отстояв в очередях, купить необходимое и вернуться домой. После прогулки Старым городом с заходом в шляпный магазин, где Кестутис приобрел себе новый берет, мы наконец поехали автобусом на встречу с Антанасом Терлецкасом – еще одним участником национально движения, жившим в деревянном домике за городом, около Неменчинского леса. Терлецкас встретил нас радушно и провел в небольшую, заставленную книжными полками, комнату, где на потертых стульях и в креслах, поставленных кругом, сидело довольно много людей. Несколько человек устроилось даже на полу внутри круга. Здесь были люди всех возрастов, даже подростки. На стене висела карта Литвы XV века, когда эта страна простиралась от Балтики до Черного моря. Разговаривали почти исключительно о том, чего можно ожидать от следующего дня, и большинство собравшихся ожидали мощной реакции властей на улицах, как это было почти каждый год 16 февраля.

Кое-кто из молодежи собирался возложить цветы на могилу Йонаса Басанавичюса, патриарха литовского национального движения, который, по странному стечению обстоятельств, умер именно 16 февраля, поэтому возложение цветов было бы в то же время и празднованием национальной годовщины. В случае же задержания милицией юноши сделали бы вид, что просто чествовали память Басанавичюса. В это, конечно, никто не поверил бы, но можно было надеяться, что милиция не арестует их на кладбище, потому что это было бы признанием их национализма, которого официально не существовало. Риск заключался и в том, что арестовать могли не прямо на кладбище, а позднее, и не за празднование годовщины, а за что-то другое – например, в связи с подозрением в ограблении магазина.

Диссиденты рассказали о деятельности литовских националистов за последние месяцы: издании подпольных журналов, поднятии старого литовского флага над Министерством внутренних дел, арестах. Я заполнил информацией почти всю свою объемистую записную книжку и договорился о встрече с Йокубинасом возле моей гостиницы в семь вечера на следующий день.

Утро было холодным и мрачным. Вместе со своим сопровождающим из АПН я пошел брать интервью у одного из литовских правительственных чиновников, а во второй половине дня мы отправились в колхоз. По дороге наша машина неожиданно остановилась на окраине города, чтобы подобрать мужчину, который представился агрономом и, по словам моего сопровождающего, очень просил, чтобы его взяли в эту поездку. Посещение колхоза длилось несколько часов, но я все время думал о встрече с Йокубинасом этим вечером и был не очень внимательным.

Из колхоза мы выехали уже под вечер, и агроном предложил выпить чаю в каком-то клубе неподалеку. Я согласился, понимая, что выбора нет, и мы ехали еще 20 минут через заснеженные леса и мимо замерзших озер, пока не прибыли к деревянному дому, стоявшему в леске. Там нас встретил завклубом, черноволосый

мужчина лет тридцати. Хотя мы приехали якобы выпить чаю, стол был накрыт для роскошной трапезы. Агроном сказал, что это клуб для местных чиновников и их гостей, и при нем есть финская баня. Он упоминал о ней несколько раз, а затем, толкнув меня локтем, спросил: «Не хотите попробовать?» Я вежливо отказался, стараясь не показать свое смущение этим предложением.

Завклубом разлил по рюмкам водку. Агроном предложил выпить за мир и хорошие отношения между СССР и США. Я чокнулся с остальными, но не выпил водку залпом, как они, а лишь пригубил и поставил рюмку.

«Почему не пьете?» – спросил агроном.

«Я выпил».

«Нет, не так», – сказал он и показал жестом: «До дна».

Заведующий опять наполнил рюмки, и все трое взялись за них. Я тоже поднял свою.

«Ну, – ответил я, – выпьем».

«Нет, – сказал агроном, – сначала вы».

Я выпил, но опять лишь один глоток.

Агроном сердито посмотрел на меня, но все же начал накладывать мне на тарелку большие порции еды, а когда завклубом опять налил рюмки, произнес еще один тост, в этот раз «за разрядку». Я присоединился, но опять выпил очень мало.

Сложив руки и пристально всматриваясь в мое лицо, агроном спросил, «прогрессивен» ли я. Когда же я спросил в ответ, что он понимает под прогрессивностью, то услышал: «Как вы относитесь к безработице в США?»

Прошел час, беседа становилась все более натянутой. Наконец я, не обращая внимания на агронома, сказал своему сопровождающему, что пора уже ехать. Это рассердило агронома, который заявил, что теперь время посетить сауну. Я ответил, что не хочу ее посещать. Я хорошо помнил о двух корреспондентах агентства *Reuters*, которых недавно советские власти заставили покинуть Москву после обвинения в гомосексуализме. Тогда все трое моих собеседников начали громко скандировать, стуча ку-

лаками по столу: «Сауна! Сауна!» В конце концов я поднялся и сказал, что должен немедленно возвращаться в Вильнюс. Они угомонились, но агроном настоял, чтобы мы выпили по последней рюмке. После этого мой сопровождающий и агроном предложили еще один тост. Тогда я вышел из-за стола, взял пальто и пошел к машине сам.

Я попросил водителя отвезти меня в Вильнюс, но он ответил, что не может никуда ехать без разрешения моего сопровождающего. А тот стоял вместе с агрономом у дверей клуба и махал мне рукой, чтобы я возвращался к ним. Мне пришлось простоять еще 15 минут в ожидании, пока они сядут в машину, и мы наконец отправились в город.

В Вильнюс я прибыл в половине восьмого вечера, но около гостиницы не было никаких признаков Йокубинаса. Около восьми я позвонил Валерию Смолкину, одному из друзей Кестутиса. Он сказал, что того, по-видимому, арестовали, и предложил мне приехать к нему и ожидать.

На улице Ленина я взял такси и, когда мы повернули на одну из прилегающих улиц, увидел то, о чем говорили прошлым вечером националисты. На перекрестках стояли милицейские машины, и в свете уличных фонарей группы милиционеров, вместе с явными агентами в штатском, останавливали прохожих и проверяли у них документы. Я спросил у таксиста (русского), что происходит. Он ответил, что было ограбление сберкассы, убит милиционер. Таксист посмотрел на меня в зеркало и спросил, не кажется ли мне, что за мной следят. Я ответил, что не уверен, но поскольку за нами никто не едет, то, вероятно, нет.

К Смолкину я приехал в 20:40 и пробыл там три часа. Около полуночи в дверь постучали, Смолкин отворил и впустил Кестутиса. Тот снял мокрое от снега пальто и рассказал, что шел на встречу со мной, когда в 18:55 его окружили пятеро людей в штатском. Они отвели его в тот же милицейский участок, что и после ареста в 1947 году, и посадили в камеру. Потом его привели в комнату, где приказали стать рядом с еще двумя муж-

чинами, не похожими на него. В комнату вошел человек, которого Кестутис раньше никогда не видел, указал на него и сказал: «Вот этот». Потом Кестутиса допрашивал молодой офицер милиции, казавшийся пьяным и разговаривавший на какой-то странной смеси русского и литовского. «Вы, разумеется, знаете, – сказал офицер, – что вас подозревают в ограблении сберкассы». «Я сидел в лагерях, – ответил Кестутис, – поэтому в вашей комедии принимать участие не собираюсь». Йокубинас помнил, что тридцать лет тому назад, когда его арестовали впервые, сотрудники КГБ тоже говорили, что его подозревают в ограблении.

Кестутиса дважды обыскали и потом, в начале 12-го ночи, отпустили. В КГБ, по-видимому, думали, что сорвали его встречу со мной. В действительности же мы проговорили еще несколько часов в квартире Смолкина, и я тщательнейшим образом все записывал. Потом Кестутис дал мне рижский адрес Интса Цалитиса, латышского националиста, а также имена и адреса диссидентов в Эстонии. При этом он настоятельно просил, чтобы я всегда держал свои литовские заметки при себе. Я пообещал, и в тот момент, когда мы сидели вместе в квартире Смолкина, бесспорно, был уверен, что сдержу свое слово.

Наутро я отправился из Вильнюса в Ригу. Мне пришлось лететь, потому что в поезд иностранцев не пускали. В аэропорту меня встретил еще один сотрудник АПН, который отвез меня в гостиницу. Оказавшись в своем номере, я обнаружил, что в моей вильнюсской записной книжке больше не осталось места, поэтому для интервью с городскими чиновниками, назначенного на это утро, мне был нужен новый блокнот. Я пообещал литовцам, что буду держать записную книжку при себе в любых обстоятельствах, но она не помещалась в карман моих брюк. Держать ее в руках было неудобно, к тому же был риск где-то положить ее и забыть. В итоге удалось втиснуть записную книжку во внутренний карман пиджака. Во время обеда в ресторане гостиницы она оставалась со мной. Однако перед тем,

как отправиться на интервью, я положил ее в чемодан в своем номере, закрыл его и оставил ключ от номера у дежурной внизу.

Когда я вернулся в гостиницу, было уже темно. Я попросил у девушки на рецепции ключ от номера 202. Она поискала на доске с ключами, не нашла и посоветовала спросить у дежурной на втором этаже. Но и там его не было, и я по-настоящему забеспокоился. Выйдя из гостиницы, я немного прогулялся, а когда вернулся, попросил девушку за стойкой еще раз поискать ключ. «Вот он, – сказала она наконец, вытягивая ключ из щели под номером 402. – Вот где он был».

Я взял ключ и поднялся в свой номер. Бледный свет уличных фонарей проникал сквозь нейлоновые занавески. Я открыл чемодан и убедился, что вильнюсская тетрадь на месте. Похоже, никто ничего не трогал.

Я положил записную книжку в карман пиджака и пошел пообедать в гостиничный ресторан, а затем взял такси до Вецмилгрависа – района на окраине Риги, где должен был встретиться с Цалитисом. Я приехал к нему в девять вечера, и когда мы уселись на кухне, рассказал ему о событиях в Вильнюсе и сказал, что за мной, возможно, следят. Но все это, казалось, вовсе не смутило Цалитиса. Он надел пальто и вышел на улицу с собакой, огромным сенбернаром, а вернувшись, сказал, что на углу стоит черная «Волга», а в ней четверо каких-то людей. «Они там, по-видимому, уже несколько часов. Им не нужно за вами следить, они знают, что есть лишь несколько мест, куда вы можете отправиться, поэтому экономят время и силы».

Цалитис рассказал, что вообще ситуация в Латвии более спокойная – нет активных диссидентских групп, нет журналов самиздата. «Латыши легче находят общий язык с другими, сказал он. – Это позитивное качество, но в то же время и наша трагедия». Через полчаса к нам присоединился еще один член латышского национального движения, Викторс Калниньш, и они с Цалитисом продиктовали мне имена и адреса эстонских

националистов в Таллине. Это были те же имена, что дал мне Кестутис в Литве, но я записал их еще раз на отдельном листке.

На следующий день я встречался с представителями Рижского вагоностроительного завода, а завершился день посещением еще одного колхоза. До поезда на Таллин оставалось несколько часов, я рассчитался в гостинице и решил прогуляться. И опять передо мной встал вопрос, что делать с моими заметками. Я вынул записную книжку из пиджака и положил ее в чемодан. Но мне не хотелось гулять, таская за собой чемодан. В то же время я не знал, безопасно ли будет доверить его швейцару. В конце концов я осмелился оставить ему чемодан на один час. Вернувшись, я открыл его – все как будто осталось нетронутым.

Лишь в ночном поезде в Таллин я понемногу успокоился – после того, как допил коньяк, предложенный мне тренером. Маша Иванова достала из чемодана несколько булочек и положила их на столик у окна. Она спросила, откуда я, и я рассказал, что я американец и работаю в Москве корреспондентом лондонской газеты *Financial Times.* Все, казалось, были удивлены и тут же начали расспрашивать меня о жизни в США.

Тренер спросил, какие в Америке женщины. Я сказал, что они не красивее советских, но лучше одеваются. Маша спросила, красивее ли московские девушки рижских, а также, верю ли я в Бога. Я ответил, что верю. Это ее очень удивило, и она спросила – почему. «У нас никто не верит в Бога», – заявила она. Тогда я начал объяснять свои взгляды, все больше запутываясь в достаточно сложных философских вопросах. Пока я пытался сформулировать свое мнение на весьма далеком от совершенства русском языке, Маша немного подвинулась вперед, прислонившись к столику и по-детски опустив подбородок на край стакана с чаем. Темноволосая девушка тоже не сводила с меня глаз, а я, чувствуя какую-то необъяснимую расслабленность после напряжения последних дней, жестом предложил Маше сесть рядом со мной. Она мгновенно согласилась и, несмотря на то, что я пытался продолжить свою речь, обняла меня и начала целовать.

Мой сосед, боксер, немедленно пересел на вторую полку и начал целовать темноволосую девушку, обняв ее и прижав к себе.

Эта сцена длилась недолго, потому что обе девушки почти сразу попросили нас выйти в коридор, чтобы они могли постелить и переодеться. Большинство пассажиров вагона уже спали. Пока мы ожидали в коридоре, мне пришло на ум, что женщины в купе, их готовность к сексу – все это похоже на типичную ловушку, но именно это и развеяло мои опасения. Подсадить женщин в купе ночного поезда – слишком откровенный метод. Если целью КГБ была ловушка, они должны были бы выдумать что-то не столь примитивное. Слишком невероятной казалась мысль, что мои новые друзья сели в это купе с единственным намерением – скомпрометировать меня.

Когда мы вернулись в купе, обе девушки были уже в ночных нарядах. Маша сидела на верхней полке, ее грудь и крестик виднелись в вырезе сорочки. Брюнетка лежала на боку на нижней полке, положив голову на подушку и едва натянув на плечо одеяло. Мы начали раздеваться, и тренер выключил в купе верхний свет, остались гореть лишь слабые лампочки-ночники над каждой полкой. Я залез наверх, тренер расположился на нижней полке, а затем выключил ночники, и купе погрузилось в полную темноту вплоть до самого утра, когда через окно просочились первые лучи солнца, знаменуя начало нового дня.

Ночью мне приснился странный сон, который я не смог утром вспомнить полностью. Мне снился какой-то расплывчатый образ темноволосой девушки, которая двигалась в купе, словно готовясь к выходу. Это расстроило меня даже во сне, потому что я собирался предложить ей себя вместо боксера, и поэтому меньше всего хотел, чтобы она ушла. Было еще что-то, что меня беспокоило. Едва открыв глаза, я вспомнил о чемодане, где лежали мои заметки и полный набор имен и адресов, в том числе тех эстонских диссидентов, с которыми я должен был встретиться в Таллине.

Я натянул брюки, застегнул рубашку и слез с верхней полки. Поля и леса Эстонии за окном в утреннем полумраке казались синими. Тренер – небритый и немного ошарашенный – уже оделся и сидел напротив меня. Девушки еще спали на своих полках. Мы с тренером перекинулись шутками, и я полез за чемоданом, чтобы достать свежую одежду. И тут оказалось, что чемодана нет.

Меня сразу бросило в пот. И все же я боялся окончательно поверить, что чемодан украли. Если бы КГБ были нужны мои заметки, им уже по крайней мере дважды представлялся случай заполучить их – например, когда я оставил их в своем номере без присмотра. В то же время я констатировал, что все мои попутчики до сих пор оставались в купе. Я спокойно сказал тренеру, что у меня исчез чемодан, и он стал помогать мне искать его на багажной полке, под противоположной полкой и под пальто.

Вдруг тренер стал шарить по карманам своего пиджака. «Минутку, – сказал он, – часы пропали!»

Он посмотрел на нижнюю полку, где лицом к стенке, свернувшись калачиком, спала брюнетка, и нас обоих охватило подозрение. Тренер отбросил одеяло – под ним оказались еще одеяла, профессионально скрученные и положенные так, чтобы напоминать фигуру спящего.

Я разбудил Машу Иванову и спросил, что ей известно о брюнетке. Она ответила, что вечером увидела ее впервые в жизни. Я поискал в купе, не оставила ли брюнетка чего-нибудь, а затем позвал проводницу и спросил, не видела ли она, чтобы кто-нибудь выходил из поезда ночью. Я объяснил, что у меня исчез чемодан, а у тренера – часы. Проводница пообещала предупредить милицию, чтобы на каждой станции, где останавливался поезд, проверили, не заметил ли кто-то молодую женщину, которая вышла из поезда с иностранным чемоданом.

Поезд прибыл на таллинский вокзал в 8:30, и здесь меня не встречал никто из АПН, зато нас всех встретила милиция. Мы трое и проводница пошли вместе с милиционерами в участок на вокзале, чтобы дать показания. Милиция сразу же

дала понять, что относится к этому делу со всей серьезностью. Милиционеры настояли, чтобы мы написали подробные заявления о ночном происшествии, и подчеркнули, что любой пропуск усложнит расследование. Тренер с Машей написали свои объяснения, где ничего не упоминалось об интиме, но остальные факты были изложены точно, и милиционеры не высказали к их заявлениям никаких претензий. Потом Маше пришлось помочь мне с составлением моего заявления, поскольку письменным русским я владел не очень хорошо. Запись моих свидетельств длилась довольно долго, потому что я, чувствуя отвращение к самому себе и все большее безразличие ко всей этой суматохе, дал полное описание темноволосой девушки, из которого было легко догадаться, что она была очень привлекательной. Читая мое заявление, дежурный офицер глубокомысленно заметил: «Двое мужчин и две женщины в одном купе?» – и красноречиво замолчал.

Теперь нужно было как-то решать проблему, которую я сам себе создал. Мои записи, сделанные в Литве, исчезли. Поэтому я должен был по крайней мере найти эстонских диссидентов, о которых узнал от Йокубинаса и Цалитиса. Их имена и адреса остались в похищенном чемодане, но я записал их еще и на листке, который положил в свой бумажник.

Выйдя из милицейского участка, мы встали в самый конец очереди на стоянке такси. Было холодное, туманное утро, и таллинский Вышгород с его средневековыми стенами и шпилями был окутан мглой. Что-то благородное ощущалось в этих старинных стенах, в этих оборонных сооружениях маленького народа. В то же время во мне стала расти уверенность, что именно здесь, в Эстонии, решится судьба моей поездки в Прибалтику.

Вблизи очереди затормозил милицейский «газик», и милиционер предложил подвезти нас. Мы с Машей сели на заднее сиденние, а тренер – впереди. Меня довезли до гостиницы «Виру», и когда я выходил из машины, Маша дала мне свой адрес. Мы дого-

ворились встретиться с ней и тренером в 16:30 в вестибюле гостиницы.

Я вошел в гостиницу и стал в очередь к стойке регистрации. Почти сразу же заметил какого-то человека очень маленького роста, в меховой шапке и длинном пальто, который пытался привлечь мое внимание. Наконец он подошел ко мне, откашлялся, сказал: «Кого я вижу!» – и пожал мне руку, вложив в нее листок бумаги, сложенный несколько раз. Потом резко развернулся и быстро вышел из вестибюля на улицу.

Когда в моей руке оказалась эта бумажка, во мне будто что-то изменилось. Я впервые почувствовал себя одновременно зрителем какого-то представления и его непроизвольным участником. И помимо собственной воли стал ожидать следующего акта.

Зарегистрировавшись, я поднялся лифтом на свой этаж. В номере я развернул бумажку. Там была написанная неловкой рукой просьба позвонить из телефона-автомата по указанному таллинскому номеру. Я спустился вниз, к одному из платных телефонов-автоматов, и набрал номер. Сказал себе, что если ответит русский, то это КГБ. Если же эстонец, то это могут быть эстонские диссиденты.

Ответил эстонец. По-русски с сильным акцентом он попросил меня ровно в час дня прийти к центральному универмагу города, *Tallinna Kaubamaja*. Меня там встретит мужчина, передавший записку. Я хотел еще что-то спросить, но на том конце уже повесили трубку.

Теперь мне ничего не оставалось, как пойти на эту встречу. Я вышел из гостиницы и направился к универмагу. В час дня на улице появился тот мужчина из вестибюля. Он подошел ко мне, мы пожали руки друг другу, и он сделал мне знак идти за ним. Мы пошли по диагональной улице, петляя между старых пятиэтажек, потом перешли на другую сторону, прошли через арку и попали в какой-то двор. Там мы зашли в один из подъездов, поднялись на один лестничный пролет, перед моим спут-

ником открыли дверь, и как только я вошел за ним в маленькую квартирку, дверь быстро захлопнули и заперли на замок.

В прихожей нас встретили несколько человек, которые провели нас в плохо освещенную гостиную, где стоял массивный стол, а также буфет, украшенный вычурной резьбой, и потертый, но удобный диван – реликты того времени, когда Эстония была независимым государством. Посреди стола стояло несколько пустых бокалов и непочатая бутылка коньяка. Мужчина, который привел меня сюда, знаком предложил мне занять место во главе стола, а остальные – трое мужчин среднего возраста – расселись на стульях полукругом. Мой сопровождающий устроился на подоконнике прямо напротив меня.

Я оглядел присутствующих. Мужчина справа от меня был высоким и худощавым, со скорбным выражением лица. Тот, с кем я встретился в гостинице, выглядел в этой компании скорее как простой курьер. Следующий тоже был маленького роста, с копной соломенных волос. Мужчина слева, четвертый член группы, сидел в большом кресле. У него было круглое лицо, залысины и умные серые глаза. Он был единственным из группы, кто выглядел доброжелательным.

Высокий грустный мужчина поднялся с места, подошел ко мне, открыл бутылку и налил мне коньяку. Потом вернулся к своему стулу и, немного поколебавшись, сказал по-русски с сильным эстонским акцентом: «Что с вами случилось? Мы видели вас с милицией на вокзале».

Я вдруг почему-то решил, что нахожусь в окружении сотрудников КГБ. «Думаю, ответ на этот вопрос вы знаете лучше меня», – сказал я.

«Мы очень беспокоимся, – сказал человек с соломенными волосами, не обращая внимания на мою реплику, – поэтому хотим знать, что случилось».

«Я был в милиции, – ответил я, – потому что у меня посреди ночи украли чемодан, в поезде Рига–Таллин. Может, скажете мне, где он теперь?»

«Вся наша организация может оказаться под угрозой из-за вас, – продолжал блондин. – Наши фамилии были в украденном чемодане?»

«Я не знаю, кто вы. И ни о каких фамилиях тоже ничего не знаю».

«Вам Викторс Калниньш дал наши фамилии?» – настаивал блондин.

Высокий мрачный мужчина казался подавленным безнадежностью ситуации. «Викторс позвонил мне, – сказал он, – и мы поехали на вокзал встретить вас, но когда увидели, что вы разговариваете с милицией, то сразу ушли оттуда».

«Так вы утверждаете, что кто-то поручил вам встретить меня в Таллине?» – Они утвердительно кивнули.

«Покажите мне документы», – сказал я.

«Нет, мы никаких документов не будем показывать», – заявил блондин, отрицательно мотая головой.

«Рад это слышать, – сказал я, – потому что на какое-то мгновение мне показалось, что вы действительно диссиденты, но если вы не хотите показать документы, это лишь доказывает, что вы – сотрудники КГБ».

Показная вежливость, господствовавшая в комнате до сих пор, мгновенно испарилась. Высокий и мрачный мужчина наклонился ко мне через стол. «Я провел в лагерях двенадцать лет, – сказал он, пытаясь сдерживать эмоции. – Мои друзья провели там шесть, семь и восемь лет. Мы не позволим обращаться с собой, как с толпой негров».

Эта реакция стала для меня полной неожиданностью. Может, я обвинил их несправедливо?

«Вы исходите из ошибочного предположения, – сказал старший, самый симпатичный из всех. – КГБ может изготовить любые удостоверения. В такой ситуации нельзя полагаться на документы». Он поколебался и мягко прибавил: «Нужно верить своему сердцу».

Потом он спросил, есть ли у меня перечень имен и адресов людей, с которыми я должен встретиться. Я сказал, что эти имена мне известны, и вынул из бумажника листок с фамилиями и адресами. «А теперь скажите мне – кто вы такие?» Высокий и мрачный мужчина справа от меня сказал: «Я Валдо Рейнарт». Встретивший меня в вестибюле гостиницы представился: «Эндель Ратас». «Март Никлус», – отрекомендовался блондин. «А я – Эрик Удам», – сказал с приятной улыбкой немолодой человек слева. Я знал, что Удам был лидером эстонских диссидентов. Он спросил меня, записаны ли на моей бумажке также адреса. Я это подтвердил, и тогда каждый продиктовал мне свой правильный адрес.

Рейнарт поднялся, уже явно не такой подавленный, и налил коньяку мне, а затем всем остальным за столом, и они тоже постепенно расслабились. Удам попросил рассказать все, что можно, о похищении моего чемодана. Я сначала колебался, но все же решил рассказать им, что случилось. Если они действительно диссиденты, то имеют право знать, а если агенты КГБ, то и так все знают. В любом случае мне казалось, что они реагируют так, как любая группа диссидентов отреагировала бы на безответственного иностранца, подвергшего их опасности. Я начал описывать события, и когда рассказывал, как меня отвлекли в поезде, по лицам четырех мужчин было видно, что они неприятно поражены. Когда я завершил, Рейнарт сказал: «Я немедленно позвоню Викторсу, пусть предупредит всех, что ваши записи исчезли».

Потом они начали спорить между собой. Удам предположил, что кражу организовали дельцы подпольного рынка, но Никлус с ним не согласился. «Это был КГБ», – сказал он. Рейнарт спросил, о чем мы разговаривали. «Да почти ни о чем, – сказал я, – обычные банальности».

«Они о чем-то спрашивали вас?»

«Тоже ничего особенного».

«Это не похоже на КГБ, – сказал Рейнарт, – они всегда пытаются выведать все, что можно».

Мы стали обсуждать, безопасно ли нам будет встретиться позднее. Удам хотел встретиться. Он сказал, что независимо от вреда, нанесенного потерей моих заметок, наша встреча ситуацию уже не ухудшит. Рейнарт же считал, что КГБ будет теперь особенно бдительным, получив важный материал для своей деятельности, и опасность для встречи в Таллине становится намного большей, в частности, потому, что эту встречу будет невозможно скрыть. В конечном счете мы договорились, что они попробуют оценить ситуацию и кто-то – возможно, Ратас – встретится со мной в 22 часа около универмага *Tallinna Kaubamaja.*

Прежде чем уйти, я извинился перед Рейнартом за то, что произошло. Он в первый раз за все время проявил участие: «Что поделаешь, – сказал он задумчиво, – молодой мужчина, красивая женщина...»

Удам попросил меня оставить им список диссидентов с адресами. «Это не потому, что мы вам не доверяем, – сказал он. – Мы просто не можем допустить еще одну ошибку». Я вынул листок из бумажника, отдал Удаму, он положил его в пепельницу на столе, поджег спичкой и подождал, пока от бумаги не осталась горстка пепла.

Я вернулся в гостиницу, где встретился с сопровождающим из АПН, который сказал, что уже давно меня разыскивает. Всячески демонстрируя огорчение, он выслушал мою историю о похищенном чемодане, а затем повез служебной машиной по магазинам, чтобы я приобрел кое-какие новые вещи. Сделав покупки, мы вернулись в гостиницу, договорившись, что на следующее утро я поеду в колхоз, а во второй половине дня – на судостроительный завод. Я пошел в свой номер, а затем в 16:30 спустился в вестибюль, где должен был встретиться с Машей и тренером. Однако прошел час, а они так и не появились. В конце концов я решил сам найти Машу, но, добравшись до нужной улицы в районе старых казарм, обнаружил, что указанного ею дома не существует.

Вернувшись в гостиницу, я некоторое время побыл в номере, а затем спустился в вестибюль, чтобы опять выйти. Однако перед тем я остановился, чтобы купить пару открыток, и вдруг почувствовал, что кто-то за мной наблюдает. Оглянувшись, я заметил лишь одного человека – молодого мужчину интеллигентного вида с усами и эспаньолкой, с прямоугольным кейсом в руке. В его поведении ничто не наводило на мысль, что он следит за мной (если за мной вообще кто-то следил), но мне показалось странным, что он слоняется с портфелем в интуристовской гостинице.

Наконец я вышел из гостиницы и пошел в Старый город. Погода немного изменилась: шел мелкий дождик. Лед, накопившийся на крышах, начал таять, и вода стекала с крыш и бежала по водостокам. В туманном свете уличных фонарей фасады домов с облупленной краской выглядели особенно запущенными. Я свернул на одну из боковых улиц и сквозь витрины на первом этаже дома с островерхой крышей увидел людей, которые стояли в очереди за хлебом. Стук капели с крыш дополнялся громыханьем тяжелых деревянных дверей хлебного магазина, когда люди выходили из нее с покупками. Немного дальше по той же улице я прошел мимо скупо освещенного кафе. Сквозь прозрачные занавески было видно пожилых людей, которые несли металлические подносы к металлическим же столикам, и старенькую уборщицу, протиравшую потрескавшиеся плитки пола, готовя кафе к закрытию. Я пошел по тихому переулку вдоль городской стены и оказался в тупике, где вдруг увидел старую женщину с редкими седыми волосами, морщинистым лицом и растерянным взглядом широко открытых глаз. Она неподвижно стояла под дождем, держа в руках жестянку с карандашами, и не пыталась заговорить, а просто смотрела мимо меня, будто меня там и не было.

Около десяти вечера я вернулся в гостиницу «Виру», возле которой группа финских туристов демонстрировала последствия жестокого пьянства. Я присматривался к людям вокруг, но похоже было, что никто не обращает на меня никакого внимания.

Наконец я пошел к двойным дверям гостиницы и, когда оглянулся, увидел среди финских туристов того мужчину с кейсом.

Я вышел из гостиницы и пошел к универмагу, подойдя к оговоренному месту встречи в 21:55. В 22:00, будто вынырнув из-под земли, появился Ратас. Он что-то сказал мне на ходу. Я не услышал и поспешил за ним. Он обернулся. «За вами следят! – сказал он с совершенно искаженным лицом. – Будьте здесь завтра в два часа дня». Я остановился, и он исчез.

На следующее утро мы встретились с представителем АПН за завтраком, и я сказал ему, что вынужден отказаться от посещения судостроительного завода, запланированного на вторую половину дня. Он ответил, что это невозможно, но я настаивал, и он в конце концов уступил. Потом мы отправились в сельскохозяйственный институт, расположенный за городом. Это посещение длилось несколько часов, и «бразды правления» быстро взял в свои руки официальный переводчик института, Фердинанд Кала. Для нас был приготовлен обед, но я извинился и покинул институт в 13 часов. Однако, когда мы садились в машину, Кала спросил, не можем ли мы подвезти его в город. Мне не хотелось брать еще одного пассажира, но оснований отказать ему я не нашел.

Институт располагался в 45 минутах езды от Таллина, и по дороге я думал о том, как встретиться с диссидентами, избежав слежки. Вдруг я вспомнил о заброшенной гостинице «Балтика», которую видел прошлым вечером, и когда мы подъехали к Старому городу, попросил водителя высадить меня. У моих спутников на мгновение возникла какая-то заминка, но потом мой сопровождающий согласился остановиться. И здесь Кала сказал: «Я, по-видимому, тоже выйду».

Я вышел из машины. Фердинанд Кала тут же затерялся в толпе. Я срезал путь через небольшой парк и стал подниматься по каменной лестнице к Вышгороду. Внизу подо мной открывался вид на заводы и железнодорожные пути, на желтые краны таллинского порта и кварталы коричневых и серых советских жилых домов. Добравшись до верхних ступенек, я оглянулся

и увидел молодого мужчину с длинными каштановыми волосами, в серебристой куртке, который быстро поднимался по той же лестнице. Я поспешно углубился в узкий проход между каменными домами и, оглянувшись еще раз, увидел своего преследователя уже на верхних ступеньках. Я повернул к входу в лютеранскую церковь, где экскурсовод принял меня за туриста и начал рассказывать о пытках еретиков и о ритуальных рассечениях чрева, которые здесь практиковались когда-то. Ошарашенный, я развернулся и вышел на улицу. Молодой мужчина в серебристой куртке слонялся неподалеку около здания, разговаривая с группой якобы прохожих.

От церкви я повернул на вымощенную плиткой тропинку между двумя стенами, а затем быстро пересек широкую площадь. На какое-то мгновение мне показалось, что мой преследователь исчез, но он тут же вынырнул из-за угла в нескольких метрах от меня. В конце концов, я в отчаянии развернулся и пошел прямо на него. Тогда он быстро отвернулся, спрятав лицо, прикуривая сигарету. Я изменил направление и, развернувшись, скрылся за каким-то административным зданием, а затем дворами прошел к стене Вышгорода. От каменного парапета открывался вид на Нижний город старого Таллина – лабиринт крыш под красной черепицей, чей ажурный узор прерывали лишь покрытые зеленой патиной шпили лютеранских церквей и купола и кресты довольно запущенного православного храма.

Я стал спускаться по лестнице к Нижнему городу, все время ожидая появления своего преследователя. Как ни странно, его нигде не было видно. Я углубился в многолюдные улицы Старого города и там поймал такси. За 15 минут до назначенной встречи я подъехал к универмагу *Tallinna Kaubamaja*, где десятки людей толклись в снежной каше, садясь в трамваи или выходя из них. Здесь были крупные пожилые женщины с палочками, молодые блондинки с бледными лицами, неуклюжие мужчины в поношенных пальто. Здесь же я увидел и вчерашнюю старушку с жестянкой карандашей.

Ровно в 14:00 появился Ратас, мы встретились с ним посреди толпы и пошли в один из двориков неподалеку. Он сказал, что мы можем спокойно разговаривать, хотя каждый раз, когда в доме отворялись двери и кто-то выходил, он замолкал и пережидал. Ратас сказал, что агенты КГБ везде, поэтому группа решила, что нам слишком опасно встречаться в Таллине и лучше встретиться в Москве. Он также добавил, что мне позвонят по телефону и просто скажут, что они от Эрика. Это будет означать встречу в 19:00 в тот же вечер у букинистического магазина на углу проспекта Мира и Садового кольца.

Я спросил Ратаса, удалось ли ему сообщить Калниньшу о потере моих заметок вместе с чемоданом. Он сказал, что «наши друзья» в Риге и Вильнюсе проинформированы, и, по его мнению, им ничего не угрожает. На этом наши дела в Таллине завершились, я попрощался с Ратасом и сказал, что надеюсь увидеться с ним снова, желательно в Москве. Он похлопал меня по спине и заверил, что скоро встретимся.

Поезд в Москву отправился, когда уже стемнело, и я с облегчением увидел, что моя спутница в купе – женщина лет под 60, да еще и с довольно заметными усиками, представившаяся инженером. Вчера вечером в гостинице я пытался восстановить свои записи по памяти и теперь, по дороге в Москву, занялся тем же, стараясь дополнить свои заметки и сделать их детальнее.

Следующие несколько дней в Москве прошли без происшествий. Жизнь вернулась в свое обычное русло. Меня приглашали на приемы с коктейлями, где я дружески болтал с советскими должностными лицами в твидовых пиджаках – они посасывали трубки и выражали желание преодолеть барьеры и достичь понимания между СССР и Западом. Я начал уже думать, что события в Прибалтике – это какой-то обман, а то и вовсе плоды моего воображения.

Однажды вечером, примерно через неделю после возвращения в Москву, я решил позвонить Кестутису в Вильнюс, хотя и не

сомневался, что Эрик Удам уже рассказал ему о том, что произошло в поезде Рига–Таллин. Я позвонил Кестутису на работу по телефону-автомату с Центрального телеграфа – он работал в каком-то институте, архивариусом.

Я рассказал ему о неприятностях с чемоданом, и в трубке наступила короткая пауза. «Что случилось? – наконец спросил Йокубинас. – Вы напились?» «Погодите, Кестутис, – сказал я, – нужно быть осторожными. Они, возможно, прослушивают нас». «О да... – засмеялся Кестутис, и его голос начал дрожать. – Они слушают. Конечно, слушают. Они слышат каждое слово». Я тотчас же прекратил разговор, пообещав позвонить позже.

Прошла неделя, из Прибалтики ничего не было слышно, как вдруг как-то вечером зазвонил телефон, и я услышал возбужденный голос какого-то человека, который сказал, что должен встретиться со мной и будет ожидать меня вместе с «нашим другом» у Кукольного театра, через дорогу от дома на Садовом кольце, где я проживал. Сначала я колебался. Я не узнал этого человека по голосу, а после прибалтийской истории стал побаиваться провокаций. Но через несколько минут тот же мужчина позвонил опять и попросил поторопиться. Тут я, наконец, решился. Подъехав к Кукольному театру на своей машине, я увидел Антанаса Терлецкаса и Интса Цалитиса.

Они сели в машину, и мы стали искать место, где можно поговорить. Моя квартира прослушивалась, как и квартиры остальных иностранцев и известных диссидентов в Москве. Привезти Терлецкаса и Цалитиса к кому-то из моих друзей, еще не известных сотрудникам госбезопасности, значило просто познакомить с ними КГБ. Разговаривать на улице было слишком холодно, а попасть в кафе можно было, лишь отстояв час или более в очереди. Поездив полчаса, мы наконец устроились на лестничной клетке какого-то дома в одном из дворов Ленинского проспекта.

Ни Терлецкас, ни Цалитис не казались огорченными из-за последствий от потери моего чемодана. Они больше беспокоились о том, чтобы я мог написать о национальных движени-

ях, особенно о Литве. На протяжении часа они повторяли мне ту информацию, которую я получил в Прибалтике и достаточно большую часть, которой уже восстановил по памяти. Когда я закончил записывать, мы вышли из дома и вернулись к машине.

«Вот чего вы никогда – или почти никогда – не найдете, – сказал Терлецкас, когда мы двинулись, – так это русского, готового признать право малого народа на свою страну. Это почти невозможно. Если упоминаешь о Литве в разговоре, то они тут же отвечают – это наша русская земля, наша страна».

Я повернул к Ленинским горам и заметил Антанасу, что русские мне нравятся. «Да, они добрые, милые, симпатичные, – ответил он, – но им не приходит в голову, что литовцы считают Литву своей родиной и хотят жить в ней отдельной жизнью – без них».

С дороги, по которой мы ехали, открывался московский пейзаж, расстилавшийся внизу, как ковер из огней жилых домов, перемежающийся готическими очертаниями темных правительственных небоскребов. «Кстати, – сказал Цалитис, – почему вы не встретились с нашими друзьями в Эстонии? Они мне звонили и спрашивали, почему вы с ними так и не связались».

«Кто вам звонил?»

«Эстонские националисты, мы вам давали их имена: Удам, Ратас...»

«И они сказали, что я с ними не встретился?»

«Да».

«Интс, я провел в Таллине два дня с Удамом и Ратасом. В настоящий момент я жду, что они пришлют кого-то в Москву с информацией о ситуации в Эстонии – аналогичной той, что вы мне дали о Литве и Латвии. Вам разве никто не звонил из Эстонии и не рассказал, что у меня украли чемодан с моими литовскими и латышскими заметками?»

«Нет, – сказал Цалитис, – мы услышали об этом от Кестутиса».

Я остановил машину на обочине дороги. Начал падать легкий снег, и в свете уличных фонарей снежинки казались застывшими неподвижно.

Я повернулся к Цалитису и Терлецкасу, которые сидели на заднем сидении. «Если я провел эти два дня не с Удамом и Ратасом, – сказал я, – то с кем тогда?»

В машине воцарилась полная тишина.

«Вы имеете в виду...» – начал я.

Антанас улыбнулся: «Они хитрые. Нужно отдать им должное».

«Да, но это же были эстонцы...»

«Эстонский КГБ», – объяснил Цалитис.

«То есть вы считаете, что все эти встречи, споры, обсуждения тактики КГБ, эта маленькая армия, что за мной следила, – все это было представлением?»

«Они блестящие актеры», – сказал Антанас.

«Но зачем? Лишь для того, чтобы не дать мне встретиться с группой эстонских диссидентов?»

«Не только, – ответил Антанас. – Советский Союз – это страна чудес, и КГБ любит время от времени творить собственную реальность».

Снег пошел гуще, время было уже позднее. Мы молча проехали Ленинскими горами и вдоль набережной – до Кутузовского проспекта, а затем по мосту, мимо американского посольства, выехали на Садовое кольцо. На следующий день Цалитис и Терлецкас должны были уезжать из Москвы, но ночевать собирались у друзей, которые жили неподалеку от моего дома. Я довез их до Цветного бульвара, мы вышли из машины и пожали друг другу руки. Мне было неприятно осознавать, каким я оказался дураком, но Терлецкаса и Цалитиса мои ошибки, казалось, вообще не волновали. Перед тем, как уйти, Терлецкас показал другу на меня: «Смотри, – сказал он, – это свободный человек. Можешь себе представить? Свободный человек!»

За несколько недель после моей встречи с Цалитисом и Терлецкасом *Financial Times* опубликовала мой материал о деятельности национальных движений в Литве под заглавием «Призрак в машине». Детальное изложение этой статьи было передано на Советский Союз радиостанцией BBC, поэтому в конеч-

ном итоге желание литовских диссидентов осуществилось: о том, что происходило в их республике, узнали и в СССР, и на Западе.

Встретиться с эстонскими диссидентами мне так и не удалось, однако в мае настоящий Эрик Удам приезжал в Москву и оставил Московской Хельсинкской группе заявление, в котором описал реакцию КГБ на мое пребывание в Эстонии. На тот момент я был за пределами Москвы и только через несколько недель получил копию этого заявления. Там шла речь о том, что майор эстонского КГБ Альберт Молок по собственной инициативе встретился с Удамом в апреле и спросил, не заинтересован ли тот в создании вместе с КГБ диссидентской группы с целью снабжения западных корреспондентов дезинформацией. Молок утверждал, что именно благодаря ему Дэвид Саттер из *Financial Times* не встретился в феврале с Удамом, и предложил Удаму самому подобрать членов группы, но с последующим их утверждениям в КГБ. Когда Удам сказал, что эта схема будет быстро раскрыта, Молок ответил, что ради сохранения связи группы с КГБ он обеспечит видимость преследования ее членов. Когда же Удам отклонил это предложение, Молок попросил порекомендовать кого-то другого, но Удам сказал, что никому не будет рекомендовать принимать участие в таком колоссальном мошенничестве.

Я проработал корреспондентом *Financial Times* в Москве еще пять лет и больше уже никогда не поддавался на провокации КГБ. Мало того – я убедился, что Терлецкас был прав: главной целью советской системы было создание собственной реальности и насильственное навязывание беззащитному населению этого мира иллюзий. В начале 1983 года я выступил перед Конгрессом США с докладом на тему «Как остановить коммунизм без войны», где утверждал, что ложная идеология СССР вынуждает его создавать иллюзии, потому самым эффективным средством борьбы с коммунизмом является не оружие, а правда. Статью, написанную на основании этих свидетельств, я опубликовал в редакционной колонке газеты *The Wall Street Journal*.

Через несколько дней после выхода статьи я написал Кестутису письмо, к которому приложил ее копию. В то время ему уже удалось покинуть Литву и устроиться на работу в литовской службе «Радио “Свобода”» в Мюнхене. Неделю спустя я получил от него ответ, из которого понял, что он наконец простил мне мои ошибки в Прибалтике. Он написал: «Вы не зря провели эти годы в СССР».

Введение

Недавно американские ученые снова обратились к случаю Финеаса Гейджа, чья странная судьба вынудила затронуть вопрос о существовании в головном мозге так называемого морального центра.

Тринадцатого сентября 1848 года Гейдж – 25-летний рабочий-строитель железнодорожной компании Ратленда и Берлингтона – участвовал в прокладке путей в сельской местности штата Вермонт. Там с ним случилось невероятное. При строительстве для выравнивания поверхности под железную дорогу скальные породы подрывали. Для этого в камне сверлили отверстия, заполняли их порохом, затем прикрывали песком, а для самого взрыва использовали запал и тяжелый железный лом – трамбовку. В тот день Гейдж из-за невнимательности начал трамбовку до того, как помощник накрыл порох песком, это привело к мощному взрыву, вследствие чего острый лом мгновенно пробил Гейджу лицо, череп и мозг и вылетел наружу, приземлившись за много ярдов от места происшествия.

Это несчастье ошеломило свидетелей, однако Гейдж потерял сознание лишь на мгновение. Он быстро пришел в себя и вскоре был уже в состоянии разговаривать и даже дойти до врача в сопровождении своих коллег. В последующие недели он оставался работоспособным, не утратив ни возможности двигаться, ни памяти, ни речи. Создавалось впечатление, что происшествие нисколько не сказалось на его умственных способностях. Тем не менее, вскоре выяснилось, что личность Гейджа радикально изменилась.

Ранее Гейдж пользовался симпатией и уважением тех, кто его знал, но теперь он сам утратил какое-либо уважение к нормам общения, стал сварливым и грубым. Невыполнение Гейджем должностных обязанностей вынудило работодателей, некогда называвших его «самым полезным и способным» из всех рабо-

чих, уволить его. Джон Харлоу – врач, лечивший Гейджа, – сказал, что у того исчезло «равновесие, или баланс, так сказать, между интеллектуальными способностями и животными наклонностями». По словам друзей и знакомых, «это был уже не Гейдж».

В дальнейшем Гейдж путешествовал и в конце концов, спустя двенадцать лет, умер в Сан-Франциско, находясь под опекой семьи. И хотя в свое время случай с Гейджем был на первых полосах всех газет, его смерть осталась почти незамеченной. Харлоу узнал о ней только через пять лет и обратился к семье Гейджа за разрешением на эксгумацию тела, чтобы извлечь череп и сохранить его как медицинский экспонат. Разрешение было получено, и череп Гейджа вместе с трамбовкой передали на хранение в Анатомический музей Уоррена в Гарвардском университете.

В 1994 году группа американских нейроанатомов взяла череп Гейджа и при помощи современных методов обработки изображений сделала трехмерную реконструкцию мозга, чтобы определить места входа и выхода железного лома, а также максимально точно выяснить, какие части мозга пострадали от несчастного случая. Ученые пришли к выводу, что трамбовка повредила вентромедиальную область обеих лобных долей, не затронув структур, связанных со способностью ориентироваться в пространстве, распознавать предметы, разговаривать, считать. Поскольку роль лобных долей до сих пор не до конца понятна, нейроанатомы решили, что случай с Гейджем иллюстрирует наличие у человека некоего «морального центра», повреждение которого приводит к разрушению нравственности, но который – во всяком случае в теории – поддается лечению, а это дает надежду, что безнравственность можно «вылечить»*.

Узнав о новом интересе к Гейджу и нравственной проблеме, которая стала следствием его уникальной судьбы, я задумался: была ли знакома нейроанатомам, занимавшимся этим вопросом,

* См.: H. Damasio et al., “The Return of Phineas Gage: Clues About the Brain from the Skull of a Famous Patient”, Science, vol. 264, May 20,1994, pp. 1102–05.

история Советского Союза, которую фактически можно считать попыткой разрушить моральный центр целой нации. Советские руководители не искали физиологический моральный центр, вместо этого они калечили людей психологически, создав герметически замкнутое пространство, в котором марксизм-ленинизм считался наивысшей формой истины.

Советский Союз – это было нечто новое. Он стал первым в истории государством, которое откровенно основывалось на атеизме и компенсировало отсутствие абсолюта наделением самого себя атрибутами Бога. Если предшествовавшие правительства признавали какую-то власть над собой (пусть даже пренебрегая ею на практике), то советский режим ни к какой силе не относился с уважением, считая все свои действия реализацией собственной идеологии как истины в последней инстанции.

Представление себя как выражения абсолюта имеет свои преимущества. Оно наделило систему целеустремленностью, аморальностью и слепым фанатизмом, что всегда сопровождает абсолютизацию политических целей.

Но вместе с тем зависимость режима от коммунистической идеологии сделала его крайне уязвимым. Марксизм-ленинизм претендовал называться исторической наукой и утверждал, что его анализ прошлого можно спроектировать на будущее. Религия же искала окончательную истину в трансцендентной сфере. Поэтому именно советскую идеологию, а не религию могли дискредитировать исторические события, которые опровергали ее основополагающие предположения.

В конце концов характер доминирования государства определялся именно этой уязвимостью его основных идей. Советская идеология провозглашала, что победа коммунизма приведет к совершенной демократии, которая будет характеризоваться добровольным единодушием и неслыханным уровнем благосостояния. Когда после захвата власти коммунистами утопия не воплотилась в жизнь, интеллектуальная неудача грозила политическими последствиями, и власть взялась изменять действительность насильственно.

Стремление творить реальность превратило советскую жизнь в некий маскарад. Стала важна не правда, а то, что можно было выдать за правду, таким образом, структура фактической реальности была заменена организованной фальсификацией, чтобы реальная жизнь могла (пусть и постфактум) выглядеть в соответствии с советской идеологией.

Внешний мир в оцепенении наблюдал, как Советский Союз становится ареной для развертывания целого ряда подобных на мираж имитаций демократических институтов: профсоюзов, защищающих руководство, газет, не содержащих никакой информации, судов, в которые невозможно обратиться за защитой, и парламента, который всегда единогласно поддерживает правительство.

Этот обязательный ментальный мир режима был навязан гражданам СССР, и он расколол их сознание, следствием чего стало явление, известное как двойственное сознание – то, что Джордж Оруэлл назвал «двоемыслием» (*doublethink*).

Двойственное сознание отделяло идеологические измышления режима от нормальных моделей восприятия каждого человека и морального суждения, таким образом предоставляя возможность индивидууму автоматически выполнять свою идеологическую роль в необходимых ситуациях, в то время как в других отношениях он точно воспринимал реальность.

Во многих случаях это раздвоение личности приводило к отождествлению себя с навязанной ролью. «Приспособившись за долгое время к своей роли, – писал Чеслав Милош, – человек настолько срастается с ней, что уже не способен отделить свое настоящее “я” от ложного... Отождествление себя с ролью, которую приходится играть, приносит облегчение и дает возможность отдохнуть от постоянной бдительности. Надлежащие рефлексы в нужный момент становятся действительно автоматическими».

Были и такие (особенно среди чиновников, которые имели дело с иностранцами), кто цинично относился к официальной версии реальности и в постоянном вынужденном лицемерии находил

источник определенного внутреннего удовлетворения. «Называть нечто белым, считая его черным, – писал Милош, – усмехаться в душе, оставаясь внешне серьезным, ненавидеть, демонстрируя любовь, знать, делая вид, что не знаешь, и таким образом выставлять противника дураком (даже если он делает то же самое) – все это побуждало ценить собственную хитрость превыше всего».

Нередко советские граждане просто освобождали себя от ответственности за свои публичные высказывания и старались сберечь пространство интеллектуальной свободы в собственной голове. Когда Сергей Замазчиков, комсомольский лидер из латвийской Юрмалы, по утрам смотрел на себя в зеркало, он понимал, что видит единственного в мире человека, с которым можно безопасно общаться. В течение дня он смотрел на другие лица – в горкоме партии, в ЦК комсомола Латвии, в ЦК Коммунистической партии Латвии, – но эти лица были лишь немногим лучше масок. Он предполагал, что за этими масками скрыты полностью запрограммированные умы, однако удостовериться в этом не было никакой возможности. В конце концов, когда Замазчиков был со своими партийными коллегами, его лицо тоже становилось маской.

Каким бы ни было умение людей приспосабливаться, у личности должны быть нравственные принципы, которые применятся ко всем ситуациям одинаково. Предпринимавшаяся все 74 года существования СССР попытка навязать замену эмпирической реальности порождала отдельные примеры смелости и благородства, но в целом она вовлекала измученный народ во все новые бездны нищеты и деградации.

Государство может упразднить Бога, но результатом стремления подменить собой отсутствующий абсолют может стать лишь трансформация человеческой природы – в условиях, когда сознание расколото, а всеобщая ложь, как ничто другое, уничтожает моральный центр целого народа.

Пролог

Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру.

П. Я. Чаадаев. «Философические письма»

4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА, 7:30 УТРА

Пулеметный огонь продолжается

На площади Свободной России повсюду лежали тела, в том числе подростков, когда здание Российского парламента, известное как Белый дом, было атаковано войсками, верными президенту Борису Ельцину, который всего за два года до того рисковал жизнью, защищая его.

Жестокость обстрела поразила нынешних защитников Белого дома, среди которых были и депутаты парламента. Они ожидали, что здание будут освобождать с помощью спецназа, а не артиллерии.

В буфете на шестом этаже стоял Николай Троицкий, корреспондент газеты «Мегаполис-Экспресс», и наблюдал вместе с остальными, как на площади два человека волокут к входу в здание тело с вывалившимися наружу внутренностями. «Сейчас будут стрелять из окон», – сказал кто-то рядом с Троицким.

Часть окон, обращенных к площади Свободной России, была разбита пулями. Троицкий и другие журналисты покинули буфет и поспешно укрылись в кабинете Константина Злобина, пресс-секретаря Руслана Хасбулатова, председателя Верховного Совета. Его окна выходили во внутренний двор.

Несколько часов кабинет Злобина был относительно безопасным укрытием, но в полдень, когда в результате интенсивного пулеметного обстрела пули стали рикошетить от стен коридора, находиться там становилось все более опасно. Вахтанг Якобидзе, корреспондент грузинского телевидения, вышел из кабинета, чтобы лучше разглядеть, что происходит, и когда оказался в коридоре, метрах в тридцати от него упала зажигательная бомба, от которой загорелся ковер и начали подниматься плотные облака красно-черного дыма.

«Нужно убираться отсюда», – сказал Якобидзе. По стенам коридоров рикошетили пули, но группе репортеров удалось пробежать десяток метров к лестнице в самом центре здания. Под раздававшиеся отовсюду звуки разбитых пулями оконных стекол, они спустились по лестнице в зал Совета Национальностей, построенный как бомбоубежище и считавшийся единственным безопасным местом в здании.

В зале царила атмосфера управляемого хаоса. Вероника Куцылло, корреспондент газеты «Коммерсантъ», заметила Хасбулатова, окруженного репортерами.

«Что дальше-то будет, Руслан Имранович?» – спросила она.

Хасбулатов, который стоял, засунув одну руку в карман плаща, другой держа трубку, пожал плечами. «Я давно знаю Ельцина, – сказал он спокойно, – но такого от него не ожидал. Как можно угрожать собственному народу, словно врагу?»

Внезапно здание вздрогнуло от нескольких мощных взрывов, которые, казалось, пробили дыры в фасаде здания, в то же время разрушив последнюю надежду на достижение компромисса.

Вероника Куцылло пережила августовский путч 1991 года, во время которого Хасбулатов и Ельцин были союзниками, вме-

сте защищали Белый дом от возможного нападения со стороны руководителей прокоммунистического переворота. «Еще один путч я не переживу», – сказала она, когда зал наполнился запахом пороха. Хасбулатов покачал головой и сказал с улыбкой: «А почему вы думаете, что переживете этот?»

Уже вскоре в зале собралось около тысячи человек – депутатов, репортеров, поваров, постовых милиционеров, уборщиц. Их призрачные очертания освещались лишь колеблющимися огоньками нескольких свеч (в здании было выключено электричество, а свет из внутреннего двора едва проникал через полуприкрытые двери), поэтому зал, который обычно напоминал бункер, теперь был похож на склеп.

В прилегающем к залу коридоре вооруженные люди несли на носилках раненых и убитых к ближайшему медпункту. Одно из тел лежало окровавленным лицом вверх, заблокировав двери лифта. Снаружи на автоматные очереди с верхних этажей Белого дома отвечали пулеметным огнем из БТРов.

Несмотря на все это, настроенные против Ельцина депутаты, которых в этом темном зале можно было распознать лишь по голосу, выступали с трибуны, призывая людей в зале держаться до победного конца. Один из ораторов, Михаил Челноков, говорил: «Умереть за Родину – это совсем неплохо. В любом случае, – что нам еще остается?»

К полудню лояльные к Ельцину войска захватили все здания вокруг Белого дома, обстрел длился, а ответный огонь из здания парламента становился все слабее. Взрывы повредили тринадцатый и четырнадцатый этажи, оттуда оранжевое пламя вздымалось вверх вдоль фасада здания, а с каждым прямым попаданием оно содрогалось сверху донизу, как карточный домик.

Троицкий прислушивался к лязгу танковых гусениц, пытаясь угадать, где именно находятся танки. Казалось, они рядом. Он задумался, что произойдет, если случайный снаряд или граната попадут в забитый людьми зал. «Как думаешь, они будут стрелять сюда?», – обратился Троицкий к Валерию Шуйкову,

депутату, который только что вернулся в Москву из Абхазии. «Не думаю», – ответил Шуйков.

В это мгновение пулеметный огонь внезапно прекратился, и раздалась целая серия взрывов – это танки с Новоарбатского моста разнесли вдребезги огромные секции давно опустевших верхних этажей.

«Я в этом не уверен», – сказал Троицкий.

К 14-ти часам все находившиеся в зале ожидали капитуляции. Буфетчицы начали раздавать вареных кур, подаренных каким-то фермером – сторонником парламента. Однако, ввиду явной поддержки Ельцина армией, даже такие депутаты крайне националистического крыла, как Сергей Бабурин, Илья Константинов и Иона Андронов, согласились, что время сдаваться. Проблема заключалась в том, что никто не хотел выходить с белым флагом и в то же время никто не был уверен, что можно безопасно покинуть здание каким-то другим способом.

Народ в зале пел русские народные песни, читал стихи и молился. После 15-ти часов по внутреннему радио Белого дома сообщили, что Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда, едет сюда для переговоров о перемирии. Однако сразу же прозвучало и объявление об усилении пулеметного обстрела, а вслед за тем – ошеломляющий грохот и несколько взрывов подряд. Не имея больше новостей относительно делегации переговорщиков, люди боялись, что захват здания вооруженными военными неминуем.

В 16 часов в зале Совета Национальностей вдруг появились двое офицеров антитеррористического подразделения «Альфа», одетые в бронежилеты и шлемы с забралами и защитными очками, что делало их похожими на инопланетян. Один из них поднялся на трибуну, чтобы обратиться к людям в зале, в котором фактически проходила последняя сессия Верховного Совета. Он сказал, что цель группы «Альфа» – борьба с терроризмом, а не убийство избранных народом представителей, и если защитники Белого дома сложат оружие, «Альфа» гарантирует им безопасность.

Потом эти офицеры пошли обсуждать капитуляцию Белого дома с вице-президентом Александром Руцким. В этот миг в зале стал слышен непрерывный автоматный огонь, который раздавался, казалось, из внутреннего двора. В полумраке возникла паника, но стрельба стихла так же внезапно, как и началась, в зал вернулись офицеры «Альфы» и стали организовывать эвакуацию.

В 16:45 первую группу эвакуированных – почти 300 человек – вывели (с руками за головой) из здания на площадь. Они проходили мимо тел защитников, застреленных на баррикадах в начале штурма, – у многих были ранения в голову или конечности. Они также в первый раз увидели Белый дом извне: с разбитыми окнами нижних этажей, со смятыми, искореженными жалюзи, с охваченной оранжевым пламенем и черным дымом верхней частью здания.

В 17:20 из здания вышла – также без инцидентов – вторая группа, состоявшая преимущественно из административного персонала. Вскоре после этого на веранду, откуда открывался вид на Москву-реку, вывели третью группу, среди которой были Константинов, Олег Румянцев – автор предложенной парламентом конституции – и много других известных представителей парламентской оппозиции. Начало смеркаться, и российская столица окрасилась пурпуром. Вдруг со всех сторон грянули выстрелы. Эвакуированные из здания попадали на землю и пролежали лицом в грязи еще около полутора часов, пока «альфовцы» не провели их к ближайшему жилому дому, где и отпустили.

Вот так была подтверждена российская традиция силового улаживания споров и завершился кризис, который стал следствием двухгодичного отказа обеих сторон от раздела власти и привел Ельцина к решению распустить российский парламент.

1

ПУТЧ

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня –
Я тебя, а ты меня.
Джордж Оруэлл. «1984»
(Перевод Елены Кассировой)

19 АВГУСТА 1991 ГОДА

В Москве небольшой дождик смывал пыль с облупленных фасадов и покрытых выбоинами улиц. Белое здание российского парламента, которое стало символом демократических устремлений всей нации, возвышалось в тумане, и его серая тень отражалась в водах Москвы-реки. Город еще спал – за исключением хлебных фургонов, развозивших утреннюю выпечку, и рабочих, возвращавшихся домой после ночной смены.

Однако этот день обещал быть необычным. На восемьдесят километров южнее Москвы, в крымском поселке Форос, где Михаил Горбачев жил на роскошной даче, два тяжелых грузовика под прикрытием темноты подъехали к взлетно-посадочной полосе и перекрыли ее. Потом подступы к даче с моря были незаметно заблокированы военными кораблями, а подразделения КГБ закрыли дорогу к резиденции Горбачева, окружив весь район и изолировав Горбачева, его семью и тридцать два человека его личной охраны.

В 6:06 утра телетайп в советском информационном агентстве ТАСС на улице Герцена начал передавать сообщение: президент СССР Горбачев смещен с поста по состоянию здоровья. Выполнение его обязанностей возлагается на вице-президента Геннадия Янаева. Руководство государством временно будет осуществлять Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого входят: Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий Александр Тизяков, премьер-министр Валентин Павлов и первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов. Почти все члены комитета были назначены на свои должности Горбачевым и считались его близкими товарищами и друзьями.

В казармах Таманской и Кантемировской дивизий в Московской области солдат подняли по тревоге и отдали приказ двигаться на Москву. Пока дневной свет постепенно разливался над селами и полями Московской области, нескончаемые колонны танков и бронетранспортеров уже заполнили дороги, ведущие к столице.

Эмма Брук, кардиолог Боткинской больницы, проснулась от странной тишины. Месяцами она просыпалась под звуки дрелей и молотков – рядом, в американском посольстве, продолжался бесконечный ремонт. Но сегодня все было тихо. Она подошла к окну и увидела, что все работы в посольстве прекратились.

Эмма включила телевизор. Вместо новостей передавали классическую музыку, а затем диктор начал читать какое-то заявление. «Шесть лет назад, – сказал он, – Горбачев начал перестройку». Эмму удивило это «Горбачев» вместо «товарищ Горбачев» или «Михаил Сергеевич». Она подумала, что никто не назвал бы его так неуважительно, если бы он оставался у власти. Диктор продолжал: «Реформы Горбачева зашли

в тупик. Страна стала неуправляемой, а экстремистские силы взяли курс на ликвидацию Советского Союза. В этой связи для спасения страны от гибели был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению».

Когда вместо диктора появилась заставка, Эмму охватила паника. В памяти возникли доперестроечные годы, когда она жила в состоянии постоянного страха. В то время главным утешением для нее были книги. По пятницам они с группой друзей встречались у кого-то из них на квартире и обсуждали запрещенную литературу, которую с большим трудом удавалось раздобыть. Когда к власти пришел Горбачев, Эмма не ожидала никаких изменений к лучшему. Но ее отношение стало меняться в начале 1987 года – после того, как власть начала выпускать на свободу политических заключенных. А когда с введением политики гласности появилась возможность прочесть в официальных изданиях то, что раньше она читала в самиздате, страх исчез окончательно. Но сейчас, перед опустевшим экраном телевизора, первой мыслью Эммы было, что руководители путча пытаются опять загнать ее в тупик тирании и страха, из которого она, казалось бы, только недавно вырвалась.

В 9 часов утра Эмма вышла из дома. На улице не происходило ничего необычного, лишь типичный для понедельника затор перед въездом в тоннель под проспектом Калинина, где четыре полосы движения сливаются в две. Однако, войдя в местный гастроном на площади Восстания, она стала свидетельницей сцены, напомнившей ей то, что она видела семилетней девочкой в 1941 году, после нападения Германии на Советский Союз. Гастроном был плотно набит людьми, которые изо всех сил проталкивались к длинным очередям, чтобы скупить все, что можно, но на сей раз ими руководил страх не перед иностранным вторжением, а перед гражданской войной.

Эмма пробралась сквозь толпу и стала в длинную очередь за маслом. Вокруг продолжались жаркие споры. Одни говорили:

«Давно бы так!», другие называли вожаков переворота фашистами. Одна старушка сказала: «Наконец будет порядок».

«О каком порядке вы говорите? – не удержалась Эмма. – Вы будете сидеть за колючей проволокой и получать от них миску баланды. Вот весь ваш порядок».

Однако, вымолвив это, Эмма сразу почувствовала страх. Когда-то в очередях было опасно высказываться против режима. Если теперь все возвращается, ей не следует так забываться.

Когда Эмма вернулась домой, ей позвонила свекровь, которая собиралась к ней зайти, и сообщила, что по Крымскому мосту едут танки.

Сергей Латышев, ветеран войны в Афганистане, который работал в московской ветеранской организации, в 7:30 ехал по Садовому кольцу, когда увидел, как перед Павелецким вокзалом остановилось несколько бронетранспортеров. Его удивило, что они здесь делают, но он не придал этому значения. Выехал на Варшавское шоссе и направился на юг, к Подольску, где ему была назначена встреча относительно выделения земельного участка под коттеджи для инвалидов-ветеранов Афганской войны. Прибыв в Подольск, Сергей припарковал машину и направился к зданию горсовета.

Взошло солнце, и Латышева поразила захламленность и запущенность этого провинциального городка. У входа в горсовет ему встретился какой-то возбужденный чиновник.

«Что вы обо всем этом думаете?» – спросил чиновник.

«Вы о чем?»

«Горбачева свергли».

«Шутите?»

Но чиновник заверил, что говорит совершенно серьезно, и они пошли к машине Латышева, включили радиоприемник и стали слушать новости. Там периодически повторялись первые декларации комитета путчистов. Комитет обещал в 1992 году снизить цены и предоставить участки земли горожанам. Латышева разо-

злили эти заявления. Он знал, что бессмысленно снижать цены, когда в магазинах нет товаров.

Сергей решил немедленно вернуться в Москву и связаться со знакомыми ветеранами Афганской войны. Он не сомневался, что при отсутствии сопротивления Советский Союз очутится под игом нового тоталитаризма.

По дороге в Москву он вспоминал события последних десяти лет. В начале 1980-х Латышев был заместителем командира воинской части, которая располагалась вблизи города Имам-Сахиб в афганской провинции Кундуз. В те годы он верил в правоту СССР, но жестокость этой войны несколько поколебала эту веру. В своих снах он снова и снова переживал виденную им смерть людей и массовую гибель коней.

Вернувшись из Афганистана, Сергей чувствовал в себе агрессию, которую не мог объяснить. Он не мог спать без звуков артиллерийского обстрела, его грызло постоянное ощущение, что чего-то недостает. Позже он понял, чего – его автомата. Как-то, когда он ехал поездом из Москвы в Ленинград, он сидел напротив мужчины с маленькой дочерью. Вдруг девочка запела. Латышев смотрел на нее и поневоле начал улыбаться. Прибыв в Ленинград, он почувствовал, что опять стал прежним.

Он не сомневался, что вся пролитая им в Афганистане кровь оправдывалась интересами Советского Союза, защитой его южных границ. Но когда он начал искать работу и жилье в своем родном Никополе на Украине, то осознал все свое бесправие и беспомощность перед бюрократическими конторами. Он видел, что они полностью независимы от него, что они не собираются его слушать и что во главе каждой из них обязательно стоит член Коммунистической партии. И стал задумываться – кого он защищал, воюя в Афганистане: афганский народ или афганскую Компартию?

В то время в газетах не писали об Афганистане почти ничего. Если же вспоминали о начавшейся войне, то подавали ее так,

будто участниками боевых действий были одни только афганцы. После большой операции в Панджшерском ущелье, которая стоила Советской Армии многих жизней, советские газеты сообщали, что ущелье было взято афганской армией.

Молчание об Афганистане тревожило Латышева, как и застывшая рутина советской жизни. Какая-то часть его самого осталась в Афганистане, и он считал, что боролся за важное дело, но принесенную им жертву, казалось, сводила на нет инертность системы, управляемой очень немногими в интересах немногих, не принимая во внимание весь остальной народ. Его все больше охватывало ощущение, что в Советском Союзе никогда ничего не изменится. Ему казалось, что тяжелые испытания повседневной жизни превратили народ в тупоголовое стадо.

Когда к власти пришел Горбачев, Латышев подумал, что наконец-то страну возглавил честный человек. В 1986 году, в своей речи в Хабаровске, Горбачев заявил, что коммунистам не следует бояться критиковать друг друга, и Латышеву показалось, что изменения действительно могут начаться.

В 1988-м в газетах начали признавать, что война в Афганистане велась прежде всего советскими войсками и потери были большими. Журналисты начали писать и о жестокостях в Афганистане, и о народной поддержке афганского сопротивления. Эта новая откровенность стала для многих, в том числе ветеранов Афганской войны, серьезной психологической травмой.

Переехав вскоре в Москву, Латышев присоединился к одной группе ветеранов-«афганцев» и там в первый раз услышал, что участвовал, по-видимому, в аморальной войне. Однажды ему позвонил его друг Михаил Шильников, потерявший зрение в Афганистане, и рассказал, что услышал по телевидению, якобы эта война была бессмысленной. «Так что же, – спрашивал он у Латышева, – наши солдаты погибли там зря?»

Последним ударом для Латышева стало появление в 1990 году в советской прессе статей, где высказывалось предположение,

что Хафизулла Амин, прежний лидер Афганистана, был устранен не афганской армией, а КГБ. Это означало, что официальное обоснование этой войны – якобы СССР вошел в Афганистан в ответ на просьбу его законного правительства о помощи – было обманом.

Вернувшись из Подольска в Москву, Латышев пошел в местную организацию ветеранов и стал обзванивать бывших военнослужащих и приглашать их в штаб-квартиру организации. Однако, набирая номера своих товарищей и друзей, он вдруг понял, что внутренне не готов сражаться с мятежниками. Он пролил достаточно крови в Афганистане и больше не хотел ее проливать.

Эти колебания усилились, когда Латышев поговорил по телефону с другими ветеранами и почувствовал их страх перед кровавыми боями. Жена одного из них выхватила трубку и сказала: «Что вы делаете? Вы не убили его в Афганистане, так хотите убить здесь?»

В 6:45 утра 19 августа советник Александра Руцкого Валентин Перфильев проснулся от телефонного звонка. Звонил его близкий друг: «Плохие новости, старик, власть захватили генералы. Я только что слышал по радио. Горбачева арестовали».

Перфильев оделся, схватил со стола списки членов организации «Коммунисты за демократию», которую они с Руцким создали в противовес существующей Коммунистической партии, попрощался с женой и сыновьями и направился к станции метро «Крылатская», все время оглядываясь – не идет ли кто-нибудь за ним.

Перфильев стремился прежде всего отнести списки в свой кабинет в здании российского парламента, чтобы КГБ не завладел ими и не использовал их для арестов. Он доехал до станции «Баррикадная» и подошел к Белому дому приблизительно в 9:15. Странно, но в здании было сравнительно малолюдно. Перфильев вошел через главный вход, прошел мимо спящего милиционера и уборщицы, не обратившей на него никакого внимания, поднялся

на лифте на четвертый этаж и зашел в свой кабинет в канцелярии вице-президента, где спрятал взятые с собой материалы в сейф.

В 1970-х годах Перфильев – одаренный юноша из простой семьи – поступил в Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), который тогда был престижным местом учебы детей советской элиты. Там он с возрастающим возмущением наблюдал последствия существования в стране невидимой классовой структуры. Сначала его, выходца из простой семьи, чурались и презирали другие студенты, среди которых были и дети членов ЦК. Однако со временем он подружился с некоторыми из них и, бывая у них дома, был потрясен различиями в уровне жизни между ними и обычными гражданами.

Позже, став свидетелем диктатуры партийных функционеров во всех областях советской жизни, Перфильев часто вспоминал свои студенческие годы. В это время он сам был уже членом партии и возглавлял небольшую парторганизацию в Международном банке, где работал юрисконсультом. Он видел огромную пропасть между партаппаратом и обычными партийцами и то, как этот партаппарат пытается руководить всеми сторонами их жизни.

С приходом к власти Горбачева в методах партийной иерархии мало что изменилось. Партийные функционеры и теперь требовали безоговорочной политической лояльности, и каждый, кто на той или иной руководящей должности отклонялся от заданного курса, расплачивался за это увольнением.

Однажды, в январе 1990 года, гуляя с собакой, Перфильев увидел человека, который был кандидатом в депутаты российского парламента и выступал с мегафоном перед группой людей. Этим кандидатом оказался Руцкой. По завершении выступления они познакомились и стали приятелями. Оба длительное время были коммунистами и, обсуждая ситуацию в стране, обнаружили, что одинаково думают о необходимости радикального реформирования партии.

Руцкой победил на выборах и через год, 8 марта 1991 года, объявил о создании парламентской фракции «Коммунисты

за демократию». Перфильев занялся организацией внепарламентского движения поддержки, программа которого содержала требование внутрипартийной демократизации, констатировала обветшалость доктрин Маркса и Ленина и выступала за рыночную экономику с системой социальной поддержки незащищенных слоев населения.

«Коммунисты за демократию» начали получать тысячи писем от рядовых членов партии. Им писали целые партийные организации, спрашивая, как можно присоединиться к движению. Однако в августе и Руцкого, и Перфильева исключили из партии. Другие члены движения также попали под чистку, а после исключения из партии людей нередко увольняли с работы. Перфильев подозревал, что партийное руководство готовит государственный переворот.

Он зашел к Руцкому. Было еще рано, и Руцкой не знал, жив ли Горбачев и не арестован ли Ельцин. «Это идиотизм, – сказал он, имея в виду путч, – из этого ничего не выйдет». Но потом прибавил: «Если эти негодяи придут к власти, они ни перед чем не остановятся».

Перфильев вернулся в свой кабинет и стал наблюдать за движением на Кутузовском проспекте – длинной магистрали, по которой Наполеон когда-то входил в Москву. Вдали он увидел первую колонну танков.

Белый дом постепенно оживал – один за другим приходили российские депутаты, наконец появился Ельцин и другие члены российского правительства. К депутатам по телефону начала поступать информация от обычных граждан, от военных и даже от сотрудников КГБ. И несмотря на путаницу и всеобщую растерянность, Перфильев видел, что формируется определенное противостояние.

Всего в Москву вошло приблизительно десять тысяч военнослужащих и четыреста танков, которые заняли позиции в центре города. Бронетехника и войска сосредоточились также на двух плацдармах – центральном армейском аэродроме

на Ленинградском проспекте и Тушинском аэродроме на северо-западе Москвы. В то же время сотрудники КГБ конфисковали тиражи независимых газет, а независимое российское телевидение отключили от эфира. Впрочем, центральное телевидение, контролируемое государством, продолжало работать. Оно начало передавать запись балета «Лебединое озеро» и потом повторяло его весь день.

В Белом доме начали распечатывать «Обращение к гражданам России», составленное Ельциным, Хасбулатовым и Иваном Силаевым, российским премьер-министром, на даче Ельцина в Архангельском и переданное по телефону в девять утра, еще до того, как они все прибыли в здание парламента. Там объявлялось о захвате власти КГБ как о «правом реакционном, антиконституционном перевороте» и содержался призыв к всеобщей забастовке.

Вскоре в Белом доме появились и другие члены российского правительства. Генерал Виктор Самойлов с большим удивлением обнаружил, что мятежники не отключили здание от водо- и электроснабжения. И что еще более важно – они не отрезали его от средств связи, поэтому утром телефоны звонили практически в каждом кабинете – люди непрерывно требовали от своих депутатов новой информации о передвижении войск и бронетехники в городе и вокруг него.

В 11-м часу на заседание собрались тридцать членов президиума российского парламента. Ельцин, который был инициатором заседания, спросил, какие средства имеются в распоряжении российского правительства, чтобы противодействовать перевороту. Председатель только что сформированного российского КГБ Виктор Иваненко сказал, что под его командованием – тридцать человек, а Виктор Баранников, министр внутренних дел, доложил о немногим более трех сотен милиционеров, бывших в его распоряжении.

Несмотря на очень незначительные силы, Ельцин объявил, что будет бороться. В конце заседания он и несколько помощни-

ков вышли на балкон с видом на реку и начали раскидывать экземпляры его «обращения». Вернувшись, Ельцин подписал указ о подчинении ему КГБ, МВД и Министерства обороны. Потом вызывал военных для противостояния ГКЧП.

В 13 часов длинная колонна танков прошла Кутузовским проспектом, пересекла реку и разделилась надвое, окружив Белый дом.

В сопровождении охраны Ельцин спустился по лестнице и подошел к первому танку. «Вы пришли сюда убить Ельцина?» – спросил он у танкиста.

«Нет, конечно, нет», – ответил тот.

Тогда Ельцин взобрался на танк № 110 Таманской дивизии. «Граждане России, – обратился он к толпе, которая собралась вокруг, – законно избранный президент страны отстранен от власти... Мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным государственным переворотом... Реакция не пройдет. Я не сомневаюсь, что армия не пойдет против народа... Преступники предстанут перед судом».

Компромисса с мятежниками не будет. Ельцин и его правительство сделали свой выбор.

Сначала Перфильев был потрясен сложившейся ситуацией. Коридоры Белого дома заполнили вооруженные люди, некоторые из них были в масках, а депутаты повторяли слухи о неминуемом штурме. Часть танковой колонны, которая пересекла Калининский мост, стояла, направив свои пушки на Белый дом. Однако в 14 часов к Перфильеву стали поступать обнадеживающие новости. Члены кооператива «Алекс» – частной охранной фирмы, в которой работало много ветеранов Афганской войны, объявили, что будут защищать Белый дом. То же сделали курсанты Тульской и Орловской школ милиции и ОМОН Московской области. На острове Сахалин целый военный гарнизон заявил, что будет защищать Российскую республику.

Вести о готовности воинских подразделений прийти на помощь защитникам Белого дома дали Перфильеву надежду, что

кровопролитие удастся предотвратить. Однако он почти не сомневался, что в случае попытки руководителей мятежа взять Белый дом силой, армейские подразделения начнут сражаться друг с другом, и страна погрузится в гражданскую войну.

Между тем на улицах постепенно нарастал дух сопротивления. Толпа вокруг Белого дома, которая начала собираться около 11-ти часов, становилась все многочисленнее. Где-то были реквизированы подъемные краны, и люди начали возводить баррикады из бетонных блоков, труб, кирпича и кусков деревянных заборов и шпал. На станции метро «Баррикадная» стены были оклеены призывами к сопротивлению, а на перроне стояла женщина с мегафоном и кричала: «Все к Белому дому!» Валентин Полуэктов, лидер молодой Российской демократической партии, заметил женщину лет семидесяти, которая направлялась к Белому дому, и спросил у нее: «Куда вы идете? Вас же застрелят». «Пусть застрелят, – ответила женщина, – я больше не хочу слушать ложь».

В Белом доме генерал Константин Кобец, российский министр обороны, и его сотрудники развернули на столе большую карту Москвы и Московской области. На основании информации, сообщаемой по телефону гражданами, им удавалось точно определять расположение воинских подразделений, которые разворачивались в Москве. Среди информаторов министра обороны были и сотрудники КГБ, работавшие в военной контрразведке.

А между тем разведывательные группы из «Альфы» смешались с толпой и снимали на видеокамеры подходы к Белому дому и вооружение его защитников. В 14:00 генерал-майор Виктор Карпухин, командир группы «Альфа», принес один из снятых таким образом видеофильмов в Министерство обороны, и на заседании, при участии командующего сухопутными войсками генерала Валентина Варенникова и командующего воздушно-десантными войсками Павла Грачева, был отдан приказ о штур-

ме Белого дома. Согласно плану, десантники под руководством генерал-майора Александра Лебедя вместе с ОМОНом должны были взять штурмом восьмой подъезд и расчистить путь для группы «Альфа», которая потом поднялась бы лифтом на пятый этаж, где располагался секретариат Ельцина. Войска, оставленные извне, должны были обстрелять окна, чтобы отвлечь внимание, когда «Альфа» ворвется в секретариат, обезвреживая охрану и убивая российское руководство. Штурм был запланирован на три часа утра 20 августа.

Возвратившись в штаб-квартиру группы «Альфа», Карпухин созвал своих подчиненных и отдал им соответствующий приказ. Однако, на его удивление, двое офицеров – Михаил Головатов и Сергей Гончаров – сказали, что должны посоветоваться со своими людьми, а это означало, что они оставляют за собой право отказаться.

Пока Карпухин ожидал ответа, его непосредственные подчиненные связывались по радио с базами «Альфы», расположенными вокруг города. Затем группа «Альфа» внимательно просмотрела видеосъемки Белого дома и получила оружие и боеприпасы. Никто не сомневался, что российское руководство быстро обезвредят. Но «альфовцы» не желали столкновения с гражданским населением, и пока проходили минуты, каждый думал, как он будет выходить из Белого дома после уничтожения Ельцина и его коллег. А что, если им придется стрелять, чтобы прорваться сквозь разъяренную толпу? У всех у них были в городе семьи.

К удивлению всех присутствующих, члены группы «Альфа» единодушно отказались выполнять приказ. Это был первый случай в истории подразделения, когда оно не подчинилось прямому приказу. Растерянный Карпухин оставил штаб-квартиру и поехал в КГБ. Штурм парламента с помощью «Альфы» стал невозможным.

Танки, которые заняли позиции вокруг Белого дома, начали отступать. Однако по ту сторону реки десять танков Таманской

дивизии под командованием майора Евдокимова еще стояли перед гостиницей «Украина». Депутат Сергей Юшенков наблюдал за этим маневром из окна своего кабинета на 11-м этаже, когда ему позвонил по телефону Сергей Братчиков – гражданский, который разговаривал с майором Евдокимовым, и сообщил, что тот в принципе готов пересечь со своими танками реку и стать на защиту Белого дома. Взяв с собой еще одного депутата, Виктора Аксючица, Юшенков направился через Калининский мост к танкам, и там обоих познакомили с Евдокимовым.

«Как я понимаю, у вас два варианта, – сказал Юшенков. – Или вы выполняете приказы преступной банды, которая захватила власть, или подчиняетесь приказам президента, избранного всем народом». В сопровождении Юшенкова Евдокимов подошел к своим бойцам и сообщил им, что они сейчас пересекут реку и станут на защиту Белого дома.

Когда первые танки проехали через мост и преодолели баррикаду, шум толпы заглушил грохот моторов, люди окружили первый танк, заставив его остановиться, и сотни человек пытались пожать руки членам его экипажа. На каждом танке было поднято красно-бело-синий российский флаг, и они расположились полукругом у Белого дома, с пушками, нацеленными наружу.

Западные радиостанции на весь Советский Союз распространили новость о танковой роте, перешедшей на сторону России.

Ельцин, работавший в одном из конференц-залов на третьем этаже, подписал указ, которым создавал теневое правительство, и отправлял 23-х военных и гражданских руководителей в засекреченную местность в 35 км от Свердловска. В случае захвата Белого дома эта группа должна была начать действовать от имени российского правительства.

В 21:00 в вечерней информационной телепрограмме диктор зачитал заявление ГКЧП, в котором переворот объяснялся желанием защитить страну от экстремистских сил. Однако в тех же новостях были показаны кадры с Ельциным на танке и сообщено о его призыве к общей забастовке. После этого шел

сюжет о пресс-конференции членов ГКЧП, которая состоялась в тот день. Телеоператор заметил, что у вице-президента Янаева дрожат руки, и показал их крупным планом, поэтому миллионы зрителей убедились, что эти «лидеры» не уверены в себе. В конце программы было объявлено о введении комендантского часа с 23:00, все это побудило многих москвичей срочно двигаться к Белому дому. Вскоре со станции метро «Баррикадная» народ повалил валом. У многих были с собой термосы, зонтики и одеяла – люди приготовились провести там ночь. В то же время группа российских депутатов обратилась к собравшимся перед Белым домом с призывом оставаться на месте.

«Не оставляйте нас самих», говорилось в этом обращении. Бэлла Куркова, ведущая популярной телепрограммы «Пятое колесо», объявила через громкоговорители, что только что созданная в подвальном помещении радиостанция Белого дома будет работать до завершения кризиса.

К началу следующего дня надежды руководителей мятежа на то, что одного лишь вида танков на улицах будет достаточно для запугивания населения, не сбылись. В 10:30 пошел сильный дождь, но перед Белым домом уже была огромная толпа: к тем, кто провел здесь ночь, подошло свежее подкрепление.

На балкон вышел Ельцин и обратился к народу, стоя за пуленепробиваемыми щитами, которые держали перед ним охранники. «Эта хунта нагло захватила власть и так же нагло собирается ее удержать, – сказал он. – Разве Язов не покрыл свои руки кровью в других республиках? Разве Пуго не обагрил кровью свои руки в Прибалтике и на Кавказе? Российские прокуроры и МВД получили приказы; каждый, кто будет выполнять распоряжение этого незаконного комитета, будет привлечен к ответственности! Демократия победит, и мы будем оставаться здесь столько, сколько нужно, чтобы эта хунта предстала перед судом!»

Когда Эмма Брук около полудня приехала к Белому дому, масштабы собравшейся там толпы ее удивили и обрадовали.

Вид тысяч людей, которые стояли под дождем с зонтиками или укрывшись полиэтиленовой пленкой, убедил ее в возможности сопротивления.

В полдень с балкона к собравшимся обратилось несколько ораторов, призывая их защищать Белый дом и не расходиться. Среди них были Руцкой, советник Ельцина Геннадий Бурбулис, вдова Андрея Сахарова Елена Боннэр, священник Глеб Якунин – в прошлом политзаключенный, а теперь депутат российского парламента, а также юморист Геннадий Хазанов, насмешивший народ, сказав, что невозможно осуществлять чистую политику «грязными и дрожащими руками».

Под навесом возле одного из подъездов Белого дома со стороны реки был оборудован пункт первой медицинской помощи, и после митинга Эмма пошла туда, чтобы предложить свои услуги. С десяток людей с нарукавными повязками с красным крестом стояли за столами, на которых были разложены антисептические комплекты, спирт, марля и бинты. Несколько медсестер, измученных долгой бессонной ночью, лежали на выступе под окнами, пытаясь как-то отдохнуть. Радио Белого дома начало передавать предупреждение о необходимости иметь при себе влажные носовые платки или марлю и закрывать ими рот и нос в случае газовой атаки. Врачи и медсестры из пункта помощи попросили Эмму раздобыть бинты и оборудование. Она поехала домой, чтобы позвонить дочери в США. Когда она вернулась через несколько часов, медпункт уже располагался около троллейбуса, используемого как защитный барьер со стороны здания, выходящего в парк.

Врачи и медсестры из разных московских больниц, которые съехались к Белому дому, нагруженные медикаментами, сказали, что в новых врачах нет необходимости, поскольку и пациентов пока еще нет. Тогда Эмма пошла к другому троллейбусу, где женщины занимались приготовлением бутербродов. Одна из женщин спросила: «Вы чем заняты? А мы тут готовим еду». Эмма заколебалась и хотела уйти. «Ну, что же вы стоите? – сказала женщина. –

Давайте, помогайте нам». Эмма села в конце троллейбуса и начала готовить бутерброды с колбасой и сыром и укладывать их в большую корзину, чтобы потом раздать людям.

Работая под ритмичный стук дождя по крыше троллейбуса, Эмма слушала разговоры своих соседок между собой – они обсуждали популярных певцов и кинозвезд, словно забыв об опасности.

Когда Сергей Латышев пришел к Белому дому утром 20 августа, он увидел поблизости от главного входа стол и нескольких людей за ним, а над ними – табличку: ШТАБ САМООБОРОНЫ. Он встал в очередь вместе с другими людьми, желавшими принять участие в защите Белого дома, но процесс оказался слишком неорганизованным. После того, как добровольцы записывались у стола, их отводили к ближайшей группе, где они и стояли, ничего не делая. Между группами началось братание, а очередь становилась все длиннее. Поняв, что самостоятельно он может сделать больше, Латышев ушел оттуда и вернулся к штаб-квартире ветеранов-«афганцев», чтобы обсудить план действий с Владимиром Николаевым, директором дорожно-строительного предприятия, закрепленного за их группой.

Это предприятие, зарабатывавшее деньги для поддержки деятельности ветеранов Афганской войны, имело в своем распоряжении самосвалы, катки, бульдозеры и трактора с прицепами. Латышев рассказал Николаеву о плохой организации защиты Белого дома и предложил воспользоваться этими транспортными средствами для блокирования движения на Алтуфьевскому и Дмитровскому шоссе, тем самым помешав передвижению бронетехники к столице. Ввиду того, что на кольцевой дороге вокруг Москвы оставалось значительное количество этой техники, любая попытка отрезать ей путь к центру могла иметь стратегическое значение.

Оба ветерана взвесили последствия такого мероприятия. Они осознавали, что это может привести к образованию боль-

ших и непреодолимых заторов на дорогах, но больше всего их тревожило, как это отразится на работе «скорой помощи» и пожарных. Латышев решил вернуться к Белому дому и посоветоваться с его защитниками.

Когда он туда прибыл, люди уже образовали вокруг здания живую цепь. В ней были довольно большие бреши, но, по крайней мере, какая-то защита была организована. Группа ветеранов Афганской войны стала в цепь перед двадцатым подъездом, на ближайшем к американскому посольству углу здания; это был один из подъездов, которыми еще пользовались. У афганцев были ножи и железные прутья; договорились, что в случае штурма пустят их в ход, чтобы разоружить хотя бы одного нападающего и завладеть его автоматом для защиты от остальных.

Латышев смотрел на защитников – студентов и учителей, домохозяек и начинающих бизнесменов – и думал: они не знают, какой ужас их ждет. Впрочем, со временем оборона стала плотнее, промежутки в живой цепи постепенно исчезали, добавилась вторая, а затем и третья цепь защитников. Посторонним стало намного тяжелее приблизиться к Белому дому.

Стоя под дождем, Латышев слышал все время разные сообщения о танках, которые движутся к зданию парламента. Атмосфера становилась напряженной, люди собирались вокруг тех, кто имел с собой радиоприемники.

У одного из чиновников Белого дома Латышев спросил, не следует ли дать сигнал о возведении баррикад с помощью дорожной техники, но после долгого ожидания услышал в ответ, что в этом нет необходимости. Кое-кого из ветеранов попросили проверить информацию о том, что на крышах окружающих домов сидят снайперы.

Демонстранты прислонялись друг к другу, чтобы не замерзнуть, серый дым от десятков костров вздымался в небо перед Белым домом. Оставалось только ждать.

Под вечер все сильнее стало ощущаться, что путчисты столкнулись с серьезными проблемами. Государственный переворот

должен происходить мгновенно, а здесь все развивалось как-то замедленно, путчисты пассивно наблюдали, как Ельцин призывает к открытому неповиновению, а вокруг Белого дома продолжают сосредотачиваться силы сопротивления.

Приободренные нерешительностью руководителей мятежа, депутаты российского парламента и Моссовета начали объезжать воинские части и убеждать военнослужащих переходить на сторону народа.

Георгий Задонский, один из российских депутатов, подъехал к баррикаде на Калининском мосту после того, как целый день отдыхал в сельской местности на своей даче. Он спросил у прохожего, что происходит. Тот ответил: «Слева – наши танки, справа – их танки, а посредине – мост».

Задонский показал свой депутатский значок, перелез через баррикаду и пошел к зданию парламента, где вместе с группой других депутатов получил задание: ехать в район Фили в конце Кутузовского проспекта и поговорить там с солдатами. Прибыв на место, Задонский хотел пообщаться с командиром части, но офицер отказался с ним встречаться. Однако и не пытался помешать разговору Задонского с солдатами, и тот вместе с другими депутатами стал раздавать им экземпляры обращения Ельцина к военнослужащим с призывом не выполнять приказов ГКЧП. Потом они перешли через мост и пообщались с командиром одной из рот.

«Часть Таманской дивизии перешла на нашу сторону, – сказал Задонский. – А вы что же?»

«Что бы ни сделала армия, – ответил офицер, – ее обвинят. Мы будем виноваты, если пойдем против народа, и будем виноваты в невыполнении приказа, если не пойдем».

Задонский вернулся к Белому дому, и его сразу отправили на переговоры с танкистами, расположившимися около станции метро «Электрозаводская» на Яузе. Но когда он и другие депутаты туда прибыли, то увидели, что солдаты окружены местны-

ми жителями, обвиняющими их в том, что они пришли «стрелять в собственный народ». Командир танкистов жаловался, что Язов поставил армию в трудное положение. Однако когда Задонский спросил его, выполнит ли он приказ стрелять в людей, тот не ответил.

Еще одного депутата, Сергея Засухина, отправили с группой коллег на Минское шоссе, где они натолкнулись на группу военных грузовиков, которые везли зенитные прожектора. Поскольку существовала опасность штурма Белого дома с воздуха, Засухин с другими депутатами решили предотвратить отправку прожекторов в центр города. Они вышли на шоссе, остановили два тягача с прицепами и попросили водителей поставить их поперек дороги, заблокировав таким образом движение платформ с прожекторами, а сами начали беседу с солдатами и их командиром.

«Какое у вас задание?» – спросил Засухин.

«Мы не знаем, – ответил один из военнослужащих. – Нам не сказали, куда именно нам ехать, сказали лишь – в Москву».

Депутаты заявили военным, что разобьют прожектора, если они не развернутся и не уедут из Москвы. Это не обозлило солдат, они лишь попросили депутатов не трогать грузовики. «Мы за них отвечаем, – объяснили они, – если хотите что-то разбить, бейте прожектора – за них мы не ответственны».

В конце концов командир сказал, что его подразделение сейчас развернется и покинет Москву, после чего Засухин с товарищами сели по своим машинам и проводили военных за пределы города.

Потом Засухин поехал к станции метро «Аэропорт», где на Ленинградском проспекте стояло десять легких танков, и обратился к полковнику, который ими командовал. Он спросил у него о номере его части. Тот отказался отвечать, но сказал, что получил приказ продвигаться к центру города, в густонаселенный район, и решил не выполнять этот приказ.

Это решение полковника было одним из многих актов неповиновения, которые начались на всех армейских уровнях.

Замполит танковой части, отвечавший за идеологическую подготовку личного состава, попробовал объяснить депутатам свою личную позицию. «Я должен был бы быть среди народа около Белого дома, – сказал он, – но я в форме, а потому в случае приказа идти к Белому дому и стрелять, я пойду к Белому дому и буду стрелять».

Засухин вспылил. «Вы не ребенок, – сказал он. – У вас шлем на голове, но эта голова вам дана, чтобы думать. Если у вас есть жена и дети, то подумайте, что будет лучше для них». Беседа длилась три часа, и в это время депутаты раздавали военным листовки и разговаривали с ними. Когда они ушли, Засухин был уверен в том, что значительная часть армии откажется выполнять преступные приказы и не будет открывать огонь по людям.

Перфильев раздумывал, что же делать. Со всей страны поступали известия, указывающие, что местные органы власти, КГБ и воинские части начали переходить на сторону российского правительства. Толпа возле российского парламента росла, и внимание мира было теперь приковано к противостоянию перед самими его дверями. В то же время Перфильев понимал, что мятежникам, чтобы покончить с сопротивлением российского правительства, достаточно было бы одной надежной воинской части. И он решил, что защитники должны прибегнуть ко всем возможным средствам, чтобы связаться с генералами КГБ, МВД и армии и убедить их не принимать участия ни в одном штурме.

В 16:30 Ельцин вышел из своего кабинета и спокойно пожал руки людям в приемной. Здесь собрались те, кто работал с ним много лет. Ельцин коротко поговорил с каждым из них. «Благодарю, что остались, – сказал он. – Мы выстоим, чего бы это нам ни стоило».

Ельцин держался внешне спокойно, но по его глазам было видно, что он обеспокоен и встревожен. Из всех источников поступала информация, что ГКЧП решил штурмовать Белый дом этой ночью. На этот случай были разработаны планы эвакуации

Ельцина. И все же его вид способствовал укреплению боевого духа у всех собравшихся.

Ельцин и Руцкой связались с руководителями мятежа. Руцкой позвонил Язову, Янаеву и Пуго и спросил об их намерениях. Каждый из них настаивал, что никто не собирается штурмовать здание парламента и они хотят лишь спасти страну от краха.

Руцкой позвонил также Крючкову, но тот не ответил на звонок. Перфильев воспользовался правительственным телефоном и поговорил с одним знакомым генералом, предупредив его, что в здании находятся триста вооруженных людей. Генерал, похоже, был удивлен этой информацией, и у Перфильева создалось впечатление, что в армии есть люди, которые не желают кровопролития.

Время шло, и постепенно становилось очевидным, что военачальники колеблются, поэтому участники обороны Белого дома поняли, что должны сделать все возможное, чтобы увеличить их неуверенность. Каждый, кто имел знакомых в Минобороны, КГБ или МВД, постоянно звонил им по телефону. В каждом таком разговоре шла речь об одном: армию нельзя втягивать в политику, проблему нужно решать законным путем, согласно конституции.

Николай Столяров, полковник, ранее возглавлявший ревизионную комиссию Российской Коммунистической партии, пообщался по телефону с Язовым, Пуго, Янаевым и Анатолием Лукьяновым, председателем Верховного Совета. Он настаивал на отводе войск из центра Москвы. Ему ответили, что не собирались применять военную силу, а стремились лишь предотвратить беспорядки.

В течение всего дня напряжение возрастало, но в то же время для блокирования деятельности Белого дома ничего не предпринималось. Телефоны продолжали работать, не было никаких попыток прекратить подачу воды и электроэнергии. Руцкой был озадачен поведением руководителей путча. После одного разговора с Янаевым он сказал: «Он все время оправдывается. Говорит, что не хочет жертв, а хочет лишь улучшения экономики».

Несмотря на это, со временем появились признаки того, что путчисты готовятся к военным действиям. Один из полковников КГБ перешел на сторону защитников Белого дома и показал план штурма здания бойцами спецподразделения. Бронетехника путчистов, которая до того передвигалась туда-сюда как будто бессистемно, теперь начала занимать позиции, расположившись широким кольцом вокруг здания, а защитники Белого дома стали замечать снайперов на крышах окружающих домов.

На совещании защитников Перфильев и другие советники Руцкого пытались решить, как лучше всего противостоять штурму. Перфильев предложил устроить вокруг Белого дома 50-метровый кордон, чтобы каждый пересекающий эту зону был уязвим для выстрелов. С этой идеей согласились и по радио Белого дома призвали людей отодвинуться от здания, оставив свободной 50-метровую зону.

В 23:00 Белый дом напоминал зону военных действий. Фасад здания освещали прожектора, дождь бил косыми струями, везде полыхали костры.

Несмотря на комендантский час, народ волнами прибывал сюда через станцию метро «Баррикадная». Белый дом был окружен тройным кольцом защитников, которые стояли локоть к локтю, – даже журналистам было нелегко попасть к входу в здание. Тучи висели низко, до них было не больше двухсот метров – неподходящая погода для нападения с воздуха. И все же красные сигнальные фонари на крыше, которые в данной ситуации могли служить маяками для вертолетов, решили разбить, и их осколки полетели вниз, в толпу. На крыше были установлены пулеметы.

Опасения в толпе сменялись надеждой, люди хватались за любые обрывки информации, какой бы сомнительной она ни была. Постоянно поступали сведения о движении бронетехники в направлении Белого дома. В то же время распространя-

лись слухи, якобы Язов и Крючков сложили свои полномочия, а у Павлова случился сердечный приступ.

Однако за пределами территории, непосредственно прилегающей к Белому дому, шла обычная жизнь. Когда Валентина Линикова, российский депутат, зашла в гостиницу «Россия», то была просто потрясена происходившим в гостиничном ресторане: звучала музыка, люди танцевали и развлекались. Приятель предложил купить ей розы. «Ты в своем уме? – сказала она ему. – Я там сражаюсь на баррикадах, а ты предлагаешь купить мне цветы».

Время шло, и напряжение вокруг Белого дома продолжало расти.

Ельцина, который стал бы первой мишенью любой атаки, проводили в бомбоубежище в подвале здания.

Один из охранников заглянул в троллейбус, в котором работала Эмма Брук, и сказал, что волонтерам пора уходить.

«Мы делаем бутерброды», – сказала одна из женщин.

«Какие еще бутерброды? – крикнул тот. – Мы ждем штурма!»

Эмма присоединилась к толпе. Предупреждения, которые транслировало радио Белого дома, становились все более настойчивыми и зловещими. Эмма смотрела на людей вокруг себя и думала, что с ними всеми может произойти. Незнакомые люди предлагали ей сигареты, еду или чай, который кипятили на костре. Люди улыбались и пытались подбодрить друг друга, и это чувство братства заставило Эмму забыть о таких вещах, как вечный дефицит продуктов или грубости в очередях.

Из Белого дома вышли депутаты с автоматами и стали обходить цепи обороны, беседуя с людьми и подбадривая их. По радио раздавался голос Руцкого: «Если танки будут двигаться на вас, отступайте и не кричите. Не провоцируйте их, не прибегайте к каким-либо активным действиям против них. Это сопротивление – не вооруженное, это сопротивление – духовное.

Поэтому те, кто имеет при себе железные прутья, должны их выбросить. Вы защищаете нас своим присутствием».

Потом радио Белого дома сообщило, что была информация, якобы штурм должен состояться в полночь, но потом появились новые прогнозы. И тогда Руцкой попросил женщин и детей покинуть площадь. «Друзья, – сказал он, – если случится что-то трагическое, не впадайте в отчаяние. Жизнь на этом не остановится. Жизнь продолжается, и вы продолжите борьбу».

Когда Эмма услышала эти слова, ее охватил ужас. Она посмотрела на юношей, стоявших около нее, и представила, как на них будут наезжать танки, будут давить их гусеницами или расстреливать. Ей захотелось как-то защитить их всех, но она была так же беспомощна, как и они. В толпе возникло какое-то движение – это женщины оставляли площадь. Эмма на мгновение задумалась, не пойти ли и ей, но вид этих молодых ребят заставил ее остаться. Она знала, что ничем не сможет им помочь, но глядя, как они стоят под дождем, она чувствовала их духовную силу: они готовы драться за свое будущее и будущее своих детей.

Эмма смотрела на флаг Российской Федерации, который реял над зданием парламента, и осознавала, что судьба российского народа в это мгновение висит на волоске.

Площадь теперь была вплотную забита людьми, толпа достигла только что возведенных баррикад, которые блокировали доступ к Белому дому со стороны расположенного позади него парка им. Павлика Морозова. Эмма не верила, что баррикады остановят танки, зато была почти уверена, что в случае газовой атаки или общей паники эти баррикады не дадут людям возможности выбраться с площади.

Пока она стояла вместе с другими в ожидании, радио Белого дома непрерывно передавало последние новости. В 00:20 группа танков начала движение от Таганской площади в направлении Белого дома. В 00:45 БТРы разрушили баррикады около метро «Баррикадная». В районе Теплого Стана были слышны выстрелы. По Ленинградскому проспекту в сторону центра города дви-

галось десять танков. Вдруг толпу всполошили звуки стрельбы со стороны Садового кольца. Из громкоговорителей прозвучало объявление: «Всем, кто знает таджикский, узбекский или кавказские языки, выйти из цепи и идти к Садовому кольцу». На этот призыв отозвалось много ветеранов Афганской войны – оставив оцепление, они побежали в указанном направлении, чтобы помочь в общении с нерусскоязычными солдатами из южных республик.

Из разных мест были слышны выстрелы, в небо запускались сигнальные ракеты.

В 02:30 Бэлла Куркова объявила по радио: «Братья и сестры, мы ожидаем штурм в ближайшие десять минут». Защитники начали выключать свет в здании Белого дома, и оно целиком погрузилось во тьму.

Бурбулис обратился ко всем, кто находился в здании или вблизи него. Он сказал, что нужно дать дорогу танкам – это продиктовано не страхом, а желанием избежать ненужных жертв. Через несколько минут радио Белого дома прекратило вещание, и к неуверенности добавилось еще и отсутствие информации. В ночи продолжали раздаваться далекие выстрелы.

За квартал отсюда, на Садовом кольце, около въезда в тоннель под Калининским проспектом скопилось множество людей. Там была построена баррикада из бетонных блоков, а из другого конца тоннеля выезд блокировали несколько троллейбусов, поставленных вплотную друг к другу.

Около 02:15 со стороны посольства США к тоннелю началось продвижение колонны легких танков и одной бронемашины. Когда они приблизились, люди стали прыгать вниз, в тоннель, образовав живую цепь перед первой из бетонных баррикад. Солдаты начали стрелять в воздух. Толпа расступилась, и танки прорвались через заграждение и направились к троллейбусам, блокировавшим тоннель с противоположной стороны.

Первый танк колонны проложил себе путь сквозь ряд троллейбусов, но после этого народ хлынул к тоннелю и начал толкать троллейбусы назад, чтобы закрыть образовавшуюся брешь. Люди кричали солдатам: «Что вы делаете? Вы должны быть на нашей стороне!»

Когда заграждение из троллейбусов было восстановлено, а все танки заехали в тоннель, люди стали подтаскивать бетонные блоки к въезду, отрезав таким образом машинам путь к отступлению.

Минуты шли, напряжение росло. Пока танки ожидали, кто-то из толпы накинул брезент на БТР, перекрыв обзор. Солдатам пришлось вылезать из машины, чтобы убрать брезент, но когда БТР опять начал двигаться, Дмитрий Усов, ветеран Афганской войны, взобрался на него сзади и открыл один из люков, чтобы попытаться поговорить с экипажем. Солдаты открыли огонь и застрелили Усова. Он упал назад, но его нога застряла в люке, а голова и руки волочились по асфальту, оставляя кровавый след под дождем.

Когда БТР начал толкать тело Усова взад и вперед, в тоннеле поднялся невероятный шум. Люди кричали «Убийцы! Мерзавцы!» – и проклинали солдат. Никто не знал, жив Усов или мертв. В общей панике один молодой мужчина попробовал вытащить тело и получил пулю в плечо. Подбежали на помощь еще двое ребят, и их поочередно раздавили колеса бронемашины. Тоннель продолжал заполняться людьми, пока БТР не остановился и людям не удалось вытащить застрявшее тело. После этого БТР попробовал прорваться сквозь баррикаду, но здесь кто-то бросил бутылку с «коктейлем Молотова», которая разорвалась рядом с машиной. За ней полетела вторая. БТР все пытался прорваться. Бросили третью бутылку, но тоже не попали в машину. Потом полетели еще четыре «коктейля», и БТР начал гореть. Солдаты выпрыгнули из него и стали стрелять, в результате еще один человек был ранен. После этого они бросили пылающий БТР и побежали пересаживаться в другие машины.

Люди, опасаясь взрыва, стали заливать БТР водой. Жертв забрали «скорые помощи» и милицейские машины.

Солдаты стояли с автоматами наготове, чтобы сдержать толпу. Они боялись, что их линчуют. В тоннель спустилось несколько российских депутатов, они успокоили людей и договорились об отводе бронетехники при условии, что она поедет прочь от Белого дома.

Пока Перфильев ходил по кабинетам канцелярии вице-президента на четвертом этаже, защитники непрерывно получали информацию о движении бронетехники в направлении Белого дома. Язов делегировал некоторые из своих полномочий генералу Михаилу Моисееву, начальнику Генштаба. Перфильев попросил одного близкого друга позвонить помощнику Моисеева и спросить, можно ли позвонить самому генералу. Ответ был положительным, и Перфильев сказал Руцкому, что тот может связаться с Моисеевым. Однако Руцкой махнул рукой: «Не имеет смысла, он не будет со мной разговаривать».

К удивлению всех собравшихся, Моисеев сам позвонил Руцкому. Генерал пытался успокоить его – мол, войска, которые передвигаются по Москве и вокруг нее, не будут захватывать Белый дом. Руцкой ответил, что в случае штурма будет кровавое побоище, но он, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы избежать этого.

В кабинет Руцкого зашел Столяров, и Руцкой с Перфильевым стали ждать, пока Столяров позвонит Янаеву. В это время были уже слышны грохот танков на проспекте Калинина и первые выстрелы. Поступали также сообщения о высадке воздушного десанта на аэродроме в Кубинке под Москвой и о движении Кантемировской дивизии по Кутузовскому проспекту в направлении парламента.

«Вы должны остановить продвижение войск», – сказал Столяров Янаеву.

«Нет никакого продвижения войск», – ответил тот.

Потом Перфильев попробовал позвонить в КГБ. Крючков не отвечал, его заместитель – тоже.

В два часа ночи сообщения стали столь угрожающими, что Перфильев попробовал еще раз поговорить с Моисеевым. Трубку снял помощник, сказав, что начальник Генштаба отдыхает у себя на даче. Перфильев попросил тот номер телефона. «Мне приказано не тревожить Моисеева и никому не давать его телефонный номер», – ответил помощник. Но все же потом номер назвал, и Столяров позвонил Моисееву.

«Скажи ему, что танки уже подошли, – сказал Столярову Перфильев. – Пусть послушает, что происходит». И, максимально растянув телефонный шнур, поднес телефон к окну. Окно было приоткрыто, и с улицы доносились шум, крики и выстрелы.

«Вы слышите, что они уже убивают людей? – сказал Столяров. – Немедленно остановите танки!»

Моисеев сказал: «Ладно». И положил трубку.

Наступила изнурительная пауза. Защитники начали спускать жалюзи и выключать свет по всему зданию. Руцкой отдал приказ охранникам открывать огонь без предупреждения, если в здание войдут сотрудники КГБ в штатском. Было сообщение от Совета Обороны, что 103-я воздушно-десантная дивизия КГБ движется по проспекту Калинина в сторону Белого дома, а три вертолета готовятся к высадке парашютистов.

Перфильев попросил у Руцкого оружие. Тот улыбнулся.

«Твое главное оружие – это голова и шариковая ручка», – сказал он.

Потом Перфильев ушел, а Руцкой включил настольную лампу и поставил ее на пол. После этого он сел за стол, с автоматом в руках и пистолетом на столе и стал ожидать штурма.

Перфильев между тем шел темными коридорами. Он заметил, что в жилых домах вдоль реки до сих пор было необычно много освещенных окон.

У подхода к крылу, в котором располагалась канцелярия вице-президента, спали усталые защитники. Они спали сидя, склонившись над своими автоматами, которые не выпускали из рук.

Перфильев прошел мимо них и подумал, что через несколько минут может начаться штурм, и первые выстрелы их разбудят. Никто из гражданских помощников Руцкого не спал.

Перфильев пошел в свой кабинет и позвонил теще. «У нас через двадцать минут начнется штурм, – сказал он ей. – Вряд ли выживут все. В любом случае, позаботьтесь о моей семье».

Внизу, на площади, застыла мертвая тишина. Около 02:40 радио Белого дома прекратило вещание и в течение следующих 20 минут молчало. Вскоре из здания вышел Эдуард Шеварднадзе, бывший министр иностранных дел, помахал народу и пожал руки тем, кто был ближе к входу. Немного позже вышел отец Глеб Якунин, член российского парламента, и сказал защитникам: «Бог с нами».

В три часа ночи Эмма разговорилась с двумя немолодыми людьми. «Это не конец, – сказала она, – поведение этих фашистов непредсказуемо. Они не предусмотрели запасного варианта, поэтому могут потерять все».

«Они уже потеряли, – сказал один из мужчин. – Им не хватило решительности для немедленного штурма здания. А теперь уже поздно. Но главное – мы здесь и стоим за правое дело».

В Совете Обороны внимание было сосредоточено на действиях двух подразделений: оперативной группы в гостинице «Мир», расположенной через дорогу от Белого дома, и спецбригады КГБ, которая базировалась в отдаленном районе Теплый Стан.

Геннадий Янкович, отвечавший за сбор разведданных, осознавал, что, ввиду явного провала с поддержкой путча армейским командованием, единственной надеждой путчистов остаются спецподразделения КГБ, которые все еще считались лояльными к путчистам. Бригады КГБ, расположенной в Теплом Стане, было более чем достаточно, чтобы положить конец сопротивлению защитников Белого дома. В ее состав входили мастера рукопашного боя, оснащенные бронежилетами, гранатами со слезоточивым газом и другими спецсредствами. На эту бригаду внимание Совета обратил звонок двух ее бойцов в Белый дом

с сообщением, что бригада получила приказ начать штурм здания около трех часов ночи.

По получении этой информации группу депутатов отправили в Теплый Стан, чтобы они поговорили с бойцами бригады и попробовали переагитировать их. К удивлению депутатов, командиры предоставили им беспрепятственный доступ ко всем солдатам, и депутаты проинформировали их, что это антиконституционный переворот, направленный против народа, а народ имеет право защищать избранных им представителей.

Но как себя поведет эта бригада КГБ, Совету Обороны было до конца непонятно.

Незадолго до запланированного штурма эта бригада оставила место своего базирования и начала продвижение в направлении Белого дома. Однако, прибыв на улицу Профсоюзную на юго-западе Москвы, бригада остановилась. Более часа Янкович не имел о ней никакой информации. Наконец, в 04:30, когда над Москвой уже начало светать, ему позвонил друг кого-то из членов бригады КГБ: бригада не собирается штурмовать Белый дом, люди отказываются выполнять этот приказ. Янкович понял, что теперь мятежникам не на кого опереться, и впервые вздохнул с облегчением.

Приблизительно в то же время Эмма Брук покинула площадь перед Белым домом и пошла Девятинским переулком, мимо нового здания американского посольства. Один из прохожих сказал ей, что местная радиостанция «Эхо Москвы», ретранслировавшая передачи радио Белого дома, возобновила свое вещание. Эмма прошла мимо автомобилей посольства, поставленных посреди улицы как барьер против танков, потом свернула на Садовое кольцо и направилась к площади Восстания. Светало, и Эмма увидела, что день опять будет облачным. Вдали, на площади, темнело скопление танков. Вдруг к Эмме приблизился какой-то мужчина и стал кричать: «Идите отсюда! Это не игра – это война, это кровь. Вы здесь погибнете!»

Эмма испугалась, однако, оглядевшись, не обнаружила признаков опасности. Потом заметила, что танки на площади Восстания включили фары и двинулись от Белого дома в направлении площади Маяковского.

Наблюдая, как танки едут прочь, Эмма почувствовала невероятное облегчение. Домой она пришла в пять часов утра и сказала своей двенадцатилетней падчерице: «Думаю, это конец».

Когда Елена Райская попала на то место, где была стрельба на Садовом Кольце, там стоял ужасный шум. Люди бежали к тоннелю в почти истерическом состоянии. Солдаты размахивали автоматами, чтобы сдержать толпу, а несколько депутатов кричали в мегафоны: «Не стреляйте, не стреляйте!» Поскольку демонстранты были готовы бросать в солдат камни, а солдаты настроены были отстреливаться, депутаты стали кричать, что уберут баррикады, чтобы БТРы смогли выехать.

Через несколько минут десятки людей начали оттаскивать бетонные блоки, а на бронемашины установили российские триколоры, чтобы их не трогали. Когда они уехали, Елена пошла к Белому дому, который теперь был окружен баррикадами. Здесь царила атмосфера контролируемой паники – люди повторяли известия о том, что к Белому дому направляется Витебская дивизия КГБ, известная как «головорезы». Ей понадобилось бы минимум времени, чтобы захватить здание.

Вдруг по радио Белого дома раздался голос Беллы Курковой: «Штурм начинается, – сказала она. – Сюда направляется огромное количество танков».

Вслед за этим объявлением наступила тишина, а затем – звуки стрельбы в районе американского посольства. Елена была уверена, что штурм начался.

Потом случилось что-то жуткое. Группа людей слушала «Эхо Москвы», но эта обычно надежная радиостанция начала передавать какую-то явную ложь: множество танков атаковали Белый дом, здание разрушено и многие убиты. Елена мгновенно

поняла, что слышит не «Эхо Москвы», а его имитацию, состряпанную КГБ, включительно с копированием голосов дикторов.

Примерно через час настоящее «Эхо Москвы» появилось в эфире и объявило, что Таманская и Кантемировская дивизии выведены из Москвы. Елене впервые показалось, что опасность отступает.

В шесть утра Елена поехала домой. В такси она оказалась вместе с немолодым человеком, который тоже уезжал из этого района.

«Есть ли у нас шанс на победу?» – спросила она его.

«Думаю, есть», – ответил попутчик.

«А я думаю, что нет», – возразил таксист.

Елена вернулась домой, все еще не зная точно, что происходит. Однако в 11:00, когда «Эхо Москвы» начало транслировать заседание российского парламента, она поняла, что все позади.

Утром 21 августа Сергей Латышев все еще не верил, что кризис миновал. Шел сильный ливень, но толпа перед Белым домом была еще большей, чем ночью. Часть костров горела, другие погасли, а люди все время обсуждали стрельбу на Садовом кольце: сколько человек там погибло? Сколько раненых? Как это произошло?

Ветераны Афганской войны, стоявшие в охране здания, явно устали после бессонной ночи, но пока еще не верили в окончательный успех. Сергей пытался проанализировать ситуацию и пришел к выводу, что путчисты испугались международной реакции на разгон толпы. И с каждым часом нерешительность приближала их к катастрофе.

Первым признаком того, что кризис действительно миновал, стало открытие заседания российского парламента. Сергей все еще стоял на посту у 20-го подъезда, когда радио Белого дома начало транслировать сессию. Чтобы лучше слышать, он оставил свой пост и подошел поближе к громкоговорителям. Прежде всего депутаты аннулировали все решения ГКЧП. Хасбулатов выступил с речью, некоторые депутаты обвиняли его в непра-

вильной формулировке фразы о незаконности этого комитета, а другие спрашивали, какое это имеет значение.

Стоя под дождем и слушая, Сергей подумал, что в зале, который он в настоящий момент охраняет вместе с товарищами-ветеранами, происходит что-то немного комичное, но одновременно и трогательное. Это наш законный парламент, думал он. Если бы мы имели такой парламент десять лет тому назад, то войны в Афганистане, возможно, никогда и не было бы.

В середине дня Хасбулатов объявил, что самолет с членами российского правительства, в том числе Руцким, находится на пути в Крым, где они должны встретиться с Горбачевым. Он попросил охранников оставаться на своих постах до следующего утра, чтобы противостоять возможным провокациям. Сергей с другими ветеранами решили остаться. В течение всего дня поступали хорошие новости. Последние армейские подразделения покинули Москву, и была информация, что руководители мятежа арестованы. В 17 часов в продажу поступил вечерний выпуск газеты «Известия» с огромным заголовком: «Реакция потерпела поражение».

Наконец сессию парламента начали транслировать по российскому телевидению, возобновившему свое вещание.

Это окончательно убедило Сергея в том, что опасность миновала. За дебатами в парламенте наблюдала вся страна. Теперь он мог идти домой.

2

ИДЕОЛОГИЯ

Учение Маркса всесильно, ибо оно верно.

В. И. Ленин. Собрание сочинений

«Я, как и многие из моего поколения, росла при социализме без веры в Бога, – писала одна молодая мать в газету "Правда" от 18 января 1988 года. – Можно сказать, что социализм и его идеалы и были нашим богом. ...В результате политики гласности и мощной критики идея социализма была в известной мере дискредитирована. Я не могу говорить за всех, но моя вера в социализм пошатнулась».

Один московский специалист по экономике сельского хозяйства узнал о преступлениях сталинского режима еще в семидесятые годы, изучая западные источники во время своих частых заграничных командировок, – но при этом он всегда помнил, что читает написанное «врагами». Однако, когда история сталинского периода начала освещаться в советских публикациях, он вдруг сказал своему другу, журналисту Анатолию Стреляному: «Вся наша история, вся наша система – это позор. Если бы я был моложе, я бы сдал свой партийный билет. О каком социализме, о каких идеалах можно говорить после всего этого?»

«Все, во что я верил в своей жизни, – писал в газету "Правда" Сергей Чапаев, член КПСС с девятнадцатилетним стажем, – рассыпалось в прах. Не осталось ничего святого. Сталин, Молотов,

Ворошилов... Мы пели о них песни. Мы верили им больше, чем самим себе. Как мне смотреть в глаза другим? Вся моя жизнь оказалась бессмысленной».

Тридцатилетняя стюардесса «Аэрофлота» говорила своему другу Александру Лякину, религиозному диссиденту: «После всех этих публикаций просто страшно стало жить. После всего этого я не понимаю, куда идти. Везде лишь темнота и ужас. Когда я вижу Бовина и Зорина [ветераны советской пропаганды], которые защищают перестройку, мне хочется запустить кирпичом в телевизор».

«Они уничтожили нашу веру и правду, – говорила Татьяна Завязкина, член партии и надсмотрщица в тюрьме "Матросская тишина". – Теперь мы ни во что не верим и убеждены, что правды вообще нет».

К 1988 году Советский Союз начал испытывать кризис веры. Причиной была политика гласности, которая принесла с собой огромный поток правдивой информации, но в то же время подорвала ядро советской системы, советской идеологии.

Горы книг были написаны о марксизме-ленинизме – советской идеологии, и во многих из них прославлялся марксистско-ленинский анализ капитализма или описывались способы захвата власти. Однако сама суть этой идеологии заключается в том, что она позволяет человеку пренебрегать иррациональной, инстинктивной частью своей природы и представляет собой логическое, самодостаточное мировоззрение, которое методично исключает саму возможность существования Бога.

Попытка упразднить Бога унаследована от сугубо негативных, демифологизирующих интеллектуальных тенденций периода Просвещения. В России она имела частичный успех благодаря ослаблению организованной религии. «Церкви, – писал Карл Юнг, – суть символы традиционных и коллективных убеждений, которые для многих верующих являются следствием не собственного внутреннего опыта, а бездумной веры, склонной исчезать, как известно, как только начинаешь о ней размышлять. Следовательно,

содержание веры входит в противоречие со знанием, и часто оказывается, что иррациональность первой не выдерживает конкуренции с логическими выводами второго».

Онтологической сердцевиной марксизма является теория диалектического материализма, согласно которой все существующее, – это материя в ее движении. Нет ни Бога, ни духа, ни души. Сознание – атрибут высокоразвитой материи. Материя характеризуется «единством противоположностей», противоречивых аспектов объекта, которые, тем не менее предусматривают наличие друг друга.

Теория диалектического материализма, постулирующая собственно механистический мир, где все постоянно превращается в свою противоположность, представляла собой радикальный отказ от религиозного мировоззрения – предположения, что смысл земной жизни исходит из какого-то трансцендентного источника, – и устраняла основания для существования прав человека, потому что лишала отдельного человека любого другого земного ориентира.

На фоне этой безликой вселенной необходимо было установить источник смысла, и это было достигнуто теорией исторического материализма, «раскрытой истиной» идеологии.

Этой своей теорией Маркс и Энгельс утверждали, что история творится путем материальной трансформации экономических условий производства, а это приводит к конфликту между производительными силами и производственными отношениями и способствует обострению классовой борьбы, которая на каждом этапе завершается победой наиболее прогрессивного класса. Так, рабовладельческое общество сменилось феодальным, феодальное – капиталистическим, а с победой рабочего класса капиталистическое общество тоже должно уступить место другому – бесклассовому обществу, в котором частная собственность будет ликвидирована и наступит эра совершенной демократии с полным единодушием и неслыханным благосостоянием.

Вкладом Ленина стало то, что в рамках теории Маркса он указал на определяющую роль коммунистической партии как аван-

гарда рабочего класса. Таким образом, главным действующим лицом истории вместо рабочих стала партия, а стремление коммунистов к абсолютной власти вытекало из определенной всемирной теории, что позволило коммунистическим режимам претендовать на собственную историческую непогрешимость и неизбежность.

Марксизм противопоставил миру, созданному Богом, позволявшему надеяться на рай после смерти, мир без Бога, обещавший рай на земле. Ленинизм прибавил к марксизму методику захвата власти. Сочетание новой теории действительности с методами «реализации» этой действительности возымело мощный психологический эффект. Это было всепоглащающее мировоззрение. Претендуя на абсолютную рациональность, марксизм-ленинизм стал орудием мобилизации всех народных ресурсов – духовных, эмоциональных, политических – для создания коммунистического режима, установление которого стало наивысшим достижением безбожной религиозной веры.

Марксизм-ленинизм десятилетиями держал в своих тисках миллионы людей, пока в середине 1980-х в Советском Союзе не начался кризис веры – благодаря тому, что с политикой гласности стала очевидной уязвимость марксистско-ленинской идеологии.

Религию, которая приберегает рай для загробного мира, невозможно проверить на практике, но светской религии наподобие марксизма-ленинизма, обещающего рай на этом свете, для подтверждения собственной легитимности придется прилагать непрерывные усилия для имитации реальности.

Для создания иллюзий советский режим не жалел сил. Однако с началом гласности доверие к этим иллюзиям сильно пошатнулось. Граждане СССР впервые увидели очертания реального мира, и когда вера в утопию, обещанную марксизмом-ленинизмом, стала угасать, идеологический мир их воображения потерял смысл.

В течение многих лет, предшествовавших приходу к власти Горбачева, советская идеология опиралась на «фантомный город» – этакую зеркальную комнату, созданную на каждом уровне советского общества.

Природа этого «фантомного города» находила отображение в том, что преподавалось в школах. На уроках истории создание СССР подавалось как эпохальное событие мировой истории, а все события после 1917 года – как подтверждение неизбежности победы коммунизма во всем мире. На уроках литературы о великих писателях XIX века рассказывали, что они искали положительный идеал и, следовательно, были предвестниками большевистской революции. Студентам-биологам излагались теории академика Опарина – его труды, посвященные ранним формам жизни, якобы «опровергают» идею сотворения жизни какой-то внешней силой. Происхождение человека от обезьяны объяснялось на основании теории Энгельса, изложенной в «Диалектике природы»: обезьяны превратились в людей после того, как начали для выживания использовать орудия труда. Поэтому именно труд, а не ум, – главное отличие человека от животных. На химических факультетах преподаватели утверждали, что законы диалектики можно проверить с помощью классификации элементов в периодической таблице Менделеева.

Однако важнейшими были моральные законы. В марксистско-ленинском мире не существовало абсолютной истины, а лишь истины отдельных классов, и наивысшей из них была истина рабочего класса, которую и отстаивал советский режим. «Классовую мораль» марксизма-ленинизма охарактеризовал Ленин в своей речи перед комсомольцами 2 октября 1920 года, заявив, что коммунисты отрицают любую мораль, которая опирается на «внечеловеческие» и «внеклассовые» понятия.

Для коммунистов нравственность полностью подчинялась классовой борьбе – положительным было то, что разрушало старое эксплуататорское общество и помогало построить «новое, коммунистическое».

Картина мира, прививаемая еще в школе, подкреплялась работой прессы, которая тоже описывала Советский Союз как страну, идущую по пути к земному раю. Вместо хроники событий, типичных для жизни в реальном мире, – аварий, преступлений, коррупции, борьбы за власть – средства массовой информации транслировали новости, которые могли исходить лишь из рая: бесконечные юбилеи, статистика урожаев и заседания Верховного Совета – парламента, всегда поддерживающего правительство. Любые проблемы, упоминавшиеся в советской прессе, назывались «недостатками».

Одним из тех мест, где «производилась» информация для советских граждан, была штаб-квартира советского информационного агентства ТАСС, расположенная в центре Москвы.

Однажды, вскоре после того, как Валерий Федоров начал работать в ТАСС, в отдел международных новостей поступило сообщение американского информационного агентства *UPI*. В нем шла речь о том, что одна американская компания разработала новые, более качественные автомобильные покрышки и ради рекламы своего достижения готова бесплатно заменить старые покрышки, начиная с определенного года выпуска.

Дежурный редактор решил не публиковать эту новость, ведь сообщение о технических усовершенствованиях и предложении бесплатной замены определенного товара было бы неудачной иллюстрацией к рассказам о бедах капитализма. Однако его начальник, редактор американских новостей, сказал: «Мы можем использовать это по назначению». Он забрал сообщение и через пять минут вернулся с отредактированным текстом: «Вот это уже можно публиковать!»

«В условиях основанного на обмане капиталистического рынка, – говорилось в отредактированной заметке, – фирмы часто предлагают товары низкого качества, зная, что покупатели не всегда могут определить, какой товар лучше. Именно поэтому известная американская фирма по изготовлению покрышек недавно была вынуждена заменить изготовленные ею некаче-

ственные покрышки...» Заметка была опубликована под заглавием «Обман покупателей».

ТАСС не претендовал на статус информационного агентства в обычном смысле, он считал себя органом, который передавал «правильное освещение событий». Когда летом в 1980 году в Польше начались забастовки, ТАСС молчало, пока противостояние не достигло критической точки. Только тогда в одной из корреспонденций из Варшавы было сообщено, что Польша занимает одно из первых мест в мире по производству картофеля. В статье отмечалось, что страна занимается культивированием картофеля уже триста лет.

Отношение ТАСС к реальности отражалось и в его терминологии, стандартной в газетах и на телевидении по всему СССР. Западные государства были «империалистическими», социалистические страны – «демократическими». В Азии ведущими демократиями были Северная Корея и Вьетнам.

Когда журналисты ТАСС утром приходили на работу, они обычно обсуждали то, что слышали накануне вечером из сообщений западных радиостанций, полагая их полностью надежными источниками информации. Однако они никогда не обсуждали содержание советской прессы, включая собственные корреспонденции, которые по умолчанию считались ничего не стоящими.

Сначала Федоров не писал собственных статей, а лишь корректировал текст в корреспонденциях, поступавших из Азии. Свой первый материал он написал на основании сообщения одного информационного агентства об условиях содержания узников на островах Фиджи, которое его попросили отредактировать. Там рассказывалось, что тюрьмы на Фиджи настолько комфортабельные, что люди предпочитают пребывание в них жизни на свободе.

Федоров понимал, что в оригинальном виде этот материал использовать невозможно, и сначала не знал, что с ним делать. Но даже того короткого времени, в течение которого он работал в ТАСС, было достаточно, чтобы принятый в отделе новостей

способ мышления стал оказывать на него воздействие. Когда он начал писать, то сам удивился тому, что знает, что от него требуется, и очень скоро статья была завершена. Отредактированное содержание корреспонденции было таким: жизнь на Фиджи настолько нестерпима, что люди предпочитают ей жизнь в тюрьме. Среди причин этой тяжелой ситуации упоминались инфляция и безработица, хотя Федоров не имел никакого представления, действительно ли эти явления там существуют.

Статью Федоров отдал дежурному редактору, который прочитал ее и, не поинтересовавшись, откуда у Федорова информация об инфляции на островах Фиджи, сказал: «Молодец. Именно то, что нужно».

Возвращаясь к своему столу, Федоров чувствовал удовлетворение, которое почти сразу сменилось паникой. «Если я не уберусь отсюда, – подумал он, – то сойду с ума».

«Московская правда», как и ТАСС, пыталась представлять «правильную» версию событий. Газета публиковала тексты правительственных коммюнике и телеграмм, бессмысленные редакционные статьи на идеологические темы и материалы об экономических достижениях под заголовками наподобие «Выше и выше» и «Обоснованное удовлетворение», которые с таким же успехом можно было использовать для описаний полового акта. Однако главным содержанием этой газеты были корреспонденции на тему настроений масс. Так, когда Леонид Брежнев получил вторую звезду Героя Социалистического Труда, репортер «Московской правды», регулярно освещавший настроения трудящихся, позвонил на какую-то автобазу и спросил у директора, как к этому событию отнеслись рабочие. Директор заверил, что они восприняли ее одобрительно, и предоставил репортеру несколько фамилий своих главных «ударников», после чего журналист написал от их имени выступления с обязательствами перевыполнить план в честь награждения дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева.

«Московская правда» публиковала также статьи о конкретных злоупотреблениях, характеризуя их как «недостатки».

Однажды газета решила проверить жалобы на невозможность в определенное время купить молоко в некоторых московских магазинах. В Московском управлении торговли корреспонденту сказали, что эти магазины не получают достаточного количества молока с молокозавода. На молокозаводе же ему сказали, что не имеют достаточного количества молоковозов. В действительности машин хватало, но половина из них простаивала из-за нехватки запчастей. Корреспондент нормальной газеты написал бы о последствиях такого простоя для своевременного снабжения молоком, но это заставило бы задуматься о состоянии экономики вообще. Поэтому журналист решил объяснить проблему недостатками графика снабжения. Но для получения гонорара ему нужно было предложить какое-то решение, и он предложил увеличить количество завозов молока до трех раз в день – несмотря на то, что и существующий двухразовый график невозможно было выдерживать. В конечном счете статью опубликовали. Рабочие автобазы приняли резолюцию с благодарностью «Московской правде» за ее критику и с обещанием устранить проблему. На этом все завершилось, и тема исчерпалась.

Пропаганда этого режима была организована так, чтобы изображать Советский Союз земным раем, а Запад – настоящим адом, и давать гражданам ошибочное представление о собственной жизни, часто было привлекательнее, чем та реальность, которую они наблюдали вокруг. Это представление усиливалось с помощью постоянного фабрикования миражей.

МОСКВА, ДЕКАБРЬ 1981 ГОДА

С Ленинских гор открывается вид на этот город, раскинувшийся на километры, – на мегаполис с широкими проспектами и кварталами коричнево-желтых многоквартирных домов, с бульварами и парками, с извилистой рекой, которая делит его пополам и вдоль берегов которой заводы выбрасывают дым

в уже туманное небо. Лишь там, внизу, на многолюдных улицах с убогими магазинами и наставительными лозунгами, чувствуешь уникальность этого города – не как физического явления, а как состояния души.

Извне этот город часто кажется мрачным и невыразительным. Но это обманчивое впечатление. Москва существует на двух уровнях: реального города и города фантомного, плода коллективного воображения его обитателей.

Первый аспект фантомного города – это ошеломляющий ассортимент обманчивых фасадов.

Центр Москвы прорезает проспект Калинина – широкая улица, по обе стороны которой выстроились двадцатипятиэтажные небоскребы. На одной стороне улицы – пассаж из стали и стекла, на другой – кинотеатр и большие магазины. В ущелье между небоскребами в обе стороны движется поток транспорта, и мчат по центральной полосе служебные черные лимузины. На уличном экране демонстрируются сцены из последних советских фильмов, и красные и зеленые цвета кинокадров брызгами отражаются в витринах пассажа.

Этот проспект, по замыслу, очевидно, должен был напоминать большие авеню на Западе, с которыми, впрочем, он имеет мало общего. Тротуары заполнены тысячами людей, но эта толпа абсолютно добропорядочна и бесцветна. Здесь нет киосков, лавочек, граффити и почти никакой рекламы. Милиция в форме и в штатском практически излишня, потому что все прохожие чрезвычайно дисциплинированы. Толпа движется так организованно, что кажется, будто этот поток пешеходов регулируется каким-то небесным аналогом той же дорожной милиции, которая управляет транспортными потоками.

В переполненном гастрономе у мясного прилавка – длинная очередь. Сейчас – час-пик, но продавщица именно теперь идет в туалет. Возвратившись через десять минут, она продолжает работать в черепашьем темпе. Толпа недовольна: «А быстрее нельзя? Мы после рабочего дня, нет уже сил стоять». У мно-

гих на лицах признаки какой-то внутренней подавленности. Мрачные, неулыбающиеся, часто с отекшими лицами и воспаленными глазами, люди похожи не столько на созидателей XXI века, сколько на переживших гражданскую войну.

«Вас много, а я одна», – огрызается продавщица. Но очередь продолжает высказывать свои претензии, и продавщица наконец не выдерживает: «Хотите на мое место?» Она снимает передник и, держа его перед собой, добавляет: «Вот вам! Давайте, поработайте!»

Неожиданно в гастроном на тележке завозят новую порцию мяса, и в магазине поднимается невероятная суматоха, покупатели хватают мясо, которое продавец бросает на прилавок, не обращая внимания на их толкотню – так, словно кормит животных.

У другого прилавка возникает паника, потому что из громкоговорителей раздается объявление: «Сыр заканчивается! Сыр заканчивается!»

«Ни молока, ни сыра, – говорит женщина в очереди. – Скоро будет хуже, чем в Америке».

Между тем у одного из покупателей, стоящего в очереди уже полчаса, кончается терпение. «Сколько мы еще будем торчать в этих очередях? – спрашивает он. – Что это за жизнь?»

«Ничего, – отвечает какая-то старушка, – зато весь мир нас боится».

В другой очереди покупатели рассматривают глыбу замороженной рыбы, пытаясь определить, не тухлая ли она. Они знают по горькому опыту, что рыбу часто размораживают, и если она портится, ее опять замораживают и продают.

Неподалеку пожилая уборщица замечает Клару Якир, в которой безошибочно распознает еврейку. «Сара, Сара, Сара, – ворчит она. – Эти Сары всегда бросают бумажки на пол».

«А ты знаешь, что такое – Сара? – спрашивает Клара. – Сара – это красавица, а ты уродливая старая ведьма, поэтому замолчи, холера, и занимайся своим делом!»

Наступает темнота, зажигаются уличные фонари, из метро вываливаются толпы народа, автобусные остановки заполняются людьми, едущими с работы домой. Огни в небоскребах загораются мозаикой на потолках каждого этажа, и шум уличного движения становится слышнее в холодном вечернем воздухе.

Чтобы попасть в кафе, где за синтетическими занавесками светятся красные и фиолетовые огни, нужно постоять в очереди. Обед состоит из котлет, макарон и «компота» – стакана ароматизированной воды с бесцветными кусочками яблок под коричневой пленкой. В главном зале – стук оловянных ножей и вилок под аккомпанемент звуков громкого чавканья. Вдруг возникает какой-то скандал – это одна из официанток, желая уменьшить свою рабочую нагрузку, не разрешает группе посетителей сесть за пустой столик. Потом зрелище становится еще более тоскливым: сидя ровными рядами, люди сосредоточенно жуют, их щеки раздуваются, челюсти двигаются, а внимание отвлекается лишь изредка – на какое-то подобие беседы. Наблюдая эту сцену, трудно избежать вывода: если труд сделал из животного человека, то коммунизм добился успеха в обратном направлении.

В это время на уличном экране появляются объявления. В первом из них прохожих призывают страховать свое домашнее имущество. Следующее рекомендует пешеходам переходить улицу лишь по сигналу светофора. Затем идут предупреждение водителям – придерживаться ограничений скорости – и предупреждение о риске пожара с изображением человека, который курит в кровати. Этот цикл повторяется весь вечер.

Люди, заполняя тротуары, спешат на автобусы или делают последние покупки, проходят мимо цветочных магазинов, где продают лишь искусственные цветы, и мимо очередей к ресторанам с полупустыми столиками на втором этаже. Наверху, вокруг освещенной модели земного шара, кружит модель сверхзвукового самолета, рекламируя международные авиарейсы, недоступные для этих людей.

В одной из соседних со мной квартир Аркадий Шапиро разговаривал с уборщицей, работавшей у его родителей, – глубокой старухой за восемьдесят, родом из подмосковной деревни.

«А как жилось в России до революции?» – спрашивал у нее Аркадий.

«Да очень хорошо – отвечала старуха, возясь на кухне. – У каждого было свое хозяйство, и было полно еды».

«И мясо было?»

«Да, сынок, полно мяса».

«А масло?»

«Конечно, и масла полно».

«И каждый крестьянин имел собственный участок земли?»

«Да, сынок, земля была хорошая, и каждый крестьянин обрабатывал свою собственную землю».

«Так вы считаете, бабушка, что жизнь тогда была лучше, чем теперь?»

Старушка прекратила тереть пол и посмотрела на Аркадия взглядом, которого он у нее до сих пор не замечал.

«Нет, сынок, теперь лучше».

«Но если до революции каждый имел землю и было полно мяса и масла, то как же можно говорить, что теперь лучше?»

«Так теперь же американцы окружают нас своими базами», – сказала старуха, пристально всматриваясь в Аркадия. Ни в ее простом лице, ни в голосе ничего не изменилось, но впервые за все те годы, когда Аркадий был с ней знаком, он заметил в ее глазах хитрый огонек.

Кроме обманчивых фасадов наподобие тех, что на проспекте Калинина, в Москве были также фиктивные организационные мероприятия, предназначенные, как и фасады, производить впечатление реализации совершенной демократии, обещанной советской идеологией. Наиболее распространенными из этих мероприятий были особые политические ритуалы – выборы, субботники и социалистические соревнования, которые, несмотря на отсутствие какой-либо практической цели, имели

важное значение, потому что принуждали советских граждан принимать участие в создании иллюзий.

Выборы организовывались, чтобы продемонстрировать гражданское сознание советского народа. За полтора месяца до выборов агитаторы, закрепленные за каждым избирательным участком, обходили свою территорию, фиксируя изменения в списках, происшедшие с момента предыдущих выборов: кто умер или переехал, пошел в армию или вышел из заключения. В каждой квартире агитатор спрашивал, не болеет ли кто-нибудь в семье, потому что в этом случае избирательную урну должны были принести на дом.

В день выборов агитаторы присутствовали на избирательном участке, отмечая явку каждого из своих избирателей. Обычно участки были обеспечены скромным буфетом и патриотическими маршами, которые раздавались из плохонького магнитофона. В конце зала для голосования обычно стоял бюст Ленина в окружении красных флагов и две урны для бюллетеней. Бюллетени содержали инструкцию для избирателей: оставить фамилию лишь того кандидата, за которого голосуешь. Далее в списке стояла только одна фамилия.

Выборы, на которых все голоса отдавались за одного-единственного кандидата, считались демонстрацией «настоящей», а не «формальной» демократии. Однако это «единодушие» было следствием принуждения.

Примерно за неделю до выборов в Верховный Совет к Михаилу Байсерману, о котором было известно, что он отказывается голосовать, пришел агитатор. Он бодро осведомился у Михаила: «Ну что? Будем голосовать или нет?»

«Соседи будут, а я не буду», – ответил Байсерман.

«Почему?»

«Я много лет не голосую», – сказал Байсерман.

«Вы чем-то не удовлетворены?»

«Я всем доволен, но голосовать не буду».

Вскоре после этого разговора Байсермана на работе вызывало начальство.

«Партсекретарь сказал мне, что вы отказываетесь голосовать. У вас хорошая репутация, вы ведущий работник, имеете высшее образование, однако не хотите голосовать. Может, вы чего-то не понимаете?»

«Я все понимаю, – сказал Байсерман, – но все равно не буду голосовать».

«Я спрашиваю вас не как начальник, а как человек человека: почему вы не хотите голосовать?»

«А зачем? Мой голос ничего не изменит».

«Знаете, – сказал начальник, – я надеялся, что вы предложите какое-то более оригинальное объяснение».

Байсерман улыбнулся.

«Давайте откровенно, – продолжал начальник. – Меня вызывал партсекретарь и сказал: “Ваш работник отказывается голосовать, примите меры”. И теперь мне нужно как-то отчитаться».

Байсерман понял проблему начальника. Если он будет настаивать на своем, начальника обвинят в плохой воспитательной работе в коллективе.

«Ладно, – сказал он наконец. – Я согласен. Скажите партсекретарю, что я передумал и пойду голосовать».

Начальник вздохнул с облегчением. Байсерман пошел в избирательный участок и взял открепительный талон, а это означало, что он собирается голосовать в другом месте.

Ирина Макклеллан, жена американского профессора Вудфорда Макклеллана, которой в течение девяти лет отказывали в разрешении на выезд в США, тоже не была настроена принимать участие в голосовании. Незадолго до выборов 1980 года в ее двери позвонили.

«Макклеллан?» – спросил агитатор.

«Да, это я».

«Вы собираетесь голосовать?»

«Нет, не собираюсь», – сказала Ирина. И объяснила, что пытается эмигрировать, чтобы жить вместе с мужем, но ей постоянно отказывают в разрешении на выезд, ничего не объясняя.

Агитатор сообщил, что кандидат в депутаты от округа, где живет Ирина, сам Брежнев.

«Моя ситуация, – сказала Ирина, – связана именно с Брежневым. Я написала ему сотни писем и не получила ни одного ответа».

«Но почему вы думаете, что в этом виноват сам Брежнев?»

«Я жду визу на выезд. Если я ее получу до выборов, то пойду и проголосую за кого угодно – хоть за Брежнева, хоть за вас».

Через три недели агитатор позвонил и спросил, получила ли Ирина визу. «Нет, – сказала она, – и я не рассчитываю получить ее до выборов».

«Поэтому вы не будете голосовать?»

«Нет, не буду голосовать».

В день выборов в двери позвонили. «Вы не пойдете?» – спросил агитатор, когда Ирина отворила двери. «Нет, – ответила она, пытаясь сдержать раздражение. – Не пойду».

Кроме выборов, советские граждане принимали участие в субботниках и социалистическом соревновании, где, как считалось, выражали свой «энтузиазм». Субботники были днями «добровольного» труда на государство, номинально – рабочим подарком трудящихся, и руководство любого советского предприятия или учреждения могло объявлять их в любое время. На всех предприятиях СССР проводился также Ленинский субботник – 22 апреля или в ближайшую к этой дате субботу.

Один из лаборантов научно-исследовательского института консервно-овощной промышленности спросил руководителя своей лаборатории, нельзя ли освободить его от участия во Всесоюзном Ленинском субботнике. «Нельзя, – ответил начальник, – потому что ваше участие в нем является сугубо добровольным».

«Вы не понимаете, – сказал лаборант. – Мне действительно трудно будет прийти».

«Это ваше дело», – отрезал руководитель лаборатории.

Тогда лаборант пошел к секретарю партийной организации института. «Я хочу, – сказал он, – выяснить свой социальный статус в случае моей неявки на субботник».

Партсекретарь ответил, что присутствие на субботнике дело, конечно, добровольное, но намекнул, подмигнув, что неучастие в нем негативно отразится на и без того не блестящей общественной репутации лаборанта как члена коллектива.

Советские граждане принимали также участие в социалистическом соревновании, где «добровольно» соревновались друг с другом за увеличение объемов производства. В начале года каждый гражданин брал на себя в своем учреждении или на заводе письменные «социалистические обязательства», а затем работники индивидуально или коллективно «боролись» за первенство в выполнении этих обещаний.

На Московском химическом заводе, где работала Соня Исакова, эти торжественные обещания собирала председатель профкома. «Девушки, – говорила она, – давайте-ка напишем социалистические обязательства. Даю вам полчаса». И каждая женщина из цеха серной кислоты писала приблизительно такое: «В связи с 64-й годовщиной Советской власти обязуюсь принять участие в выработке до конца года пяти тонн серной кислоты сверх плана, а также повышать свой идеологический уровень, посещая занятия по изучению произведений Ленина и придерживаться трудовой дисциплины». То же происходило в других цехах предприятия, пока каждый работник не подписывал такое заявление. После этого всем назначались «соперники», с которыми надлежало соревноваться: рабочий соревновался с рабочим, подразделение – с подразделением (бухгалтерия – с финансовым отделом, инженеры – с конструкторским бюро, цех серной кислоты – с цехом производства поташа), а весь завод – с каким-то другим аналогичным химзаводом в Казахстане.

Результаты соревнований сводились в таблицы представителями профсоюзов, которые давали волю своей фантазии, выду-

мывая продукцию, игнорируя прогулы и приписывая работникам усилия по повышению их идеологического уровня, которого никогда не существовало. Например, семьсот рабочих этого химического завода якобы записалось на курсы по изучению марксизма-ленинизма. Когда же проводились занятия, на них присутствовало не более трех человек. Несмотря на это, представитель профсоюза отчитывался о посещении занятий всеми рабочими, создавая тем самым проблему для завода в Казахстане, на котором работало всего пятьсот человек.

Пока все это длилось, созданная режимом «зеркальная комната» имела гипнотизирующий эффект. Везде, куда ни глянь, – в газетах, на радио и телевидении, в парламенте, на работе, в залах заседаний, в школе – человек сталкивался с обманчивыми фасадами, которые должны были удостоверять истинность одной-единственной точки зрения. Свобода слова прекратила свое существование даже на уровне возможности. Идеи, которые нельзя было высказывать, так и не были сформулированы, а люди, ища прибежища в конформизме, обратились к стереотипному, безопасному способу мышления.

Однако, когда в 1986 году была провозглашена гласность, люди стали получать доступ к информации, противоречившей официальной версии действительности. Любые правдивые данные в прессе, наподобие настоящих цифр смертности новорожденных в СССР, становились шоком после стольких лет официальной лжи. Времена правления Брежнева в газетах вскоре начали называть «периодом застоя».

В 1988 году, когда политика гласности разворачивалась полным ходом, стали разваливаться все аспекты лицемерной действительности, созданной режимом: его лживая версия истории, его лживое описание современной реальности и бесконечные миражи, целью которых было создание и поддержка у собственных граждан и у иностранцев впечатления о единодушном одобрении этого режима советским народом.

Казалось, что едва ли не за одну ночь Москва смирилась со снижением определенного метафизического статуса. С торцов зданий исчезли лозунги, с улиц – портреты членов Политбюро, включая Горбачева, дома стояли облупленные, давно изгнанные милицией из публичного пространства пьяницы и инвалиды опять появились на улицах, а во дворах начал скапливаться мусор. Созданная режимом фиктивная реальность продемонстрировала всю свою искусственность, и вера в идеологию уходила в прошлое.

3

ГОРБАЧЕВ И ПАРТИЯ

«То кто же ты?»
«Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Гете. «Фауст»

23 августа 1991 года. Мрачный, дождливый день. В штаб-квартире ЦК КПСС на Старой площади – бывшем эпицентре советской власти – царила атмосфера управляемой паники. Пока высшие должностные лица потерянно блуждали по коридорам, секретари и курьеры продолжали работать. На столах накопились кипы документов с грифами «секретно» и «совершенно секретно». На улице выходивших из здания насильно обыскивали, а возмущенная толпа с российскими флагами требовала военного трибунала над КПСС.

В международном отделе на шестом этаже продолжалось заседание, на котором решался вопрос об исключении вице-президента Янаева из партии за его участие в путче. Один из должностных лиц сказал, что исключить Янаева нужно, потому что путч был ударом по рядовым коммунистам, которые о нем ничего не знали. Другой заявил: «Мы должны оставить в партии Янаева и руководителей переворота, а исключить всех вас, потому что они настоящие коммунисты, а вы изменники». В конечном итоге участники заседания проголосовали за исключение Янаева.

Вдруг по внутреннему радио прозвучало объявление: «Всем покинуть здание в течение 90 минут. Моссовет не может гарантировать безопасность тем, кто останется после этого срока...»

Конференц-зал международного отдела мгновенно опустел. Те, кто только что судил Янаева, побежали в свои кабинеты искать среди документов то, что можно было бы им инкриминировать. Валентин Фалин, заведующий международным отделом, приказал уничтожить все секретные документы, но когда сотрудники стали сносить охапки бумаг в секретариат, охранники предупредили, что сжигать их нельзя, потому что народ на площади будет штурмовать здание, если увидит дым над крышей.

Вскоре чиновники выстроились в очередь перед измельчителями документов, запихивая в них все подряд. Когда в машины попадали металлические детали скоросшивателей, в очередях возникали скандалы.

Фалину наконец удалось связаться по телефону с Горбачевым. Были слышны крики толпы на улице и звон разбитого стекла.

«Вы согласны с этими действиями?» – спросил Фалин.

«Да», – ответил Горбачев.

«А вы знаете, что в сейфах ЦК есть чрезвычайно деликатные документы, которые касаются вас?»

«Знаю, – сказал Горбачев. И, повысив голос, прибавил: – Вы что, не понимаете, в каком я положении?»

Фалин положил трубку и обернулся к одному из своих подчиненных:

«Он сотрудничает с демократами, чтобы спасти собственную шкуру».

Подготовка к этим событиям в здании на Старой площади началась с апреля 1985 года, когда Горбачев пришел к власти. Партия, основанная ради осуществления одной иллюзии, потеряла власть за шесть лет, потому что стала жертвой еще одной иллюзии – якобы коммунистический режим можно сохранить без применения силы.

Реформы обсуждались в СССР на протяжении почти тридцати лет, но всегда считалось, что возможные выгоды от изменений не перевесят ожидаемого риска. Однако в середине 1980-х три фактора начали убеждать советских руководителей в целесообразности попытки проведения реформ: изменения в сфере военных технологий, идеи коммунистов-«либералов» и безрезультатность усилий по модернизации.

Военные технологии. 27 октября 1982 года Леонид Брежнев выступил с последней своей большой речью в Кремле перед аудиторией, состоявшей из военнослужащих высокого ранга. За несколько месяцев до того израильские пилоты, которые летали на американских истребителях F-15 и F-16 и пользовались преимуществами последних достижений в отрасли микроэлектроники и компьютерных технологий, уничтожили над долиной Бекаа в Ливане более 80 сирийских истребителей МИГ-21 и МИГ-23, не потеряв ни одного собственного самолета. Шок от этого фиаско потряс и Советский Союз.

«Центральный комитет принимает все меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, – сказал Брежнев, – и мы ожидаем, что вы будете достойны этих усилий... Американский империализм начал новую фазу политического, идеологического и экономического наступления на социализм. Отставание недопустимо. Боеготовность наших вооруженных сил должна быть высокой. Мы должны принимать во внимание последние разработки... в сфере военных технологий...»

Двадцать третьего марта 1983 года президент Рональд Рейган выступил на американском телевидении, рассказав о программе Стратегической оборонной инициативы (СОИ), которая позволила бы перехватывать в космосе советские межконтинентальные баллистические ракеты. Следствием этого выступления стало осознание многими советскими руководителями факта, что для конкуренции с Западом в военных технологиях Москва должна прибегнуть к существенным реформам.

Коммунисты-либералы. Правящая элита СССР казалась монолитной, но в действительности в ее рядах было определен-

ное количество должностных лиц с либеральными взглядами. Эти «либералы» не были антикоммунистами, но они были антисталинистами. Они считали, что марксизм-ленинизм можно применять более гуманно, и утверждали, что коммунисты могут обойтись без репрессий и цензуры, не теряя власть. Если бы СССР не начал сталкиваться с системным кризисом, вряд ли эти либералы когда-либо приобрели бы вес, но с началом осознания необходимости реформ к ним стали прислушиваться, потому что казалось, что они предлагают какую-то идеологическую внутрипартийную альтернативу.

Одним из первых признаков возрастающего влияния «либералов» стало назначение в августе 1985 года Александра Яковлева, директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и бывшего посла в Канаде, на должность заведующего отделом пропаганды ЦК. Позицию коммунистов-либералов Яковлев продемонстрировал в своем выступлении в Высшей партийной школе в октябре. На вопрос «Что мы будем делать, если Запад начнет прямые телетрансляции в нашей стране?» Яковлев ответил: «Будем смотреть».

Безрезультатные попытки модернизации. Когда в 1985 году Горбачев стал во главе Советского Союза, он попытался повысить эффективность традиционными методами, включая борьбу за дисциплину, кампании против алкоголизма и «нетрудовых доходов», а также новую систему госприемки. В мае 1986 года по новому закону стало возможным судебное преследование каждого, кто получал незарегистрированные доходы вне своего официального места работы. В Волгограде власть начала «помидорную войну», уничтожая теплицы на приусадебных участках, где выращивали овощи домохозяйки и пенсионеры, обеспечивая большую часть потребности города в свежих овощах и ягодах. Однако в конце 1986 года, когда самоубийственный характер этого закона стал очевиден, его отменили.

Горбачев внедрил также новую систему государственной приемки готовой продукции, предоставив независимым комиссиям

широкие полномочия в отбраковывании некачественной продукции. Сначала эта «госприемка» восхвалялась за то, что она якобы способствует повышению качества, но поскольку оплата труда была привязана к выполнению норм, резкое увеличение количества бракованной продукции повлекло за собой снижение зарплаты рабочих и рост беспорядков на предприятиях. Приемочные комиссии вскоре включились в коррупцию руководства предприятий, и под давлением министерств и ведомств их деятельность без лишней шумихи свернули.

По-видимому, самым драматичным изо всех нововведений стала антиалкогольная кампания. Поставки водки и вина были урезаны, время продажи алкоголя ограничено, а цены на него повышены. Сначала это привело к уменьшению количества прогулов и несчастных случаев на производстве, но уже через несколько месяцев, на протяжении которых тысячи людей травили себя одеколонами, освежителями, авиационным горючим и другими суррогатами алкоголя, население начало изготавливать спиртное самостоятельно. Соотношение легального и нелегального производства водки, которое раньше равнялось два к одному в пользу легального, превратилось в свою противоположность, без уменьшения потребления и с огромными потерями доходов государства.

В середине 1980-х годов Советский Союз в результате неспособности повысить эффективность экономики в сочетании с технологическим вызовом со стороны Запада охватила тревога и растерянность. В этой ситуации казалось, что идеи советских «либералов» могут стать основой новой политики. Впервые реформы были историческим шансом, и что еще более важно – сам Горбачев признавал потребность в реформах.

Перемены разворачивались медленно. В мае 1985-го Горбачев выступил в Ленинграде с идеей о необходимости «перестроить общество».

Менее чем через год он провозгласил политику гласности, и она нашла отражение в прессе, в статьях о преступности и экономической неэффективности. Идея гласности не всем пришлась по вкусу. На статью о проституции кое-кто реагировал так: «Вот видите, куда нас завела горбачевская демократизация? Теперь мы имеем проституцию». И все же начавшиеся в обществе процессы, уже вскоре приобрели огромное значение.

Однажды, в мае 1986-го, Виктория Мунблит сидела за своим столом в редакции газеты «Молодежь Молдавии» в Кишиневе, когда один из приятелей сказал ей, что приехал «лектор из Москвы» и через пять минут его выступление начнется по соседству, в Доме прессы.

Войдя в конференц-зал, Мунблит нашла место и стала слушать, как лектор описывает политическую ситуацию. «Цель американской программы "звездных войн", – рассказывал лектор, – не напасть на нас, а задушить нас экономически. Мы не можем их догнать. Это соревнование, которое мы не в состоянии выиграть. Если они захотят победить нас, то сделают это, потому что мы отстаем...»

Сначала Мунблит не поверила собственным ушам. Она оглянулась вокруг и увидела, что другие журналисты шокированы точно так же. Советский Союз всегда был настроен «догонять и перегонять». Мунблит никогда раньше не слышала слово «отставание» применительно к СССР.

«Нам нужно изменить свое представление о Соединенных Штатах, – продолжал лектор. – Американцы не хотят уничтожать СССР. Как народ они дружественно настроены к Советскому Союзу. Есть лишь отдельные личности, которые хотят войны с СССР и гонки вооружений. У нас всегда писали, что США – страна выродившаяся и развращенная, но в действительности наркоманов в СССР не меньше, чем в США, и если наркомания в нашей стране будет существовать и в будущем, то вскоре все население превратится в наркоманов.

Народ должен знать, что мы очень отстали. Он должен знать, что мы отстаем не только от Запада, но и от таких развитых социалистических стран, как ГДР. Давайте не скрывать правду. Народ должен осознавать реальное положение вещей».

Мунблит вернулась в редакцию потрясенной, с каким-то жутковатым ощущением, что эта странная лекция сигнализирует об определенных изменениях в способах управления Советским Союзом, и эти изменения будут иметь серьезные последствия. В течение следующих недель Мунблит узнала, что такая же лекция была прочитана другим журналистам, а также преподавателям и чиновникам партаппарата. В то же время поступили указания относительно снижения обличительного тона в статьях, посвященных Израилю, а ряд консервативных редакторов устранили с должностей и заменили людьми более либерального толка. Теперь уже не оставалось сомнений в изменении официальной политики.

В то время, как страну готовили к расширению доступа граждан к информации, руководство рассматривало также и вопрос об освобождении политических заключенных, которых в стране было порядка тысячи. Большинство из них попали за решетку именно за распространение запрещенной информации, и дальнейшее их пребывание там потеряло смысл, потому что сам режим готовился расширить доступ к информации. К тому же наличие таких узников создавало проблемы для внешней политики государства. Поэтому 16 декабря 1986 года Горбачев позвонил сосланному в Горький, и сообщил о разрешении вернуться в Москву. После освобождения Сахарова наступила очередь сотен других политзаключенных, которых выпустили в 1987 году.

Однако обсуждение реформ стало причиной глубокого раскола в партии – немало партийных руководителей чувствовало опасность любой либерализации. Глубина этой антипатии проявилась после неожиданного выступления Бориса Ельцина на пленуме ЦК КПСС 21 октября 1987 года.

Партийное руководство разделилось на две группы: «академиков» и «практиков». «Практики», намного преобладавшие численно, утверждали, что реформы приведут к потере политического контроля и завершатся катастрофой. «Академики» говорили о необходимости ликвидации бюрократического контроля над экономикой и на предупреждения о грядущей катастрофе отвечали, что угроза имеется в любом случае и промедление с реформами фатально. Лидером «практиков» из состава членов Политбюро с хозяйственным опытом и партийных руководителей областного уровня был секретарь ЦК Егор Лигачев. «Академиками» были по большей части сотрудники академических учреждений и люди с опытом в международных отношениях. Их лидером стал Александр Яковлев.

На протяжении 1987 года Горбачев инициировал принятие нескольких новых законов. Они позволяли предприятиям сбывать сверхплановую продукцию по рыночным ценам, легализовали кооперативы и легитимизировали аренду земли для коллективных фермерских хозяйств. Партийные чиновники ответили на эти реформы саботажем. Закон о предприятиях был нейтрализован внедрениям «госзаказов», на которые приходилось до 100 процентов продукции. Кооперативам противодействовали, усложняя им получение сырья и материалов. В сельской местности фермерам, которые пытались арендовать землю, председатели колхозов и совхозов отказывали в предоставлении техники. Столкнувшись с таким сопротивлением, Горбачев понял, что должен найти способ заставить руководящих партийных работников выполнять его распоряжения, и решил предпринять первый шаг: положить конец партийной монополии на власть, распространив гласность и критику на сам партийный аппарат.

На июньском пленуме 1987 года Яковлев был избран членом Политбюро, что поставило его на один уровень с Лигачевым. С подачи Яковлева некоторые газеты обратили внимание на случаи коррупции в партии. Советские граждане с большим удивле-

нием заметили, что в газетах стали появляться статьи, за которые авторов еще несколько месяцев назад могли бы арестовать. В то же время скоординированная Яковлевым пресса развернула пропаганду деятельности только что образованных «неформальных организаций», тем самым поощряя их. Как следствие, традиционный тоталитарный ландшафт расцветился независимыми общественными организациями и частично свободной прессой, способной оказывать давление на партийный аппарат.

Новая политика спровоцировала ожесточенную и длительную борьбу в руководстве между либералами и консерваторами, первый раунд которой состоялся на пленуме ЦК в октябре 1987 года.

Горбачев открыл пленум докладом о программе празднования 70-й годовщины Октябрьской революции. Потом слово предоставили Ельцину, который неожиданно для собравшихся начал критиковать Лигачева. Он сказал, что июньский пленум стал сигналом для всех партийных организаций, начиная с секретариата непосредственно, «перестроить» свою работу, но, несмотря на это, в работе как секретариата, так и «товарища Лигачева», ничего не изменилось. Партийные руководители продолжают практиковать выговоры и нагоняи. Два года прошло после партийного съезда, на котором были сформулированы цели реформ, а теперь народу говорят, что нужно подождать еще два-три года. Но «за два года может оказаться, что авторитет партии в глазах людей резко упал». Ввиду отсутствия поддержки со стороны «определенных кругов» – главным образом Лигачева – Ельцин предложил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро.

Брошенный Ельциным вызов был особенно болезненным для членов ЦК, которые уже пережили шок от первых массовых протестов в стране, в частности, от демонстраций в Эстонии.

В 11:30 23 августа 1987 года Тунне Келам, член эстонского националистического подполья, ответственный за предоставление

Западу информации о деятельности националистов, шел узкими улочками Старого города в направлении Ратушной площади.

Историк по специальности, Келам много лет работал ночным сторожем на птицефабрике – после того, как в 1970-х попал в черный список за свою диссидентскую деятельность. Теперь эстонские националисты впервые решили провести массовую демонстрацию на площади, чтобы отметить таким образом годовщину подписания пакта Молотова–Риббентропа. Радиостанции «Голос Америки» и «Свобода» были проинформированы, что демонстрация состоится в полдень на площади перед ратушей, и тридцать сенаторов США написали Горбачеву письмо с призывом не применять силу против демонстрантов. Однако у Келама было тревожное предчувствие, потому что имелась информация, что в город в связи с демонстрацией введены спецподразделения КГБ.

После двух дождливых дней наконец выглянуло солнце, и улицы, прилегающие к площади, были заполнены народом. Кто-то собирался принять участие в демонстрации, другие еще колебались.

Когда часы на ратуше пробили двенадцать, люди группами начали заполнять площадь, но большинство все же не рисковало, оставаясь позади, в тени. Однако, к удивлению Келама, толпа, прибывавшая на площадь с прилегающих улиц, продолжала расти, пока не достигла почти двух тысяч. К демонстрантам обратился Хейки Ахонен, только что освобожденный политзаключенный. Он сказал, его предупредили, что на площади митинг проводить нельзя, и призывал людей идти за ним к парку Хирве в Верхнем городе.

Демонстранты направились к парку под надзором милиции, которая не препятствовала им. Когда нескончаемый поток людей заполнил узкую улицу Харью, ведущую от Ратушной площади к Верхнему городу, демонстранты начали доставать спрятанные под одеждой флаги и плакаты с требованиями суда над сталинскими преступлениями, предания огласке пакта Молотова–Риббентропа и освобождения политзаключенных.

Келам был уверен, что милиция будет отбирать транспаранты и флаги, но она не противодействовала. В толпе вертелись провокаторы, предлагая демонстрантам скандировать: «Русские, убирайтесь прочь», – но на них никто не обращал внимания.

Наконец демонстранты начали подниматься к Верхнему городу, где расположен замок Тоомпеа – традиционная резиденция правительства Эстонии, откуда открывается вид на красночерепичные крыши и покрытые патиной медные церковные шпили Старого города. В парке Хирве демонстранты расположились в долине, которая образует естественный амфитеатр. Первым выступил Тийт Мадиссон, рабочий из Пярну, недавно освобожденный политзаключенный. Он сказал, что судьба Эстонии была решена секретными протоколами пакта Молотова–Риббентропа, и в духе гласности эстонскому народу теперь нужно рассказать о содержании этих протоколов.

Митинг длился почти час. Кто-то из собравшихся аплодировал, у других в глазах стояли слезы от того, что они стали свидетелями события, до которого уже не надеялись дожить. В толпе стали распространять петиции с призывом возвести памятник жертвам сталинских репрессий в Эстонии. Но страх был еще достаточно силен; он помешал митингующим запеть эстонский национальный гимн. Они спокойно разошлись, а через некоторое время Келам встретился в Старом городе с Ахоненом и Арво Пести – еще одним организатором этого мероприятия. Они единодушно признали, что эта демонстрация является успехом и в будущем возможны намного более массовые акции.

Весть о демонстрации в Эстонии всколыхнула и встревожила партийную верхушку, породив в них тайный страх перед народными массами.

Ельцин был представителем того крыла партии, которое сделало возможными такие события, как демонстрация в Эстонии. Поэтому его речь не сплотила остальных его коллег, а дала ЦК шанс, защищая Лигачева, продемонстрировать всю силу своего сопротивления реформам.

После того, как Ельцин завершил свое выступление, на трибуну поднялся С. И. Монякин, председатель Комитета народного контроля, и начал петь дифирамбы Лигачеву. Хвалу подхватили председатель ВЦСПС Сергей Шалаев и пятеро первых секретарей обкомов.

Восьмой оратор, директор Института США и Канады Георгий Арбатов, сказал, что Ельцин заслуживает уважения за смелость, но он нанес огромный вред делу перестройки. «И это, по-видимому, невозможно исправить, потому что от его речи уже расходятся круги».

После Арбатова выступил председатель Совета министров Николай Рыжков, обвинивший Ельцина во «внесении раскола в Политбюро» и похваливший Лигачева за «соблюдение правильной линии и выполнение огромного объема работы».

Рыжков был близким товарищем Горбачева, так что его речь сигнализировала, что Горбачев знает о сосредоточении вокруг Лигачева антиреформаторских сил и что попытка сместить его преждевременна. Поэтому другие члены Политбюро тоже начали демонстрировать Лигачеву свою поддержку.

«Между нами нет никаких разногласий, – сказал Виталий Воротников. – Пусть все четко и ясно поймут, что у нас полное единство».

После короткого перерыва выступил председатель КГБ Виктор Чебриков. Ельцинскую характеристику работы секретариата ЦК он назвал «клеветой»: «Внезапно мы слышим разговоры о каком-то расколе в руководстве. О каких группах мы говорим? Вы видите, мы здесь все перед вами. О каких группах речь?»

Наконец наступила очередь Яковлева. Как главный соперник Лигачева Яковлев, по-видимому, был бы рад стать на сторону Ельцина, но ввиду такой решительной поддержки Лигачева ему не оставалось ничего другого, как осудить Ельцина. Он назвал его выступление «политически ошибочным» и «противоречивым».

После Яковлева слово взял его близкий союзник Эдуард Шеварднадзе. Взвесив соотношение сил, он тоже осудил Ельцина

и поддержал Лигачева. Ельцина он обвинил в «измене» партии. «Кто в этом зале сомневается, что товарищ Лигачев является хрустально чистым человеком высоких моральных принципов, преданным телом и душой делу перестройки?» – спросил он. Подобная похвала Лигачева прозвучала из уст Шеварднадзе первый и последний раз.

Наконец Ельцину предоставили заключительное слово. «Для меня это была, конечно, суровая школа, – сказал он. – Всю свою жизнь я проработал на должностях, где шла речь о доверии со стороны ЦК партии...» Под конец речь Ельцина была объявлена ошибочной – за это пленум проголосовал единогласно, а вопрос о его освобождении от обязанностей секретаря должны были решить Политбюро и Московский горком партии – «в свете обсуждения на пленуме».

В тот вечер слухи о случившемся на октябрьском пленуме, разлетелись по всей Москве, а через несколько дней – и по всей стране. Однако руководители партии еще не покончили с Ельциным.

На заседании Московского горкома КПСС, состоявшемся 11 ноября 1987 года под председательством Горбачева, Ельцин был отстранен от должности первого секретаря горкома. Ельцинскую речь Горбачев охарактеризовал как «политически незрелую, крайне запутанную и противоречивую», сказал, что она «не содержала ни одного конструктивного предложения», «была демагогической» и продемонстрировала «полную теоретическую и политическую некомпетентность». Потом на трибуну поднимались друг за другом множество городских партийных функционеров, которые в унисон осуждали Ельцина. В. А. Жаров, заместитель председателя Моссовета, сказал, что своей речью Ельцин «сделал ставку на раскол. Завтра мы, несомненно, услышим... о тех... кто будет пытаться сделать из Бориса Николаевича этакого Иисуса Христа, пострадавшего за свою... преданность социалистическому обновлению и демократии».

Всего на заседании выступило около полусотни партийных деятелей, и все они дружно осудили Ельцина. Потом поднял-

ся сам Ельцин. Он сказал: «Я очень виноват перед московской партийной организацией, очень виноват перед городским комитетом партии, перед вами, конечно, перед бюро и, бесспорно, я очень виноват перед Михаилом Сергеевичем Горбачевым, чья репутация в нашей организации, в нашей стране и во всем мире является столь высокой».

Прошло несколько месяцев, и становилось понятно, что, несмотря на все более широкую народную активность в стране, одной только гласности недостаточно, чтобы подтолкнуть партию на путь реформ. Поэтому Горбачев решил создать новую политическую систему, о чем было торжественно объявлено 25 марта 1989 года на первом заседании Съезда народных депутатов.

Убедившись в невозможности противостоять Лигачеву в ЦК, Горбачев прибег к менее прямолинейным маневрам. На заседании Политбюро 7 января, проходившем в отсутствие Лигачева, было решено освободить секретариат ЦК от рассмотрения важных кадровых, экономических и внешнеполитических вопросов – на том основании, что ими уже занимается Политбюро. Это изменение, представленное как попытка покончить с дублированием работы, фактически выхолостило роль секретариата.

Между тем консервативные руководители партии стали объектами обличительных публикаций в печати, а Яковлев, который регулярно встречался с главными редакторами, начал обсуждать возможность раскрытия правды о Сталине, способной дискредитировать всю партию.

Атмосфера замешательства постепенно охватывала партийный аппарат. Большинство чиновников соглашались с необходимостью «реформ», которые они были склонны отождествлять с большей эффективностью. Однако они впервые начали в частном порядке выражать мнение, что политика Генерального секретаря направлена против партии.

В апреле 1988 года Лигачев одобрил публикацию в газете «Советская Россия» письма неизвестной преподавательницы из Ленинграда Нины Андреевой, в котором она защищала

Сталина. Однако затем в газете «Правда» это письмо было осуждено, а пресса, поощряемая Яковлевым, начала антисталинскую кампанию, что стало существенным вкладом в будущий развал Советского Союза.

Газеты, журналы и телевидение вдруг начали публиковать ранее скрываемые факты преступлений сталинского периода. В прессе описывались места захоронений сталинского времени – от Быковнянского леса под Киевом и Куропат в Белоруссии до Калитниковского кладбища и Новоспасского монастыря в Москве, а также публиковались истории людей, выживших в лагерях, и свидетельства отдельных палачей.

В течение тридцати пяти лет каждый, кто пытался рассказать всю правду о сталинском периоде, рисковал быть арестованным, но теперь подробности актов геноцида, осуществлявшегося советским руководством против собственного народа, начали обсуждаться повсеместно. Весь этот ужас подавался как измена «ленинизму», но рассказы о родственниках, забранных ночью, и о телах, сброшенных в ямы пьяными палачами, стали абсолютно фатальными для всей идеологической мистики советской системы*.

Советский режим был организован по принципу Церкви. Его целью было воплощение в жизнь определенной идеи – утопии, описанной идеологами марксизма-ленинизма. Какой бы абсурдной ни выглядела коммунистическая идеология извне, она делала из каждого советского гражданина участника большого исторического процесса, благодаря чему он чувствовал, что его жизнь имеет смысл. То есть она удовлетворяла – пусть и фиктивно – главную духовную потребность человека. Именно ради этого граждане были готовы жертвовать своими основными правами и свободами.

---

* Следствием гласности стало также предание огласке секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа – сначала в Прибалтике, а затем и в центральной прессе. Публикация протоколов стала катализатором национальных движений в прибалтийских республиках, чей пример вдохновил остальную страну и повлек рост национализма по всему СССР.

Они терпели, потому что верили, а верили потому, что с помощью террора, который создал целый фиктивный мир, их систематически вводили в заблуждение. Когда благодаря гласности и антисталинской кампании открылось, что это советское «дело» было не чем-то величественным, а бессмысленным, варварским нагромождением жестокостей, несовместимых с моралью и непостижимых для ума, граждане больше не захотели мириться со своим бесправным положением и начали отторгать советскую систему как таковую.

Однако поражение Лигачева и антисталинская кампания не уменьшили силу сопротивления реформам со стороны партийного аппарата. Чтобы защитить себя и обеспечить будущее процесса реформирования, Горбачев в июне созвал специальную партконференцию для внесения изменений в политическую систему. Конференция, которая началась 23 мая, одобрила созыв демократически избранного Съезда народных депутатов как «высшего органа власти в стране».

В июле были произведены значительные сокращения в промышленных отделах ЦК, которые в течение многих лет были наделены абсолютной властью над колоссальных масштабов централизованной экономикой. Тем партийным чиновникам, которые остались на должностях, было приказано не вмешиваться в функционирование экономики.

Эти изменения, одобренные XIX конференцией КПСС, проложили путь к мартовским выборам 1989 года. Из 2250 делегатов нового Съезда народных депутатов 750 должны были выдвигаться «общественными организациями», включая и КПСС. Кандидаты должны были также утверждаться контролируемыми партией избирательными комиссиями. Вследствие этого в 384 из 1500 избирательных округов кандидаты от партии не имели соперников.

Однако, несмотря на эти ограничительные меры, в прежде монолитной политической системе образовалась определенная брешь. Ельцин стал кандидатом в новый парламент

от Москвы и обнаружил, что его публичное унижение партией обеспечило ему ореол мученика. Он получил в 13 раз больше голосов, чем его соперник Юрий Браков, директор автозавода ЗИЛ. В Ленинграде избиратели не проголосовали ни за одного из представителей партийного руководства. В строптивых прибалтийских республиках победу одержали кандидаты от только что сформированных народных фронтов.

Всего из 2250 избранных депутатов нового органа от 300 до 400 человек можно было назвать реформаторами. Горбачев создал независимый от партии центр власти, в то же время не позволив возникнуть альтернативной политической силе.

Весной 1989 года Горбачев готов был взять под свой контроль и парламент, и партию, но переход к полупарламентской системе чрезвычайно ослабил КПСС. Большинство партийных руководителей просто не выдерживали настоящей политической конкуренции, и это сразу же проявилось на первом Съезде народных депутатов.

Вместе с другими депутатами на первое заседание съезда во Дворец съездов в Кремле прибыла Галина Старовойтова – единственная русская в делегации Армении. Этнограф и сотрудник Академии наук СССР, она была избрана депутатом почти случайно – практически лишь благодаря своей реакции на события в Сумгаите в феврале 1988 года.

Двадцатого февраля областной совет Нагорного Карабаха – района в Азербайджане с преимущественно армянским населением – проголосовал за присоединение к Армении. Это был первый раз, когда депутаты, избранные в рамках советских выборов с одним кандидатом, проголосовали по политическому вопросу самостоятельно. Через восемь дней после этого в Сумгаите – азербайджанском городе на Каспийском море, вблизи Баку, – вспыхнул антиармянский погром.

«Где можно сесть в автобус на Сумгаит?» – спросил у какого-то мужчины у железнодорожного вокзала Баку Андрей Шилков, корреспондент самиздатовского журнала «Гласность».

«Автобусы в Сумгаит отменены» – ответил тот. Было 9 марта, вокзальные часы показывали одиннадцать утра. «Туда можно добраться только на такси».

Шилков переговорил с несколькими таксистами, но все они отказались ехать. Один из них спросил у Шилкова, почему ему так хочется попасть в Сумгаит. Андрей – высокий белокурый россиянин, внешность которого ясно свидетельствовала, что он не местный, – ответил, что только-только освободился из колонии под Махачкалой и хочет увидеться с другом. «В Сумгаит такси нет» – сказал ему с подозрением таксист и посоветовал попробовать найти попутную машину. Шилков так и сделал. Водитель машины, которую он остановил, сначала отказался подвезти его до Сумгаита, а затем сказал, что довезет Андрея до окраины города за тридцать рублей, что было в десять раз выше обычной таксы. Шилков в конце концов согласился. За километр от Сумгаита его высадили, и чтобы добраться до города, пришлось воспользоваться еще одной попуткой.

Погода стояла теплая, но пасмурная. Перед пятиэтажным, оплетенным плющом зданием обкома партии виднелись милицейские баррикады. На соседнем бульваре стояла колонна танков, а на каждом углу – солдаты и дружинники. Андрей подошел к молодому водителю-азербайджанцу, который согласился за 25 рублей провезти его по городу.

Когда они сели в машину, азербайджанец указал на один из жилых домов на бульваре: «Видите тот дом? Из окна четвертого этажа выбросили голую девушку».

Несколько часов Шилков ездил по Сумгаиту, тайно фотографируя военных и бронемашины. Наконец водитель остановился около какого-то торгового комплекса, и Андрей вышел из машины. Он подошел к людям, в очереди перед киоском, в котором женщина продавала пирожки, и стал расспрашивать о «событи-

ях». Люди в очереди не захотели с ним разговаривать: население города предупредили по местному радио и телевидению о привлечении к ответственности за «антисоветскую пропаганду» всех, кто будет распространять «слухи» о недавних событиях. В советских условиях «слухами» называлось все, что не публиковалось в официальной прессе. В конце концов Андрей зашел в соседний двор, где заметил женщину славянской внешности, сидевшую на скамье.

«Прошу прощения, – сказал он. – Я только что приехал. Говорят, здесь были какие-то события, что-то произошло».

Женщина с минуту изучала Андрея, а затем сказала: «Я живу вот в том доме. Это был ужас. Я прожила в Сумгаите почти всю жизнь и никогда не поверила бы, что такое может случиться. А теперь, если вы скажете мне, что в Москве варят и едят детей, я поверю».

Женщина рассказала, что она болгарка, замужем за армянином. Вечером 29 февраля она услышала, как в доме кричат и выбивают двери квартир. Ее муж был в это время в соседнем городке, он позвонил ей и велел закрыть двери на засов. Около 22-х часов она выглянула из окна и увидела, как из окна пятого этажа расположенного напротив дома выбрасывают десятилетнюю девочку. Девочка приземлилась на кусты и еще шевелилась, но потом несколько мужчин выбросили из того же окна кухонный шкаф, который упал прямо на девочку. На следующее утро женщина узнала от соседей, что банда азербайджанцев убила там всю семью. Остаток того дня, 1 марта, женщина просидела дома с зашторенными окнами. Вечером она услышала шум и звук разбитого стекла – толпа на улице начала бить окна. В какой-то момент она осмелилась выглянуть в окно и увидела на улице груду мебели, охваченную огнем. Утром 2 марта, наконец выйдя из помещения, она встретила одну из своих соседок, азербайджанку, работавшую в роддоме. Та была близка к истерике. «Я не могу идти на работу, – сказала она, – эти бандиты убивают беременных женщин». И рассказала, что толпа азербайджанцев

ворвалась в роддом и, угрожая ножами врачу, потребовала, чтобы он показал им армянок. Опасаясь за свою жизнь, врач назвал им фамилии, и они убили этих женщин, распоров им животы, а затем вырвали из них и убили еще живых младенцев.

Эта болгарка настойчиво советовала Андрею уехать из города еще засветло, чтобы успеть до комендантского часа, который наступал в 22:00.

На шоссе Андрею удалось остановить машину с водителем-азербайджанцем и пассажиркой, похожей на русскую. Андрей сел на заднее сиденье, а они продолжали обсуждать между собой последние события. «У этих мерзавцев слишком много гашиша», – сказал азербайджанец женщине. «Если бы толька гашиш, – возразила та. – Откуда они знали, где искать армян? У каждого из них в руках был список с армянскими фамилиями».

Андрея отвезли в Баку, где он взял такси до аэропорта. Ожидая рейс на Ереван, он заметил небритого армянина в черной рубашке, что говорило о трауре. Андрей заговорил с мужчиной, и тот рассказал, что во время погрома погиб его племянник.

«Он был дома один. Они выломали двери и разбили ему голову молотком, потом тащили его по лестнице за ноги, и его голова билась о каждую ступеньку, а затем выбросили его тело на свалку. Мой брат проработал там тридцать пять лет, а они уничтожили все, что он имел. Но он бы все отдал сам, только бы мальчик остался жив».

«Кто-то еще в семье погиб?» – спросил Андрей.

«А разве этого мало?»

Андрей извинился. Сказал, что он независимый журналист и готовит репортаж об этих событиях.

«Они с вами расправятся так, что забудете обо всех репортажах» – сказал мужчина.

Галина Старовойтова занималась в 1980-х годах исследованиями на Кавказе и, когда услышала первые известия об убийствах в Сумгаите, послала армянской поэтессе Сильве Капутикян

письмо с выражением солидарности и скорби. Это письмо размножили в тысячах экземпляров и раздавали на Театральной площади в Ереване. Благодаря этому Старовойтова стала в Армении широко известным человеком, и ее избрали делегатом Съезда народных депутатов от этой республики. Таких независимых депутатов, как Старовойтова, были единицы, но они впервые создали политическую конкуренцию партии.

Депутаты регистрировались и постепенно заполняли зал, отыскивая предназначенные им места. Галина отметила, что они весьма дисциплинированы, сидят на местах, но при этом невнимательны. Заседание началось в 10 часов, и вскоре стало очевидно, что съезд происходит в не полностью контролируемом властями режиме.

(В 4 часа утра 9 апреля 1989 года военные, применив слезоточивый газ и саперные лопатки, напали на мирных демонстрантов на центральной площади Тбилиси, в результате погибли двадцать один человек – в основном женщины – и сотни пострадали. Демонстранты требовали независимости Грузии.)

Съезд начался с вопроса об избрании председателя Верховного Совета СССР. Кандидатура Горбачева была согласована заранее, но присутствие демократических депутатов почти немедленно внесло свои коррективы. Марью Лауристин, лидер Народного фронта Эстонии, спросила Горбачева, когда он узнал о нападении военных на мирных граждан в Тбилиси, и добавила: «Считаете ли вы лично совместимым с демократией использование армии для карательных операций против гражданского населения?»

Прямота Лауристин вдохновила и других депутатов. В итоге, когда содержание бюллетеня для голосования было уже почти согласовано, Александр Оболенский, инженер из города Апатиты, выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета. Этот поступок внес замешательство в зал. Когда на голосование был поставлен вопрос о включении фамилии Оболенского в бюллетень, за это проголосовало 689 де-

путатов (против были 1415) – и многие из проголосовавших «против» поступили так потому, что считали выдвижение этой кандидатуры идеей Горбачева.

Тайное голосование происходило поблизости, в Георгиевс ком зале Кремля. Там были установлены кабинки, и депутатам выдали бюллетени. Однако единственным основанием задержаться в кабинке было вычеркивание фамилии Горбачева, а за голосующими пристально следили. Окончательный результат: 2133 голосов – за Горбачева; 87 – против.

В следующие дни возникла определенная система. Горбачев контролировал зал с помощью консервативного большинства, и именно он как председатель решал, кому из депутатов предоставлять слово. Выступления членов партийного большинства были в стиле тоталитарного режима:

«Плюрализм мышления является обязательным, но... в действиях должно быть единство!» – Е. Н. Мешалкин, Новосибирск.

«Я не могу вспомнить время, когда была бы такая настоятельная необходимость в консолидации всех сил общества... Давайте откажемся от митингов. За работу! Сейчас время работать!» – В. С. Образ, Полтава.

«Что нужно сейчас от каждого – это порядок, порядок и дисциплина, и демократия лишь выиграет от этого...» – Леонид Кравченко, Москва.

Голосование на съезде жестко контролировалось. Когда съезд избирал 542-х депутатов в состав Верховного Совета, рабочего парламента, поражение потерпели все известные демократические депутаты, включая и Ельцина. За членами территориальных делегаций присматривали руководители этих делегаций – партийные функционеры высокого ранга, имевшие возможность наказать за неповиновение экономически. В то же время многие депутаты из национальных республик не говорили по-русски, и поскольку перевода не было, они просто поднимали руки вместе с главами своих делегаций, что породило шутку: «Все, кто за, – поднимите свои тюбетейки».

Однако уже сам факт открытой политической дискуссии изменил атмосферу в стране. Когда независимым депутатам удавалось пробиться к микрофону, сказанное ими оказывало определенное воздействие. Юрий Черниченко – депутат от Москвы, известный журналист, – обрушился с критикой на Лигачева, которому недавно поручили заниматься вопросами сельского хозяйства. «Почему, – спрашивал он, – ответственность за политически важную отрасль возложили на человека, который ничего не понимает [в сельском хозяйстве] и провалил идеологию?» Юрий Карякин, депутат от Москвы, литературный критик, призывал забрать тело Ленина из мавзолея на Красной площади. «Сам Ленин желал быть похороненным рядом с могилой матери на Волковом кладбище в Петербурге» – сказал он. Старовойтова выступила против выдвижения Анатолия Лукьянова, давнего друга Горбачева, на должность заместителя председателя и хотела знать, почему армия выжидала три дня, прежде чем вмешаться в события в Сумгаите.

Впервые советские граждане увидели, что депутаты могут откровенно высказывать неортодоксальные взгляды. В стране застопорился нормальный рабочий процесс – люди в учреждениях и на предприятиях собирались вокруг телевизоров, аплодируя и посылая воздушные поцелуи экрану, когда слышали от депутатов выражение собственных мыслей. Те, кто не мог следить за ходом съезда днем, не спали до второго часа ночи, просматривая трансляцию в записи.

На четвертый день работы съезда демократические депутаты были завалены телеграммами – они поступали по тысяче в день. А после каждого заседания, когда депутаты выходили из Кремля и шли через Красную площадь к своим гостиницам, их приветствовала масса сторонников. Социологические опросы утверждали, что депутаты-демократы, которых было на съезде не более 15 процентов, пользуются поддержкой 70 процентов населения.

Наиболее шокирующей на съезде стала речь Юрия Власова, экс-чемпиона-штангиста, который выступил с разоблачением

и осуждением КГБ. «КГБ, – сказал он, – это не служба, а настоящая подпольная империя, которая и до сих пор не раскрыла своих тайн, кроме обнаруженных могил [жертв Сталина, убитых НКВД, предшественником КГБ]».

Верховный Совет, состоявший из 542 депутатов, начал свою работу, и его голосование подтвердило и отразило предрасположенность и намерения партии. И все же Верховный Совет действовал независимо от партии и создал собственную иерархию и систему влияния, отличающиеся от партийных, поэтому его доминирование породило в партии сопротивление Горбачеву.

В конце 1989 года ЦК был завален письмами, в которых Горбачева обвиняли в том, что он пренебрегает партией и оставляет без ответа критические высказывания в ее адрес. Партийные руководители предостерегали, что перестройка завершится катастрофой. На декабрьском пленуме 1989 года один из ораторов сказал: «Если нас хвалят капиталисты и Папа Римский, это значит, что мы на ошибочном пути».

Ожесточенность этих нападок заставила Горбачева опять вернуться к вопросу создания в СССР института президентства. Однако такой шаг предусматривал отмену 6-й статьи Конституции относительно «руководящей роли» партии в обществе, поскольку властью должен был быть наделен президент, а не партия.

Ранее Горбачев игнорировал призывы отменить 6-ю статью, но в январе 1990 года изменил свое мнение и поддержал эту идею. Вскоре, 4 февраля, с его молчаливого согласия в Москве состоялась демонстрация с требованием покончить с политической монополией партии. На следующий день ЦК, уступив желанию Горбачева, проголосовал 249 голосами против одного за отмену статьи 6 Конституции. После этого в Москве состоялась 500-тысячная демонстрация в поддержку демократии.

Двенадцатого марта 1990 года заседание Съезда народных депутатов начиналось в атмосфере нервной неуверенности.

По ходу заседания юрист и близкий соратник Горбачева Сергей Алексеев разъяснил потребность в президентской системе. «Собственно парламентская система, – сказал он, – может заблокировать любое решение. И... опыт показывает, что такая парламентская система... более всех прочих способствует приходу диктатуры».

После завершения выступления Алексеева дискуссия сосредоточилась на вопросе, не многовато ли власти получит президент. Хотя Горбачев стремился к должности президента для уменьшения своей зависимости от партии, консервативная часть КПСС теперь поддерживала идею президентства в надежде, что оно будет способствовать стабильности.

Однако члены Межрегиональной группы депутатов, которые надеялись привлечь Горбачева на свою сторону, опасались, что предложенный законопроект предоставит президенту почти неограниченное право управлять с помощью указов и сделает из него диктатора.

Между тем возникали все большие сомнения относительно того, способен ли любой вид руководства полностью контролировать ситуацию.

Новый уровень политической активности советских граждан стал очевидным во время митинга, состоявшегося всего за несколько дней до этого.

В 11 часов утра 25 февраля Ольга Принцева, московский биолог, подошла к входу в парк имени Горького, где увидела множество людей, заполнивших всю площадь перед входом. Все выходные демократическая оппозиция в Москве занималась организацией демонстрации в честь годовщины Февральской революции 1917 года. Для того чтобы помешать ей, власть распространяла слухи о планах применить силу против демонстрантов.

Несмотря на это, Ольга решила принять участие в демонстрации и теперь видела вокруг тысячи людей, которые тоже не позволили себя запугать.

Это зрелище напоминало фотографии массовых демонстраций последних лет царского режима. На входе в парк реяли российские триколоры и виднелись транспаранты с надписями «Долой Лигачева и КПСС», «Ждите свой Нюрнберг». На удивление, много было флагов политических партий. Ольга понятия не имела, что в Советском Союзе уже создано столько разных партий. Она присоединилась к группе «Демократической России» – главному демократическому оппозиционному движению – и вместе с ней прошла через Крымский мост и дальше, мимо станции метро «Парк культуры», откуда выплывали массы людей, тотчас присоединявшиеся к многолюдной демонстрации на Зубовском бульваре. Демонстранты заполнили все десять полос движения по Садовому кольцу, и Ольга насчитала не менее семнадцати разных флагов и еще больше – плакатов.

Когда перед зданием пресс-центра АПН начался митинг, стало очевидно, что подсознательные сомнения людей в коммунизме с удвоенной силой выплеснулись наружу в условиях гласности и свободы слова.

Юрий Черниченко охарактеризовал коммунистическое правление в Советском Союзе как «семьдесят лет войны с народом» и сказал, что большевики начали предавать народ уже через два месяца после захвата власти, распустив Учредительное собрание. Он предложил объявить преступлением коллективизацию сельского хозяйства и уничтожение крестьянства.

Сергей Кузнецов, независимый журналист из Свердловска, сказал, что многие люди призывают к диалогу между партией и оппозицией. «Но какой смысл в “круглых столах” с преступниками?»

Один из организаторов демонстрации, Олег Румянцев, предупредил в своем выступлении, что партия готовится уничтожить уже имеющиеся в стране демократические достижения.

В течение многих лет парады и демонстрации в Советском Союзе организовывались властью, потому этот марш сначала казался материализацией призрака далекого прошлого. Огромная

толпа изобиловала не только триколорами Российской империи, но и самодельными плакатами, которые отражали новообретенную народную креативность: «Коммунисты, не учите нас жить!», «Частная собственность – это свобода!» и «Мы натянем на ваши палки презервативы!»

Когда демонстранты приблизились к площади Маяковского, какая-то пожилая женщина на тротуаре начала кричать: «Сталин знал бы, что с вами делать!» Однако участники марша, вдохновленные самой уже своей многочисленностью, не обращали на нее внимания.

На площади Маяковского Ольга оглянулась и не увидела конца колонны – сплошная река людей в обрамлении мегалитических жилых домов под куполом темнеющего неба. Зрелище этой человеческой массы убедило ее, что после стольких лет молчания и страха что-то в стране наконец изменилось. Ей впервые в жизни показалось, что в СССР миллионы людей думают так же, как она. Она уже не чувствовала себя одинокой и смогла бы теперь участвовать в тех изменениях, что охватывали страну.

Тринадцатого марта, на второй день работы съезда, оживились дебаты вокруг вопроса об институте президента СССР.

Первый секретарь Коммунистической партии Таджикистана К. Махкамов сказал, что для прекращения межэтнических конфликтов «нужна сильная... цивилизованная власть».

Иван Полозков, первый секретарь Краснодарского крайкома партии, заявил: «Наша страна нуждается в президентской власти... иначе сползание общества в трясину, еще более вязкую, чем была трясина застоя, неизбежно».

А молдавский писатель Н. Т. Дабижа заметил: «Теперь наша очередь защищать Горбачева от Горбачева. Сосредоточение огромной власти в руках одного человека опасно для процесса демократизации... Кто из нас может быть уверенным, что за четыре года или девять лет не появится человек, который захочет создать социализм барачного типа?»

Завершив дебаты, съезд перешел к голосованию. По закону, сначала должны были рассматриваться поправки, а затем, с учетом внесенных поправок, законопроект ставился на голосование. Однако теперь Горбачев поставил его на голосование, не заслушав поправок. В результате был получен 1771 голос – за и 164 – против. Реформаторы думали, что это было голосование «за основу». Но Горбачев объявил, что законопроект принят как часть Конституции.

Потом он предложил, чтобы первый президент был избран съездом. Согласно опросам, подавляющее большинство советских граждан были за прямые выборы президента, но Горбачев развернул агитационную кампанию, дабы убедить съезд, что это приведет к политической нестабильности. Академик Дмитрий Лихачев, которому было уже за 80, предупредил, что прямые выборы президента могут привести к гражданской войне. Для принятия решения нужно было 1497 голосов. Окончательный результат голосования был таким: 1542 депутата – за, 360 – против и 76 – воздержались.

После этого Горбачев выдвинул свою кандидатуру на должность президента. Два других кандидата, Рыжков и министр внутренних дел Вадим Бакатин, сняли свои кандидатуры, поэтому Горбачев остался единственным претендентом на этот пост. Несмотря на это, он был не вполне уверен в успехе. Раиса Горбачева убеждала женщин-депутатов голосовать за ее мужа, уверяя их, что он – не диктатор. Отдельные интеллектуалы, присутствовавшие на съезде как гости, стали уговаривать демократов проголосовать за Горбачева, потому что, если его не изберут, президентом может стать какой-нибудь консерватор наподобие Лигачева.

Наконец голосование состоялось, и за Горбачева отдали свои голоса 1329 депутатов, против было 495 человек. При этом сотни депутатов не воспользовались своим правом голоса. Это был способ сказать «нет» и признак того, что скрытая оппозиция Горбачеву возникла практически одновременно с приходом его к власти.

Став президентом СССР, Горбачев сосредоточил в своих руках больше официальной власти, чем любой советский руководитель со времен Сталина. Однако его политические победы, добытые якобы ради осуществления важных экономических реформ, привели в конечном счете не к реформам, а к дестабилизации советской системы.

После избрания Горбачева президентом была создана новая система президентской власти. Свой кабинет он обустроил в Кремле, взяв с собой часть аппарата ЦК, составившую основу президентского аппарата.

Местные и республиканские выборы, которые состоялись в феврале и марте 1990 года, стали поражением для партии. Благодаря гласности страна изменилась, и в этой новой атмосфере было невозможно проводить местные выборы с резервированием мест для «общественных организаций» и с избирательными комиссиями, контролируемыми партией. Все это было ликвидировано, и количество независимых кандидатов возросло. Демократы получили большинство голосов в Москве, Ленинграде и Свердловске, а в республиках Прибалтики, в Армении, Молдавии и Грузии к власти пришли националисты (11 марта Литва провозгласила независимость). Демократы завоевали также треть мест в органах власти России, что позволило Ельцину выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя российского парламента.

Шестнадцатого мая в Большом Кремлевском дворце открылось первое заседание Съезда народных депутатов России, и народ завалил депутатов письмами и телеграммами, требуя избрания Ельцина председателем Верховного Совета. Двадцать третьего мая к съезду обратился Горбачев, обвинив Ельцина в попытке отделить Россию от социализма и в демонстрации «грубости и нетерпимости». Речь Горбачева и, в частности, этот личный выпад против Ельцина лишь способствовали победе последнего. В третьем раунде голосования Ельцин получил 535 голосов – на

четыре больше, чем нужно было для победы. Демократические силы в стране впервые получили избранного лидера.

Летом 1990-го потеря партией народного доверия привела к разброду и шатаниям в ее рядах, где образовались достаточно большие группы с диаметрально противоположными программами. Девятнадцатого июня в Москве начала свою работу конференция, имевшая целью образование отдельной Российской коммунистической партии, свободной от горбачевского влияния, и проходившая в атмосфере откровенного недовольства руководителем партии. Организатор конференции Иван Осадчий обвинил Горбачева в подталкивании партии к «самоубийству». Генерал Альберт Макашов сказал, что Советский Союз может потерять статус великого государства. Однако, несмотря на сильные консервативные и антигорбачевские настроения на этой российской партконференции, консерваторам в партии не удалось свергнуть Горбачева. Это проявилось в скором времени – на XXVIII съезде КПСС.

Когда делегаты партийного съезда 2 июля вошли во Дворец съездов в Кремле, стало очевидным, что это уже не прежняя монолитная партия. В коридорах стояли агитационные столы разнообразных фракций, а делегаты, которые разделились на либеральные и консервативные группы, не общались и даже не здоровались друг с другом.

Горбачев открыл съезд речью, длившейся два с половиной часа. В ней он представил себя как реформатора, преданного социалистической идее.

Однако после Горбачева выступил Владимир Блудов, делегат от Магаданской области, предложивший сместить всех членов Политбюро и ЦК. Его речь встретили овацией.

Рыжков, который выступил первым из членов Политбюро, был освистан. Следующего оратора – главного идеолога Вадима Медведева – прервали ритмичными аплодисментами. То же могло постичь Яковлева, но, поднявшись на трибуну, он гово-

рил без остановки, что не дало делегатам возможности начать свои ритмичные рукоплескания и топот. Единственным членом Политбюро, которому был оказан теплый прием, стал Лигачев. «Различные импровизации, – сказал он, – не очень много дали нам за пять лет перестройки».

Наконец было выдвинуто предложение провести оценку работы отдельных членов Политбюро. Подавляющее большинство зала проголосовало за это предложение, и председатель объявил перерыв.

Когда заседание возобновилось, в кресле председателя сидел Горбачев. Яковлев, сев рядом с Отто Лацисом, журналистом либерально-коммунистических взглядов, сказал ему, что Политбюро проголосовало за то, чтобы объявить о своей отставке в случае попытки съезда обсуждать членов Политбюро индивидуально. «Теперь я хочу обратиться ко всем вам, – сказал Горбачев. – Если вы хотите расколоть партию, хотите похоронить ее, то вы избрали правильный способ. Время подумать, и подумать как следует».

В течение следующего часа делегаты думали. Лацис понимал, что Горбачев избрал блестящую тактику. Коммунисты были настроены на единство, и каждый, кто побуждал бы их к расколу, потерял бы приверженность рядовых членов партии. Поскольку этот конфликт был спровоцирован консерваторами, то и ответственность лежала бы на них. Как Генеральный секретарь Горбачев контролировал также имущество партии. В случае раскола сторонники жесткой линии остались бы нищим охвостьем, которому противостояло бы не только большинство партии, но и новые президентские структуры.

Делегаты начали обращаться к Горбачеву с просьбой дать им возможность пересмотреть свое решение. В конечном итоге Горбачев поставил на голосование вопрос об отмене резолюции, принятой ранее, и это решение было принято почти с таким же перевесом голосов, что и первое.

Следующим пунктом повестки дня было избрание нового Генерального секретаря. Но теперь победа Горбачева была

предрешена: он продемонстрировал свою способность уничтожать оппозицию, и большинство делегатов побаивались, что в случае неизбрания он использует свою президентскую власть для преследования партии. Итог голосования был таков: 3411 голоса – за Горбачева против 501 голоса – за Теймураза Авалиани, партийного руководителя из западносибирского города Киселевска и единственного альтернативного кандидата; 1116 человек не голосовало, что свидетельствовало о сильной оппозиции. И все же полномасштабный бунт, который казался реальным еще месяц тому назад, не состоялся.

Весной 1991 года власть Горбачева над партией стала напоминать мертвую хватку. Идея возможности сохранения социалистического государства без применения силы уже казалась сомнительной, потому что командная экономика постепенно приходила в упадок, как и вся имперская советская система. Поскольку кризис углублялся, Горбачев стал больше заботиться о сохранении своей власти, чем о реформах, маневрируя между партийно-государственным аппаратом и новыми демократическими силами, что в конечном итоге побудило партию совершить попытку его устранения на пленуме ЦК в апреле 1991 года.

В 1989 году начали ощущаться последствия отстранения партии от управления экономикой. Темпы экономического роста резко упали, и в 1990 году начали снижаться объемы производства. В условиях системы фиксированных цен скрытая инфляция привела к коллапсу потребительского рынка. Летом 1989 года из 211 продовольственных товаров свободно можно было купить лишь 23.

При этом Горбачев не сделал почти ничего для проведения долгожданных рыночных реформ. Советские интеллектуалы замечали, что он словно растерялся. Народное движение приобрело выраженный антикоммунистический характер, и для сохранения своего влияния на него и в то же время для контроля

за ним Горбачев начал добиваться выполнения политических мероприятий, которые противоречили друг другу: демократизации и сохранения империи, введения рыночных отношений и запрещения частной собственности.

В конечном счете у Горбачева не осталось иного выбора, как перейти к определенным решительным действиям. Попытка использовать рыночные реформы в экономике, которая базировалась на запрете рынка, привела к экономическому хаосу. В то же время республики, включая и Россию, начали провозглашать свой «суверенитет» (независимость) и настаивать на верховенстве своих законов, что привело к «войне законов» с союзным правительством. Сочетание всех этих факторов заставило Горбачева согласиться с предложением Ельцина поручить Станиславу Шаталину, члену Президентского совета, разработку стратегии кардинальной экономической реформы.

План Шаталина, который должен был быть реализован в течение «пятисот дней», предусматривал массовую приватизацию государственного имущества и передачу налогообложения на уровень республик. Поэтому фактически это была рекомендация демонтировать Советский Союз. Одиннадцатого сентября Горбачев сделал попытку поддержать план Шаталина перед Верховным Советом. Однако уже 21 сентября он осознал потенциальные последствия этого плана и сказал, что его нельзя претворять в жизнь. В течение следующих нескольких недель Горбачев пытался соединить этот план с планом, разработанным Рыжковым, который предусматривал сохранение централизованного планирования, а в конечном счете от шаталинского плана вообще отказались.

Отклонение шаталинского плана стало началом периода реакции, когда Горбачев уже ориентировался на армию, милицию и КГБ. Одиннадцатого декабря Крючков в телевизионном обращении заверил, что КГБ всеми возможными средствами будет бороться с антикоммунистическими элементами. Через девять

дней после того Шеварднадзе на Съезде народных депутатов объявил о своей отставке, прибавив: «Надвигается диктатура».

Первым следствием изменения политики стало подавление протестов в Литве.

Десятого января Горбачев обратился к литовскому правительству обвинив Литву в «вопиющих нарушениях» советской Конституции. На следующее утро десантники, стреляя из боевого оружия, при поддержке танков захватили главное полиграфическое предприятие республики и антитеррористическую школу милиции. В тот же день лояльные Москве коммунисты Литвы объявили о создании «Комитета национального спасения».

В 12:30 13 января 1991 года на площади перед телевизионной башней в Вильнюсе царила праздничная атмосфера. Подростки танцевали под музыку из переносного магнитофона, разносчики торговали кофе и булочками. Лоретта Асанавичуте, двадцатичетырехлетняя работница одного из предприятий, смешалась с толпой, которая готовилась защищать телебашню от захвата советскими военными. Однако в 13 часов внезапно возникло напряжение. Двадцать танков начали продвижение по улице Космонавтов, а затем заехали в ближайший сквер. Демонстранты сцепились локтями, не сводя взглядов с танков, фары которых горели среди голых зимних деревьев.

Вдруг небо осветили трассирующие пули. Танки в окружении солдат двинулись к телебашне. В толпу полетели дымовые шашки, и когда защитники стали убегать, солдаты открыли огонь, а танки резко ускорили движение и врезались в толпу.

Лоретта побежала от башни вместе с несколькими друзьями – через площадь, затянутую дымом и перечеркнутую лучами прожекторов. Полуослепшая от дыма, она потеряла ориентацию, неожиданно оказалась на пути одного из танков, и друзья с ужасом увидели, как Лоретта оступилась и упала под гусеницы.

После того, как танк переехал Лоретту, друзья отнесли ее в «скорую помощь», где врач сделал ей укол; вся нижняя часть ее тела была раздавлена.

«Дядя, – спросила Лоретта, с ужасом, глядя на свое тело, – я с такими ногами смогу выйти замуж?» Врач успокаивал ее как мог, но вскоре она умерла.

Тем временем, пока десятки демонстрантов погибали от пуль или под гусеницами танков, через громкоговоритель, установленный вблизи телебашни, началась передача обращения: «Братья и сестры, буржуазная, фашистская власть в Литве пала. Вся власть теперь – в руках Комитета национального спасения».

После захвата телебашни советскими войсками демонстранты начали массово собираться перед зданием литовского парламента. Известия о побоище распространились быстро, и на рассвете территория вокруг парламента бурлила, словно улей. Перед входами были установлены огромные спирали колючей проволоки, а окна начали закладывать мешками с песком. Тяжелые краны опускали на землю вокруг здания большие бетонные блоки, а внутри парламента добровольцы и члены только что созданных литовских сил самообороны раздавали охотничьи ружья, которые несли сюда непрерывным потоком.

В полдень сооружение основных укреплений было завершено, а на площади собралось около двадцати тысяч людей, которые образовали живой кордон вокруг здания. Появились наклеенные на фанерные щиты фотографии людей, убитых около телебашни. На одной из фотографий был заснят мальчик, который протягивал руки, пытаясь коснуться головы отца в гробу. Из громкоговорителей раздавалась траурная музыка, везде мерцало желтое пламя свечей возле временных мемориалов.

Вильнюс начал готовиться к уличным боям. На проспекте Гедиминаса были установлены трехметровые бетонные надолбы, заблокировавшие доступ к площади перед парламентом, оставив лишь узкий проход. Центральная библиотека была превращена во временный госпиталь с флагом Красного Креста над входом, а на километры вокруг здания парламента все окна в жилых домах были заклеены бумажными полосками крест-на-

крест, чтобы защитить их от ударной волны на случай близкой стрельбы или разрывов снарядов.

Двадцатого января в Москве около 500 тысяч человек вышли на демонстрацию протеста в связи с гибелью людей около вильнюсского телецентра. Вечером во время штурма советскими войсками Министерства внутренних дел Латвии в Риге было убито четыре человека. Теперь казались очевидными дальнейший силовой роспуск парламентов прибалтийских республик и установление прямого советского правления. Но, к удивлению многих, приказ о штурме не был отдан.

Двадцать первого января, в условиях общего замешательства, приготовления к защите литовского парламента продолжались. Но на следующий день литовский Комитет национального спасения и аналогичный комитет в Латвии объявили о приостановке своей деятельности. Вскоре после этого подразделения десантных и внутренних войск, посланные для вылавливания, «уклоняющихся от призыва», были из Прибалтики выведены.

Угроза для Литвы и Латвии миновала.

После событий в Прибалтике состоялась еще одна попытка наступления на демократию, на этот раз в Москве.

Горбачев назначил на 17 марта референдум о сохранении Советского Союза. В России Ельцин ввел в текст бюллетеня еще один вопрос: хотят ли избиратели прямых выборов российского президента. Девятнадцатого февраля Ельцин призвал Горбачева подать в отставку, а депутаты-коммунисты российского парламента стали требовать импичмента уже для самого Ельцина. Для решения судьбы Ельцина на 28 марта было созвано внеочередное заседание Съезда народных депутатов.

Референдум состоялся 17 марта. Предложение сохранить СССР набрало 75 процентов голосов, но избиратели одобрили и идею президентства в России. Дата попытки устранения Ельцина приближалась, движение «Демократическая Россия» планировало на 25 марта проведение массовой демонстрации в поддержку Ельцина. Советское правительство ответило на это запреще-

нием демонстраций в Москве на три недели. Однако сторонники Ельцина заявили, что проведут демонстрацию в любом случае, и правительство начало готовить ввод войск в Москву.

Двадцать восьмого марта переулки и дворы в центре Москвы были перекрыты сотнями военно-транспортных машин и тысячами солдат. Под мрачным небом по улицам струилась в водостоках вода, на тротуарах пожилые женщины кололи ломами лед, вроде и не обращая никакого внимания на набирающее силы противостояние.

В здании Моссовета, где размещалась временная штаб-квартира «Демократической России», постоянно звонили телефоны – поступали новые сообщения о передвижении войск. Один из лидеров движения, Владимир Боксер, проводил совещание с группой коллег для уточнения планов на сегодняшний митинг. Никто не ожидал такой демонстрации силы. Наконец было принято решение провести митинг, но – во избежание возможных провокаций – не на плотно окруженной милицией и войсками Манежной площади напротив Кремля, как сначала планировалось, а на площадях Арбатской и Маяковского.

Демонстрации были назначены на 17:30, но народ начал собираться задолго до того. Радиостанция «Эхо Москвы» информировала о расположении войск на улице Горького и Манежной площади. ТАСС передал предупреждение Виталия Прилукова, начальника московского КГБ, что власть применит «все средства» для предотвращения демонстраций, и ряды машин «скорой помощи» стояли наготове неподалеку от Красной площади, чтобы вывозить раненых.

В 15 часов пятьдесят тысяч солдат внутренних войск заполнили все улицы на подходах к Манежной площади.

Однако по мере того, как количество участников демонстрации росло, опасность вооруженного нападения таяла. Не предпринималось никаких попыток помешать толпе, собиравшейся на двух площадях, и, несмотря на наличие бронетехники на улицах, солдаты и милиционеры вели себя нейтрально или даже

доброжелательно. Одна женщина спросила у командира группы внутренних войск около площади Маяковского: «Вы собираетесь нас бить?» Офицер ответил: «Кроме погонов, у меня есть еще и совесть».

В 17:13 Арбатская площадь превратилась в людское море. В 17:45 начались выступления ораторов. После человеческих жертв в Литве отношение к Горбачеву радикально изменилось. Российский депутат Юрий Лучинский сказал: «Наибольшим сторонником насилия и наибольшим преступником в стране является сегодня президент Горбачев».

Лидер «Демократической России» Николай Травкин заявил: «Мы должны избавиться от Коммунистической партии. Если мы снимем лишь верхушку айсберга, эта партия вернется в еще более реакционном виде». Из окон расположенного рядом роддома врачи и медсестры аплодировали демонстрантам, а люди на площади, со своей стороны, приветствовали их одобрительными возгласами.

Количество людей в толпе на площади Маяковского быстро росло, и вскоре стало понятно, что организаторы недооценили ее вместимость. В 18 часов площадь была забита битком, а к демонстрации продолжали присоединяться десятки тысяч рабочих городских предприятий, которых волнами выплескивало из метро. Боксер, помогавший решать организационные вопросы, обнаружил, что для продвижения лишь на 500 метров уходит более часа. С речами на митинге выступили Гавриил Попов, мэр Москвы, Юрий Афанасьев, отец Глеб Якунин, Галина Старовойтова. Афанасьев сказал, что митинг продемонстрировал мощь и единство демократических сил, и теперь поддержку ими Ельцина и реформ уже невозможно игнорировать.

Когда стемнело и пошел снег, первые ряды пятидесятитысячной колонны демонстрантов с Арбатской площади появились на Садовом кольце. Увидев колонну, многолюдная толпа на площади Маяковского взорвалась радостными возгласами, и два человеческих потока слились в тот момент, когда зажглись

уличные фонари, а прожектора высветили огромную статую Маяковского посреди скопления демонстрантов.

Количество людей на площади Маяковского и вблизи нее превысило 100 тысяч, что было рекордом для демонстраций в Москве в будний день и, несмотря на войска и милицию на укрепленных позициях, было очевидно, что власть не решится перейти к силовым действиям.

Настроение в толпе было праздничное. Люди скандировали «Ельцин! Ельцин!» и «Долой Горбачева!». Демонстранты держали сотни российских флагов и транспарантов: «Женщины, не рожайте коммунистов», «КПСС – на свалку истории», «Борис, держись!», «Вся Россия – за Бориса». Наконец отец Глеб Якунин, перекрывая возгласы толпы «Ельцин – президент!», призвал всех идти домой греться. Подытоживая результаты митинга, он сказал: «Сделано большое дело». Через какое-то время, когда победа демонстрантов была уже несомненной и улицы начали пустеть, тысячи солдат и техника, заполнившие Москву с утра, были выведены из города.

Это противостояние завершилось полной победой Ельцина. Российский Съезд народных депутатов не только отклонил предложение сторонников жесткой линии об отстранении его от должности, но и проголосовал за предоставление ему новых полномочий. Президентские выборы в России были назначены на 12 июня.

Теперь Горбачев вновь вернулся к реформам. Двадцать третьего апреля он тайно встретился с Ельциным и руководителями еще восьми республик в подмосковном поселке Ново-Огарево. После десятичасовых переговоров участники встречи подписали заявление, в котором призывали к заключению нового союзного договора и разработке новой конституции, после чего, в 1992 году, по всей стране должны были состояться выборы. Роль союзных республик предусматривалось «существенно усилить», а шести республикам, не представленным на встрече, – трем балтийским, Молдавии, Грузии и Армении – предоставля-

лось право отказаться от подписания нового союзного договора. Горбачев официально отступился от намерения обеспечить единство Советского Союза силой.

Между тем партия, возмущенная маневрированием Горбачева, сплотилась против него на апрельском пленуме 1991 года.

Пленум начал свою работу в Кремле в атмосфере растерянности и недоверия. Члены ЦК, привыкшие воспринимать Горбачева и Ельцина как соперников, были ошеломлены новоогаревским заявлением и предположительным примирением обоих лидеров.

В 15 часов Горбачев открыл пленум вступительными словами. «Давайте говорить откровенно, товарищи, – сказал он. – Было бы недостойно делать вид, будто руководство не замечает, что множество рядовых членов партии дезориентировано, а... другие, включая партийных руководителей, даже впали в истерику. Эта атмосфера напоминает тот... период, когда В. И. Ленин резко развернул партию и страну в сторону НЭПа». Сложность ситуации, продолжал Горбачев, поражает сходством: нужно поощрять предпринимательство, отстаивая права трудящихся, и поддерживать суверенитет республик, защищая в то же время союзную власть.

Слова Горбачева вызвали всеобщее смущение и разве что одиночные аплодисменты. Высказывания выступающих после него членов ЦК отражали непонимание происходящих в стране событий и ностальгию по недавнему прошлому.

Станислав Гуренко, первый секретарь ЦК КПУ, сказал: «Люди с горечью отмечают, что за последние годы стране нанесен вред, которого ей и враги не могли бы нанести. Экономика разрушена, общество расколото, значительная часть его живет за порогом бедности. Безработица, забастовки и кровавые межэтнические конфликты стали реальностью... Словом, мы быстро потеряли все то, чего достигли... иногда ценой невероятных усилий всех поколений советского народа...»

А. П. Рубикс, первый секретарь Компартии Латвии: «Люди спрашивают, сколько мешков резолюций нужно послать в Москву, чтобы были приняты конкретные меры для восстановления правопорядка в стране?»

А. М. Зайцев, первый секретарь Кемеровского обкома: «Ситуация в стране стала практически неуправляемой. Последние шесть лет привели к хаосу и коллапсу правительственных структур и руководящих органов... Антикоммунизм и капитализация экономики стали реальной политикой Советского Союза...»

Горбачев наконец вскипел. С багровым лицом, дрожа от возмущения, он сказал: «Ладно, достаточно, теперь я отвечу всем... Я предлагаю прекратить дебаты и заняться вопросом Генерального секретаря, а также тем, кто займет его место к следующему съезду партии. И еще тем, кто организует те две, три или четыре партии в зале... Я подаю в отставку».

Тем самым Горбачев загнал консерваторов в безвыходную ситуацию. Согласно уставу партии, его можно было сместить лишь на съезде партии. Если бы он ушел в отставку до того, как соберется новый съезд, то продолжал бы выполнять функции Генерального секретаря, контролировать партийное имущество и мог бы даже создать новую партию. Консерваторы не могли отстранить Горбачева, а он их – мог.

Большинство членов ЦК находились в оппозиции к Горбачеву, но им необходимо было время, чтобы сплотиться против него. Поэтому 332 голосами против 13 они проголосовали за исключение из распорядка дня вопроса о его отставке. Пленум продолжил свою работу, обсуждая проблемы экономики и межнациональных конфликтов. И тем не менее всем было ясно, что отставка Горбачева с должности Генерального секретаря – вопрос ближайшего будущего.

Летом демократические силы, выпущенные на волю Горбачевым, стали угрозой для него самого. Опасаясь вновь прибегать к массовым репрессиям и не имея возможности сохра-

нить без них советскую систему, он полностью переключился на сохранение тех своих функций и возможностей, которые еще можно было сохранить в этой новой политической ситуации.

Прошло несколько недель, и Горбачев продвигался вперед в совместной с Ельциным работе над новым союзным договором, который передавал республикам существенную часть полномочий.

Горбачев готовил также проект новой программы партии, которая предусматривала отказ от всех традиционных коммунистических позиций. В ней осуждались «преступления сталинизма», поддерживалась частная собственность и предусматривались политический плюрализм, религиозная терпимость и верховенство права.

В июне Ельцин абсолютным большинством голосов россиян был избран президентом России и 10 июля во Дворце съездов официально вступил на пост первого российского президента. Через десять дней после этого он издал указ о запрещении деятельности партийных организаций на предприятиях и в учреждениях. Этот приказ, который не мог быть отменен Горбачевым, угрожал лишить партию ее организационной основы.

Между тем в партии воцарилась мрачная атмосфера. Коридоры ЦК, и до того не слишком многолюдные, теперь почти опустели. Из канцелярий начали увольнять машинисток, в буфете исчезали столовые приборы и продукты.

На июльском пленуме была представлена и утверждена «для опубликования» программа партии, что фактически не оставляло сомнений относительно ее будущего. Однако важнейшим вопросом было определение даты партийного съезда. Консерваторы в партии были убеждены, что единственный шанс спасти партию и Советский Союз – в устранении Горбачева, но это можно было сделать лишь на съезде, который они стремились провести как можно раньше. Горбачев, напротив, пытался отсрочить это событие, чтобы иметь возможность закрепить свой союз с Ельциным, завершить работу над союзным договором и расколоть партию на своих условиях.

Консерваторы предложили назначить съезд на сентябрь, но Горбачев, сославшись на необходимость дождаться конца уборки урожая, настоял на декабре или январе, и они, скрепя сердце, согласились.

Теперь консерваторы были уверены в неизбежности устранения Горбачева. Однако 2 августа тот объявил, что Россия, Узбекистан и Казахстан готовы подписать союзный договор 20 августа, что фактически означало прекращение существования СССР. Следствием этого объявления стала подготовка армии, КГБ и правительства к государственному перевороту, который начался – без участия партии – через семнадцать дней после этой информации.

В 9:30 утра 19 августа танки были уже на улицах Москвы. Олег Шейнин (руководивший партией в отсутствие Владимира Ивашко, заместителя Генерального секретаря, выздоравливавшего после операции на горле) созвал заседание секретариата в здании на Старой площади. Секретари ЦК спрашивали о здоровье Горбачева, который в этот момент был изолирован на своей даче в Форосе. Ответы были уклончивыми. Потом всем раздали текст шифрограммы, которую собирались разослать местным парторганизациям; в ней рекомендовалось «привлекать коммунистов к деятельности Чрезвычайного комитета».

Атмосфера в здании ЦК странно успокоилась. Множество сотрудников, которым больше нечем было заняться, стали смотреть в своих кабинетах передачи CNN о перевороте. Они увидели первую пресс-конференцию руководителей путча и толпу, окружившую танки на московских улицах.

В 17 часов в ЦК привезли каретой «скорой помощи» Ивашко. На следующий день местным парткомам была послана еще одна телеграмма с вопросом о настроениях граждан. Заседаний, реакции или объяснений со стороны ЦК больше не было. Партийные чиновники, как и миллионы граждан, следили за событиями по радио и телевидению.

Однако, когда стало очевидно, что путч практически провалился, по зданию на Старой площади прокатилась волна страха. Народ привык к тотальному господству партии во всех аспектах советской жизни, поэтому у него были все основания считать, что и этот переворот был делом рук КПСС.

Полученный 23 августа приказ освободить помещение на Старой площади ошеломил членов ЦК. Когда первые чиновники оставляли здание через главный подъезд, их сумки и портфели обыскивала милиция. Вскоре все подъезды здания, кроме выхода на улицу Куйбышева, были заблокированы. Всех, кто выходил оттуда, толпа, разделенная пополам и сдерживаемая милицией, пропускала узким «коридором позора» и сопровождала возгласами «Мерзавцы!», «Подлецы!».

В то время, как работники ЦК под дождем убегали от разъяренной толпы, Горбачев входил в Белый дом, чтобы вместе с Ельциным появиться перед Верховным Советом России. В зале Ельцин заставил Горбачева зачитать протоколы, составленные во время августовского заседания Совета Министров, на котором министры (все они были членами партии) подавляющим большинством голосов поддержали путч.

Потом Ельцин вынул какой-то документ и сказал: «Теперь, чтобы немного отдохнуть, позвольте мне подписать указ о запрещении деятельности Коммунистической партии РСФСР». Горбачев ответил: «Борис Николаевич... Я не знаю, что вы здесь подписываете. Это недемократично – запрещать целую партию из-за преступления нескольких людей». Ельцин не обратил на эти слова никакого внимания и подписал документ под аплодисменты депутатов.

Теперь Горбачев был единственным человеком в Советском Союзе, способным защитить коммунистические партии СССР и России. Он все еще был советским президентом и мог упразднить указ Ельцина и попытаться использовать армию и КГБ для восстановления контроля над страной. Однако, с учетом опыта

путчистов, Горбачев не мог быть уверен в успехе. И он решил поддержать Ельцина.

Утром 24 августа советское радио передало заявление Горбачева, в котором он сказал, что, ввиду своей бездеятельности во время путча, партия должна принять «тяжелое, но честное решение о самороспуске», а также сообщил, что сложил полномочия Генерального секретаря и отдал приказ о конфискации государством всего партийного имущества.

Пока Горбачев выступал, милиция и войска МВД окружили все главные здания Коммунистической партии в Москве, сдерживая разгневанный народ. Таким образом, через 73 года после захвата власти большевиками кровавое, безумное и сюрреалистическое время коммунистического правления в Советском Союзе наконец завершилось.

4

ПРАВДОИСКАТЕЛИ

Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет.

Евангелие от Матфея 25:29

МОСКВА, АПРЕЛЬ 1988 ГОДА

Ежевечерне множество людей заполняет просторный Московский аэровокзал – терминал для автобусов к московским аэропортам, одну из главных транспортных развязок Советского союза (или СССР). В стране с одиннадцатью часовыми поясами автобусы выезжают из аэровокзала к аэропортам до поздней ночи, а потом снова возобновляют движение в предрассветные часы, поэтому в этом стеклянном дворце с дуговыми лампами, рядами кожаных кресел и круглосуточными рестораном и телеграфом почти непрерывно бурлит жизнь. Больше всего в этом человеческом муравейнике пассажиров. Они взвешивают свой багаж или становятся в очередь к потонувшему в табачном дыму буфету, в то время как на большом табло над двустворчатыми дверями высвечивается время отправления внутренних авиарейсов. Однако, кроме пассажиров, в зале находится и другая категория людей, которые никуда не летят. Они фактически живут в аэровокзале, и кое-кто из них провел здесь значительную часть своей жизни.

Эти «жители» аэровокзала – «искатели правды», трудовой люд, который приезжает в Москву, где в поисках справедливо-

сти обивает пороги приемных государственных учреждений, обычно добиваясь наказания виновных в притеснениях, со стороны их руководства.

Как правило, эти правдоискатели начинают свой поиск справедливости с писем в органы центральной власти, иногда – в московские газеты. Эти письма читают, извлекают из них нужную информацию, а потом отсылают назад, в то самое местное учреждение, на которое жаловался искатель правды. Обычно это вызывает новую волну писем: «Нет-нет, вы меня не поняли. Я уже обращался к местным органам. Они не хотят помочь, ОНИ ВСЕ ЗАОДНО! ПОЭТОМУ Я И ОБРАТИЛСЯ К ВАМ!!!» На это второе письмо, как правило, не отвечают, и бесправный правдолюб, ничего не добившись, остается один на один с разъяренной местной властью. Именно после такой безрезультатной переписки большинство жалобщиков приезжает в Москву.

Когда такой жалобщик отправляется из своего провинциального города для поисков правды в Москву, он ступает на тропу, усеянную несбывшимися надеждами его предшественников. Его посылают из одного кабинета в другой, где ему предстоит заполнить еще больше бланков заявлений. Немало воды утечет, прежде чем ему повезет встретиться с каким-нибудь должностным лицом, и каждая такая встреча заканчивается советом обратиться к кому-то еще. Этот процесс хождения по учреждениям может длиться месяцами или даже годами – собственно говоря, до тех пор, пока правдоискатель не поймет, что добиваться справедливости в советской системе – безнадежно.

В приемной ЦК КПСС один из правдоискателей разговаривает с чиновником через стеклянную панель, с помощью микрофона. Другие сидят на жестких стульях вдоль стены. Один-два из ожидающих выглядят возбужденными, словно ведут упорную борьбу с невидимым врагом, намеренным разрушить их жизнь.

В приемной Генерального прокурора СССР какая-то женщина рассказывает, что ее сына арестовали, ошибочно обви-

нив в изнасиловании, и присудили к семи годам колонии после того, как он попробовал разоблачить финансовые махинации председателя местного колхоза. Женщина плачет и не может заставить себя уйти из приемной, хотя ее ходатайство о пересмотре дела отклонено.

В редакции газеты «Известия» Владимир Магарик заметил, что стоит лишь смущенному провинциалу зайти в приемную, как ее работники поднимают шум: «Вы кто такой? Что вам здесь надо?» Инвалид войны на костылях спрашивает у Магарика, служил ли тот в армии. Магарик отвечает, что нет, не служил. «В армии, – говорит инвалид, – есть одна замечательная вещь, называется “калашников”. Стреляешь от бедра, и сразу всем конец».

Правдоискатели выходят на рассвете из поездов, прибывающих на московские вокзалы из провинциальных городов, и идут по замерзшим улицам столицы, чтобы потом часами нетерпеливо ждать, пока откроются двери приемных. Их вера в справедливость советской системы неимоверно сильна, хотя, на самом-то деле, в этой системе они лишние.

Начало гласности, с ее намного более свободным доступом к информации и готовностью к разоблачению коррупции на местном уровне, не улучшило положения правдоискателей. В Москву хлынул поток разочарованных людей со свежими жалобами, а также тех, кто хотел пересмотра старых дел. Но нигде они не добивались успеха. Двенадцатого февраля 1988 года Абульфазиза Алескерова, из Азербайджана, мать четырех детей, облила себя бензином и подожгла в приемной Верховного Совета. «Я сюда приезжаю уже десять лет, – кричала она. – Десять лет они меня не принимают!»

Со временем – нередко после бесед с другими просителями в приемных – правдоискатели перемещаются на аэровокзал, и там для них начинается какое-то подобие жизни. Между кожаными креслами нет металлических перегородок, поэтому на них можно лечь, и правдоискатели часто устраиваются там на ночь, укрывшись пальто и подложив под голову свои сумки. Днем они

оставляют эти вещи в металлических боксах камеры хранения, расположенной в подвале вокзала, – это стоит 15 копеек.

Со многих точек зрения аэровокзал является наиболее приемлемым прибежищем для этих людей во всей советской столице. Здесь теплее и уютнее, чем в похожем на пещеру, холодном, неотапливаемом Киевском вокзале. Кресла здесь удобнее твердых пластиковых сидений на Ярославском вокзале. Здесь легче умываться, чем в переполненных людьми туалетах Ленинградского вокзала. Эти удобства позволяют искателям правды импровизировать, а следовательно – выживать.

Со временем жизнь правдоискателя становится однообразной. После дня, проведенного в писании ходатайств за стойками Центрального телеграфа с последующей отправкой их в соответствующие приемные, он (или она) в конце дня возвращается в здание аэровокзала и часами сидит там, наблюдая за бурлящей вокруг жизнью обычных людей. Проходят недели, и он (или она) постепенно знакомится с другими искателями правды, а также с агентами-информаторами, которые ведут слежку за залом по заданию КГБ.

Ночью в зале аэровокзала стоит шум, и сияет яркий свет. Кругами ходит милиция, которая запросто может задержать правдоискателя за «бродяжничество». Однажды милиционеры подошли к женщине, сидевшей рядом с Валентиной Ромашовой. Женщина стала кричать: «Я школьная учительница! Я порядочный человек! Меня уволили, но…» Милиционеры увели ее. Ромашову, которая была столь же уязвимой, они почему-то трогать не стали.

С 1988 года началась определенная либерализация, и правдоискатели получили возможность ночевать в аэровокзале без этих постоянных притеснений.

В аэровокзале пахнет пылью далеких стран. Но большинство искателей правды скоро уже почти не замечают ничего вокруг. Проходят недели, и они по большей части сидят, по-

груженные в свои мысли, поглощенные своей борьбой, которая и привела их в Москву.

Советское общество отличалось двумя особенностями, вследствие которых и появились эти правдоискатели: бесправием советских граждан в своих трудовых коллективах и убежденностью административного аппарата в том, что незаменимых людей не бывает.

Коллективы служили средством объединения граждан в советскую систему, и фактически именно на уровне коллектива больше всего ущемлялись человеческие права. Если гражданин упрямо демонстрировал собственную независимость, первым реагировал не КГБ, а именно трудовой коллектив, который мог наложить взыскание, уволить по статье или заставить подать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Руководитель трудового коллектива должен воспитывать членов этого коллектива, чтобы они не пьянствовали, не воровали и вообще были достойными советскими гражданами», – просвещал меня Йоханнес Тамме, либеральный эстонский чиновник-идеолог, когда мы сидели с ним в таллинском кафе в марте 1988-го. «Если ты побьешь жену, она может прийти на твое предприятие и пожаловаться, что тебя там не воспитали должным образом. Обычно на каждом уровне на предприятии руководство отвечает за воспитание подчиненных. Директор воспитывает начальников цехов, они – бригадиров, а те – мастеров. Если кто-то нарушает закон, подаст заявление на эмиграцию или не вернется из заграничной командировки, это рассматривается не просто как решение отдельного человека, а как провал в коллективном воспитании, и за это может быть наказано руководство на всех уровнях трудового коллектива».

«Ответственность» коллектива за своих членов давала ему право интересоваться всеми подробностями их личной жизни – от супружеской измены до злоупотребления алкоголем и любых инцидентов, дружеских связей или высказываний, дававших

основания для подозрения в политической неблагонадежности. Человек не только пребывал под постоянным контролем своего коллектива, но и полностью зависел от него. Среди работников распределялись высоко ценимые ими путевки на курорты, организовывались записи в очередь на приобретение мебели или автомобилей, а главное – здесь обычно регулировалась очередь на квартиру. Как и любой дефицит, квартиры были предметом спекуляции, и даже те, кто ожидал получения квартиры 10-15 лет, не могли быть уверены в сохранении своего места в очереди.

Человек зависел от своего трудового коллектива даже тогда, когда хотел сменить место работы. Для устройства на новую работу надо было предъявить трудовую книжку, фиксировавшую все детали его предыдущего трудового пути. Таким образом, занесенные в книжку продвижения по службе, выговоры или увольнения – независимо от их обоснованности – могли стоить «виновнику» перспектив трудоустройства на всю жизнь.

Другим фактором возникновения правдоискательства была обусловленная бюрократической машиной огромная зависимость общества от документов.

От момента зачатия будущего гражданина его мать должна была засвидетельствовать факт своей беременности. Если беременная не имеет подтверждающих документов, ей не предоставят на работе декретного отпуска – хотя бы ее беременность и была видна невооруженным глазом. После рождения ребенку выдается «медицинский паспорт», в котором указываются имена, даты рождения и национальность родителей. Следовательно, ребенок зачастую уже имеет паспорт еще до получения собственного имени.

В возрасте шестнадцати лет гражданин получает внутренний паспорт и уже официально считается полноценным членом советского общества. Он обязан всегда иметь свой паспорт при себе, а сам этот документ является поразительным примером обработки отдельного человека в Советском Союзе ради его встраивания в советское общество. Практически бесполез-

ный для самого владельца, паспорт предназначен обеспечивать важной информацией милицию. Там есть штамп о браке или разводе. Там есть место для реестра детей владельца, а самое важное – есть штамп прописки, который свидетельствует, что владелец паспорта имеет разрешение проживать по определенному адресу и только там.

Следовательно, милиция имеет возможность держать в поле зрения почти все население. Если гражданин хочет переехать в другое место, он должен иметь в паспорте штамп о выписке с последнего места проживания, потому что без такого штампа не сможет прописаться на новом месте. До 1990 года советский гражданин, планируя поездку в другой город дольше, чем на три дня, должен был обращаться в местную милицию за разрешением на временную регистрацию.

Когда гражданин намерен сочетаться браком, он опять-таки полностью зависит от документов. После представления женихом и невестой заявления о намерении вступить в брак им предлагается заполнить анкеты, которые должны засвидетельствовать законность их намерения. При приеме заявлений будущей супружеской чете выдают документ с печатью на право приобретения обручальных колец, обуви и одежды в специальных салонах для женихов и невест, а также на заказ свадебной машины.

После смерти гражданина первая обязанность ближайших родственников – сдать его паспорт. После этого им выдается свидетельство о смерти, нужное для приобретения гроба в специальном пункте ритуальной службы соответствующего района. Глава семейства хранит документы на два места на кладбище. Потеряв документы, он теряет и места. Подготовив все для захоронения, ближайший родственник получает справку, на основании которой покойнику назначается место на районном кладбище. Определяется разрешенный тип памятника, и родственников предупреждают, что за любое нарушение соответствующих правил памятник будет демонтирован.

Следовательно, на каждом этапе своей жизни гражданин подлежит «обработке» административной машиной, трактующей его в соответствии с его социальной функцией и распространяющей бюрократическую стандартизацию на самые интимные и чувствительные моменты человеческой жизни.

Тенденция административного аппарата считать людей взаимозаменяемыми часто имеет трагические последствия.

В мае 1971 года в Витебской области Белоруссии в проселках между Витебском и Полоцком стал орудовать серийный убийца. Число жертв росло с каждым годом, и к октябрю 1985 года их было уже тридцать семь. Тела убитых женщин находили в кустах, лесах, на пустошах, иногда на городских окраинах. Все жертвы были задушены.

Преступник год за годом беспрепятственно совершал свои убийства, а милиция каждое из них рассматривала как отдельный случай, пока в 1985 году, после выявления тела тридцать седьмой жертвы, расследование не поручили Николаю Игнатовичу, старшему следователю белорусской прокуратуры. Он стал читать материалы дел всех нераскрытых убийств женщин в этой местности и пришел к выводу, что все они были убиты одним человеком. Сходство этих дел было абсолютно очевидным. Все жертвы были найдены задушенными вблизи малолюдных сельских дорог, и многих из них видели в последний раз, когда они садились в машину к какому-то незнакомцу. Немало из этих женщин были изнасилованы, но признаки борьбы отсутствовали, что наводило на мысль об изнасиловании в бессознательном состоянии или после смерти.

Милиция наконец начала искать одного убийцу, а не разных, и характер расследования изменился. Информация, полученная за эти годы от свидетелей, указывала, что убийца был высоким мужчиной крепкого телосложения и на 1985 год ему было около сорока лет. Игнатович стал искать человека, который отвечал этому описанию и был способен убивать женщин начиная с 1971 года.

Следователи попытались сопоставить паузы в серии этих убийств с периодами, когда известные преступники, уроженцы этих мест, находились в колониях, но это не дало результатов. Однако в 1985 году нашелся свидетель, видевший, как одна из последних жертв садилась в красный «Запорожец». Игнатович обнаружил полторы тысячи «Запорожцев», зарегистрированных в Витебской области, и милиция начала останавливать эти машины и проверять документы у водителей. Активность милиции напугала убийцу, и для того, чтобы ее дезориентировать, он убил еще одну женщину необычным способом. Это случилось вблизи Витебска, и убийца вложил в рот жертвы записку: «За измену – смерть. Борьба с легавыми и коммунистами». Благодаря записке следователь получил образец почерка преступника.

Игнатович составил карту всех убийств женщин в этой местности с 1971 года, обозначив места, где в последний раз видели жертв. Согласно этой карте, жертвы или выезжали утром из Полоцка, или возвращались туда вечером из других городов. Теперь стало очевидным, что убийца жил неподалеку от Полоцка, и Игнатович допустил, что последнее убийство было совершено под Витебском, чтобы сбить милицию со следа. Он проверил данные государственной регистрации автомобилей и обнаружил в районе Полоцка 35 владельцев красных «Запорожцев». Сравнивая их с вероятным профилем убийцы, Игнатович остановился на Геннадии Михасевиче – заведующем авторемонтной мастерской в совхозе «Двина», расположенном в двух километрах от Полоцка.

Михасевичу было 38 лет, он был женат и имел двоих детей. Был активным коммунистом и часто писал заметки в местную газету как передовик. Когда следователи пришли опросить его, соседи были крайне удивлены. В прошлом Михасевича, казалось, не было ничего, что позволяло связать его с каким-то преступлением. Однако следователи взяли образец почерка Михасевича и обнаружили, что он совпадает с запиской, найденной во рту последней жертвы. Михасевича арестовали.

В течение четырнадцати лет Михасевич убивал женщин на дорогах Белоруссии, но жернова правосудия тоже вертелись: за его преступления было осуждено тринадцать человек, двенадцать из них осудили на длительные сроки в колониях строгого режима, а один был расстрелян.

Первым из осужденных был Александр Гарилов, арестованный в 1971 году после нелегального возвращения в Витебскую область из колонии, где он отбывал наказание за хулиганство. Гарилова обвинили в первом из убийств, совершенных Михасевичем, хотя единственная его связь с жертвой заключалась в том, что он был арестован по другому обвинению вскоре после обнаружения тела жертвы.

Гарилов согласился сознаться в этом убийстве после того, как следователь Михаил Жовнерович стал угрожать ему смертным приговором. Однако в последнюю минуту Гарилов закричал, что обвинение ошибочно, а Жовнерович – негодяй. Несмотря на это, суд продолжил рассмотрение дела, и в конечном счете Гарилова осудили на 15 лет тюрьмы.

Двадцатидвухлетнему рабочему Орлу тоже угрожали смертным приговором. Его посадили в камеру, кишевшую вшами, и заверили: если он не сознается, те съедят его заживо. Вши не давали ему ни спать, ни бодрствовать, поэтому в конце концов Орел сознался в том, чего не совершал.

Еще одним обвиняемым стал неработающий человек по фамилии Тереня, арестованный за мелкое правонарушение, совершенное им в состоянии опьянения в тот период, когда расследовались первые убийства. Ему посулили 15 лет заключения, если он признает свою вину. Тюремные условия были для Терени привычными, а смертного приговора он боялся, потому согласился на это предложение. Однако на суде он вдруг заявил, что никого не убивал. Но потом махнул рукой и повторил ту версию преступления, которую продиктовали ему следователи. Неожиданно для Терени суд приговорил его к смертной казни. Ходатайство о смягчении наказания было отклонено, и Тереню расстреляли.

Терене было за 30 лет, он был родом из одного из сел Витебской области. После ареста Михасевича мать Терени обратилась к одному из московских следователей с просьбой помочь в возвращении ей останков сына. Тот позвонил в витеб скую тюрьму и узнал, что Тереню похоронили в общей могиле. Позже этот следователь рассказывал журналисту «Литературной газеты» Игорю Гамаюнову: «Я не мог на нее смотреть. Она стояла там в платке, с глазами, полными слез, и у меня замерло сердце. Я лишь сказал ей: “Ваш вопрос еще рассматривается”».

Блинова и Лужковского арестовали за убийства их любовниц. Блинова было трудно запугать, но Жовнерович сказал одному из милиционеров: «Блинов хочет пить. Дайте ему напиться». Милиционер отвел Блинова в соседнюю комнату и нанес такой удар, что у того пошла кровь из носа и залила лицо. После этого следователь спросил: «Ну что, напился?»

Потом Блинова направили в психиатрическую лечебницу, где после нескольких инъекций он начал неудержимо говорить. Врачи прислушивались к этому потоку сознания, пытаясь услышать какие-то подробности его вероятного преступления, но напрасно. Несмотря на это, врачи предоставили вывод в согласовании с выдвинутым обвинением.

Адамов работал водителем самосвала вблизи места, где было обнаружено тело одной из жертв. Его арестовали и допрашивали десять раз в течение двух недель, прежде чем он сознался в преступлении, чтобы избежать смертного приговора. Адамова осудили на 15 лет пребывания в колонии. В заключении он пытался повеситься.

Девятнадцатилетнего витебского студента Ковалева арестовали после того, как один из свидетелей сообщил, что Ковалев со своими друзьями Янченко и Пашкевичем играл в волейбол рядом с тем местом, где было найдено тело последней жертвы. Ковалев получил 15 лет колонии, а Янченко и Пашкевич – по 12 лет.

После задержания Михасевича Игнатович отправил одного из своих следователей с поручением освободить Ковалева, ко-

торый на то время провел в колонии 13 лет. Когда его арестовывали, его невеста отказалась поверить в то, что он убийца, а потом поехала к нему в колонию под Минском, где они зарегистрировали брак, и ждала 13 лет, пока его не выпустили.

Когда Игнатович занялся этим делом, ему даже не сказали, что было уже десять дел, фигуранты которых получили приговоры. Лишь когда он начал расследование и обратился, в добавление к материалам двадцати шести официально не раскрытых дел об убийствах, еще и к этим десяти делам, он представил себе настоящий масштаб преступлений, совершенных этим убийцей.

К 1985 году некоторые из осужденных уже отбыли свои сроки и вышли на свободу. Одним из них был Гарилов, отсидевший десять из пятнадцати лет. Игнатович запросил информацию о Гарилове, и ему сообщили, что тот живет в Витебске.

Игнатович написал Гарилову и пригласил его на беседу. Вскоре после этого позвонила сестра Гарилова и сказала, что он не сможет приехать. Когда Игнатович спросил о причине, она ответила: «Приезжайте и сами увидите».

Игнатович приехал в квартиру в полуразрушенном доме на окраине города. На то время Гарилову было 37 лет, но Игнатович увидел перед собой старого, совершенно слепого мужчину. И хотя настоящего убийцу на то время еще не поймали, Игнатович был уверен в невиновности Гарилова и сказал ему: «Я не могу вернуть вам ни зрения, ни лет, потерянных в лагерях, но я могу вернуть вам честное имя». Гарилов заплакал и сказал: «Верните, по крайней мере, честное имя, чтобы соседи не считали меня убийцей». Отец Гарилова тоже расплакался, да и сам Игнатович едва сдерживал слезы.

В конечном счете Игнатовичу удалось освободить шестерых. Другие отсидели свои сроки до конца, а Тереню казнили. Выходя на свободу, кое-кто плакал, другие матерились.

Большинство освобожденных мужчин смирились со своей судьбой и постепенно вернулись к обычной жизни – даже самые озлобленные из них. Глушаков, отбывавший срок в коло-

нии на Крайнем Севере, сказал, что единственным его стимулом к жизни было желание убить Жовнеровича. Однако, когда Игнатович через полгода после освобождения Глушакова случайно встретил его и спросил, собирается ли он все еще убивать Жовнеровича, тот ответил: «Он сам сдохнет. А мне нужно как-то жизнь устраивать».

Сочетание бесправия работников в своих трудовых коллективах с бюрократическим аппаратом, считавшим их взаимозаменяемыми, порождало миллионы потерпевших и тысячи правдоискателей. В советском обществе существовали законы, которые позволяли защищать отдельного члена коллектива, но они не применялись, потому что судьи и прокуроры были подчинены местным партийным органам. Из-за этого большинство граждан не верили в действенность принятых законов. Однако правдоискатели не могли смириться с пропастью между существующими законами и реальной практикой. Они отправлялись в Москву, чтобы добиться исполнения законов, но это каждый раз оказывалось напрасной тратой времени и сил.

Если бы Советский Союз действительно был таким демократическим государством, каким он пытался себя представить, то ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Генпрокуратура и другие органы и учреждения, в которые поступали жалобы от граждан, были бы готовы защищать права людей, пострадавших от несправедливости в своих трудовых коллективах. Однако правдоискатели быстро обнаруживали, что учреждения для рассмотрения жалоб в действительности являются фикцией, и во многих случаях это открытие давало им первое настоящее представление о советской системе.

Одним тихим летним днем 1987 года Валентина Ромашова вошла в помещение Центрального телеграфа на улице Горького и увидела там группу правдоискателей, изучавших какую-то статью в газете «Московская правда». В статье критиковали Сергея Григорянца, редактора газеты «Гласность», – его обви-

няли в использовании государственной фотокопировальной техники в частных, не предусмотренных целях.

«Где эта “Гласность”? – спрашивал один из правдоискателей. – Где ее найти?»

Прошла неделя, и правдоискатели получили ответ на свой вопрос. Номер телефона газеты стал известен из сообщений западных радиостанций. Ромашова позвонила туда, получила адрес и приехала в редакцию – лишь для того, чтобы убедиться, что десяток других правдоискателей ее опередил.

Ромашова выросла в Горьком, а в Москву переехала в 1979 году, согласившись на предложение работать в психиатрической больнице № 27, где лечились люди, покинутые родственниками. Ради того, чтобы жить в Москве, она согласилась стать «лимитчицей», то есть человеком, который получает временную прописку в столице в обмен на согласие работать в отраслях, недостаточно обеспеченных рабочей силой. «Лимитчики» – очень уязвимая категория населения, потому что, хотя они и могут через три-пять лет получить постоянную регистрацию, то есть прописку, разрешение на постоянное проживание им не гарантировано. Это зависит от согласия руководителя трудового коллектива.

В феврале 1980 года Ромашова начала работать в этой клинике и сразу была поражена условиями там. Пациенты ходили босиком и в лохмотьях, никто даже не пытался их чем-нибудь занять. Вместо этого, чтобы удерживать больных в спокойном состоянии, применялись психотропные средства вроде галоперидола и аминазина. В то время, когда пациенты не были заперты в своих палатах с открытыми из-за духоты форточками (несмотря на мороз на улице), их часто привлекали к тяжелому труду, заставляя таскать ведра с водой или узлы с мокрым бельем. А потом их, грязных и истощенных, в промокшей одежде, оставляли часами слоняться одних по холодным коридорам.

Но еще больше, чем эти ужасные условия, Ромашову встревожили признаки коррупции. Директор Александр Чупраков

имел личного водителя и повара, которые оплачивались больницей. Кроме того, в больнице числились работниками люди с зарплатой по 800 рублей в месяц, которые в действительности там не работали. В то же время на шестьсот пациентов был лишь один врач, а каждой санитарке приходилось за смену обслуживать по сто двадцать больных. Лишенные своевременной медицинской помощи, пациенты больницы мерли, как мухи.

Ромашову все это очень беспокоило, но, осознавая свое уязвимое положение, она молчала. Однако в июне 1981 года она с удивлением узнала, что Михаил Корсаков, главный врач клиники, направил в МВД письмо, в котором обвинял Чупракова в коррупции. Вскоре было открыто уголовное дело, и Чупраков начал вызывать в свой кабинет служащих больницы, требуя от них заявлений со свидетельствами против Корсакова. Ромашовой он предложил написать заявление с обвинением Корсакова в спекуляции, но она отказалась.

В течение полугода ситуация оставалась неопределенной, пока после вмешательства Аллы Низовцевой, первого секретаря райкома партии, расследование не было прекращено. Чупраков восстановил свое положение, а Корсакову пришлось уволиться, так же, как и фармацевту Наире Степановой. Ушли из клиники и другие сотрудники, которые вместе с Ромашовой отказались свидетельствовать против Корсакова, но сама Ромашова не могла уволиться, потому что как «лимитчица» она потеряла бы тогда право жить в Москве. Ей некуда было деваться.

С прекращением расследования жизнь в клинике вернулась в обычную колею. Приезжали грузовики со стройматериалами для дачи Чупракова. Некоторые из пациенток забеременели и вынуждены были сделать аборт, а однажды санитарки застали Петра Егорова, одного из приятелей Чепракова, голым в гардеробной с психически больной пациенткой.

Ромашова добросовестно делала свою работу, следила за тем, чтобы пациенты не дрались и нормально питались. Чупраков урезал ей зарплату и лишил премии, но больше всего Ромашову

тревожило то, что он откажется подтвердить ее московскую прописку по завершении трудового соглашения.

Наконец, в сентябре 1984-го, Чупраков вызвал Ромашову к себе и заявил, что за согласие на ее постоянную прописку она должна дать ему взятку. «Не дашь денег – не будешь жить в Москве. Вспомни последние пять лет своей жизни», – сказал он. Ромашова знала, что для получения разрешения на постоянное жительство в Москве ей необходимо согласие Чупракова, но давать взятку отказалась.

Она пошла в местное отделение милиции, где ее принял Николай Новиков, заведующий паспортным столом. «Мы знаем, что Чупраков – вор, – сказал Новиков, – но улаживать эту ситуацию вы должны только с ним».

«Но как?»

«Как хотите, – ответил Новиков. – Но помните – у вас нет никаких прав».

«Как это? В Конституции записано, что мы имеем право на труд и никто не может нас его лишить».

«Я вам еще раз повторяю – у вас нет прав, вообще никаких».

Тем временем Чупраков стал останавливать Ромашову в коридоре и требовать денег. Когда это не помогло, он приказал ей освободить комнату в общежитии больницы и перебраться в проходную, расположенную между двумя другими комнатами. Когда она отказалась, он поселил в соседней с ней комнате агрессивного хулигана, а председатель профкома клиники организовал митинг, на котором соседи по общежитию потребовали выселить Ромашову.

Двадцать пятого декабря 1984 года у Ромашовой закончился срок регистрации, но она все равно отказывалась давать взятку. В январе она дала Чупракову свой паспорт, и он выписал ее из Москвы. Восемнадцатого февраля она была уволена в связи с истечением срока трудового соглашения.

Ромашова знала, что без прописки она долго в Москве прожить не сможет, что ее могут задержать в любой момент,

но не хотела мириться с тем, что стала жертвой Чупракова. Решила добиваться справедливости в разных высоких кабинетах. Обращалась в Верховный Совет, ЦК КПСС, ВЦСПС, Генпрокуратуру и Министерство социального обеспечения, блуждая давно проторенным путем из одной приемной в другую.

Ромашова давно уже была знакома с Владимиром Изотовым, работником Октябрьского трамвайного депо, и он предложил ей вступить с ним в брак, чтобы получить законное право жить в столице. Обдумав ситуацию, Ромашова неохотно согласилась.

После регистрации брака Ромашова уже могла не бояться, что ее остановят на улице, но у нее появился другой повод для беспокойства. Она поселилась у Алевтины Коцабы, с которой раньше вместе работала в больнице № 27, и если бы стало известно, что она живет у Алевтины, а не у Изотова, ее могли выслать из Москвы за заключение фиктивного брака. Эта опасность стала реальнее, когда один из ее бывших поклонников, Виктор Сараев, узнал, где она проживает, и стал угрожать разоблачением.

Тем временем к власти пришел Михаил Горбачев, в феврале 1986 года Ромашова впервые услышала слово «перестройка» и обещание наказывать за преступления всех, независимо от занимаемой должности. Неужели времена действительно меняются?

Но пока что она обивала пороги разных учреждений. Ей часто приходилось путешествовать между Городцом, где жила ее мать, и Москвой, где она пыталась добиться справедливости, существуя на взятые у матери деньги. В конце концов Ромашова поссорилась с Коцабой и, не имея желания переезжать к Изотову, стала жить на вокзалах. Тогда со всех официальных трибун раздавалось слово «перестройка» и провозглашалась борьба со взяточничеством. Но никто, казалось, не собирался хоть как-то пресекать конкретные случаи взяточничества.

Сцены, которые разыгрывались в приемных, поражали своим сюрреализмом. Поскольку газеты изобиловали детальными разоблачениями взяточничества и коррупции, правдоискатели

приезжали в столицу, преисполненные надежд, но подвергались грубому и пренебрежительному обращению с собой и своими жалобами. В приемной редакции «Известий» над правдоискателями вообще издевались из-за их детской доверчивости к прочитанному в прессе.

Генеральный прокурор сообщил Ромашовой, что ее жалоба по поводу вымогательства взятки рассмотрена и признана необоснованной, хотя в больнице было хорошо известно о вымогательстве Чупраковым от нее взятки. В ВЦСПС заявили, что для восстановления Ромашовой на прежней работе нет оснований, хотя в случаях вымогательства даже «лимитчики» имели право на защиту со стороны профсоюзов. Женщина в редакции журнала «Человек и закон» сказала Ромашовой: «Если вы “лимитчица”, то с вами отнеслись должным образом. Цель нашего журнала – не помогать отдельным людям, а разъяснять советские законы».

Другие советские газеты не заинтересовались делом Ромашовой. Определенное сочувствие проявило лишь Центральное телевидение. Его сотрудники посоветовали женщине самой отказаться от борьбы и оставить этот вопрос на совести правоохранительных органов.

Больше года Ромашова подавала ходатайства, пока в Московском горкоме партии ее не приняло должностное лицо по фамилии Тропин. Он сообщил ей, что изучил ее жалобы с помощью «специальных методов» и установил, что ни одно преступление против нее совершено не было. А еще сказал, что Наиры Степановой, упомянутой Ромашовой в своем заявлении, не существует.

«Простите, – сказала Ромашова, – но она еще не умерла. И если вы будете рассказывать мне, что ее не существует, разговаривать с вами дальше нет смысла».

«Тогда до свидания», – сказал Тропин, явно довольный завершению беседы.

Ромашова пыталась понять, что же происходит в стране. Ей казалось очевидным, что власть хочет изменений, но пока что она видела, что всех взяточников и мошенников, как и раньше, защищают их партийные связи.

Тем временем Ромашова получила известие, что Сараев сообщил милиции о том, что она не живет с Изотовым. Сараев знал о ее конфликте в 27-й больнице, и бывшие коллеги сказали ей, что он взял Чупракова в союзники.

Вскоре на адрес Изотова пришла повестка для Ромашовой, и ей пришлось идти к начальнику милиции. Он спросил ее, живет ли она со своим мужем и есть ли у них половые отношения. «Я уверен, что нет», – сказал он.

«Ведите себя прилично, – ответила Ромашова, – и не лезьте людям в душу своими сапогами».

В конце концов Ромашова собрала вместе все полученные ею ответы и решила пойти с ними в Верховный Совет, чтобы показать, какая «перестройка» происходит в стране. Когда она пришла на Центральный телеграф, чтобы написать новое заявление, к ней подошла другая правдоискательница и спросила, куда она собирается идти со своей жалобой. Ромашова ответила, что в Верховный Совет, и тогда женщина сказала: «Не ходите туда одна. Они забирают людей оттуда и увозят в психиатрические больницы. Если пойдете, берите кого-нибудь с собой».

Ромашова решила не ходить. После многих лет работы в психушке она знала, что может случиться там с советским гражданином, и риск быть схваченной и подвергнутой принудительному лечению считала совершенно реальным.

В конечном счете Ромашова почувствовала невероятную усталость от этих своих непрестанных поисков справедливости. Ведь она была полностью погружена в борьбу за свои права, неделями жила на вокзалах, изнуряла себя писанием заявлений и жалоб, билась за восстановление на работе – и все напрасно. В конце концов Ромашова пришла к заключению, что единственная наде-

жда – обратиться в ООН. От другого правдоискателя она узнала, что на улице Луначарского есть представительство ООН.

Ромашова пошла туда и увидела, что сотрудники представительства – советские граждане. И все же она отдала им свое письмо. Она не ожидала немедленного ответа, поэтому поехала к матери в Городец, чтобы провести там лето. А когда вернулась в Москву, на почте, в отделе «до востребования», ее ожидало письмо из ООН. Там было сказано, что ООН не имеет полномочий для разбирательства ее дела, а потому ей советовали обратиться в соответствующие советские органы.

После такого ответа Ромашова поняла, что ее дело безнадежно. Но прежде чем заняться чем-то другим, она пошла на Центральный телеграф, где случайно встретила группу правдоискателей, которые читали статью в газете «Московская правда», где упоминался какой-то новый «неофициальный» журнал. Известие об этом независимом журнале стало для нее лучом надежды.

Ромашова рассказала свою историю редакторам «Гласности», и они опубликовали ее в 16-м выпуске журнала. Она опять стала посещать приемные разных учреждений и заметила определенные изменения.

Либерализация страны наконец добралась и до этих приемных, и в начале 1988 года милиция уже не хватала людей и не отправляла их в психиатрические больницы. Однажды подруга Ромашовой взяла ее с собой на встречу с одной из правдоискательниц – Екатериной Арсеньевой, собиравшей подписи под петицией с протестом против пренебрежительного отношения органов власти к жалобам. За считанные недели ей удалось собрать пятьсот подписей.

Ромашова тоже поставила свою подпись под петицией, а через несколько дней присоединилась к демонстрации правдоискателей у здания Совета Министров. Кто-то из должностных лиц согласился организовать им нужные встречи, они состоялись на следующий день, и чиновники, на удивление правдоискателей, оказались весьма доброжелательными.

Но проходили недели, а из Совета Министров не поступало никаких известий. Наконец Ромашова получила почтовую карточку с сообщением, что ее жалоба рассмотрена и признана безосновательной. Аналогичные карточки были получены и остальными участниками той демонстрации. После этой неудачи с поиском справедливости в Совете Министров Ромашова решила, что пора и отдохнуть.

Однако 16 октября она получила повестку в суд. Сараев не прекратил бомбардировать официальные учреждения письмами, в которых настаивал на фиктивности брака Ромашовой, и органы, которых так мало заинтересовали обвинения ею Чупракова в вымогательстве, охотно занялись расследованием подозрения о заключении фиктивного брака ради прописки в Москве.

Однажды утром Изотов встретил Ромашову в редакции «Гласности» и предупредил, что милиция приходила за ней в его квартиру и что она объявлена во всесоюзный розыск. После этого Ромашова прекратила свои попытки найти справедливость в приемных государственных учреждений.

Борьба Ромашовой за справедливость была делом принципа, но теперь она столкнулась с более непосредственной угрозой. В ноябре Ждановский районный суд признал ее брак недействительным. Она обратилась в городской суд, который возвратил дело в районный суд. Изотов написал заявление, в котором настаивал на законности брака с Ромашовой. Однако районный суд проигнорировал это заявление и стал готовить разбирательство дела и следующую за этим вероятную высылку Ромашовой из Москвы.

Одним мартовским днем 1981 года Надежда Мартовая работала за вязальной машиной на трикотажной фабрике «Днепрянка» в Днепропетровске, когда возле нее остановилась одна из коллег и сказала, что ее вызывают в актовый зал, где проходит заседание профкома фабрики.

Мартовая встала и пошла по длинному коридору в актовый зал, там ее ожидали руководители фабрики вместе с директо-

ром Ольгой Федоровой и председателем профкома Всеволодом Рясуем. Шесть лет назад Мартовая стала объектом травли на фабрике из-за того, что настаивала на своем праве на отдельную большую квартиру как мать четверых детей.

Когда Мартовая села, Федорова сообщила, что получила письмо из облсовета с просьбой дать Мартовой квартиру. «Я рассмотрела такую возможность, – сказала она, – но не собираюсь этого делать, потому что Мартовая – воровка и постоянно пишет жалобы. Из-за нее мы не можем спокойно работать. Мартовую надо уволить, а не квартиру ей давать».

Следующим выступающим был Рясуй. «Мартовая имеет право на большую квартиру, – сказал он. – У нее большая семья, а сын служит в Советской Армии. Но мы не дадим ей квартиру, потому что она все время жалуется. В Польше сейчас забастовки, люди там не хотят работать. У нас здесь тоже есть такие люди, и мы не будем терпеть их. Мы будем от них избавляться».

Это обвинение Мартовой стало итогом всех ее усилий по улучшению своих жилищных условий. Вскоре после того, как она начала работать вязальщицей на фабрике «Днепрянка», директор Борис Чернявский сказал Мартовой, что выделенная фабрике четырехкомнатная квартира будет предоставлена ей. На то время она с детьми и вторым мужем, шахтером-пенсионером Василием Сытых, жили в двух крошечных комнатах с кухней. Однако вскоре после этого разговора Чернявский уволился, и директором стала его бывшая любовница Федорова.

Проходил месяц за месяцем, а Мартовая ничего не слышала об обещанной квартире. Она обратилась с этим в профком предприятия, но там от нее каждый раз отделывались под разными предлогами. Тогда она решила пойти в горсовет Днепропетровска и там узнала, что квартира уже передана фабрике.

Эта новость очень обеспокоила Мартовую. Если квартира была передана фабрике, ее должны были предоставить ей, поэтому она заподозрила, что квартиру отдали кому-то другому.

И вскоре от одной из работниц Мартовая услышала, что квартиру присвоила Федорова.

Мартовую охватило чувство беспомощности. И все же она пошла к Федоровой. Пытаясь сдерживать эмоции, она сказала директору, что квартира предназначалась ей как матери большого семейства. Впрочем, на Федорову это не произвело впечатления. «А кто виноват, – спросила она, – что вы рожаете столько детей, увеличивая нищету в Советском Союзе?»

Мартовая стала думать, что же делать дальше. Шестеро человек не могли вечно жить в двух комнатках, но она побаивалась мести Федоровой в случае попытки отстоять свои права. Похоже было, что единственная надежда – это попробовать решить вопрос за пределами предприятия, возможно, в каком-то общесоюзном учреждении в Москве, но Мартовая не имела никакого представления, будет ли такое обращение за справедливостью там услышано.

Еще несколько месяцев Мартовая взвешивала, чем может для нее обернуться вызов, брошенный Федоровой, и в конце концов решила искать справедливости в Москве. Окончательно убедил ее опыт другой вязальщицы, Татьяны Уразбаевой.

Уразбаева была одной из тех, кто строил фабрику «Днепрянка». Она пришла на строительство в 1969 году, и ей пообещали, что она одной из первых получит отдельную квартиру. Однако, когда она уже начала работать вязальщицей на фабрике, обнаружила, что официальная очередь на квартиры не соблюдается. Уразбаева поехала в Москву и пожаловалась в Министерство легкой промышленности. Министерство отправило комиссию для проверки ситуации; в результате рабочие одержали победу над администрацией (что было редким случаем), и несколько работниц, в том числе и Уразбаева, получили квартиры.

Мартовая знала, что успех Уразбаевой был скорее исключением, но через несколько недель после разговора с Федоровой взяла отпуск за свой счет и поехала в Москву.

Куда идти в столице, она себе не представляла, но в конце концов решила пойти в Министерство обороны, потому что один из ее сыновей как раз в это время начал служить в армии. В приемной она объяснила содержание своей жалобы, и ее проводили в соседний кабинет, где она с большим удивлением увидела Дмитрия Устинова, министра обороны СССР. Мартовая рассказала ему свою историю, и он пообещал послать запрос в местные органы власти Днепропетровска, засвидетельствовав таким образом заинтересованность министерства в этом деле.

Мартовая вернулась домой, но вскоре обнаружила, что запрос Министерства обороны лишь разозлил руководство фабрики. Однажды вечером, когда она уходила с работы после второй смены, ее остановил охранник и попросил показать сумку. Через несколько дней после этого ее вызвали в местное отделение милиции, где сказали, что в ее сумке был обнаружен рулон украденной ткани.

В течение следующих восьми месяцев следователь районной прокуратуры (она же – приятельница Федоровой) Журавлева ежедневно по телефону вызывала Мартовую в отделение милиции и требовала, чтобы та созналась в краже ткани.

Расследование забирало у Мартовой все свободное время. Дело было закрыто лишь после того, как она пожаловалась Генпрокурору СССР. Областная прокуратура проверила действия Журавлевой и отстранила ее от ведения дел.

Потом Мартовая стала писать должностным лицам Днепропетровской области письма с просьбой предоставить обещанную квартиру. Она обращалась в профсоюз, горсовет и партийные организации, однако быстро убедилась, что борется с настоящей местной мафией.

По закону, при определении права Мартовой на большую жилплощадь должны были учитываться все четверо ее детей, несмотря на то, что один из сыновей служил в армии, а другой – учился в Одессе. Однако в каждом учреждении Днепропетровской области ей говорили, что она не имеет пра-

ва на большую квартиру, потому что у нее только двое детей. Мартовая быстро поняла, что местные чиновники просто звонят друг другу, сговариваются и повторяют одно и то же.

Время шло, и напряжение этой борьбы стало отражаться на муже Мартовой Василии Сытых: он стал апатичным, они с Мартовой начали все чаще ссориться по поводу и без. Дети жили своей жизнью, он – своей, и однажды, вернувшись домой после работы, Мартовая обнаружила, что Сытых ушел.

Это событие подействовало на женщину подавляюще. И все же она решила продолжать свою борьбу. Она нашла поддержку у Уразбаевой, которая не только подбадривала ее, но и часто реально поддерживала, подписывая жалобы вместе с Мартовой.

Проходили годы, и Мартовая стала привычной фигурой в приемных Днепропетровского горсовета и Совета профсоюзов, но со временем ее усилия приобрели сугубо ритуальный характер. В ее квартиру вселилась Федорова, и Мартовая потеряла всякую надежду.

Однако в декабре 1980 года случилось нечто непредвиденное. В ответ на одно из ходатайств Мартовой председатель Днепропетровского облсовета Владимир Бойко назначил комиссию для рассмотрения ее жалобы, и эта комиссия, к удивлению Мартовой, пришла к заключению, что она имеет право на большую жилплощадь.

Это решение было первым положительным официальным ответом за пять лет, и оно вселило в Мартовую надежду. Но в действительности оно лишь подготовило почву для окончательной конфронтации с Федоровой.

Пока Мартовая боролась в одиночку, Федорова могла особо не беспокоиться. Но теперь, когда ее поддержал Бойко, все изменилось. Как председатель Днепропетровского облсовета Бойко мог отдать преимущество соблюдению законности, и если бы он принял решение в пользу Мартовой как матери большого семейства и поддержал ее право на большую квартиру, это было бы признанием того факта, что ей было отказано

в этой квартире незаконно, а за это кто-то должен понести наказание – возможно – Рясуй и сама Федорова.

Первый признак того, что Федорова готовится к решительным действиям против «диссидентов» в возглавляемом ею коллективе, появился 22 января 1981 года, когда Мартовая и Уразбаева пришли на работу. Бригадир участка собрала работниц и объявила, что от рулона ткани был отрезан кусок.

Кражи не были чем-то необычным на фабрике, но такие публичные объявления до сих пор не практиковались. На протяжении следующих двух недель все бурно обсуждали, что будет дальше. Шестого февраля Уразбаеву вызывали на допрос относительно кражи ткани, и она увидела в роли следователя Журавлеву, которую восстановили на прежней работе. После допроса Уразбаевой позволили уйти, но 18 февраля на фабрике состоялось общее собрание, на котором Журавлева обвинила Уразбаеву в краже.

«Она виновата, – сказала Валентина Тальян, начальница Уразбаевой. – Она крадет ежедневно».

Двадцатого февраля, в атмосфере растущего напряжения, Журавлева ворвалась в цех в сопровождении двух женщин в тяжелых пальто. Женщины подбежали к Уразбаевой, а Журавлева крикнула: «Хватайте ее!» Уразбаева закричала, вырвалась из рук этих женщин и выбежала из цеха.

Журавлева кинулась к телефону, чтобы вызвать милицию, и Уразбаева побежала к выходу с фабрики. Но там охранник крикнул ей: «Прячься! Они кругом!» Женщина побежала в противоположном направлении, в конце концов спряталась на территории фабрики, которая все еще достраивалась. Мартовая тем временем оделась и ушла с фабрики через главный выход. Но когда она оказалась на улице, ее схватили милиционеры и насильно затолкали в машину.

Мартовую отвезли в отделение милиции, где она увидела тех же двух женщин, пытавшихся схватить Уразбаеву, и заметила, что под верхней одеждой у них белые халаты.

Один из милиционеров отвел Мартовую к Журавлевой. «Вы мне не нужны, – сказала та. – Мне нужна Уразбаева. Вы здесь как свидетель и должны подписаться под заявлением, что видели, как она отрезала кусок ткани».

«Я не буду подписывать, – сказала Мартовая. – Я отказываюсь подписываться под ложью».

«Потом подпишете, – ответила Журавлева. – Мы вас заставим. А что касается Уразбаевой, то ее заберут в психушку, потому что она сумасшедшая».

В 15 часов, когда на фабрике закончилась первая смена, Уразбаева выбралась из своего тайника и пошла на квартиру к Мартовой, куда вскоре вернулась и сама хозяйка. Обе женщины были потрясены. Они понимали, что лишь побег Уразбаевой помог ей (а может, и им обеим) избежать заточения в психиатрическую лечебницу. Но они не знали, что делать дальше, и в конечном счете решили, что им ничего не остается, как продолжать ходить на работу.

Несколько следующих дней на фабрике сохранялось подозрительное спокойствие. Но 9 марта была предпринята вторая попытка задержать Уразбаеву. В тот день милицейская машина ожидала у дверей фабрики. В 15 часов, когда Уразбаева выходила после работы, трое мужчин схватили ее под руки и отвели в охраняемое помещение, а потом отправились арестовывать Мартовую.

Именно в это время дома у Мартовой находился ее сын Станислав, который приехал из армии в отпуск. Уразбаева, на несколько минут оставшись в комнате одна, воспользовалась этим, чтобы позвонить Станиславу и попросить его прийти в милицию. Когда охранники обнаружили это, они отключили всю телефонную сеть фабрики.

Когда Мартовая пришла на вторую смену, ее задержала милиция, и их с Уразбаевой привезли в отделение на допрос к Журавлевой. Однако во время допроса Уразбаева отворила настежь двери комнаты и увидела сына Мартовой, который только что приехал в отделение. «Стасик! Стасик!» – воскликнула она.

Поняв, что это сын Мартовой, Журавлева отпустила женщин. Впрочем, эта вторая неудачная попытка задержания не была последней. Одиннадцатого марта Станислав вернулся в свою воинскую часть, и почти сразу же опять начались преследования. Мартовую вызвали на заседание профкома, где Федорова заявила, что та воровка. Мартовая спросила, когда ей сообщат в письменном виде, что она воровка и потому не получит квартиру. Ей сказали, что она узнает об этом 16 или 17 марта.

Ситуация стала критической. Милицейские машины ежедневно дежурили около фабрики, и Мартовая боялась, что их с Уразбаевой заберут в психушку или же Федорова закажет ее убийство, чтобы избавиться выводов комиссии Бойко и раз и навсегда решить этот квартирный вопрос. Вообще самой вероятной была перспектива оказаться в психиатрической больнице.

Мартовая и Уразбаева решили не ждать, пока их схватят. Они поехали в Москву искать помощи в высших инстанциях. Прибыв в столицу, женщины пошли в приемную ЦК КПСС, где были приняты Рудаковым, который сочувственно разговаривал с ними три часа. Он позвонил по телефону в Днепропетровский горком партии и сказал: «Сколько это может продолжаться? Сделайте что-нибудь, иначе мы отправим к вам комиссию».

В действительности Мартовая и Уразбаева не очень поверили обещаниям Рудакова, но у них не было денег, чтобы оставаться в Москве, поэтому 6 апреля они вернулись в Днепропетровск.

Чтобы избавиться от Мартовой и Уразбаевой, Федоровой нужно было лишь основание для их увольнения, и когда женщины убежали из Днепропетровска, чтобы не попасть в психушку, их самовольное отсутствие на рабочих местах дало Федоровой такое основание.

Четырнадцатого апреля обеим женщинам было предложено на следующий день явиться на заседание профкома, где должен был рассматриваться вопрос об их увольнении.

Мартовая и Уразбаева не вышли на работу. Они знали, что их не могут уволить в их отсутствие. Тем временем они думали, куда обратиться за помощью, и в конце концов решили пойти к Бойко.

Как только они вошли в приемную обкома, как из своего кабинета вышел Бойко. Мартовая ринулась к нему. «Меня к вам не пускают», – сказала она. Но Бойко, узнав ее, отвернулся.

Теперь Мартовая разочаровалась и в Бойко. Она поняла, что он не собирается бросать вызов всей местной партийной мафии из-за ее квартирного вопроса. Они с Уразбаевой потеряли всякую надежду и в отчаянии решили опять поехать в Москву.

Однако теперь они дали себе слово встретиться с иностранными журналистами, и во время этого их последнего пребывания в Москве меня и познакомили с ними – прямо рядом с моим офисом на Кутузовском проспекте. Всего Мартовая и Уразбаева провели в Москве три недели, но не добились успеха в приемных, и их поездка начала терять смысл, тем более что обеим женщинам приходилось содержать семьи, и они не имели на что жить.

Позже я встретился с ними на квартире кого-то из дальних родственников Уразбаевой, и женщины рассказали мне свою историю. Я мало чем мог им помочь, и в конце концов им не осталось ничего, как вернуться в Днепропетровск и на фабрику «Днепрянка», откуда их очень скоро уволили. Потом они рассказывали мне по телефону, что обращались в суд Индустриального района, где расположена фабрика, но суд отказался рассматривать их дело.

Эта история двух женщин прерывается на том, что им пришлось сдавать свои вещи в ломбард, чтобы как-то выжить. В Москву они больше не ездили, а на мои звонки не отвечали, поэтому их дальнейшая судьба мне не известна.

Тихим весенним днем Петр Резниченко вошел в контору птицефабрики в Первомайском – поселке, расположенном километрах в 60-ти от Одессы, и вручил начальнице отдела кадров свое направление на работу, выданное одним из райкомов партии в Одессе. Резниченко была нужна работа, и, принимая во внимание предъявленный им документ, женщина не могла от-

казать ему в приеме, хотя выражение ее лица явно свидетельствовало о том, что ей все это не нравится.

Кадровичка сказала Резниченко, что он не может начать работу без инструктажа по технике безопасности, а ответственный за это инженер сейчас в отъезде. А пока Резниченко не будет официально принят на работу, он не может поселиться в общежитие. Ввиду этих обстоятельств Резниченко ничего не оставалось, как бездельничать целую неделю, ночуя в поле. Вернувшийся инженер подписал документы Резниченко безо всякого инструктажа. «Правила выучишь во время работы», – сказал он.

Когда Резниченко вернулся в отдел кадров с подписанными документами, женщина спросила его: «А где фото для пропуска?»

«У меня нет фото», – сказал Резниченко.

«Тогда вам надо поехать в Одессу и сфотографироваться». Резниченко потерял самообладание. На протяжении семи дней он ожидал возвращения инженера, и за все это время кадровичка ни разу не вспомнила, что нужна фотография. «Слушайте, вы! – сказал он. – Вы безграмотная и бездушная женщина!» Она тоже разозлилась: «Вы здесь работать не будете, это я вам обещаю».

И все же, когда Резниченко вернулся из Одессы с фотографиями, помощница кадровички оформила его на работу, он получил место в общежитии, и теперь имел жилье.

Его поставили работать на конвейер, который доставлял яйца от куриных клеток к пункту сбора. Однако Резниченко заметил, что в шести клетках нет проволочной сетки для удержания яиц, и они падают на пол. Под конец дня на полу образовался толстый слой разбитых яиц. Когда Резниченко спросил бригадира, почему никто не отремонтировал сетку, тот приказал ему убрать разбитые яйца с пола.

«Может, почините клетки?» – намекнул Резниченко.

«У меня спина болит», – ответил бригадир.

«А за что вам платят? – спросил Резниченко. – За доносы или просто за подхалимаж?»

На следующий день Резниченко сам починил клетки в своей рабочей зоне, а позже, под впечатлением случая с яйцами, разговорился с другими рабочими о разнице между СССР и США.

«В капиталистическом мире ни один босс не стал бы держать таких работников, – сказал он. – А здесь стоит показать себя подхалимом, и тебя держат – за счет меня и всех остальных».

«А что тебе известно о капиталистическом мире?» – спросил один из молодых рабочих. Резниченко поинтересовался, сколько тот зарабатывает. Он ответил, что 130 рублей. «В Америке, – сказал Резниченко, – ты зарабатывал бы от двух с половиной до трех тысяч долларов. А теперь помозгуй, что ты можешь купить на рубль и что – на доллар».

Рабочие, похоже, были поражены.

«За ответами на все вопросы запросто обращайтесь ко мне», – сказал Резниченко.

На четвертый день работы Резниченко на птицефабрике главный механик Игнатьев, увидев его, начал орать: «Ты чего здесь командуешь?»

На своем участке Резниченко починил клетки, но в других секциях, по всему цеху, яйца продолжали падать на пол и разбиваться. Он подвел механика к куче разбитых яиц на полу: «Посмотрите на это».

«Убирайся из цеха!» – заорал Игнатьев.

Резниченко не оставалось ничего другого, как уйти в общежитие. Вечером под его дверь подсунули записку с приказом явиться завтра на комиссию птицефабрики по трудовым спорам. Утром он пришел на комиссию, возглавляемую заместителем директора, который спросил Резниченко, почему он вчера бросил работу. Тот ответил, что так приказал ему Игнатьев, и описал, что случилось после того, как он показал Игнатьеву разбитые яйца на полу.

Заместитель директора объявил Резниченко, что он уволен.

«Раз так, – сказал Резниченко, – я попробую найти справедливость через суд».

«Вперед! Я уволил уже сотни таких, как ты, и ничего не случилось».

Резниченко охватило отчаяние, но вскоре он узнал, что председатель профкома не давал согласия на его увольнение, что делало его незаконным. Он обратился в районный суд, и тот принял его дело к рассмотрению. Однако заместитель директора фабрики приказал Резниченко освободил место в общежитии. В действительности же Резниченко имел право оставаться в общежитии, пока рассматривается его дело, но администрация следила за входом и неоднократно пыталась не впускать Резниченко. В конце концов он решил уйти из общежития и теперь точно знал, что не сможет появиться на слушании своего дела в суде, потому что не получит повестку с датой судебного заседания, посланную на адрес общежития.

Резниченко решил искать справедливости в Москве. Сначала он пришел в Верховный Совет. Там один из чиновников, Федор Давыдов, сказал, что направит жалобу Резниченко прокурору Одесской области, и посоветовал ему вернуться на птицефабрику и в общежитие.

Однако, когда Резниченко вернулся, начальство, как он и ожидал, не пустило его в общежитие. День судебного заседания уже прошел. Резниченко пошел к местному прокурору, и тот сказал, что судебное дело будет возобновлено, если он объяснит, почему не явился в суд.

Опять переночевав в поле, Резниченко обратился в Областное управление юстиции, где был принят сотрудником по фамилии Коровкин, и рассказал, что ему было указано объяснить свое отсутствие в суде. «Правильно, – ответил Коровкин, – если у вас была для этого уважительная причина, мы назначим еще одно слушание».

Резниченко рассказал Коровкину, что был в Москве и обсуждал свое дело с сотрудником аппарата Верховного Совета в то время, когда в адрес общежития пришла повестка. Но Коровкин

будто и не слышал его. «Назовите уважительную причину, почему вы не были в суде, и мы ее изучим», – сказал он. Резниченко попросил дать ему документальное подтверждение только что сказанного.

«Я не дам вам никаких документов», – отрезал Коровкин.

Тут Резниченко понял, что в Одессе он ни от кого не получит никакой помощи, ушел из кабинета Коровкина и вновь отправился в Москву. На этот раз в Верховном Совете его принял Совков, который заменил Давыдова.

«Кто принимал вас в Одесском управлении юстиции?» – спросил Совков.

«Коровкин, начальник», – ответил Резниченко.

Совков позвонил в Одессу и расспросил Коровкина о деле Резниченко. Нетерпеливо выслушав явные отговорки с той стороны, он воскликнул: «Проведите разбирательство дела!» Бросив трубку, Совков раздраженно порекомендовал Резниченко срочно возвращаться в Одессу.

В Одессе Резниченко пришлось переночевать на вокзале, а утром он пошел на прием к Коровкину. В этот раз Коровкин сказал, что его дело уже пересмотрели и решили, что увольнение было справедливым. Как такое решение могло быть принято без судебного заседания, осталось для Резниченко тайной. Он опять поехал в Москву и снова был принят Совковым.

Совков просмотрел поданные Резниченко документы и постучал пальцами по столу.

«Вам что – нравится ездить в Москву?» – спросил он наконец.

«Мне что – по морде вам дать?» – не выдержал Резниченко.

Совков откинулся в кресле и нажал кнопку. Почти сразу же отворилась дверь и вошел милиционер. После этого Совков дозвонился в Одессу и истерически закричал в трубку: «Я сказал, проведите заседание суда!» Потом повернулся к Резниченко: «Поезжайте в Одессу!»

Но в этот раз Резниченко в Одессу не вернулся. Выйдя из приемной, он увидел на скамье напротив двоих: это были Вера

Травкина, работавшая в газетном киоске в Киеве, и инженер из Ташкента.

«Вы так смело разговаривали, – сказала Вера (они с инженером все слышали через дверь). – Мы были поражены. Как это вы не боитесь так с ними говорить?»

«Волков бояться – в лес не ходить», – ответил Резниченко.

Травкина шепотом сказала: «Послушайте, здесь создают организацию». И назвала Резниченко имя нужного человека – Валентин Поплавский – и адрес в Климовске. Резниченко поехал электричкой в Климовск, встретился там с Поплавским, и тот рассказал об организации, которая будет защищать права трудящихся. Он предложил Резниченко встретиться, если тот не против, завтра около станции метро на Пушкинской площади в 9 часов утра.

Они встретились в назначенное время и направились к станции «Кузнецкий мост», что неподалеку от здания КГБ на площади Дзержинского. Резниченко увидел группу людей, в которых сразу распознал правдоискателей, – по решительному выражению лиц и провинциальной одежде. Среди них выделялся один человек, державшийся уверенно, по-деловому. Это был Владимир Клебанов, шахтер из Макеевки.

Резниченко рассказал свою историю, и Клебанов спросил, хочет ли он присоединиться к этой группе, цель которой – работа с подобными жалобами. Если их требования не будут выполнены, они создадут независимый профсоюз и организуют пресс-конференцию для иностранных журналистов. Если и это не поможет, они будут требовать коллективного выхода из гражданства СССР в связи с тем, что не имеют прав советского гражданина.

На Резниченко Клебанов сразу произвел сильное впечатление. Идея организовать независимый профсоюз показалась ему замечательной. Он сказал, что согласен принять участие. Клебанов поздравил его со вступлением в группу и сказал, что первым заданием будет организация коллективных писем. Вместе с другими членами группы Резниченко начал составлять письма и документы, в том числе жалобы в газеты «Правда» и «Известия»,

популярные журналы «Огонек» и «Человек и закон», в ЦК КПСС, Генеральную прокуратуру и Верховный Совет СССР.

Члены группы встречались ежедневно в 9 часов утра на улице Горького, возле Центрального телеграфа. Резниченко и другие члены группы начали также устанавливать первые контакты с иностранными журналистами, в том числе со мной и Хэлом Пайпером из газеты *Baltimore Sun*.

Эмиссары группы посещали вокзалы и приемные, быстро собирая нужные подписи. После многих месяцев, а у некоторых – нескольких лет разочарований члены группы наконец почувствовали, что появилась какая-то надежда.

Органы власти не отвечали на коллективные ходатайства, поэтому в итоге была назначена дата пресс-конференции, и мы с Хэлом и Дэвидом Шиплером из *New York Times* встретились с Клебановым и Поплавским в центре Москвы. Вместе с другими членами группы мы поехали метро на станцию «Текстильщики», на окраину Москвы, и там, в одной квартире, нас ожидали люди из группы Клебанова.

Клебанов рассказал свою историю. В 1968 году, став старшим мастером смены на шахте им. В. М. Бажанова в Макеевке, он начал отказываться отправлять горняков в шахту в случае отсутствия или неисправности средств техники безопасности. Результатом стали притеснения со стороны администрации шахты.

Поплавский ранее возглавлял административно-хозяйственный отдел на заводе железобетонных конструкций в Климовске и был уволен за отказ записать выговор в трудовую книжку работнице, которая протестовала против использования денежных средств предприятия на организацию вечеринок для сотрудников с выпивкой.

Анатолий Позняков работал в Москве слесарем за 75 рублей в месяц. Когда он попросил повысить ему зарплату, услыхал в ответ, что его судьба – «хлебать из свиного корыта». Он продолжал настаивать на своем, и тогда его уволили с работы, и теперь ему приходится жить на пенсию полуинвалида, т. е. на 21 рубль в месяц.

Надежда Куракина рассказала, что она проработала 25 лет в одном волгоградском ресторане. Дирекция регулярно отчисляла у нее и других официанток определенные суммы из зарплаты якобы за разбитую посуду, а потом заказывала новую и присваивала ее. В 1975 году Куракина публично выразила протест против этой практики и была уволена «за прогулы».

Пресс-конференция длилась до позднего вечера. Резниченко не выступал, но его дело было изложено в документах группы.

Примерно через неделю после пресс-конференции Клебанова задержали на улице и препроводили в отделение милиции в районе Пушкинской площади. Оттуда двое сотрудников КГБ отвезли его на Курский вокзал и отправили в Донецк в сопровождении двух милиционеров. В управлении КГБ по Донецку Клебанову заявили, что его конфликт с начальством шахты в Макеевке будет урегулирован. Его попросили только не возвращаться в Москву. Клебанов согласился, и его отпустили, хотя двое сотрудников КГБ пошли за ним следом. Через какое-то время Клебанову удалось выскользнуть из-под наблюдения и сбежать в соседний город, а через пару дней он снова появился в Москве, на тротуаре перед Центральным телеграфом.

В январе Клебанов созвал еще одну пресс-конференцию, на которой объявил об официальном создании независимого свободного профсоюза. К этому времени группа собрала подписи 70 человек, готовых вступить в новый профсоюз, и нашла довольно большую поддержку в приемных – даже со стороны тех, кто боялся.

Известие о создании нового профсоюза распространилось по стране благодаря западным радиостанциям, и Клебанов стал получать сотни писем до востребования на имя К-9.

Однако к этому времени КГБ уже начал производить аресты. Двадцатого января Резниченко сидел на Киевском вокзале и обедал хлебом с салом на разостланной газете «Правда», когда заметил двух милиционеров, идущих прямо на него. Они

проверили документы, а потом арестовали его и отправили в Люблинский специзолятор, где в камерах было набито по двадцать человек арестованных. Через три недели Резниченко отвезли обратно на Киевский вокзал и затем, под охраной, – обычным пассажирским поездом отправили в Одессу.

Когда в 17 часов поезд прибыл в Одессу, сотрудники КГБ отвезли Резниченко на птицефабрику, где ему было разрешено работать, но не дали места в общежитии. Три дня он спал там на одной кровати с приятелем, а на четвертый продал свои наручные часы и вернулся в Москву.

В Москве Резниченко поехал на Курский вокзал, а оттуда электричкой – в Климовск, где надеялся найти Поплавского. Однако когда он вышел из электрички в Климовске, то увидел на платформе Варвару Кучеренко из их группы. Она рассказала, что ей дали возможность вернуться на консервную фабрику в Махачкале, где она работала, и стала убеждать Резниченко бросить эту организацию. Однако он не согласился с ней и вскоре нашел Поплавского, от которого узнал, что в феврале арестовали Клебанова.

Поскольку Клебанов оказался за решеткой, Резниченко с Поплавским стали отвечать на письма к Клебанову, которые поступали до востребования на имя К-9. Работая по отдельности, они находили новых сторонников. На вокзалах Резниченко выискивал в толпе мужчин со сжатыми кулаками или заплаканных женщин. Сначала в профсоюзе было семьдесят человек, но за несколько недель после ареста Клебанова почти всех их отправили домой под угрозой арестов. Резниченко с Поплавским удалось привлечь в профсоюз еще семьдесят человек.

Тринадцатого марта КГБ решил окончательно разобраться с активистами. Резниченко с Поплавским договорились встретиться в 10 часов утра на станции метро «Кузнецкий мост», но Поплавский не появился. После почти часового ожидания Резниченко пошел к зданию Центрального телеграфа,

где был задержан сотрудниками КГБ. Его отвезли в аэропорт Домодедово, посадили под охраной в самолет и отправили обратно в Одессу. В Одессе Резниченко переночевал под присмотром КГБ, а на следующий день его отвезли на птицефабрику и там привели в общежитие. Когда он вошел в комнату со своим эскортом из КГБ, то увидел, что там кровь на простынях, а пол залит чем-то липким. На столиках были остатки еды, а в воздухе – множество мух. Один из гэбистов сделал выговор директору, и тот приказал убрать в комнате. Часть ночи Резниченко провел там, но в 2 часа собрал свои вещи, оставил радио включенным (чтобы ввести в заблуждение охрану за дверью) и выбрался на улицу через окно первого этажа.

Три дня он передвигался полями только по ночам, избегая дорог. Наконец он добрался до какого-то села, сел на электричку и «зайцем» доехал в Донецк, оттуда – электричкой в Воронеж, потом в Мичуринск и наконец в Рязань, где почти два месяца прожил в парке и на улицах.

В Рязани Резниченко обходился хлебом и солью, на которые зарабатывал, сдавая пустые бутылки. Еще он написал заявления на восьми страницах Брежневу, президенту Джимми Картеру и Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму. В конце концов он отправился в Москву, а оттуда – в Климовск, где разыскал квартиру Поплавского.

Жена Поплавского рассказала Резниченко, что муж был арестован, обвинен в бродяжничестве и приговорен к году заключения.

Резниченко вернулся в Москву, где стал жить на стадионе им. Ленина. Два месяца он был там единственным жителем, благодаря чему чувствовал себя кем-то наподобие Робинзона Крузо. Потом, когда он сам оказался в тюрьме, то вспоминал это время, проведенное на стадионе, с ностальгией.

Когда наступила осень и похолодало, Резниченко переехал на Киевский вокзал, где и был арестован 8 октября тем же ми-

лиционером, который уже задерживал его раньше. Его уже собирались отправить в местное отделение милиции, когда оперативный дежурный Феоктистов спросил, имеет ли он какие-либо документы с собой. Резниченко показал ему обращение к Брежневу, написанное им в Рязани. Там шла речь о «позоре красным фашистам» и «позоре красным убийцам», а также о том, что Резниченко отказывается от советского гражданства и считает своим президентом Джимми Картера.

Прочитав это заявление, Феоктистов сказал, что оно очень ему понравилось, а потом передал его своему руководителю, начальнику отделения, который повторил то же самое. Феоктистов сообщил, что вскоре собирается в Министерство внутренних дел и обязательно передаст заявление министру, Михаилу Щелокову, а тот – Брежневу.

Резниченко отвезли в Одессу, а потом – в отделение милиции вблизи птицефабрики. Началось следствие по факту бродяжничества и нарушения паспортного режима. Он отказался сотрудничать со следствием, объяснив это «недоверием к красным фашистам». В конце концов 21 декабря 1978 года Резниченко был приговорен к двум годам заключения за бродяжничество и отправлен в исправительно-трудовую колонию в Ворошиловградской области.

5

РАБОЧИЕ

Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства.

Карл Маркс. «Манифест Коммунистической партии»

КУЗБАСС, 1989 ГОД

Уже несколько месяцев на отработавших свое угольных шахтах Кузбасса витало предчувствие каких-то грозных событий. Шахтеры в этом задымленном, грязном и запущенном регионе давно были обозлены дефицитом продуктов, все более явным с каждым годом. В последнее время в магазинах не стало стирального порошка, зубной пасты и мыла. На шахте им. Шевякова в Междуреченске, в 60-ти километрах от Новокузнецка, эмоции бурлили особенно сильно. Шахтеры написали в декабре 1988-го письмо в телепрограмму «Прожектор перестройки» с просьбой об улучшении обеспечения продовольствием и транспортом, а также о дополнительной оплате вечернего и ночного труда, но это письмо было переслано в официальную профсоюзную организацию, и ответа на него так и не последовало.

Весной дирекция шахты объявила, что мыла нет не только в городских магазинах, но и на самой шахте. Вместо него шахтерам, которым необходимо было помыться после изнурительной смены под землей, выдавали моющую жидкость, использовавшуюся для очистки механизмов; от нее у них выпадали волосы. В душевой работали не все краны, и под одним душем приходилось мыться вчетвером.

В конце концов один из шахтеров, Валерий Кокорин, начал собирать подписи под обращением с перечнем требований, в том числе – повышения оплаты труда в сложных условиях, улучшения обеспечения продовольственными товарами и повышения уровня медицинского обслуживания. К 8 июля обращение подписали пятьсот шахтеров, но руководство осталось к нему глухо. Когда Кокорин передал это обращение в дирекцию, ответа он не получил.

Утром 11 июля у шевяковских шахтеров наконец лопнуло терпение. Когда над лесистыми холмами за шахтой взошло солнце, триста человек пришли на утреннюю смену, надели свои каски с фонариками, но отказались спускаться в шахту. Шахтеры дневной и вечерней смен также явились на работу, переоделись в рабочую одежду, но работать отказались. К концу дня перед шахтой собрались сотни шахтеров.

С наступлением сумерек шахтеры стали отправлять эмиссаров на другие междуреченские шахты с предложением присоединиться. Посланцы прибывали туда в полночь, когда менялись смены, и шевяковские события повторялись и там. Все шахтеры напрочь отказывались спускаться в шахты. Акция продлилась и на следующее утро, в начале утренней смены, когда шахтеры сагитировали присоединиться к забастовке еще и рабочих автобазы – водителей грузовиков, вывозивших добытый в шахтах уголь. В полдень 12 июля бастовали все 17 крупных предприятий города.

Междуреченск вскоре стал напоминать осажденный город. Шахтеры длинными колоннами отправились из шахт, находя-

щихся в окружающих долинах, и расположились лагерем на центральной площади города, перед четырехэтажным зданием горкома партии. Под вечер на площади собралась тридцатитысячная толпа, и власть в городе перешла от местного партийного органа к шахтерским стачечным комитетам – стачкомам. Шахтеры организовали собственные дружины, закрывшие все вино-водочные магазины, а милиция согласилась сотрудничать с этими дружинами для поддержания порядка.

Местные власти, опасаясь, как бы забастовщики не начали погромы в городе, дали им микрофоны и громкоговорители, и те с самодельной трибуны стали выступать с осуждением подобных насильственных действий, в то время, как другие шахтеры, к которым присоединились их жены и дети, разводили костры для обогрева, готовясь провести ночь здесь, под открытым небом.

Этот бунт советских шахтеров был внезапным и драматичным. Однако избавиться от страха удалось не сразу, ведь именно страхом была отмечена для советских рабочих целая эпоха.

ДОНЕЦК, 1980 ГОД

Мы с Кевином Клоузом из газеты *Washington Post* приехали в полуразрушенный шахтерский поселок в Панфиловском районе и зашли в жилой дом, одиноко стоявший на краю заросшего сорняком поля. Через дорогу от дома виднелись побеленные мелом хаты и ржавые металлические гаражи, а позади вырисовывались в тумане огромные терриконы.

Начался дождь, и голые ветки деревьев, серые тучи и воронье, с карканьем кружившее среди телеграфных проводов, добавляли мрачности этой богом забытой местности.

Мы вошли в дом и поднялись на четвертый этаж. Сюда, в квартиру донецкого шахтера Алексея Никитина, нас пригласила его сестра Любовь Полудняк. Она сказала нам, что Никитин не вернулся домой. «Я боюсь, что они его схватили», – прибавила она.

Любовь провела нас в комнату Никитина, где мы некоторое время ждали его, со все возрастающим беспокойством. Наконец мы решили спуститься вниз и подождать у подъезда.

В воздухе стоял запах угольной пыли, а одетые в черное женщины с ведрами у колонки напоминали какую-то картину XIX века, неизвестно какими судьбами перенесенную в век XX.

Вдруг один за другим начали подъезжать автомобили, и вокруг нас под металлическими карнизами заняли позиции гэбешники. Кое-кто из соседей Никитина тоже вышел на крыльцо и стал рядом с нами.

Я попросил одну из соседок – низенькую сгорбленную женщину с морщинистым лицом и водянистыми глазами – посмотреть, нет ли где-нибудь поблизости Никитина. Она согласилась и медленно поковыляла под дождем в конец улицы, мимо цепи ожидающих гэбешников, потом свернула за угол и посмотрела за домами. Через четверть часа она вернулась и сказала, что Никитина нигде нет. Дело было плохо. Я считал, что единственным шансом Никитина избежать ареста была возможность присоединиться к нам до того, как его схватят.

Вдруг одна из женщин обратила мое внимание на маленькую фигурку мужчины в зеленой одежде и большой шляпе, которая почти закрывала лицо, – он шел к нам через соседнее поле, и когда подошел ближе, я разглядел на его лице улыбку и с внезапным ужасом решил, что это гэбешник, горящий желанием сообщить, что Никитин арестован.

Однако, когда мужчина приблизился, я разглядел его получше.

«Ха-ха-ха, – сказал Никитин, снимая шляпу. – Вот дурни, посмотрите только на них! Я этих гэбешников столько раз объегоривал, что теперь точно знаю – процентов 70 из них надо уволить. Они же там работают только ради денег».

Мы обменялись с Никитиным рукопожатием и похлопали друг друга по спине. Люди из КГБ стояли теперь в конце улицы и молча наблюдали. «О, теперь уволят целую кучу народу, – сказал Никитин. – Я их вокруг пальца обвел, этих подонков. Они

меня запугивали, издевались надо мной, а теперь пусть думают, как это я их одурачил. Их уволят не за то, что меня не поймали, а за то, что не смогли помешать нашей встрече».

«Это волки в человечьем обличье, – продолжал Никитин, наслаждаясь своей победой. – Они собирались схватить меня на вокзале и запроторить прямо в психушку. Они ожидали на перроне, а рядом стояла машина с красным крестом, но я сделал круг, прошел позади состава и пошел к приятелю, а там уже сменил одежду».

Вот так Алексей Васильевич Никитин успешно вернулся из Москвы домой, в Донецк, и на родной земле встретился с двумя иностранными журналистами.

Противостояние Никитина с коммунистической властью началось за много лет до того. В конце 1950-х он поступил рабочим на шахту «Бутовка» в Донецке. Вступил в партию, будучи решительно настроенным бороться с «недостатками», мешающими советской власти, и вначале рассматривался руководством шахты как потенциальный партийный лидер. Однако, работая в отделе вентиляции, Никитин стал обнаруживать нарушения техники безопасности, в частности, слишком глубокое расположение вентиляторов в стволе шахты, и предупредил о возможности взрыва.

Какое-то время дирекция терпела Никитина из-за его преданности делу и добросовестности в работе, но случившееся в июне 1969 года изменило его жизнь.

Шахтеры «Бутовки» были запуганы и безответны. Вот уже несколько месяцев директор шахты Виктор Савич практиковал сверхурочную добычу угля по воскресеньям, включая добытый уголь в план будущего месяца, чтобы не выплачивать шахтерам премиальных. Это их возмущало, и в результате откровенного своеволия Савича стал назревать бунт. Зная, что Никитин всегда готов отстаивать их интересы, горняки обсудили с ним эту

проблему, и он предложил им сформировать делегацию. Вскоре группа шахтеров во главе с Никитиным пришла к Савичу.

«Шахтеры – люди грамотные, – начал Никитин. – Они разбираются в графике и знают, сколько угля отгружают ежедневно. Они с точностью до копейки знают, сколько им положено, и знают, что имеют право на 15-процентную надбавку».

На это Савич ответил, что будет платить столько, сколько захочет, и выгнал делегацию из кабинета. Тогда горняки во главе с Никитиным решились на привычное дело – написали коллективную жалобу в ЦК КПСС. Через несколько месяцев в шахту пожаловал первый секретарь обкома партии Владимир Дегтярев и приказал исключить Никитина из партии. Других шахтеров заставили отказаться от своих подписей под жалобой.

Искренний коммунист, Никитин пытался добиться восстановления в партии, но быстро обнаружил, что партийные органы Донецка не только не интересуются правами трудящихся, но и считают активность горняков прямой угрозой себе.

Первый секретарь Донецкого горкома партии Кубышкин сказал Никитину: «Ты защищаешь людей? Ты же грамотный парень, учил историю, а там написано: те, кто пытался возглавить массы, в конечном итоге поплатились головами».

Через восемь месяцев после исключения из партии Никитина уволили и с шахты, что стало началом длительных поисков работы. В Донецке было сорок восемь шахт, и везде были нужны люди, но Никитин вскоре убедился, что на всех этих шахтах он был в «черном списке».

Его мысли начали приобретать неожиданное направление. А что, если коммунисты, думал он, лишь делают вид, что строят коммунизм, а в действительности создают какое-то общество палачей? Что если правовая система – всего лишь фасад, за которым прячется страна, управляемая бандой фашистов, каких-то пиночетовских головорезов?

Эти мысли Никитину не нравились, но он не мог от них избавиться. Ведь люди, преследовавшие его за то, что он защищал

рабочих, называли себя коммунистами. Он устроился работать на полставки маляром и начал ездить в Москву искать справедливости в приемных государственных учреждений.

За два года Никитин пять раз съездил в Москву и уже узнавал тех, кто, как и он, неоднократно обращался в эти кабинеты. Он увидел, что ни один из этих людей за то время, пока он сам искал справедливости в Москве, не уехал из столицы, добившись от властей удовлетворения своей жалобы. Напротив – они сновали взад и вперед между ЦК, Верховным Советом и Генеральной прокуратурой, и на каждом этапе были вынуждены заполнять все более объемистые документы, пока их – измученных, разочарованных и растерянных – не отсылали в те же местные органы, на которые они приехали жаловаться.

Никитин раздумывал, как быть дальше. Он мог попытаться жить на случайные заработки и забыть о совершенной по отношению к нему несправедливости, но это значило покориться местной мафии, а сама мысль об этом была для него нестерпимой почти физически. Поэтому он решился на еще один шаг в борьбе.

Пятнадцатого апреля 1971 года Никитин бродил по центру Москвы, присматриваясь к разным иностранным посольствам с охраной у входа. К посольству ФРГ приблизиться было трудно, турецкое выглядело более легкодоступным, но Никитин решил поискать еще. В конце концов, проходя мимо посольства Норвегии, он заметил, что советский охранник смотрит в другую сторону, и, воспользовавшись случаем, проскользнул в ворота.

Никитина принял молодой дипломат, который расспросил его и дал телефон американского посольства. Выйдя на улицу, Никитин позвонил туда и поговорил с каким-то дипломатом, пообещавшим послать ему приглашение до востребования в почтовое отделение на улице Горького.

Повесив трубку, Никитин почувствовал огромное облегчение. Первой мыслью было: если посольство США выразило готовность ему помочь, то ООН уж наверняка придет ему на помощь. Он почувствовал себя практически свободным человеком.

То, что это не совсем так, выяснилось, когда Никитин пришел на почту за своим приглашением. Там стояла длинная очередь, но в конце концов он добрался до окошка, назвал свою фамилию и спросил, нет ли письма. Неожиданно для Никитина женщина в окошке ответила, что есть лишь бандероль. Никитин сказал, что ожидает письма, а не бандероли. Странно, сказала женщина, есть бандероль для него из Новочеркасска, а письма нет. Название этого города мгновенно сработало в мозгу Никитина как сигнал опасности. Новочеркасск был местом массовой расправы с рабочими, которые вышли на протест в 1962 году.

Никитин ушел, но потом опять вернулся на почту. Женщина в окошке снова повторила ему, что на его имя пришла бандероль. «Нет, – сказал Никитин. – Здесь в Москве живет мой брат-близнец. Это бандероль для него. А я ожидаю письма из американского посольства».

Через два дня он опять пришел на почту и спросил о письме. На этот раз ему ответили, что нет ни бандероли, ни письма. В растерянности и с плохим предчувствием Никитин пошел прочь, и едва за ним закрылись двери почты, как сзади его схватили двое мужчин и втолкнули в машину, стоявшую рядом. Сначала его отвезли в отделение милиции, а потом в психиатрическую больницу, где сотрудники КГБ допросили его, прежде чем позволили вернуться в Донецк.

В следующие месяцы Никитин перебивался разными подработками в колхозах под Донецком, но оставался под бдительным надзором КГБ, агенты которого часто дежурили в машине у домома Никитина.

Петля на шее Никитина затягивалась, и друзья начали его избегать. Ему казалось, что арест – лишь вопрос времени.

Несколько месяцев Никитина не трогали. Однако оставалось неясное чувство тревоги. Реальные очертания оно приобрело лишь после того, как утром 22 декабря 1971 года, в начале новой смены, на шахте «Бутовка» произошел мощный взрыв.

Взрыв разрушил шахту. Семеро горняков погибли, больше сотни людей получили ранения, в том числе серьезные. После

катастрофы разъяренные шахтеры собрались перед шахтой, выкрикивая: «Никитин вас предупреждал!» Вскоре к месту события съехалось около ста автомашин с несколькими сотнями сотрудников КГБ и милиции. Столкнувшись с такой демонстрацией силы, шахтеры неохотно разошлись, сжимая кулаки, но ограничившись лишь гневными возгласами.

Когда Никитин узнал о взрыве, то понял, что его судьба решена. Он был уверен, что местная власть не позволит ему сплотить разъяренных горняков. Через три недели Никитина задержали и посадили в донецкую тюрьму по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Он просидел там без суда и следствия пять месяцев, пока однажды ночью его внезапно не отвезли на грузовике на железнодорожную станцию и не посадили в вагон для перевозки заключенных.

За годы, прошедшие с момента первого столкновения Никитина с Савичем на шахте «Бутовка», он пережил немало ударов, но к тому, что с ним случилось дальше, был совершенно не готов.

Поезд отправился из Донецка и поздней ночью прибыл в Днепропетровск, где Никитина вместе с другими заключенными на грузовике привезли в похожее на крепость здание, окруженное высокой стеной с колючей проволокой. Затем Никитина отвели в подвал, где были какие-то душевые.

Он понял, что это – что-то вроде тюрьмы, но был озадачен, потому что хоть его и обвинили в антисоветской агитации, ни один суд над ним не состоялся и ни одного приговора не было вынесено.

Первую подсказку относительно своего положения Никитин получил от санитара, который стал составлять перечень его вещей.

«Эти вещи тебе не нужны, дорогой товарищ, – сказал тот, – потому что ты здесь на всю жизнь».

«На всю жизнь? – удивился Никитин. – Откуда это вам известно?»

«Эх, дружок, – засмеялся санитар, – они решили, что ты сошел с ума, если полез в политику. Поэтому не волнуйся за свои

вещи – ты здесь пожизненно». После этого Никитина отвели в душ, потом дали черную тюремную робу и повели по лестнице наверх, к коридору с длинным рядом запертых дверей.

Санитар открыл одну из дверей, и то, что Никитин за ней увидел, вызвало у него внезапный страх и отвращение. Перед ним были тридцать человек с желтыми лицами и страшно искривленными конечностями. Кое-кто сидел, высунув язык и тупо глядя перед собой, другие были не способны на что-то смотреть, потому что их лица были искажены ужасными судорогами. Воздух в комнате был настолько отравлен запахом немытых тел и нездоровым, химическим дыханием людей, которых накачивали сильнодействующими лекарствами, что Никитин едва сдержал рвоту.

Он понял, что находится не в тюрьме. Его поместили в больницу.

Днепропетровская специализированная психиатрическая больница стала для Никитина домом на следующие три года. На второй день по прибытии он был осмотрен врачами, и через две недели ему поставили диагноз «психопатология, простая форма».

Никитин быстро понял, что функция этой больницы – изменять поведение пациентов с помощью медицинских препаратов. Он увидел, что десять миллиграммов галоперидола могут превратить человека в затравленное существо, не способное сопротивляться, а врачи прописывают прием десяти таблеток за один прием, что десятикратно превышает обычную дозу. Он узнал и о сульфазине – препарате из очищенной серы, который поднимал температуру до 40 градусов и вызывал страшную боль, все усиливающуюся и усиливающуюся, – как дрель, которая вгрызается в тело человека, – пока не становилась совершенно нестерпимой.

Со временем Никитин увидел, что многие пациенты в больнице действительно страдают психическими расстройствами,

а другие помещены сюда по политическим мотивам. Он познакомился с Александром Полежаевым, советским моряком, который во время службы в Египте пытался сбежать в Израиль; с Василием Серри, учителем из Одессы, который пытался захватить самолет; с украинским студентом, которого признали сумасшедшим за вывешивание украинского флага.

Днем пациентам делали уколы, и кое-кто из них после этого пребывал в недееспособном состоянии, но тех, кто мог работать, привлекали к шитью мешков или мытью полов. Ночью же жизнь в больнице напоминала настоящий Дантов ад. Всех пациентов запирали в палатах, и те, кому перед тем были сделаны инъекции, лежали на узких кроватях, стонали от боли, непроизвольно дергаясь или выгибаясь в ужасных судорогах. Всю ночь высоко на потолке горел свет для предотвращения самоубийств, и Никитин с ужасом наблюдал за тенями пациентов на стенах, когда они, в конвульсиях от лекарств, из последних сил проклинали местных психиатров и советскую власть.

Два года Никитин оставался в больнице, работая плотником и каменщиком и в то же время получая «лечение» мажептилом, после чего его назначили санитаром, а еще через девять месяцев перевели в психиатрическую больницу в Донецке и наконец 26 марта 1976 года освободили.

Выйдя из больницы, Никитин стал жить у своей сестры в Панфиловском районе. С момента его ареста прошло четыре с половиной года, и за это время Савич, Кубышкин и Дегтярев лишились своих должностей – поговаривали, что из-за квартирных спекуляций. Однако проходили недели, и стало понятно, что эти изменения никак не отразились на судьбе Никитина. Ни одна шахта не принимала его на работу, а местная власть отказывалась помогать ему с трудоустройством. Он выживал лишь за счет случайных заработков, а также ездил в Москву, ища помощи в начальственных кабинетах – на сей раз не ради восстановления справедливости, – а просто, чтобы получить постоянную работу.

Никакой помощи он не получил, но его деятельность в Москве обозлила местных должностных лиц, отплативших ему визитом

двух милиционеров, встретивших его в коридоре коммунальной квартиры, где он проживал с сестрой.

«Мы тебя закроем, – сказал Никитину один из них. – Пусть не сейчас, но мы найдем способ».

В конце концов Никитин понял, что пора приступать к решительным действиям. Двадцатого февраля 1977 года он вышел из квартиры в 5 часов утра, чтобы избежать встречи с милицией, доехал автобусом до Макеевки, а там сел на московский поезд. Пробыв в Москве два дня, он опять пришел в норвежское посольство, где был принят седым мужчиной с узким лицом и острым носом. Никитин объяснил ему, что хочет просить политического убежища.

«Мы не можем предоставить вам политическое убежище, – сказал дипломат. – Это можно сделать лишь на норвежской территории».

Никитин ощутил приступ паники. «А как же Хельсинкские соглашения, которые обязывают вас предоставлять убежище человеку в критической ситуации?»

«Простите, – повторил дипломат, – но получить политическое убежище вы можете лишь в Норвегии».

Никитин встал, и дипломат проводил его к выходу. Никитин вышел из посольства на морозную улицу и сразу же был арестован сотрудником КГБ в военной форме. Оглянувшись на здание посольства, он увидел, что из каждого окна за ним наблюдают люди.

Никитина забрали в ближайшее отделение милиции, а потом опять отправили в днепропетровскую спецпсихушку, где он немедленно получил три препарата – трифтазин, тизерцин и хлоропротиксен, в результате чего ему стало трудно передвигаться.

Никитину было страшно опять оказаться в этой больнице, но, к его удивлению, повторное пребывание здесь оказалось намного более легким. Сотрудники больницы помнили, что Никитин – умелый плотник и каменщик, и стали привлекать его к разным строительным работам, приостановив на время медикаментозное «лечение». Вскоре к Никитину стали отно-

ситься как к наемному работнику, но был один случай, когда ему напомнили о его статусе. Однажды, производя какие-то ремонтные работы, он прервался, чтобы поговорить с похитителем самолета Серри. «Политическим» было строго запрещено общаться между собой, и когда санитары увидели Никитина и Серри в коридоре, они схватили их, затянули в отдельные палаты и начали колоть галоперидол и аминазин. Никитину делали по два укола три раза в день, пока на его ягодицах не осталось свободного места.

По завершении этого курса инъекций Никитин вернулся к работе. В октябре 1979 года его перевели во 2-ю донецкую психиатрическую больницу, из которой выпустили через семь месяцев, 5 мая 1980 года.

Выйдя на свободу, Никитин опять поселился в квартире сестры, но все еще не мог найти себе работу.

Еще в днепропетровской больнице Никитин услышал от других пациентов об организации, созданной московскими диссидентами и называвшейся Рабочей комиссией по расследованию использования психиатрии в политических целях. После освобождения он при первой же возможности поехал в Москву, чтобы встретиться с членом этой комиссии Феликсом Серебровым, адрес которого узнал из передач иностранных радиостанций.

Никитин рассказал Феликсу свою историю и впервые за все время своей длительной борьбы почувствовал, что встретил в Москве человека, готового выслушать его с сочувствием и пониманием. После этого Серебров решил позвонить мне.

Феликс проживал в новом рабочем районе Москвы, близ Олимпийского поселка, и я приехал к нему теплым летним вечером, когда вокруг еще бурлила жизнь. Примерно через четверть часа после моего прибытия раздался звонок, и Феликс пошел открывать двери. В дверях стоял крепкий мужчина невысокого роста, в клетчатом пиджаке со значком «Инженер»

на лацкане. Мясистым лицом, колючим взглядом голубых глаз и двойным подбородком он немного напоминал молодого Никиту Хрущева.

Никитина как раз недавно осмотрел Анатолий Корягин, харьковский психиатр и член Рабочей комиссии, признав его психически здоровым. По моей просьбе Никитин рассказал свою историю, а через три месяца предложил поехать вместе с ним в Донецк, чтобы познакомиться с реальными условиями жизни советских трудящихся. Я уговорил Кевина Клоуза присоединиться к нам, и мы отправились в Донецк.

Никитинская хитрость оставила гэбешников с носом – по крайней мере, временно, – и мы поднялись в его квартиру. Никитин переоделся, и мы, в приподнятом настроении от своей победы, стали разрабатывать планы на следующие дни.

Никитин сказал, что лучше всего разговаривать с шахтерами во время пересменки, поэтому мы решили отложить свой первый визит на шахту «Бутовка» на утро следующего дня.

Дождь прекратился, но небо оставалось облачным, и этот шахтерский район выглядел безлюдным и заброшенным – кучка полуразрушенных зданий перед железнодорожной насыпью под блеклым, невыразительным небом.

Прежде всего нужно было поговорить с шахтерами, но, даже учитывая помощь Никитина, оставалось неясным, удастся ли нам это сделать. Иностранные журналисты были в Донецке редкостью, поэтому каждый шахтер имел основания побаиваться, что за беседу с иностранным корреспондентом он может поплатиться потерей работы. В то же время вся страна была возбуждена известиями о забастовках рабочих в Польше и постоянными обвинениями польских рабочих советской печатью как «антисоциалистических элементов».

Мы решили посетить людей, знакомых с Никитиным. Выйдя из шахтерского поселка на трассу, мы поймали такси и поехали через город – с «хвостом» в виде машины с четырьмя гэбешниками, от которой некуда было деться.

Мы приехали на квартиру к одному из друзей Никитина, с которым тот работал вместе в конце 1960-х, но хозяин отговорился занятостью. Потом наведались к женщине, с которой Никитин познакомился во время своего правдоискательства в Москве, но и она не захотела разговаривать.

В конце концов Никитин решил отвезти нас к своему бывшему соседу, жившему в Юзовке – районе, который носит имя Джона Хьюза, английского капиталиста, участвовавшего в финансировании первых предприятий угольной промышленности Донецка.

В Юзовку мы приехали в восемь вечера, и в серебристом лунном свете легко было представить, что мы попали в какое-то английское предместье. Юзовка была построена как образцовый шахтерский поселок и состояла из белых оштукатуренных двухэтажных домиков с красными черепичными крышами, расположенных на просторных участках с аккуратными деревянными заборами. С обеих сторон аккуратно вымощенных улиц росли развесистые деревья, а во дворах виднелись «летние кухни», где в хорошую погоду семьи могли обедать на свежем воздухе.

Никитин проводил нас к заднему двору одного из домов. Количество дверных звонков и почтовых ящиков, а также развешенное белье, трепетавшее в окнах, не оставляли сомнений в том, что и сейчас в доме проживают шесть-восемь советских семей.

Мы пересекли двор и постучали в дверь маленькой летней кухни. Оттуда к нам вышли плотник с «Бутовки» Николай и его жена Зина, сортировщица. Несколько часов мы слушали их рассказ о том, как работается на таких шахтах как донецкая «Бутовка».

Зина рассказала, что после добычи уголь поступает на конвейер вместе с массой пустой породы. Примерно десять женщин каждую смену работают сортировщицами, выбирая руками эту породу из конвейера и бросая ее в щель, сквозь которую та попадает на платформы с трехколесными тележками. Руководство стремится поддерживать беспрерывный процесс, потому женщинам приходится, склонившись над конвейером, сортировать уголь как можно быстрее.

Сортировщицы вдыхают угольную пыль, но за риск заболеть силикозом им не доплачивают. У них нет и перерывов в работе, потому что их движения полностью подчинены движению конвейера. Если сортировщица жалуется на плохое самочувствие, ее отсылают в медчасть и измеряют температуру. В большинстве случаев сортировщиц заставляли работать с температурой около 38-ми градусов. Больные и истощенные, они в любой момент могли упасть на ленту конвейера.

Николай рассказал, что шахтеры давно привыкли к шестидневной рабочей неделе, а также к труду по воскресеньям, хотя по закону их можно просить выйти в воскресенье лишь дважды в месяц и они имеют право отказаться. В ноябре 1980 года горняки шахты «Бутовка» отработали все пять воскресений, и каждого, кто осмелился бы воспользоваться своим законным правом и отказаться, уволили бы с работы.

В какие дни предоставлять отгулы за труд по воскресеньям, решало начальство, а часы работы шахтеров могли изменяться в соответствии с требованиями производства. На протяжении одного-единственного месяца шахтер мог отработать ночную смену (с 22-х часов до 6-ти утра), утреннюю смену (с 6-ти до 14-ти), а потом и вторую смену (с 14-ти до 22-х) без какой бы то ни было компенсации за столь напряженный график, получая дополнительно лишь 22 копейки в день за работу ночью.

Шахтеры жили практически в состоянии постоянной мобилизации. Никитин сказал, что донецкое руководство держит рабочих под контролем благодаря тому, что раскалывает рабочий класс. На «Бутовке» все бригады горняков работали на одинаковых комбайнах, но для эффективного труда им были нужны также вагонетки, вентиляционное оборудование, лесоматериалы для укрепления ствола шахты, вода и запчасти. Обеспечение всем этим было гарантировано лишь «ударникам», которые всегда выступали на собраниях в поддержку руководства, и потому эти ударники регулярно добывали «большой уголь». А поскольку зарплата зависела от объема добычи,

они и зарабатывали вдвое больше, чем члены обычных бригад за ту же работу.

Я спросил у Николая и Зины, почему так мало шахтеров, готовых отстаивать права трудящихся.

«Рабочие боятся бросать вызов начальству, – ответила Зина. – В этой стране правды не любят».

Она прибавила, что большинство шахтеров ждут отдельной квартиры по 15–20 лет. Поэтому они научились избегать любых конфликтов, надеясь сохранить работу и свое место в очереди на квартиру.

Кроме распределения жилья, дирекция шахты контролировала также графики отпусков шахтеров, что давало ей огромную власть над людьми, круглый год работавшими под землей.

Когда мы собрались уходить, был уже поздний вечер. Но прежде чем возвращаться в никитинскую квартиру, мы с Николаем и Зиной перешли из летней кухни в их жилище. Оно располагалось на углу дома и состояло из плохо освещенной комнатки, заставленной мебелью, и прихожей, отделенной от комнаты шторой. Ванная комната в конце коридора была общей для них и еще трех других семей.

Никитин сказал, что большинство шахтерских семейств в Донецке живут в похожих условиях, по пятнадцать лет ожидая отдельной квартиры. И если они будут враждовать с начальством, то проживут в таких условиях до конца своих дней.

Когда мы уходили из квартиры Зины и Николая, уже горели уличные фонари, а на город опустился легкий туман. Мы вышли на улицу, поймали такси и вернулись в квартиру Никитина в сопровождении белой машины с четырьмя мужчинами в ней.

Перед никитинским домом я увидел еще людей, стоявших на тротуаре или сидевших в припаркованных машинах.

Сестра Никитина Любовь приготовила нам ужин. В начале 12-го часа ночи я подошел к окну и отдернул занавеску. На улице, напротив дома, дежурили две машины. В этих обстоятельствах

я предположил, что наше присутствие обеспечивает Никитину определенную защиту, и мы решили не возвращаться в гостиницу. Любовь постелила мне на диване, Кевину – на кровати, а Никитин пошел спать в комнатушку сестры.

ДЕНЬ 2

Будильник прозвенел в 4:30 утра. Мы оделись, позавтракали, вышли из никитинской квартиры и пошли по тихим улицам к дороге, что вела к шахте «Бутовка».

На улице потеплело, шел мелкий дождик. Из дымоходов побеленных хат поднимался дым. Мы дошли до автобусной остановки, где стояла группа мужчин. В утреннем воздухе вился голубоватый дымок от их сигарет. Подъехал автобус, и через двадцать минут мы были на шахте.

Это была совокупность шахтных копров и строений из красного кирпича. Мы с Никитиным подошли к входу в баню. В дымном тумане, окруженные ореолами, горели фонари. Из бани друг за другом выходили шахтеры в своей будничной одежде и спешили к автобусу, чтобы ехать домой. Многие из них узнавали Никитина и пожимали ему руку, спрашивая, где он был. Однако, когда он пробовал завязать разговор, это ему не удавалось. Ситуация вызывала у шахтеров подозрения. Никитин указал на нас с Кевином и сказал, что мы – представители «двух самых влиятельных газет в мире» и объяснил, что помогает нам в написании статей об условиях жизни шахтеров в Донецке. Однако такая рекомендация не очень нам помогла. Горняки, по-видимому, боялись, что за Никитиным следят. К тому же кое-кто из них, бесспорно, знал, что Никитин находился в психушке, и не стремился разделить его судьбу.

Наконец баня опустела, мы перешли улицу и попробовали поговорить с шахтерами на автобусной остановке. Однако когда Никитин упоминал, кто мы такие, они или замолкали, или сразу меняли тему и говорили, что автобус запаздывает.

Постепенно опустела и автобусная остановка. На шахте начали работать двигатели, и мы почувствовали под ногами легкую вибрацию. Шанс поговорить с шахтерами «Бутовки» этим утром был упущен.

Мы покинули шахту и пошли улицами Донецка. Однако ни в заведениях торговли, ни в кафе, ни на автобусных остановках нам почти не удавалось поговорить с людьми. Я вспомнил слова одной женщины в Москве, которая сказала мне, что за сорок лет жизни в Донецке она ни разу не услышала «свободную, откровенно выраженную мысль». Время шло, и я начал задумываться, стоят ли вообще наших усилий попытки побеседовать с горняками.

Наконец у Никитина возникла идея. Он сказал, что кое-кто из шахтеров-пенсионеров из «Бутовки» живет в районе, известном как Новая Колония, и в отличие от работающих горняков, они, возможно, будут готовы поговорить с нами, потому что им нечего терять.

После сорокаминутной поездки на такси мы оказались среди комплекса жилых домов на границе продуваемой всеми ветрами степи. Никитин подошел к немолодой женщине, шедшей по заросшей сорняком тропе к первому из домов, и спросил, можно ли нам посмотреть, как она живет. К нашему удивлению, она тут же пригласила нас к себе.

Женщину звали Матрена Дмитриева, и она проводила нас в комнату, где с веревок под потолком свисало мокрое белье, а придвинутые вплотную друг к другу стулья и шкафы были покрыты пылью. В открытую дверь заглядывали другие женщины, и Дмитриева пригласила их войти познакомиться с «гостями».

Я спросил Дмитриеву, может ли она рассказать нам о своей жизни, и мне показалось, что это мое любопытство ей было приятно. Она рассказала, что работает в бане на шахте «Бутовка» и что вместе с мужем-инвалидом Тихоном и сыном Виталием с 1945 года живет в этой комнате, имея свой угол на общей кухне. Ее 80-летний муж, оставшийся без обеих ног еще в 1938 году, попав

под колеса вагонетки на терриконе, спит на кровати в кухне. Она рассказала также, что в доме нет водопровода, поэтому приходится ходить к колодцу и в туалет на улице, а они – за 400 метров отсюда. Тихон, который не встает с кровати, пользуется ведром.

Она рассказала о том, как работала оператором конвейера на шахте «Бутовка», о несчастном случае с мужем и о судьбе сына, у которого было мало шансов когда-нибудь переселиться из этой комнаты, где он прожил все сорок лет жизни.

Я спросил, пыталась ли она улучшить свои жилищные условия. Дмитриева ответила, что писала Анатолию Дюбе – преемнику Савича на должности директора «Бутовки» – с просьбой предоставить ей отдельную квартиру, ссылаясь на состояние здоровья мужа и его преклонный возраст. Дюба ответил, что ее запрос передан его заместителю по жилищным вопросам. А после она больше ничего об этом не слышала.

Когда Дмитриева закончила рассказ, комната была почти вплотную заполнена соседями, которые тоже пришли пожаловаться на свои жилищные условия. Они сказали, что пенсионеров всегда передвигали в конец квартирной очереди, а руководители шахты тем временем незаконно раздавали квартиры своим родственникам и друзьям.

Я попросил пенсионеров поделиться пережитым, и они начали друг за другом рассказывать свои истории.

Лидия Белозорова, 78 лет, проработала 18 лет, собственной спиной тормозя вагонетки с углем на нижней площадке наклонного спуска. Отдав все силы и здоровье этой работе, она в конце концов вышла на пенсию (мизерную) и жила на кухне коммунальной квартиры. В 1979 году она пошла к одному из руководителей шахты просить однокомнатную квартиру и показала ему свидетельство, подтверждавшее, что она много лет тяжко трудилась. Руководитель сказал: «Вы работали на орден. Поэтому получайте его. Я для вас ничего не могу сделать».

Восьмидесятилетняя Ольга Фамина рассказала, что работала сортировщицей угля и теперь получает пенсию – 24 рубля в ме-

сяц, которых ей не хватает даже на молоко. В отчаянии она обратилась за помощью в райсовет.

«У вас есть кровать?» – спросил местный чиновник.

«Да».

«А плита?»

«Да».

«Чего же вам еще? Идите отсюда».

Фамина расплакалась. «Я сюда больше не вернусь», – сказала она и ушла в слезах.

Другие жители Новой Колонии тоже рассказывали о кладовках и кухнях, в которых им приходилось жить. В конце концов мы распрощались, и Белозорова проводила нас на улицу. Серое небо потемнело, быстро стало холодать и пошел дождь.

Следующие несколько часов мы провели, колеся по Донецку на такси в поисках разных людей, которых помнил Никитин, но опять – напрасно. За годы преследований он, очевидно, потерял связь со многими людьми, которых когда-то знал.

В конце концов мы решили вернуться к никитинскому дому. Когда мы добрались до Панфиловского района, похолодало еще больше, ветер утих, и дым медленно поднимался из дымоходов в морозном воздухе. Мы поднялись в квартиру Никитина, где Любовь готовила на кухне ужин. Это был долгий день. Мы почти семнадцать часов кружили по городу, но единственным нашим успехом можно было считать беседу с группой пенсионеров. Рабочий люд города скрывал свои мысли и чувства за завесой молчания.

За полчаса до полуночи Любовь накормила нас ужином, а потом Никитин показал мне кое-что из написанных им обращений, в том числе во Всемирную федерацию труда и в Британский конгресс тред-юнионов, где он просил о помощи в организации независимого советского профсоюза. Читая эти документы, я был поражен не только смелостью Никитина, но и его феноменальной волей к борьбе. Любовь принесла нам чаю с вареньем, и нас охватило чувство тоскливой безысходности.

Впервые за весь день я задумался над последствиями этой поездки для Никитина. Я подошел к окну и отодвинул штору. Половинка луны слабо освещала рельсы и гаражи, и пока я смотрел, из тени выступило несколько мужчин в темных пальто и меховых шапках.

Когда я вернулся к столу, Никитин спросил, когда мы собираемся уезжать из Донецка. Я сказал, что, по-видимому, в понедельник.

«Думаю, они схватят меня, как только вы уедете», – спокойно сказал он.

Мы некоторое время сидели молча – я писал свои заметки, и мы пили чай, размешав в нем варенье, от которого он стал красным.

Все больше осознавая сложность положения Никитина, я пытался изобрести какой-то способ забрать его с собой в Москву. Было ясно, что КГБ не позволит «Аэрофлоту» продать Никитину билет на самолет, но можно было поехать поездом. Рассуждая вслух, я говорил Никитину, что на несколько дней он сможет раствориться в московской толпе, а потом связаться со мной через Сереброва, и мы тогда решим, что делать.

«Вы можете провезти меня в своей машине», – сказал Никитин.

«В моей машине?» – переспросил я, не совсем понимая, что он имеет в виду.

«К посольству, – объяснил он. – Я спрячусь на заднем сидении, вы проедете мимо охраны, и я попрошу политического убежища».

«В американском посольстве?»

«Конечно. Вот как те пятидесятники, которые там теперь живут*».

* В июне 1978 года семеро членов секты пятидесятников из Сибири, которые хотели эмигрировать из СССР, смогли пробежать мимо охраны на территорию посольства США в Москве и попросили там убежища. Им позволили остаться, и они прожили в посольстве, в однокомнатной квартире, пять лет, пока в 1983 году получили разрешение на эмиграцию.

«Но что вы там будете делать?»

«Я умею все. Я электрик, плотник, могу что-нибудь починить, умею класть кирпич. Что бы они мне не поручили – я сделаю».

«Но вам, возможно, придется остаться в американском посольстве до конца своих дней», – сказал я.

«Это лучше, чем быть замученным до смерти в психушке», – ответил Никитин.

Наше с Кевином настроение становилось все более мрачным. Запотевшие изнутри окна покрылись узорами – признак сильного мороза. Кевин выключил портативный магнитофон, на который обычно записывал наши разговоры.

«Провоз советского гражданина в иностранное посольство, – осторожно начал я, – противоречит вашим законам. Несмотря ни на что, мы должны действовать в рамках закона. Если я привезу вас в посольство, меня могут арестовать. И самое лучшее, на что я могу рассчитывать, – это немедленное выдворение из СССР».

Я замолчал. Никитин тоже долго ничего не говорил.

«Все так, – сказал он наконец. – Я сам найду выход». Он допил свой чай, который уже успел остыть, и прибавил, имея в виду гэбешников, мерзнувших на улице: «Я отплачу этим мракобесам. Все эти годы они меня мучили и унижали». Его мысли будто где-то блуждали. «Я не переживаю, – сказал он. – Я найду выход». Никитин посмотрел на свои руки, лежащие на столе. «Да, – твердо прибавил он, – из каждой ситуации есть выход».

Мне вдруг стало стыдно, что я думал прежде всего о своей возможной депортации. Я сказал Никитину, что сейчас важно привезти его в Москву, но теперь мысль о путешествии туда и обращение в иностранное посольство, похоже, стала ему неприятной. Он сказал, что за одним из донецких терриконов есть густой лес. В ночь на воскресенье можно было бы туда подъехать, мы с Кевином постояли бы там с четверть часа, прикрывая Никитина от взглядов гэбешников, пока он скроется в лесу.

Я опять поднялся и подошел к окну. В этот раз я никого не увидел внизу, хотя не сомневался, что они там. Больше мы в

тот вечер не разговаривали, но мы с Кевином уже вторую ночь подряд остались ночевать у Никитина.

Предыдущей ночью мне удалось заснуть достаточно быстро, но в этот раз мешал холод. Я лежал без сна и думал о будущем Никитина. Я допускал, что ему удастся сбежать. Но что он будет делать дальше? Он не имел ни денег, ни документов. А без работы и жилья его арест был лишь вопросом времени.

ДЕНЬ 3

Мы опять встали рано. Я посмотрел в окно и увидел, что земля и крыши покрылись свежим снегом. Уличный фонарь слабо светил в предрассветной тьме. Мы оделись, позавтракали, вышли втроем на улицу и на такси доехали до нашей гостиницы. Немного позже мы пошли в агентство «Аэрофлота» и взяли билеты в Москву на понедельник.

Делать было больше почти нечего, поэтому мы прогулялись по центру города. Хотя мы уже не рассчитывали на какие-то встречи в Донецке, был один человек, на общение с которым мы все еще могли надеяться. Это была жена политического заключенного, с которым Никитин познакомился в днепропетровской психушке. Однако когда мы к ней пришли, ее не оказалось дома.

В конечном счете мы провели весь день, бесцельно бродя по морозному городу, и только под вечер совершенно случайно Никитин увидел женщину, которую мы искали: она выходила из трамвая. Наша короткая встреча с ней стала символом тех трудностей, с которыми мы столкнулись в Донецке.

Когда Никитин увидел эту женщину, он сразу подошел к ней, и она, как нам показалось, была рада встрече. Никитин показал ей на нас. Я видел, как она кивала головой, слушая Никитина, но потом вдруг отвернулась и пошла прочь. Никитин вернулся и объяснил, что она не захотела с нами разговаривать из-за страха, что это может как-то навредить мужу.

По дороге к жилью Никитина мы опять зашли к Николаю и Зине. Никитин постучал в дверь летней кухни, где мы были в пятницу вечером. Однако в этот раз Зина лишь немного приотворила дверь и, увидев Никитина, сердито потребовала чтобы он немедля уходил, рассказав, что ее с Николаем весь вчерашний день допрашивал КГБ.

Мы вернулись в квартиру Никитина, где Любовь опять приготовила нам обильный ужин. Никитин, по моей просьбе, рассказал мне немного о своей жизни, но пока мы разговаривали, я все время думал, как же нам с Кевином помочь ему бежать.

После ужина Никитин сказал мне, что пока остается в Донецке для завершения своих дел и приедет в Москву позже. Это, бесспорно, значило, что он решил встретиться с КГБ один на один.

ДЕНЬ 4

Утром нашего последнего дня в Донецке мы рассчитались в гостинице и на такси поехали к Никитину. Пока мы были здесь, нам не удалось пообщаться со многими людьми, но и добытой информации было достаточно для понимания, что условия для беспорядков среди рабочих, от которых содрогалась Польша, существуют и в Советском Союзе. Мы поднялись в квартиру Никитина и нашли его за работой: он чинил замок и вставлял дверной глазок. По его словам, он впервые за эти дни хорошо выспался.

Мы вместе пошли в его комнату, и сестра Никитина принесла нам чаю. Сам он вел себя бодро и по-деловому. «Если меня арестуют, – сказал он, – я немедленно объявлю голодовку, а если запрут в психушку, я откажусь принимать какие бы то ни было препараты, которые влияют на поведение. Хочу напомнить вам, что доктор Анатолий Корягин признал меня психически здоровым».

Я сказал, что все понял, и заметил, что он должен приехать в Москву как можно скорее.

Больше нам нечего было делать у Никитина. Мы пожали друг другу руки и попрощались с Любовью, которая как раз вышла из кухни, вытирая руки о передник. Я поблагодарил ее, а она извинилась за то, что так скромно нас принимала. Мы договорились, что Никитин позвонит мне с донецкого главпочтамта в восемь вечера, чтобы я убедился, что у него все в порядке. Он решил не провожать нас к машине – когда мы начали спускаться по лестнице, он помахал нам рукой и запер дверь.

Оставшись снова один, Никитин на некоторое время занялся домашними делами, а потом, когда прошло пару часов, стал совершать короткие вылазки из квартиры. Выйдя на улицу впервые, он был приятно удивлен исчезновением гэбешников, которые раньше торчали вокруг дома, и что он может идти, куда захочет.

Я каждый вечер ожидал в своем кабинете звонка от Никитина, но напрасно. Наконец в пятницу он позвонил Вере Серебровой и сказал, что все замечательно, он может свободно передвигаться. Вера передала это сообщение мне.

Позвонив Серебровой, Никитин вернулся домой. Вскоре у его дома тихо затормозила машина «скорой помощи». Через пару минут в дверь постучали. Когда Любовь открыла, в квартиру ворвались семь или восемь гэбешников в штатском, оттолкнули хозяйку и ринулись в комнату Никитина. Там началась борьба, и Любовь стала кричать. Один из гэбешников сказал ей: «Заткнись, а то тоже попадешь в психушку». Через открытую дверь комнаты она с ужасом увидела, что брату делают укол. Он сразу обмяк, его завернули в одеяло, словно труп, и в таком состоянии вынесли из квартиры.

Через несколько часов после того, как Сереброва сообщила мне по телефону, что Никитин на свободе, она позвонила мне опять и сказала, что он арестован. Я спросил о деталях, но она сказала, что тот, кто ей звонил, был настолько перепуган, что успел сообщить лишь об аресте.

Через несколько дней после ареста Никитина я ужинал с Феликсом Серебровым и спросил, что, по его мнению, случится с Никитиным.

«Вероятнее всего, его упекут в психиатрическую лечебницу», – ответил Серебров.

«И будут “лечить?”»

«Возможно».

Я немного помолчал.

«Думаете, это наш визит определил его судьбу?»

«Его судьба была бы такой же независимо от этого, – сказал Серебров. – Рано или поздно это все равно завершилось бы психушкой. Чтобы этого избежать, ему надо было опять слиться с той серой массой, которую он навсегда покинул».

Серебров покрутил в пальцах сигарету и закурил.

«То, что произошло с Никитиным, – продолжил он, – случается с массой людей в его положении. Он начал с того, что ощутил несправедливость и совершил ряд поступков, последствия которых убедили его, что интуиция его не подвела. Но постепенно он удостоверялся и в том, что эта несправедливость существует не только на шахте, где он работает, или в городе, в котором он живет, а несправедлива вся система, и только напрочь забыв обо всем этом, он мог надеяться остаться на свободе».

«Поэтому у него не было шансов спастись?»

«Единственный шанс для него был – это приползти к власти на коленях и умолять о прощении, но для этого он слишком много страдал».

«Алексей обычно называл себя “простым рабочим”. Он всегда говорил: “Я всего лишь простой рабочий”, на самом деле зная, что больше он уже не рядовой человек».

«Он прошел ту точку, когда еще можно было отказаться от борьбы с ними, и был готов ко всему, что они могут с ним сделать».

Мы на мгновение умолкли, вдруг осознав, что говорим о Никитине в прошедшем времени.

Проходили дни, а мы больше ничего не слышали о Никитине, пока Вере Серебровой не позвонил кто-то из Донецка и коротко не сообщил, что Никитин находится в донецкой психиатрической больнице № 2 и что его там посещали родственники. У него очень высокая температура в результате ряда инъекций (возможно, сульфазина) и сильные боли.

Тем временем вокруг Сереброва стали сжиматься щупальца КГБ. Утром 8 января агенты госбезопасности пришли к нему на квартиру с обыском, и по его окончании Сереброва арестовали и отправили в Лефортово. Он стал последним арестованным в Москве членом Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях.

Никитин опять оказался в психиатрической клинике, и я решил, что должен что-то сделать для него. Семнадцатого января я поехал в Харьков, чтобы встретиться с Корягиным. Мне стало известно, что Никитина перевели в днепропетровскую психиатрическую спецбольницу. Именно Корягин в свое время признал Никитина психически здоровым, поэтому я решил просить его о подтверждении этого диагноза, чтобы я мог написать об этом статью для *Financial Times*, продемонстрировав неоправданность заключения Никитина.

Корягин принял меня и Тони Барбьери из газеты *Baltimore Sun* у себя дома, где его жена Галина накрыла для нас довольно изысканный стол.

После обеда я спросил Корягина, может ли он повторить свой диагноз относительно Никитина для опубликования в *Financial Times* и *Baltimore Sun*. Он энергично покивал головой.

«Излишне напоминать вам, – сказал я, – что наша беседа связана для вас с достаточно большим риском».

«Просто спрашивайте».

Я включил магнитофон и попросил Корягина говорить в микрофон.

«Знакомы ли вы с Алексеем Никитиным?» – спросил я.

«Да».

«Как бы вы его охарактеризовали?»

«Я осматривал Алексея Никитина в сентябре 1980 года и на основании этого могу сказать, что он принадлежит к типу энергичных, активных людей, способных быть успешными в любом обществе, независимо от социальной системы».

«Заметили ли вы у него какие-либо признаки психического заболевания?»

«Нет, я не обнаружил у него никаких симптомов шизофрении, которая обычно сопровождается снижением уровня активности пациента, или паранойи, хотя у него и было негативное отношение к окружению в результате конфликта с местной властью, длившегося годами. У него не было затруднений с речью, он был способен к глубоким рассуждениям и формулировал свои мысли быстро и лаконично».

«Я получил информацию, что Никитина поместили в психиатрическую больницу, – сказал я. – Можете ли вы предположить какие-то законные основания для этого?»

«Я пришел к заключению, осмотрев Никитина, – ответил Корягин, – что для двух его предыдущих пребываний в психушках не было никаких оснований. Я склонен думать, что и нынешняя его госпитализация – такого же рода».

Публичное подтверждение Корягиным психического здоровья Никитина было одним из способов его поддержки, но самому Корягину оно фактически гарантировало арест.

Тринадцатого февраля супружеская чета Корягиных ехала в поезде Харьков–Москва, когда в их купе в поисках «преступника» ворвались двое милиционеров и трое агентов КГБ в штатском. У них была с собой фотография, и, увидев Корягина, они его арестовали.

Когда поезд остановился в Белгороде, первой остановке на пути к Москве, Корягиных сняли с поезда, и Анатолия увели.

Тем временем Никитин оставался заключенным в мрачном мире советских психиатрических больниц.

Восемнадцатого мая Люба Полудняк приехала в Днепропетровск к брату. Ей не позволили его увидеть, но один из врачей заверил ее, что его «лечат».

Лишь в декабре 1981 года Любови наконец позволили увидеться с Никитиным. Он не мог разговаривать с ней откровенно в присутствии охранников, но выглядел бодрым и достаточно здоровым. Возможно, во время этого очередного заключения в больнице ему давали меньше лекарств, но в начале 1982 года отношение к диссидентам в стране стало более жестким. Юрий Андропов, глава КГБ, начал кампанию перехвата власти у умирающего Леонида Брежнева.

В январе 1982 года Никитин был переведен в специальную психиатрическую больницу в Талгаре (Казахстан), и следующие два года о его судьбе практически ничего нельзя было узнать. Завеса молчания прервалась лишь в начале 1984 года, когда Никитина перевезли обратно в донецкую психушку № 2. Однако на это время он уже ни для кого не представлял угрозы. Он умирал от рака желудка и почти не вставал с постели. В больнице Никитина держали почти до самого конца – через несколько дней после того, как его наконец выпустили, он умер в квартире своей сестры.

После смерти Никитина Любовь Полудняк отказывалась встречаться с людьми, желавшими узнать о его последних днях, однако ответила на письмо Виктора Давыдова – тоже жертвы психиатрического террора:

«Дорогой товарищ Давыдов, благодарю за Ваше письмо. К сожалению, новости плохие. Мой любимый брат Алексей умер 21 января. Я не могу больше ничего написать, потому что даже теперь они не оставляют меня в покое. Люба Полудняк».

НОВОКУЗНЕЦК, 1989 ГОД

В Новокузнецке, угольной столице Кузбасса, быстро распространились слухи о забастовке шахтеров в Междуреченске.

Исходя из политики гласности, известия о забастовках теперь не замалчивались, поэтому вечером 11 июля короткое сообщение о прекращении шахтерами работы прозвучало в региональной информационной программе «Пульс».

На следующее утро горняки, ехавшие на работу электричками и автобусами, только и говорили, что о забастовке в Междуреченске. Раньше на шахтах Кузбасса никогда не бывало акций протеста, но теперь почти все были уверены, что в Новокузнецке, наибольшем угледобывающем городе СССР, забастовка неминуема.

Перед шахтами во время пересменки начали собираться горняки. Они призывали поддержать рабочих Междуреченска, потому что иначе протест подавят. Единственная сложность заключалась в том, что никто не знал требований шахтеров Междуреченска. Почти все они собрались там на городской площади, поэтому связаться с ними было невозможно. После целого дня все возрастающего напряжения, противоречивых слухов и всевозможных догадок новокузнецкие шахтеры конфисковали принадлежавшие шахте транспортные средства и двинулись в Междуреченск самостоятельно.

Одним из них был Николай Очередной с шахты «Есаульская», приехавший в Междуреченск в три часа ночи. То, что он там увидел, было настоящей революцией трудящихся в СССР. Вся центральная площадь города была запружена людьми, а в окнах каждого из домов на площади горел свет. С импровизированной сцены перед зданием горкома партии один за другим выступали ораторы, описывая ситуацию в городе. Шахтеры говорили об опасных условиях труда и несоблюдении правил техники безопасности, врачи – о неподобающем медицинском обеспечении, парикмахерши требовали установления выходных дней, чтобы иметь возможность проводить время с семьей, домохозяйки просили лучшего обеспечения города продовольствием.

Николай Очередной протискивался сквозь толпу, мимо матерей с детьми, мимо групп шахтеров и костров, на которых они

кипятили чай, пока не добрался до места у сцены, где собрались Валерий Кокорин и другие лидеры забастовщиков. Он спросил шахтеров, каковы их требования. Горняки показали ему перечень из сорока двух пунктов, в том числе – повышение зарплаты, увеличение поставок продовольствия и улучшение условий жизни в городе, включая строительство новой больницы и стадиона. Николай Очередной пообещал, что они могут рассчитывать на поддержку со стороны шахтеров Новокузнецка.

На рассвете 13 июля все новокузнецкие шахтеры были охвачены стачечной лихорадкой, а местная администрация – страхом. Директор шахты «Полосухинская» Виктор Пишенко вышел к горнякам, пришедшим на утреннюю смену, и предостерег их от участия в забастовке. Однако именно в этот момент к «Полосухинской» подъехал небольшой автобус, «одолженный» Николаем Очередным на своей шахте, из него вышел сам Николай и быстро поднялся по ступенькам к бане.

«Я только что вернулся из Междуреченска, – сказал Очередной, и сразу же его окружила толпа из почти трех сотен горняков в робах и касках. – Междуреченские шахтеры настаивают на выполнении своих требований и просят нашей поддержки».

«Бастуем!» – прозвучали возгласы из толпы.

Жребий был брошен. Десятилетиями КПСС пользовалась монополией на все формы организации жизни в Кузбассе, и теперь весь гнев, подавлявшийся годами, взорвался, вызвав неудержимую цепную реакцию. За считанные минуты шахтеры избрали стачечный комитет из двадцати человек, который занял административные помещения шахты. Его руководители немедленно начали обзванивать другие шахты и узнали, что стачечные комитеты созданы одновременно на всех шахтах города.

В 10 часов утра члены стачечных комитетов десятка шахт собрались в большом актовом зале шахты «Абашевская» и избрали районный стачком. Через несколько часов в Новокузнецке бастовали уже все шахты, и комитет был преобразован в городской.

На протяжении многих лет Кузбасс был одним из наиболее пассивных и забитых регионов бессловесной и запуганной страны. Считалось само собой разумеющимся, что план по добыче угля должен быть выполнен любой ценой, и никакие гуманные рассуждения не должны были стать помехой этой безжалостной эксплуатации недр.

Согласно официальной идеологии, настоящими «хозяевами» страны были рабочие, а партийное руководство вдохновляло их на трудовые подвиги. Разногласия между рабочими и партией исключались, ведь партия не была чуждой рабочему классу – она лишь его самая «сознательная часть», а независимые профсоюзы были излишни, потому что советские трудящиеся не нуждались в защите от своих собственных представителей. В то же время забастовки считались бессмысленными, потому что, если рабочие бастовали, то как бы против самих себя.

Такое навязанное (с помощью милицейского террора) представление о действительности выбивало у рабочих почву из-под ног. Везде можно было увидеть лозунги наподобие «Советские рабочие – хозяева страны» и «Слава рабочему классу!». На первых колонках газет красовались фотографии рабочих, которые варят сталь или добывают руду. Они были героями кинофильмов. Однако самим рабочим никогда не позволялось бесконтрольно делать какие-либо не спущенные сверху публичные заявления, и в любой конкретной ситуации с ними обходились, как с детьми – предписанное им мнение выражали лишь представители режима.

Но все это изменилось с началом процесса гласности и более свободным доступом к информации. Гласность открыла шахтерам глаза на несправедливость условий их жизни и подорвала доверие ко всей системе власти.

«Гласность пробила брешь в системе, – говорил горняк Анатолий Малыхин. – В результате гласности стало можно выступать на собраниях. Раньше это было опасно. Система дискри-

минировала человека как личность. Два года назад нельзя было выражать свое мнение или защищать собственное достоинство. Но у каждого человека в семье есть дети, которых он воспитывает, и то, как он их воспитывает, и определяет, какой он является личностью. Мы узнавали из газет, как местные начальники в Узбекистане фальсифицируют отчеты об урожаях хлопка. Горняки знали, что то же самое практиковали и директора шахт относительно добычи угля в Кузбассе. Процесс свержения всевластной КПСС стал необратимым, и всем было ясно, что забастовки не за горами. Вопрос был лишь в том, кто начнет первым».

«Если бы мы встретились десять лет назад, – говорил Владимир Лапин, горный инженер, – вы бы меня не узнали. Я доверял советским средствам массовой информации. Я предполагал, что пресса замалчивает какие-то вопросы, но возможность откровенной лжи категорически отвергал. Что касается передач западного радио, то я считал, что они берут правдивую информацию и фабрикуют разные правдоподобные версии. Мы всю свою жизнь жили в окружении врагов. Американский империализм угрожал нам ядерной войной. Добро было только на нашей стороне, и потому мы должны были наращивать свою военную мощь. Если мы жили материально хуже, чем люди на Западе, то только потому, что нам была нужна сильная армия, иначе западные страны задушили бы социализм, который для них был главной угрозой. Когда люди вспоминали о свободе слова, я говорил, что ее нет нигде. Американцы имеют ту свободу слова, которая удобна для них. Свободное предпринимательство я считал спекуляцией и не мог себе представить, что оно возможно в промышленности. Когда началась гласность, я стал делать вырезки из газет. Пресса годами рассказывала о тяжкой судьбе рабочих западного мира, и вдруг мы увидели, что на Западе все не так плохо, как мы думали. Я впервые узнал, что обратно в СССР возвращается меньше одного процента эмигрантов, а те, кто вернулся, уже через несколько месяцев рвутся обратно. И все это стало печататься в наших газетах. Еще с моих студенческих времен

в ходу было выражение: "Не для печати". И это было нормой. Гласность открыла нам глаза. Наибольшей неожиданностью для меня стало показанное по советскому телевидению интервью одной американки, переводчицы издательства "Прогресс". Она рассказывала, в частности, что в Америке несколько месяцев не имела работы и получала пособие по безработице. Этой помощи ей хватало на жизнь, но она чувствовала дискомфорт из-за отсутствия работы. А я-то думал, что безработные в Америке живут на улице и попрошайничают!»

«Мы годами не имели возможности сравнивать свое положение с жизнью людей на Западе, – говорил Сергей Сухов, врач Скорой помощи из Новокузнецка. – Нам все подавалось в искаженном виде: в США линчуют негров, там нет свободы, там хорошо живут лишь богачи. Теперь, благодаря гласности, мы знаем, как все это было далеко от истины. Недавно по телевидению шла передача "Сельская Америка" – про американские фермерские хозяйства. Мы увидели ветеринаров, которые ездят по фермам на санитарной машине и делают уколы свиньям одноразовыми шприцами. У нас в Новокузнецке таких шприцов нет даже для людей. Когда я все это увидел, то подумал: "Почему у нас такая бедность? Почему все эти мощные шахты и огромные сталеплавильные заводы не способны гарантировать нам получение хотя бы минимальных благ?"».

Когда теми же вопросами начали задаваться тысячи других людей, в Новокузнецке и других шахтерских городах назрел социальный взрыв.

Днем 13 июля стачком переехал в Дом культуры им. Маяковского – эту возможность ему предоставил директор ДК Валерий Комаров, сам бывший шахтер. Члены комитета собрались в кабинете директора, воспользовавшись единственной телефонной линией, чтобы обзвонить все сорок шахт города и организовать пикетирование. В то же время сотни горняков заполняли площадь перед Домом культуры, чтобы защитить ко-

митет (если придется – то и собственными телами) и оказать ему моральную поддержку.

Сначала этот городской стачком состоял из шестидесяти человек, но когда забастовка охватила автобазы, стройплощадки и другие предприятия, к штабу начали подходить новые представители забастовщиков, и комитет разрастался все более. Однако, когда работа прекратилась по всему городу и массы народа собрались на площади перед штабом, руководители стачкома стали опасаться репрессий. Они понимали, что выступление шахтеров легко подавить, и все помнили о расстреле демонстрации протеста в Новочеркасске в 1962 году. Они понимали также, что наибольшая опасность заключается в том, что какой-нибудь скандал или пьяная драка дадут власти законный повод для применения силы. Во избежание этого они первым делом закрыли вино-водочные магазины. Из числа шахтеров, собравшихся на площади, были назначены патрули. С красными повязками на рукавах они ходили по городу, закрывая магазины с алкогольными напитками и отводя пьяных в вытрезвители.

Тем временем стачком работал над перечнем требований. Шахтеры уже давно сравнивали огромные объемы отправляемого из Кузбасса угля с мизерным количеством продуктов, лекарств и одежды, поставлявшихся в регион. Поэтому первым и важнейшим требованием стала экономическая самостоятельность шахт, чтобы рабочие могли использовать прибыль от добытого ими угля для закупки продовольственных и других необходимых товаров и не были вынуждены жить в нищете и зависеть от централизованного планирования. Они требовали также более длительных отпусков, повышения пенсий и более высоких коэффициентов оплаты труда этого региона, а также установления лимита в 70 процентов для госзаказов, что обеспечило бы предприятиям большую свободу независимой экономической деятельности.

Посреди суматохи, царившей в директорском кабинете, Лапин, избранный в стачком от шахты «Полосухинская», думал о событиях, приведших к забастовке.

Жизнь в Новокузнецке всегда была тяжелой, но накануне забастовки стала вовсе нестерпимой. На шахтах закончились запасы мыла. Нельзя было купить обувь. Шахтерам приходилось летать в Москву за товарами первой необходимости, ночуя в аэропорту на подстеленных газетах в ожидании рейса. Однако больше всего беспокоило Лапина сознание того, что эти жизненные трудности касались в Новокузнецке не всех. В брежневскую эпоху на его глазах создавалась жесткая кастовая система, особенно заметная на шахтах.

С 1982 года Лапин работал на разрезе открытой добычи угля «Листвянский» в поселке Листвяги. Жил он вместе с матерью в Новокузнецке, но большинство шахтеров жили в коммунальных квартирах без газа, отопления и водопровода.

Осенью 1983 года было объявлено, что вскоре работники «Листвянского» получат квартиры в новой девятиэтажке. Многие шахтеры ожидали отдельной квартиры по 15 лет, и каждый из них знал свое место в очереди. Но одновременно со строительством жилого дома для «Листвянского» рядом возводился такой же дом для соседней шахты «Бунгурская», строительство которого должно было завершиться немного позднее.

Когда дом для «Листвянского» был построен, в управлении шахты вывесили список тех, кто должен был получить там квартиры. Этот список удивил всех: вместо 67 шахтеров-очередников, там фигурировали фамилии лишь 52 человек. Начальство объяснило, что 15 квартир передано шахте «Бунгурская», и остальные шахтеры из очереди получат квартиры в ее новом доме, когда тот будет завершен.

Те шахтеры, кому выделили квартиры, их и получили, а те, кому сказали ожидать, стали ждать. Однако, когда дом для «Бунгурской» был наконец готов, об этом не было объявлено, и обещанные дополнительные 15 квартир раздали не шахтерам из очереди, а родственникам, любовницам и друзьям руководителей «Листвянского».

Прошло несколько месяцев, и пятнадцать шахтеров, ожидавших квартир, начали спрашивать, когда же они их по-

лучат. Профсоюзные деятели, которые и организовали эту махинацию, начали что-то путано объяснять, и шахтеры, не имея подробной информации, не знали, что и думать. В то же время каждый из шахтеров чувствовал свою незащищенность. Люди, которые должны были получить новые квартиры, работали на разных участках, некоторые – на расстоянии до семи километров друг от друга, и в разных сменах. Они лишь изредка заходили в дирекцию шахты и не имели возможности узнать о других жертвах этого обмана. Но каждый сознавал, что в случае слишком активного протеста может потерять не только надежду на квартиру, но и работу.

Через какое-то время Лапин узнал, что случилось на шахте «Бунгурская»: получив 15 квартир в доме «Листвянского» до завершения собственного строительства, начальство шахты отдало их своим друзьям и родственникам, ничего не сказав рабочим. И поскольку эти квартиры находились в доме другой шахты, горнякам из «Бунгурской» было сложно это проверить, и когда собственный дом шахты был возведен, начальство просто объявило, что будет распределено 52 квартиры вместо 67, потому что получило от «Листвянского» 15 квартир и должно такое же количество вернуть.

Вот так на обеих этих шахтах обычные горняки не смогли противодействовать начальническим махинациям.

В 1986 году Лапин уволился с разреза «Листвянский» и поступил на шахту «Полосухинская», где столкнулся с еще одним примером неравенства – на этот раз в виде системы так называемых образцовых работников.

На шахте «Полосухинская» передовиком производства был Егор Дроздецкий, Герой Социалистического Труда. В центре Новокузнецка был даже установлен его бюст.

На каждой шахте был свой «маяк» или «рулевой», который должен был быть примером для подражания для остальных рабочих. Дроздецкого назначили таким «маяком» за то, что он не пил, был женат, и что самое главное – был политически

надежен. Местной власти был нужен пример успешного производственника, поэтому Дроздецкого в пожарном порядке назначили руководить эксплуатацией перспективного угольного пласта трехметровой толщины, расположенного очень близко к поверхности. Для повышения производительности ему дали новый конвейер, новые стойки для крепления стен проходки, новые комбайны и установили четыре телефона на его участке, чтобы ему не приходилось в случае каких-либо проблем тратить время, преодолевая расстояние до единственного телефона, как у всех остальных.

Никто особенно и не удивился, когда Дроздецкий со своей бригадой стал добывать огромные объемы угля, а поскольку оплата труда осуществлялась на основе подряда, то члены этой привилегированной бригады начали зарабатывать по тысяче рублей в месяц – вдвое больше остальных шахтеров, работавших на устаревшем оборудовании в сложных геологических условиях. Дроздецкий выступал по телевидению, обещая применить свои «новейшие методы добычи» для достижения в будущем еще больших трудовых побед. В начале горбачевского периода политикой партии было «ускорение», и Дроздецкий торжественно провозглашал, что именно в его бригаде будет «настоящее ускорение».

Лапин, как и практически все обычные шахтеры, ненавидел Дроздецкого и считал эти телепередачи «информацией для дураков».

За много лет жители Новокузнецка приспособились к установленному порядку, который казался всем неизменным, как восход солнца. Если в городе что-то происходило, то лишь по указаниям местного партийного комитета. Однако, когда началась забастовка городских рабочих, указания партии утратили свою действенность. Рабочие были готовы выполнять только приказы стачкома.

Председателем стачкома был избран Валерий Демидов с шахты «Абашевская». Из своего штаба в Доме культуры коми-

тет распорядился поставлять уголь электростанциям, чтобы избежать перебоев с электричеством в городе. Комитет одобрил также продолжение особо важных работ в шахтах, например, функционирование вентиляционных систем.

В то же время в стачком непрерывным потоком шли жители Новокузнецка со своими жалобами. Они приносили доказательства коррупции в сфере распределения жилья и махинаций с установлением размеров заработной платы. Отдельной группой отчаявшихся посетителей были городские диабетики. В Новокузнецке закончились запасы инсулина, и теперь, в жару, диабетикам было трудно дышать. Комитет немедленно распорядился о срочных поставках инсулина.

В течение всего второго дня забастовки перепуганные руководители предприятий, в частности, металлургических комбинатов и фармацевтических фабрик, тоже приходили в Дом культуры, умоляя, чтобы их освободили от участия в забастовке.

Промышленность Новокузнецка была парализована, поэтому местные партийные органы пребывали в полной растерянности. Вместо того, чтобы угрожать подавлением забастовок, они отмалчивались или на встречах с членами стачкома ограничивались упреками в «политической близорукости». Первый секретарь горкома партии Альберт Ленский пришел в штаб забастовщиков в полночь и, молча прочитав некоторые из требований комитета, сказал: «Ребята, я вижу в вашей работе первые ростки рабочего самоуправления».

Убедившись, что народ предан идее забастовки, члены комитета стали действовать смелее. Они начали звонить в горком с просьбой о предоставлении транспорта, и в каждом таком случае им не отказывали. Комитет пригласил к себе партийных функционеров, чтобы те рассказали, сколько продовольствия поставляется в город, сколько жилых домов строится, сколько лекарств есть в больницах, и вскоре начали поступать отчеты от всех местных органов, в частности – из отдела здравоохранения и от управления торговли, которое отвечало за все, что

продавалось в магазинах. Ошарашенные успехом забастовки, местные партийные руководители воспринимали все пожелания стачкома как приказы.

Люди из всех слоев новокузнецкого общества наблюдали за забастовкой с увлечением, но немногие были заинтересованы в ней больше, чем Сергей Сухов, врач Скорой помощи.

Сухов вырос под Новокузнецком, медицину изучал в Красноярске, а потом, в середине 1980-х, вернулся домой. Он понял, что с охраной здоровья нужно что-то делать, после того, как приехал на вызов к матери с 11-месячным ребенком, больным пневмонией. Сухов повез ребенка в детскую больницу № 4, подошел к зданию и, провалившись на трухлявых досках пола, едва не выронил ребенка.

Сухову казалось, что центральная власть просто не уважает жителей Новокузнецка. В 600-тысячном городе было 29 больниц, и все они располагались в хмурых зданиях барачного типа, возведенных более 50 лет тому назад. Промышленный смог, укутывавший город, увеличивал риск появления проблем с дыхательными путями и кожной аллергией, но в городе почти не было ни дерматологов, ни отоларингологов. В Заводском районе был лишь один отоларинголог на 40 тысяч детей. Каждый час он принимал 13 пациентов.

Однако больше всего беспокоила Сухова небрежность врачей, которые не прилагали всех возможных усилий для спасения жизни своих пациентов. Отправляя больных в больницы, он часто обнаруживал, что, кроме дефицита кислородных приборов и больничных коек, пациенты сталкивались там с леностью и безразличием медицинского персонала. Особенно заметно это было при лечении детей.

Сухов начал работать на станции скорой помощи в Новокузнецке в июне 1986 года и как-то ночью, в первую же неделю работы, выехал по вызову к четырехлетнему мальчику с приступом астмы. Он забрал его вместе с матерью в больницу, и когда она с сыном на руках вошла в здание, один из врачей закричал

на нее: «Куда вы идете в верхней одежде?» С женщиной случилась истерика, и они с этим врачом стали орать друг на друга.

Большинство детей в Новокузнецке страдали астмой, и самые тяжелые приступы происходили у них между полночью и 4-мя часами утра, когда предприятиям позволялось выбрасывать в воздух газы-загрязнители безо всяких ограничений. Поэтому врач, увидев, что состояние ребенка не критическое, и принимая во внимание то, что был лишь десятый час вечера, отказался осматривать мальчика и, на удивление Сухова, заявил, что женщина привезла ребенка рановато. Было очевидно, что он просто стремится избежать лишней работы. Столкнувшись с таким отношением, женщина мгновенно потеряла доверие к этому врачу и стала угрожать, что заберет ребенка домой. Лишь вмешательство Сухова заставило врача осмотреть больного и убедило женщину остаться.

За два года Сухов столкнулся с еще одним случаем безразличия медиков. В шесть часов вечера 17 апреля 1988 года десятилетнего Андрея Головея с сильным приступом бронхиальной астмы в детскую больницу № 4 привез его отец. Головей-старший предупредил врачей, что сын в тяжелом состоянии, но они не обратили на это внимания. Несмотря на то, что мальчику было трудно дышать, врачи заставили его подняться пешком на второй этаж. Там его оставили в одном из кабинетов до десяти вечера, пока он не посинел и не стал кричать, что не может дышать. В конце концов его забрали в реанимационное отделение, но даже там не оказали никакой помощи. Проходили часы, состояние ребенка все ухудшалось, и в три часа ночи мальчик потерял сознание. Несмотря на это, он не получил никакого лечения до девяти часов утра. А потом было уже поздно. Через два часа ребенок умер.

В штаб-квартире забастовки в Доме культуры непрерывно звонили телефоны, а небритые шахтеры в облаках табачного дыма всю ночь обсуждали тактику и стратегию своих требований к правительству. Большинство звонков поступало от горожан с жалобами на спекуляцию продуктами или просьбами о помощи в восстановлении справедливости.

Однако на третий день забастовщикам позвонил Михаил Щадов, министр угольной промышленности, который приехал в город из Междуреченска, чтобы попытаться договориться и прекратить забастовку, распространившуюся из Новокузнецка на весь Кузбасс и угрожавшую привести к таким же забастовкам в Донецке, Воркуте и Караганде. Щадов предложил шахтерам прислать своих представителей для встречи с ним в горком партии.

«Щадов перепутал, – сказал Демидов. – Это не он нас будет приглашать, а мы его».

Комитет отправил одного из своих членов с этим сообщением, и через десять минут Щадов прибыл в Дом культуры, чтобы начать переговоры. Измученный и едва способный разговаривать после пребывания в Междуреченске, он все же зашел в штаб с широкой улыбкой, каждому из собравшихся пожал руку и даже приобнял кое-кого из членов комитета.

В Междуреченске Щадов безуспешно пытался убедить народ, что горнякам надо вернуться к работе в обмен на тысячи тонн дополнительных поставок продовольственных товаров, мыла и моющих средств. В Новокузнецке он отказался от этой тактики и решил прибегнуть к откровенному обману.

Первый секретарь Кемеровского обкома партии Александр Мельников, сопровождавший Щадова в поездке в Новокузнецк, фальсифицировал получение телеграммы, с сообщением о выходе междуреченских шахтеров на работу.

Члены комитета попытались дозвониться по телефону в Междуреченск, но его код оказался заблокированным. Тем временем в Междуреченске распространились слухи, что к работе вернулись новокузнецкие шахтеры. Правда выяснилась, когда к Дому культуры пришли трое горняков из Междуреченска, чтобы выяснить, продолжается ли еще забастовка в Новокузнецке. Информацию из мельниковской телеграммы – якобы Междуреченск вернулся к работе – они опровергли. Во время этого разговора Щадов сидел, уставившись в свои бумаги.

Когда переговоры возобновились, Щадов и его сопровождение попробовали применить другую тактику. Он стал соглашаться

со всеми требованиями. «Чего вы хотите? – спрашивал министр. – Автомобилей? Мы вам их дадим. Продуктов? Дадим. Хотите самостоятельности? Берите. Зачем поднимать такой шум?»

Потом шахтеры заметили, что Щадов подписывает свое согласие с шахтерскими требованиями на обычном листке бумаги, а не на официальном бланке. Когда они спросили его, почему, он сказал, что у него нет с собой бланков. Тогда они поинтересовались, имеет ли Щадов вообще полномочия соглашаться с их требованиями. И он признал, что не имеет.

«Почему же вы подписываете документы по вопросам, которые не имеете права решать?» – спросил Малыхин.

«Я не могу решить эти вопросы, но я могу дать вам свою подпись», – ответил Щадов.

Появился курьер с известием, что в Новокузнецк отправилась государственная комиссия во главе с членом Политбюро Николаем Слюньковым. Шахтеры прекратили переговоры со Щадовым и решили ждать Слюнькова.

Одним из наиболее воинственно настроенных членов стачкома был Юрий Комаров, убежденный в том, что шахтеры напрасно рискуют жизнью ради выполнения плана. Он не мог спокойно реагировать на непрерывную череду шахтерских смертей – то ли в результате несчастных случаев на шахтах, то ли из-за халатности медиков в больницах. Со временем он вообще потерял счет этим смертям.

Риск, связанный с работой на шахтах Кузбасса, был весьма велик. Отчасти это было следствием естественных условий: кузбасские угольные залежи содержат чрезвычайно много метана – до 15 тысяч кубометров на тысячу тонн добытого угля. В то же время, учитывая богатство этого угольного региона, министерство компенсировало низкий технологический уровень горных работ погоней за открытием новых залежей, часто пренебрегая такими средствами безопасности, как ограждение и дополнительные вентиляционные шахты.

Однако самой серьезной проблемой была организация труда. Если шахтеры не выполняли месячный план, то получали лишь

350 рублей, если же выполняли – вдвое больше. При таких условиях правила техники безопасности часто игнорировались самими горняками. Чтобы избежать задержек в работе, они нередко отключали датчики метана, измерявшие концентрацию этого газа в шахте, а также практиковали отключение электричества в случае слишком большой концентрации газа или недостаточной вентиляции, и в результате работали, не замечая накопления взрывоопасного количества метана.

Комаров столкнулся с несчастными случаями почти сразу же, как в 1981 году начал работать шахтером. Первый серьезный инцидент случился на шахте «Бадаевская» в 1982 году. Не закрепленный должным образом гидравлический домкрат сдвинулся в вагонетке, в которой его поднимали на поверхность. Ограждения не было, и вагонетка пролетела 750 метров вниз, где обрушилась на генератор, а тот опрокинулся на четырех горняков, которые в это время завтракали, и размозжил им ноги. Позже один из раненых умер.

В 1985 году, работая шахтером на Шпицбергене, Комаров получил письмо от жены, в котором она рассказывала о несчастном случае на его участке. Погибло 16 горняков, из них четверо – из бригады Комарова. Двоих раздавило насмерть. Другие, в том числе отец двоих детей, сгорели заживо.

Однажды Комаров, работая в ночной смене под землей на «Бадаевской», заметил маленький голубой огонек, который двигался вдоль перекрытия шахтного ствола. Наблюдая за этим пламенем, Комаров почувствовал, что у него волосы становятся дыбом. Он знал – если это пламя дойдет до места, где уже скопилась взрывоопасная концентрация газа, прогремит взрыв, и все, кто очутится на его пути, сгорят заживо. Однако огонек в конце концов исчез, и Комаров безопасно выбрался на поверхность.

Случай, окончательно убедивший Комарова в необходимости что-то предпринять для изменения условий труда на шахте, произошел 25 февраля 1989 года, когда он работал

на «Абашевской». Одним из приятелей Комарова был Иван Власов, который занимался укреплением ствола шахты. В день катастрофы Власов устанавливал стойки на отдаленном участке забоя, когда внезапно на него обрушилась кровля. Сработала тревожная сигнализация. Восемнадцать человек раскапывали завал в течение 16 часов, прежде чем наконец добрались до Власова, и именно Комаров вытащил его тело.

За несколько дней до того он убеждал 48-летнего Власова уйти на пенсию. Власов уже купил дом в деревне, где собирался жить с женой и двумя дочками, но ответил Комарову, что пока не готов бросить работу. Чтобы получить полную пенсию, ему надо было проработать еще два года.

Комаров с особенной горечью переживал смерть Власова, погибшего за считанные годы до пенсии. Но он видел, что даже если шахтер доживал до пенсии, он мог рассчитывать разве что на почетную грамоту от руководства. Свое здоровье он в любом случае оставлял в шахте.

Когда Щадов уехал из Дома культуры, в штабе возник план созвать совещание представителей стачкомов всех шахтерских городов Кузбасса. Все стачкомы действовали по отдельности, и это вселяло опасения, что власть найдет способ настроить их друг против друга.

Представители забастовщиков из Прокопьевска, Осинников, Киселевска, Междуреченска и Ленинска-Кузнецкого начали прибывать в новокузнецкий Дом культуры. В ожидании приезда Слюнькова они обсуждали текст требований для всего региона. В конечном счете каждый стачком избрал двух представителей в областной стачечный комитет, который начал систематизацию всех экономических, экологических и медицинских предложений для объединения их в единый документ.

Шестнадцатого июля областной комитет провел свое первое заседание в Прокопьевске, в управлении «Гидроугля» – одного из крупнейших местных производственных объединений по добыче угля. Однако этот комитет оказался малоавторитетным.

Когда возникли расхождения, дискуссия приобрела сумбурный характер, потому что горнякам недоставало необходимой компетентности. В конце концов представитель прокопьевского стачкома Юрий Рудольф предложил передать руководство стачкомом квалифицированному экономисту.

«А его и искать не надо. Он сидит в зале», – сказал один из шахтеров, указывая на Теймураза Авалиани, народного депутата.

Авалиани когда-то написал Брежневу письмо о состоянии советской экономики, в результате чего едва не попал в психиатрическую больницу. Из-за этого он прослыл местным диссидентом. И члены стачкома избрали Авалиани своим председателем, хотя он не был шахтером и не принимал участия в забастовке. Под его руководством комитет подготовил региональные требования, в том числе относительно экономической независимости всего региона.

Поздно вечером 17 июля в Прокопьевск прибыла государственная комиссия, и на следующий день начались переговоры. Слюнькова сопровождали Сергей Шалаев, председатель ВЦСПС, и Леонид Воронин, заместитель председателя Совета Министров. Слюньков производил впечатление человека, который очень спешит.

«Товарищи, – сказал он членам областного стачкома, – Почему вы здесь сидите? Почему не работаете?»

Это вызвало у шахтеров раздражение.

«Кого вы представляете?» – спросил Юрий Герольд, заместитель председателя стачкома.

Такой вопрос стал неожиданностью для многочисленных помощников, которые сопровождали Слюнькова. Подобное обращение обычного рабочего к члену Политбюро было беспрецедентным. Но Слюньков ответил просто: «Коммунистическую партию Советского Союза и Совет Министров». Невзирая на то, что забастовка уже парализовала добычу угля по всей стране, советские руководители продолжали считать рабочих своей собственностью.

Переговоры длились почти сутки. Когда обсуждались практические уступки – повышение зарплаты, улучшение обеспечения товарами, – согласие было возможным, однако любой вопрос региональной самостоятельности и самоуправления шахт тонул в ворохе слов.

Слюньков, как и Щадов до него, не собирался всерьез воспринимать требование экономической самостоятельности Кузбасса. Он был готов обещать лишь увеличение объема поставок товаров.

К часу ночи 19 июля Слюньков встал из-за стола переговоров и пошел на центральную площадь Прокопьевска, где в ожидании новостей собралось от 8 до 10 тысяч шахтеров и членов их семей. Слюньков хотел успокоить народ и склонить его на сторону правительства. Он пообещал, что с нового года в магазинах будет больше товаров. Площадь взорвалась насмешливыми возгласами. «Пошел к черту! – возмутилась толпа. – Думаете заткнуть нам глотку колбасой?»

Когда о подробностях переговоров в Прокопьевске рассказали по местному телевидению, Ирина Гладкова, студентка Новокузнецкого педагогического института, после развода одна воспитывавшая маленького сына, почувствовала прилив надежды. Ей впервые показалось, что жизнь в Новокузнецке может наладиться.

Не было ничего странного в том, что советские чиновники соблазняли шахтеров перспективой увеличения снабжения продовольствием, потому что для жителей Новокузнецка проблема продуктов стояла очень остро – особенно для тех, у кого были маленькие дети.

В течение месяцев, предшествовавших забастовке, Ирина часто видела один и тот же сон: якобы где-то что-то продают и ей надо стремглав бежать туда со своей продуктовой карточкой, чтобы успеть. Однако, когда во сне она добиралась до того места, то видела лишь длинную очередь и пустые прилавки. Этот сон Ирина видела постоянно, а летом в 1989 году он стал явью.

В государственных магазинах Новокузнецка мяса не было с 1960-х годов, а в 1980-х, с началом войны в Афганистане, исчезла и колбаса. Начались перебои с молоком, яйцами, маслом и сыром, а в конце этого десятилетия перебои эти участились и длились еще дольше. В 1989-м исчез сахар, потом карамель, одновременно пропали все дешевые лекарства, в частности, средства от головной боли, а также зубная паста, стиральный порошок и мыло.

Следствием этого стала массовая паника, потому что люди боялись, что исчезнет все, и начали скупать в магазинах все подряд, в том числе макароны, муку, рис и даже соль, пока эти продукты тоже не стали дефицитом. В конце концов начал исчезать в магазинах картофель, а на рынке цены на него стремительно поползли вверх, хотя многих спасло то, что они выращивали картофель на собственных огородиках.

Жестокий дефицит в Новокузнецке в конце концов привел к вводу карточной системы. Это давало каждому шанс купить элементарные товары. Но постоянная трата сил на поиск необходимых продуктов изнуряли физически и морально.

Даже и достав какие-то продукты, никто не мог быть уверенным в их качестве.

Как-то Ирина нашла себе работу ночного грузчика в одном из хлебных магазинов, ради прибавки к своему ежемесячному 80-рублевому доходу – алиментам и студенческой стипендии. В магазине работали преимущественно женщины – студентки или пенсионерки, которые каждую ночь разгружали два грузовика, полных десятикилограммовых поддонов с хлебом.

Вскоре Ирина стала замечать что-то странное на хлебе, который она разгружала. Сначала она подумала, что он притрушен мукой, но, присмотревшись, поняла, что в действительности буханки покрыты птичьим пометом. Ирина спросила у своего непосредственного начальника, в чем тут дело, и тот ответил, что склад для продукции хлебозавода, который обслуживает

Новокузнецк, представляет собой большие полуоткрытые ангары, поэтому птицы собираются там на стропилах и с 15-метровой высоты испражняются на хлеб.

Поддоны с хлебом можно было бы защитить полиэтиленовой пленкой, но никто об этом не позаботился. Ирина стала внимательнее отслеживать загрязненный хлеб, хоть это было и нелегко, потому что поддоны устанавливались вплотную друг к другу. Обнаружив такие буханки, она извлекала их, и хлеб отсылали обратно на хлебозавод как бракованный. Но на этом история не закончилась. Проработав в хлебном магазине несколько месяцев, Ирина узнала от водителя хлебного фургона, что этот испорченный хлеб действительно возвращался на хлебозавод, но, вопреки ее предположениям, его не выбрасывали, а перемалывали вместе со свежей мукой и опять выпекали, а потом развозили по магазинам.

Переговоры забастовщиков со Слюньковым, Шалаевым и Ворониным длились два дня. Было достигнуто соглашение относительно требований по зарплате, пенсиям, отпускам и улучшению продовольственного снабжения. Согласились даже с главными шахтерскими требованиями – экономической независимостью предприятий и региональным самофинансированием всего Кузбасса.

Однако эта договоренность относительно экономической самостоятельности сформулирована была достаточно расплывчато. В ней содержался призыв к «полной экономической и юридической независимости» шахт и предприятий Кузбасского региона, но не было четкого объяснения, что конкретно имеется в виду.

Представители власти обязались обеспечить повышение зарплаты на 30 процентов и 40-процентную надбавку за работу в ночную смену. Они согласились на 45-дневный оплачиваемый отпуск для тех, кто работает под землей, и на увеличение объемов поставки товаров в Кузбасский регион, включая 6,5 тысяч тонн мяса, 5 тысяч тонн масла, 10 тысяч тонн сахара и 3 тысячи тонн мыла.

Соглашение предоставляло предприятиям право продавать продукцию, выработанную сверх государственных заказов, по свободным (рыночным) ценам – как внутри страны, так и за границу. Проблема заключалась в том, что на госзаказ нередко приходилось почти 100 процентов продукции.

Итоги переговоров не вполне удовлетворили рабочих. Власть согласилась с большинством их требований, но не было уверенности, что эти договоренности будут соблюдаться государством. И все же 19 июля представители шахтеров объявили о достижении соглашения и на рассвете следующего дня вернулись на свои шахты, чтобы рассказать об этих договоренностях рабочим. В тот же день Слюньков выступил перед членами стачечного комитета, и его речь транслировалась для всего народа, который столпился перед Домом культуры. Слюньков сказал, что правительство понимает требования рабочих Кузбасса и сделает все возможное для их выполнения. Кто-то спросил Слюнькова, что делать, если местная власть попробует помешать выполнению договоренностей. Он ответил: «В этом случае звоните мне в ЦК».

Двадцать первого июля шахтеры вернулись к работе.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

В слабом свете декабрьского вечера Анатолий Малыхин, Валерий и Юрий Комаровы вышли из старого автобуса, пошли к шахте «Зыряновская» и объявили там об общем собрании шахтеров в актовом зале. Через десять минут зал был заполнен горняками, только что закончившими дневную смену. Став под белым бюстом Ленина, Малыхин начал отвечать на вопросы.

Стачком стал рабочим комитетом, деятельность которого заключалась в контроле за выполнением июльских соглашений. Все члены этого комитета получали зарплату, которая выплачивалась из добровольных взносов коллег-шахтеров, и, со

своей стороны, регулярно посещали шахты, информируя горняков о ситуации в Новокузнецке или о продвижении продолжившихся переговоров.

На улице тьма уже спустилась на деревья и покрытые снегом холмы.

«Я хочу знать, – сказал один из шахтеров, – что изменилось за четыре или пять месяцев после забастовки?»

В действительности не изменилось почти ничего. Снабжение моющими средствами, мылом и продовольственными товарами прекратилось почти сразу после того, как началось, и больше не возобновлялось. Казалось, что в Новокузнецке наконец решена проблема очередей, потому что во многих магазинах просто нечего было покупать. В то же время определяющим фактором в работе шахтеров оставалось, как и раньше, выполнение плана.

«А что вы предлагаете?» – спросил Малыхин.

«Я считаю, что надо возобновить забастовку».

Другой шахтер описал недавний инцидент на шахте. На одном участке горнякам сказали, что им будут выплачивать надбавку – три рубля за тонну – за работу в тяжелых геологических условиях. Однако по выполнении плана им сообщили в бухгалтерии, что на надбавки не хватает денег, и каждый шахтер получил на двести рублей меньше, чем ожидал. Когда шахтеры стали жаловаться, главный бухгалтер заявил, что в стране большие проблемы, и у Министерства угольной промышленности вообще нет денег. «Вы просили независимости, – сказал он, – вот теперь вы ее имеете».

Горняки спрашивали и о забастовке в Воркуте, где шахта «Воргашорская» прекратила работу, выдвинув политические требования, в том числе относительно отмены 6-й статьи Конституции, которая гарантировала Коммунистической партии ведущую роль в обществе. Новокузнецкие горняки собирали деньги для забастовщиков Воркуты и теперь интересовались тем, что там происходит.

Юрий Комаров, только что вернувшийся из Воркуты, рассказал, что из восемнадцати требований, выдвинутых местными шахтерами, семнадцать носили политический характер, в том числе об отставке правительства.

«Я спрашивал их по очереди, – говорил Комаров. – У тебя есть квартира? – Нет. – Есть машина? – Нет. Так на что тебе та шестая статья?»

«Дело в том, – сказал Малыхин, – что в случае попытки изменить ситуацию без сотрудничества с партией мы получим кровопролитие».

И будто для иллюстрации этого тезиса в зал влетел секретарь парторганизации шахты Александр Волков. «Кто вам позволил здесь собираться? – спросил он. – Я сейчас всех отсюда разгоню и запру двери в актовый зал».

«Ладно, – сказал Малыхин, – пусть рабочие сами решат. Увидим, кого они послушают. Думаю, это скорее они тебя отсюда выбросят». Когда шум утих, Волков тоже присел, и собрание продолжилось.

Хотя забастовки и продемонстрировали, что шахтеры могут останавливать производство, они ничего не могли изменить в советской системе. Как только власть почувствовала облегчение от прекращения массовой забастовки, тотчас же с готовностью забыла о многих пунктах заключенного соглашения. А в советской системе не существовало способа заставить ее выполнять свои обещания. Стихийность, способствовавшая распространению забастовки как цепной реакции, была в то же время и слабостью. Как только забастовки закончились, шахтеры обнаружили, что все в их жизни зависит, как и прежде, от той же враждебной им бюрократии.

В следующие месяцы делегации кузбасских рабочих ездили в Москву восемнадцать раз, но так и не смогли добиться от правительства выполнения соглашения, прекратившего забастовку.

Разным группам горняков назначались встречи в разных организациях. Донецких шахтеров принимали в ВЦСПС, группу

из Воркуты – в Совете Министров, делегацию из Новокузнецка – в Министерстве угольной промышленности. В то же время представители государства во время дискуссий с кузбасскими шахтерами пытались углубиться в детали, рассматривая один за другим узкие вопросы вроде увеличения поставок продовольствия или моющих средств и избегая главного пункта – экономической независимости региона. Иногда шахтеров, которые прибывали на встречу с государственными чиновниками, даже не пропускали к ним.

Заместитель Воронина Табеев принимал шахтерскую делегацию, в состав которой входил и Юрий Комаров. Шахтеры пояснили ему, что хотят полной экономической независимости для каждого предприятия и права напрямую договариваться с поставщиками.

Табеев сказал: «Ребята, вы требуете экономической самостоятельности и прямых связей с иностранными фирмами. Если мы вам это дадим, за пять лет весь Союз будет поставлен на колени».

Отказ правительства обсуждать новую систему экономических отношений, – несмотря на то, что этот пункт фигурировал в июльских договоренностях, – вызвал повсеместное недовольство. Рабочие комитеты, консультируясь с экономистами, постоянно совершенствовали свои предложения относительно внедрения экономической самостоятельности Кузбасса и отправляли их в Москву, но государственные органы даже не рассматривали их.

Конечной датой разработки плана экономической независимости Кузбасского региона было 1 января, но этот срок прошел, а никаких подвижек не последовало. В то же время, несмотря на договоренность начать реконструкцию Кемеровского металлургического комбината, не проводилось никаких мероприятий по реконструкции предприятий или улучшению экологии и инфраструктуры региона.

Второго января 1990 года терпение рабочих комитетов наконец иссякло. Они сообщили правительству: если оно немедленно

не пошлет в регион своего представителя, то будет нести полную ответственность за последующую дестабилизацию. Это произвело впечатление, и вскоре в Кузбасс отправили первого заместителя председателя Совета Министров Льва Рябова. Его командировка длилась две недели, и за это время он наглядно продемонстрировал вероломство правительства не только по отношению к рабочему комитету, но и ко всему населению Кузбасса.

Когда Рябов 16 января прибыл в Новокузнецк, он заявил: «Я готов обсуждать любой вопрос, кроме свержения советской власти». Однако, когда начались встречи с людьми, он попытался убедить шахтеров, что в стране кризис и правительство ограничено в своих возможностях претворять в жизнь им же подписанные договоренности.

Рабочие показали Рябову план превращения Кузбасса в зону свободного предпринимательства и призвали его поддержать этот план. Он отказался. «Страна в очень сложном положении, – сказал он. – Без Кузбасса мы не можем производить сталь, уголь и химическую продукцию».

Две недели Рябов вояжировал из города в город, пытаясь избежать встречи с общерегиональным рабочим комитетом. В одном месте он обещал средства на новую школу, в другом – увеличение снабжения продуктами или реконструкцию устаревшего предприятия. В некоторых местах он имел успех, потому что был хорошо осведомлен о неотложных местных потребностях и обещал их удовлетворить. Однако всякий раз, когда дискуссия переходила от конкретного вопроса о дополнительном снабжении к более глубокой проблеме изменений в системе, она тонула в потоке ничего не значащих слов.

В своих переговорах с центральной властью стачкомы натолкнулись на глухую стену, вдобавок к противостоянию со стороны местных партийных организаций, которые прилагали все силы, чтобы ослабить поддержку забастовщиков местным населением.

Доверие к партии на местах пошатнулось за время забастовок, временно нейтрализовавших ее власть, но она продолжала

контролировать предприятия, суды, милицию и местные филиалы министерств. Партия определяла, что и где строить, кого назначать на руководящие должности, а также вместе с центральными органами решала жизненно важные экономические вопросы, исходя из установленной этими органами стоимости угля.

С учетом всех этих фактов местные руководители призывали рабочие комитеты «объединяться» с партией, однако в то же время ведя активную пропаганду против забастовок. Партийные лидеры рассказывали новокузнецкой аудитории, сколько средств потеряно в результате забастовки и сколько на них можно было бы построить жилья, больниц и школ. Газеты печатали письма от «ветеранов войны» и «пенсионеров», осуждавших действия рабочих комитетов как вредные для страны, но для ответов комитетов на эти обвинения места на страницах газет не находилось.

Важнее всего было, по-видимому, то обстоятельство, что партийные чиновники не давали рабочим возможности издавать собственную газету. Они держали под своим контролем все – газетную бумагу, газетные киоски, типографское оборудование, и это не оставляло рабочему движению никаких шансов на то, чтобы их голос был услышан.

Ситуация зашла в тупик и вызывала тревогу. Рабочие были бессильны контролировать бюрократию, однако теперь они могли бастовать, что было совершенно исключено в прежние времена, в условиях тотальных репрессий со стороны силовых структур.

Положение обязывало рабочий комитет регулярно посещать все местные шахты и держать горняков в курсе своей деятельности. Он пытался также и в дальнейшем защищать обычных граждан, которые приходили в комитет со своими жалобами и ходатайствами.

К Малыхину, который отвечал за рабочий комитет в Орджоникидзевском районе, поступали просьбы, отражавшие чрезвычайную нищету местного населения. Его просили помочь раздобыть обувь больших размеров для трех рабо-

чих-строителей или приобрести стиральные машины для четырех тяжелобольных инвалидов, которые не могли выходить из дома, и для детского садика, который нельзя было открыть без стиральной машины.

Для населения рабочие комитеты были чем-то наподобие неофициального правительства, но весь регион чувствовал, что забастовка ничего не дала, и следствием этого стала попытка превратить комитет в профсоюз, который охватывал бы всех трудящихся на этой территории.

В ноябре 1989 года кузбасские стачкомы собрались вместе, чтобы сформировать Союз трудящихся Кузбасса, в который принимали бы членов любого местного трудового колектива, а не только рабочих шахт и заводов. Руководители стачкомов надеялись, что это приведет к созданию аналогичных союзов в Донецке, Воркуте и Караганде, а в конечном счете – и по всему Советскому Союзу.

На заседании Новокузнецкого рабочего комитета, которое проходило в его новой штаб-квартире в Доме политпросвещения, Виктор Долгов так обосновывал необходимость создания новой организации: «Мы вырастили три поколения лентяев, ни на что не способных, но получающих деньги, числясь в каком-то бюрократическом учреждении. Они столько лет обманывали нас, рассказывая, как нам хорошо живется! Что ж, теперь мы избавились от розовых очков».

6

ЭКОНОМИКА

Свободному рабочему надо платить, но он работает быстрее, чем раб, а скорость выполнения работы – это один из важных элементов экономии... свободный рабочий получает зарплату; раба воспитывают, кормят, одевают, за ним ухаживают... В действительности же раб стоит дороже рабочего, а его работа менее производительна.

Алексис де Токвиль. «Демократия в Америке»

В июле 1989 года Дмитрий Барабашов, сотрудник отдела химической промышленности ЦК КПСС, после длительного отсутствия вошел в здание ЦК на Старой площади и был потрясен почти пустыми коридорами и явно не рабочей обстановкой.

Было тихое летнее утро, и в такие дни раньше в отделе бурлила лихорадочная деятельность – все его сотрудники готовились к уборке урожая. В этот период всегда чрезвычайно возрастал расход горючего, особенно газа и дизельного топлива, и именно на Барабашова и его коллег было возложено задание следить за тем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в стране работали на полную мощность, а цистерны для топлива доставлялись в места назначения. Если, например, цистерны задерживались на запасном железнодорожном пути в Астрахани, нефтеперерабатывающий завод в Куйбышеве, который их ждал, не мог заставить начальника астраханской сортировочной станции отправить их по маршруту. Но этот начальник был членом

партии, и кто-то из ЦК мог приказать ему отправить цистерны в Куйбышев.

Обычно в это время такие инструкторы как Барабашов сидели на телефоне с 9-ти утра до 9-ти вечера, а еще были дежурные, всю ночь поддерживавшие связь с главными нефтеперерабатывающими предприятиями и сортировочными станциями, обеспечивая движение топлива к тем заводам, где оно было необходимо.

Однако в тот день, когда Барабашов вернулся на Старую площадь, большинство сотрудников отдела отсутствовало, секретарши бездельничали за своими столами, и почти все телефоны молчали. В конце 1988 года в аппарате ЦК произошло значительное сокращение штатов. Из сорока двух сотрудников отдела химической промышленности осталось лишь девять, и им велели «не вмешиваться» в экономику.

Когда началась уборка урожая, те, кто остался в отделе, без особого энтузиазма сделали несколько звонков, не очень понимая, чего от них ожидают. Вместо того, чтобы отдавать приказы, они теперь писали отчеты, которые никого не интересовали.

«Товарная биржа существует для того, чтобы помогать предприятию решать свои проблемы», – говорил Александр Солнцев директору казанского завода холодильников в июне 1991 года. «Раньше, чтобы приобрести нужные материалы, вам приходилось полагаться на отдел снабжения вашего завода, а мы можем достать их для вас быстро, безболезненно и эффективно».

Когда развалилась система централизованного планирования, по всей стране стали появляться товарные биржи. Солнцев был представителем Нижегородской товарной биржи, которая, имея ежедневный оборот в миллионы рублей, стала самой богатой коммерческой структурой в области.

Директор завода начал вскипать. «Вы проходимец, – сказал он. – А ваша биржа – сборище выскочек». «Биржа – это источник сырья и новый канал сбыта, – ответил Солнцев. – Вам нужно то-то и то-то. Вопрос в том, способно ли это общество суще-

ствовать, опираясь на здравый смысл. Я думаю, что способно. Иначе я бы этим не занимался».

Однажды ярким солнечным днем в июне 1991 года Павел Лебедев, директор Борского силикатного завода, раздал информационные листки работникам, которые собрались в актовом зале завода для обсуждения новой идеи – приватизации.

«Этот завод дает большую прибыль, – говорил Лебедев, – но сейчас 94 процента прибыли забирает министерство. Если мы станем владельцами, эту прибыль сможем распределять между собой».

Хотя предприятия в СССР якобы принадлежали рабочим, идея распределения прибыли была новой. Люди пытались понять, что им даст приватизация.

«Как мы будем получать то, что нам нужно? – спрашивал один из рабочих на собрании. – Ведь это государство обеспечивает нас материалами».

«Мы производим 150 миллионов штук силикатных кирпичей в год, а кирпич – дефицитный товар, – сказал Лебедев. – То у нас есть дефицитный товар, и у них есть дефицитные товары, поэтому мы будем обмениваться дефицитом».

Лебедеву были хорошо известны проблемы завода. Предприятие вынуждено было потреблять ежегодно огромные объемы газа, электричества и сырья, чтобы ему не сократили финансирование. В то же время рабочие отличались полным безразличием к результатам своего труда. Если выходило из строя оборудование, никто не переживал из-за необходимости его ремонта. Завод был третьим в городе по количеству работников. Ежемесячно их подбирали пьяными на улице и отправляли в вытрезвитель. Но окончательно убедило Лебедева в необходимости приватизации предприятия постоянное вмешательство партии в его работу.

В конце августа 1990 года Лебедеву приказали отправить сорок рабочих в соседний колхоз копать картофель. Через две

недели, 1 сентября, его вызвали в горком партии, где первый секретарь обязал послать еще шестьдесят рабочих, сроком до 30 сентября, для помощи в завершении строительства жилого дома, возводившегося поблизости. Лебедев попытался объяснить, что не сможет освободить шестьдесят человек после того, как уже отправил сорок на уборку картофеля.

«Я здесь не для того, чтобы выслушивать объяснения», – сказал первый секретарь.

«В таком случае, – ответил Лебедев, – я увольняюсь».

Следующим утром Лебедева опять вызывали в горком. «Вы вчера очень грубо разговаривали с первым секретарем, – укорил его один из партийных функционеров. – Но он все ж таки решил снять с вас ответственность за картофель, потому что строительство жилого дома надо завершить вовремя».

Этот инцидент стал для Лебедева последней каплей. Когда началась приватизация государственных предприятий, он решил, что его завод будет первым.

«Приватизируя предприятие, – объяснял Лебедев рабочим, – мы становимся самостоятельными. Единственное, что мы должны платить государству, – это налоги». «А если мы сработаем в убыток?» – спросил один из рабочих. «Вот и будет нашей и вашей задачей – сделать так, чтобы этого не случилось», – ответил Лебедев.

Сокращение контроля, допуск свободной экономической деятельности и приватизация стали признаками начала демонтажа плановой экономики.

Маркс писал, что корень зла в современном мире – это частная собственность на средства производства. Поэтому советская система централизованного планирования была сориентирована на устранение частных собственников и на введение командного стиля функционирования всей экономики. И эта цель была успешно достигнута. С помощью плановых заданий центральная власть руководила жизнью тысяч предприятий, решая, какие регионы морить голодом, а какие поддерживать,

какие отрасли развивать, а какими пренебрегать, не обращая при этом никакого внимания на стремления тех, кто жил в этих регионах или работал в этих отраслях.

Директорам заводов и председателям колхозов указывали, что им производить, откуда получать материалы, какие цены назначать, сколько работников нанимать, какую зарплату им платить и как распределять между ними работу.

Однако, подчиняя экономические отношения круговой логике замкнутой заидеологизированной системы, централизованное планирование уничтожало личную инициативу. Когда цель заключается не в выработке полезной продукции, а в исполнении загодя составленного плана, центр внимания смещается с качества изготовленных изделий на количественные показатели – штуки, тонны, километры, – то есть единственно на оценку выполнения плана. Это процесс превращения людей, рабочих в роботов. Если валовая продукция исчисляется в рублях, добавляются лишние, но дорогие составляющие; если в килограммах – используются самые тяжеловесные исходные материалы; если в километро-часах – фуры гоняются взад и вперед между отдаленными населенными пунктами.

В таких обстоятельствах переход к рыночной экономике является не просто вопросом устранения централизованного управления и остатков монополистической системы. В первую очередь – это вопрос создания возможностей для личной инициативы после периода работы по плану на протяжении трех поколений. Ведь удушающее влияние командной экономики десятилетиями отражалось на каждом заводе, каждом колхозе в Советском Союзе.

Владимир Танчук устроился на работу на Трубный завод, расположенный по улице Барклая в Москве, желая посмотреть, как работает экономика на уровне отдельного предприятия. Его внимание немедленно привлекли две вещи: пол в цехах был завален кучами разнообразных материалов и отходов, а почти все работники завода пребывали в подпитии.

Рабочий день начинался в 8 утра, и почти все приходили на работу вовремя. Однако утром им часто нечего было делать, и они начинали день с ожидания получения сырья и полуфабрикатов.

Первым более-менее значительным событием рабочего дня был «всесоюзный перекур» в 10 часов. В начале своей работы на Трубном заводе Танчук пытался работать во время этого перекура, но остальные рабочие сказали ему, что этот перерыв обязательный, а один объяснил, что существует закон: через каждые два часа работы рабочие имеют право на двадцатиминутный перерыв. Была специальная комната для перекуров во время рабочей смены, где стоял большой стол, скамьи, а на стене висели плакаты с антиалкогольной агитацией. Еще там висел красный транспарант с белой надписью, которая призывала рабочих строго соблюдать правила техники безопасности. Под этим транспарантом они обычно спали, а когда были «под градусом», вытирали о него руки.

После перекура, начиная с 10 часов, рабочие думали только о еде. В 11 часов был еще один перерыв, в 11:25 темп работы замедлялся, а в 11:45 все оставляли рабочие места и шли обедать. На заводе была столовая, но не все ходили туда. Там вечно была длинная очередь, стоял запах хозяйственного мыла, коммунальной кухни и дезинфекции, поэтому многим было неприятно даже заходить туда. Еду приносили с собой из дома и обедали в раздевалке за игрой в домино. Хотя употреблять алкоголь на заводе запрещалось, как правило, у кого-то была с собой бутылка пива или вина. Поэтому к концу обеда многие рабочие часто успевали хорошо набраться.

После обеда многие оставались в раздевалке до тех пор, пока за ними не приходил бригадир. Его появление нередко вызывало многословные дискуссии. Рабочие любили обсуждать с бригадиром вопросы материального снабжения на участке, потому что эти разговоры продлевали время обеденного перерыва. Когда же они, наконец, поочередно начинали подниматься с лавок, то делали это как можно медленнее. Они не спеша наде-

вали рабочие рукавицы, пока бригадир нетерпеливо ходил взад и вперед, и нехотя плелись в цех.

В 13:30 работа возобновлялась, но в 14 часов был еще один перекур, а после него рабочим хотелось выпить еще, и кого-нибудь из молодых отправляли за водкой.

К 15 часам заводское начальство кое-где специально появлялось в цехах, чтобы удостовериться, что никто не пьет на рабочем месте, и в это время только что принесенные бутылки быстро припрятывались. Если начальник замечал у кого-то выпуклость за поясом, то мог хлопнуть по ней, и если это оказывалась бутылка, обычно начинал кричать на попавшегося и лишал того премии.

Поскольку в послеобеденные часы почти каждый что-то выпивал, темп работы на заводе заметно замедлялся. Кое-кто начинал шататься, и, чтобы не упасть, наиболее пьяные зажимали какую-то часть своей спецовки тисками на станке. При этом все продолжали работать.

Оборудование на заводе было импортным, а следовательно, и более простым в эксплуатации. И все же рабочие умудрялись обращаться с ним кое-как. Одна из операций представляла собой резку труб на пятиметровые секции. Само по себе это было несложно – надо было лишь нажать в нужный момент на кнопку. Но каждый работник обязан был в то же время проверять качество трубы, чтобы не допустить выпуск бракованной продукции. Это требовало внимания, и, отслеживая дефекты, рабочие часто отрезали на полметра более короткие или более длинные трубы, что приводило к большому количеству брака и одновременно – к огромному перерасходу металла. Резка труб также требовала равномерного нажатия на кнопку. Это тоже часто выполнялось неправильно, рывками, в результате чего края труб выходили загнутыми, и получателям продукции потом приходилось опять обрезать трубы с обоих концов, что тоже было лишней потерей металла.

Во время работы на полу цеха образовывались огромные кучи разных отходов. Куда бы Танчук ни шел, везде были штабели ящиков, разных металлических деталей, инструментов и всевозможных приспособлений. Рабочие часто ограничивались тем, что брали какой-то инструмент из одной кучи, выполняли с его помощью определенную операцию и бросали в другую кучу, пока не начинало казаться, что они не столько пользуются материалами и приспособлениями, сколько копаются в этих завалах.

Заводские грузчики отгружали трубы двух типов: обычные, которые надо было смазывать для предотвращения коррозии, и специальные, нержавеющие: их следовало оберегать от соприкосновения с маслом во избежание незамедлительной порчи. Различные свойства этих двух видов труб, казалось бы, предусматривали необходимость складировать их по отдельности, но рабочие делали наоборот. Результат был ожидаемым: масло с обычных труб попадало на поверхность нержавеющих и превращало их в бракованные.

Все это делалось ради выполнения плана. Обычно нержавеющих труб заказывалось мало, и их было недостаточно, чтобы заполнить товарный вагон, а выполнение плана определялось исключительно количеством загруженных вагонов. В некоторых случаях трубы из нержавеющей стали были уже заржавевшими от контакта с воздухом, но их все равно складывали вместе со смазанными обычными трубами. К тому же рабочие ходили по этим трубам в замасленной обуви, да еще и смеялись в ответ, если им на это указывали: с какой стати им не ходить по этим трубам, если их все равно будут грузить в вагоны вместе со смазанными трубами?

В конце концов трубы отправляли на консервный завод в Молдавии, где их использовали в производстве томатного сока, который в результате имел привкус ржавчины.

Когда на заводе не было работы – например, из-за перерывов в снабжении, которые случались часто, – те, кто оставался сравнительно трезвым, пытались сделать на территории завода что-

то для себя. В таких случаях Танчук обычно шел в литейный цех, где изготавливал стойки для велосипеда, другие занимались различной случайной работой, например, разгружали грузовик за пять рублей. Если их в это время срочно вызывали обратно в цех, они разгружали машину со скоростью, казавшейся невероятной тому, кто был в курсе их обычного темпа работы.

С 16-ти часов рабочие начинали паковать в бумагу все, что хотели забрать домой – отвертки, гвозди, карандаши, блокноты, – и оставляли эти свертки на полу в раздевалке. Каждый, кто зашел бы в это время в раздевалку, увидел бы кучи бумажных свертков и рулонов на полу, и никто не смог бы объяснить, что они там делают. Фактически не было ни дня, чтобы кто-то из рабочих не выносил чего-нибудь с завода в кармане пальто или под мышкой.

Нередко они воровали и для своих друзей. Друг мог работать на предприятии, где не было нужной ему вещи, поэтому сам он не имел возможности ее украсть. Рабочие ко всему относились как к общей собственности и считали, что все принадлежит им. Рабочий день оканчивался в 17:30. Переодевшись, рабочие уходили с завода в 17:45. В 18 часов начиналась ночная смена, когда работа велась уже без начальства.

Если днем производительность труда была низкой, то ночью она падала окончательно. В рабочее время почти все выпивали, но, в отличие от дневной смены, на ночную рабочие появлялись уже под градусом. Большинство из рабочих ночной смены были грузчиками. Единственным представителем администрации в эти часы был дежурный, которому был поручен надзор за несколькими цехами, и большую часть рабочего времени он просто спал в своем кабинете.

Ночью тяжелые скользкие трубы таскали с места на место мужчины, которые от пьянства почти ничего не соображали. Крановщица кричала: «Петька, вали отсюда!» – рабочему, который с бессмысленной улыбкой смотрел на нее из-под связки

труб, висевшей прямо у него над головой. «Не волнуйся, Маруся, – отвечал он, – все хорошо». И оседал на пол.

Иногда ночную смену оживляла философская дискуссия.

«Ты же пьян, – говорил один из рабочих. – Тебя милиция заберет в вытрезвитель». «Ничего они мне не сделают, – огрызался второй. – Я законопослушный. Владимир Маяковский говорил: “Моя милиция меня бережет”».

«Ну, что там Маяковский! Он плохо кончил – застрелился. Ни один христианин такого бы не сделал».

«А ты веришь в Бога?»

Дискуссия на мгновение прервалась, потому что ее заглушил грохот труб, которые скатились из автопогрузчика.

«Бога нет. Но что-то есть».

«Ты учишь своих детей верить в Бога?»

«Они должны верить в собственные силы, может, и в Бога, если это то, во что они верят».

В ночную смену часто происходили несчастные случаи. Однажды, когда Танчук был начальником смены, один из рабочих лишился фаланги пальца: он засунул его в трубу, когда ее вдруг поднял кран. Через несколько секунд после этого рабочий – пьяный до изумления – подошел к Танчуку и сказал, показывая на обнаженную кость: «Ты посмотри!» – и вид у него был такой, как будто он повредил не собственное тело, а какое-то оборудование. Танчук хотел отвести рабочего в медпункт, но был остановлен своим заместителем. Если несчастный случай будет зарегистрирован, рабочему не оплатят больничный, потому что он был пьян, когда это произошло. Танчука обвинят в том, что он допустил потерпевшего к работе в таком состоянии. В действительности у Танчука не было другого выхода, как ставить в ночную смену пьяных рабочих, чтобы рабочие места были укомплектованы, и он был вынужден согласиться со своим заместителем не фиксировать официально факт несчастного случая.

Получив первую помощь, пострадавший подошел к Танчуку со своим искалеченным пальцем и сказал: «Я воспитал двоих

детей преданными народу». Судя по его тону, он не считал, что с ним случилось что-то чрезвычайное.

«Вот почему Гитлер проиграл войну, – говорил мне Танчук позднее. – Этот рабочий не смотрит на обрубок как на свой палец. Все это – дело государственное...»

Если несчастные случаи фиксировались, то это случалось обычно, когда обстоятельства не оставляли администрации выбора. Однажды вечером глухая уборщица поскользнулась в темноте на замасленном полу цеха и попала под вагонетку. Ее тело было так исковеркано, что не сразу даже смогли ее опознать. Факт смерти скрыть было невозможно. Личность жертвы была установлена, и несчастный случай зарегистрирован.

Грузчики работали лишь при наличии железнодорожных вагонов, в которые надо было загружать готовые трубы. Они из принципа не делали ничего, чтобы подготовить трубы для следующей утренней смены. Когда ночью прибывали вагоны и уже не было возможности уклониться от работы, грузчики выполняли свое задание и делали все как полагается. Однако, как только работа была завершена, они опять садились и начинали пить водку или чифирь. А потом, совершенно пьяные и осоловевшие от чифиря, ожидали конца ночной смены.

На машиностроительном заводе «Арсенал» в России главной целью, похоже, тоже было уклонение от работы. Сергей Возников устроился на завод станочником, и первое, что он заметил, это постоянная брань начальства в адрес рабочих и их реакция на нее – стремление работать как можно меньше.

Рабочий день начинался в 8 часов утра. Пока шло непрерывное снабжение материалами, рабочих удерживал у станков трудовой ритм. Как правило, они оставались на своих местах до 11 часов, когда начинался обеденный перерыв. Однако, если со станком что-то случалось, они не делали ничего – просто сидели рядом или выходили на перекур.

Кроме станочников, на заводе было еще огромное количество вспомогательного персонала – грузчики и упаковщики, опера-

торы подъемников, бригады техобслуживания и ремонта, – а также большой административный штат, включая инженеров, бухгалтеров и разных начальников. Бригады техобслуживания большую часть дня сидели на скамьях и курили. Если какой-то станок требовал ремонта, начальник цеха давал письменное поручение члену бригады техобслуживания, не торопившемуся его выполнить. Когда начальник спрашивал, почему работа не сделана, рабочий обычно объяснял, что у него было другое задание, или не было запчастей, или у него украли чемоданчик с инструментами. В конечном счете проходили часы или даже дни, пока он выполнял заявку.

Несколько иной была ситуация с административным персоналом. Они часто просто отмечались на проходной о приходе на работу, потом надолго исчезали с завода и возвращались, чтобы отметиться в конце рабочего дня.

В 11 часов заводская какофония умолкала, рабочие выключали свои станки и шли обедать. Хотя обеденный перерыв длился целый час, они неизменно старались возвращаться к рабочим местам как можно позже.

Остальной день рабочие пьянствовали. Водка была единственной утехой в их жизни, и ее можно было достать на заводе в любое время, днем и ночью, за 15 рублей – на 10 рублей дороже обычной цены. Самые безобразные сцены разыгрывались на заводе дважды в месяц, в дни зарплаты. Рабочие еле держались на ногах на своих рабочих местах, однако их никто не трогал. Милиция просто не имела такого количества транспортных средств, чтобы вывезти всех пьяных.

Водка в Советском Союзе часто приобретала сугубо мистическое значение. В стране, где отрицалось существование Бога и обещан был рай на земле, который все никак не наступал, водка для рабочего была единственным средством создания собственного рая среди всех неурядиц повседневной жизни.

Рабочие также не оставляли без внимания все, что можно было украсть, нередко прихватывая детали уже изготовленных

заводом машин. Станочник, ответственный за изготовление какой-то важной детали машины, знал, где она находится, мог легко проникнуть на склад готовой продукции и спокойно ее выкрутить. Эти кражи часто оставались незамеченными, потому что рабочие воровали такие детали, отсутствие которых не бросалось в глаза, пока машину не начинали эксплуатировать.

Вообще рабочие тянули домой все, что валялось вокруг, потому что на заводе никто не занимался наведением порядка. Сортировщики, грузчики и водители электропогрузчиков крали инструменты и материалы. Рабочие часто специально выпускали из рук переносимую ими тару с запчастями, она разбивалась, а они потом подбирали рассыпанные детали. Они забирали домой и запчасти для собственных станков, и когда те останавливались, они невозмутимо садились возле, ожидая, когда начальство пришлет новые запчасти на замену украденным.

На заводе «Арсенал» работало шесть тысяч рабочих, и потому наибольшей потенциальной проблемой были перебои в снабжении материалами и запчастями. В решении этой проблемы предприятие полагалось на армию так называемых толкачей, которым разрешалось применять любые средства – от взяток до угроз и вымогательств – для обеспечения необходимых заводу поставок.

Однажды Возников вступил в разговор с одним «толкачом», который собирался в Новокузнецк, чтобы попробовать получить материалы, по плану предназначенные заводу «Арсенал». «Толкач» рассказал, что «Арсенал» уже много месяцев ожидает партию легкого металла с «Запсиба» – огромного новокузнецкого металлургического комбината, одного из главных производителей прокатной стали в СССР. Когда нужный металл не поступил, завод использовал свои резервы и стал производить машины из более тяжелого металла, чем необходимо было по спецификациям. Это привело к лишним расходам, но никто об этом не думал, потому что использование более тяжелого металла помогало заводу перевыполнять план по тоннажу, благодаря чему все получали пре-

мии. Однако если «Запсиб» не отгрузит партию нужного металла до конца года, то станет очевидным, что план можно выполнять и без него, и тогда на следующий год поставки для «Арсенала» будут уменьшены плановыми органами именно на этот объем.

Директор «Арсенала» написал официальное письмо на «Запсиб» и потребовал объяснений, почему вверенный ему завод не получил металла. На это ему ответили: «Поставка в ваш адрес будет произведена». Это был плохой признак, потому что в письме не упоминалось о дате отгрузки металла. Вот тогда-то директор и решил отправить в Новокузнецк «толкача». Официальной целью командировки было «согласование снабжения материалами», хотя согласовывать было нечего. Надо было просто добиться от «Запсиба» поставки металла, предусмотренной планом. «Толкач» сказал, что в данной ситуации наилучшей тактикой будет повезти с собой подарок. Кавказские предприятия часто посылали в таких случаях ящики коньяка, а фабрики, которые производили что-то дефицитное, – например, мебель или посуду, – рассчитывались своей продукцией.

Сложность исполнения «толкачом» его миссии зависела от объема задержанных поставок и важности его предприятия, решающего фактора для способности создавать неприятности поставщику. Кое-где было достаточно просто угостить завскладом обедом с водкой, винами и наилучшими закусками. Но если этот метод не срабатывал, «толкачу» приходилось прибегать к давлению. Как правило, это давление осуществлялось с помощью местного райкома партии: его побуждали к нужным действиям, угрожая пожаловаться в ЦК, показывая целую кучу писем и требуя отгрузки необходимого. Идея заключалась в том, чтобы надоедать местному партийному секретарю до тех пор, пока тот не устанет все это слушать и не распорядится сделать что-то для удовлетворения жалоб «толкача».

Этот «толкач» собирался добиться поставки 320 тонн металла от «Запсиба» – огромного металлургического комбината,

который производил миллионы тонн стали в год. Ему, по-видимому, достаточно было лишь поговорить с завскладом, но он не привез подарков и имел дефект речи, поэтому вряд ли кто-то стал бы его слушать. Ситуация требовала творческого подхода, и «толкач» рассказал Возникову о своем плане: он скажет завскладом «Запсиба», якобы заведующий промышленным отделом газеты «Известия» – его близкий родственник – интересуется, почему «Запсиб» не выполняет плановых поставок. «Толкач» не имел ни малейшего представления, сработает ли этот «актерский прием», но точно знал, что ни одна советская организация не захочет стать объектом критики со стороны «Известий». Поэтому он рассчитывал, что «Запсиб» не станет подвергать себя такому риску (даже теоретическому) и отгрузит нужный металл. Но даже и в случае такого исхода работа «толкача» на этом не заканчивалась. Ему надо было еще договориться с железной дорогой, то есть поговорить с начальником станции или одним из его заместителей и убедить их (или заставить угрозами) обеспечить перевозку отгруженной продукции. В тех же случаях, когда взятки и угрозы не действовали, «толкачу» приходилось просто сидеть в кабинете начальника станции и мешать ему работать, пока тот не поймет, что дешевле согласиться, чем продолжать упорствовать и тормозить работу.

Так по всему Советскому Союзу, несмотря на отсутствие рынка, происходил обмен продукцией, нужной для функционирования промышленности.

Анатолий Папп уже два года работал станочником на заводе в южноукраинском городе Геническе. Завод, где трудилось триста рабочих, находился в подчинении, вместе с несколькими другими предприятиями, Министерства химического машиностроения и выпускал детали для кранов, которые использовались при прокладке нефте- и газопроводов. Однако, в отличие от других заводов, в Геническе использовались швейцарские металлорежущие станки, благодаря чему продукция этого заво-

да отличалась более высоким качеством, чем у других предприятий, хотя все же – не достаточным.

Рабочий день начинался в 8 часов, и сразу было заметно, что единственные, кто реально трудится, это токари и фрезеровщики. Работа Паппа состояла в изготовлении шпинделей из металлических цилиндров. Он подавал заготовки на свой станок и следил за процессом обработки, удаляя отходы металла и в случае необходимости меняя масло. Среди трехсот работников завода станочников-металлистов было семьдесят, и у них не было другого выбора, как много и упорно работать, потому что почти 30 процентов заработка зависело от выполнения плана по шпинделям.

Наибольшей проблемой было то, что станочникам приходилось постоянно прерывать работу, чтобы ремонтировать свои станки. В ремонтном цехе были наладчики, ответственные за ремонт станков, но они были заняты своими личными делами: изготовляли выхлопные трубы, водонагреватели и могильные оградки, которые потом продавали в частном порядке. Начальство им не мешало, получая свою долю от этих левых доходов.

Детали на заводе производились из латунных сплавов, которые часто изготавливались с нарушением стандартов, в результате отличались по размерам, и когда заготовки подавались на перегруженные станки, те часто заклинивало, и они останавливались. В Швейцарии станочник обслуживал пять металлорежущих станков, Анатолий же и с двумя едва мог управиться.

Утром работа шла лучше – станочники еще не были уставшими. И все равно Анатолию приходилось часто останавливаться и ремонтировать свой станок. Под конец дня он иногда был вынужден делать это через каждые пять минут, и темп работы замедлялся до черепашьего. Анатолий высчитал, что при таких темпах он сможет нарезать тысячу шпинделей в месяц, но план требовал от него десять тысяч.

Постоянные остановки ухудшали качество работы Анатолия. Шпиндели выходили слишком короткими или слишком длинными, слишком тонкими или слишком толстыми, но браком

они считались лишь тогда, когда не вставлялись в краны. Завод, где производилась сборка кранов, был недоволен продукцией из Геническа, но принимал эти шпиндели, потому что там знали, что откажись они от бракованных шпинделей, вообще не получат никаких. В действительности условия на заводе в Геническе были такими же, как и на других предприятиях, в результате чего советские машины, собранные из сотен дефектных деталей, всегда отличались низким качеством и часто вообще не работали.

КОЛХОЗЫ

Когда Евгений Поляков, московский архивист, начал ездить в колхоз «Заря», расположенный недалеко от Москвы, в Калужской области, для проверки бухгалтерии, у него создалось впечатление, что больше всего колхозники напоминают рабов, которые ищут способа убежать от хозяина.

Рабочий день начинался в 5 утра, когда невыспавшиеся доярки выходили из дому на утреннюю дойку. Свет горел лишь в колхозном правлении, где-то вдали слышался собачий лай. По дороге к коровнику доярки проходили мимо огромных плакатов с портретами Ленина и изображениями мускулистых героев социалистического труда.

Коровник тонул в неубранном коровьем навозе, что издали чувствовалось по запаху. Доярки работали дружно, но постоянно нервничали из-за неполадок генератора, работавшего с постоянными перебоями, во время которых прекращалась подача тока и останавливались все автоматические доильные аппараты, пугая коров и вынуждая доярок продолжать работу вручную.

В 7:30 руководство колхоза собиралось в кабинете председателя для разработки стратегии очередного дня «битвы за урожай». Среди собравшихся были главный животновод и главный агроном, но именно председатель колхоза решал, какие трактора на каких полях будут работать, сколько человек будут пахать, сколько – заниматься удобрениями, а сколько – прополкой.

После принятия всех решений соответвующие распоряжения председателя передавались по радио непосредственно группам колхозников, которые ждали на сельских перекрестках, переминаясь в весенней грязи, и работа в бригадах распределялась между конкретными людьми.

Когда солнце поднималось над далеким горизонтом, колхоз оживал, и по всей его территории группы колхозников приступали к выполнению данных им заданий.

На обширные коллективные поля выезжали трактора, лязгая гусеницами, и начиналась вспашка. Выполнение плана исчислялось, исходя из количества обработанных гектаров, поэтому трактористы были заинтересованы как можно быстрее вспахать возможно большую площадь. Они начинали с нарезания глубоких борозд по краю поля, но, продвигаясь к его середине, поднимали лезвие плуга выше и двигались быстрее, поэтому глубина борозд все уменьшалась. Первые были 20–25 сантиметров глубиной, немного дальше от дороги по 12–15 сантиметров, а в центре поля, когда трактористы были почти уверены, что никто их не проконтролирует, борозды уже были глубиной всего лишь по 5 сантиметров. Как правило, этого действительно никто не замечал, пока не появлялись всходы, худосочный вид которых явно бросался в глаза.

Пока шла вспашка, другие колхозники занимались внесением удобрений. Коровий навоз собирался в колхозе нерегулярно и оставался лежать прямо под открытым небом, не защищенный от осадков. С первым же ливнем он раскисал и стекал в ближайший ручей. Из того, что оставалось, часть разбрасывали вручную по полям из телег, тянувшихся за тракторами. Эта работа была неприятной и изнурительной, но главное – ее невозможно было проконтролировать. Часто она длилась всего несколько часов, а потом большую часть удобрений вывозили куда-нибудь на задворки и сжигали, чтобы скрыть факт, что поля так и остались неудобренными.

Без соответствующего удобрения почва быстро истощалась. Колхозники пренебрегали также севооборотом, из года в год сажая на одном и том же поле картофель даже тогда, когда смена культуры была бы просто необходима для защиты растений от вредителей и болезней. Пятилетним планом предусматривалось, что один год поля будут засаживаться картофелем, а в следующем году – зерновыми, луком или капустой. Но после каждой смены высаживаемых культур необходимо было заново обрабатывать почву: освобождать поле от сорняков, а потом проводить глубокую пахоту с внесением органических удобрений. Среди колхозников было мало любителей лишних хлопот.

В другом конце колхоза женщины работали на птицеферме, расположенной в бригадном селе. Они лопатами соскребали застывший птичий помет с асфальтового пола и вручную набрасывали его в кузова грузовиков. При этом в воздухе стояла пыль. Женщины закрывали лица марлевыми повязками, но это мало их защищало. Каждую автомашину нагружали в течение получаса, а до следующего грузовика женщины могли отдохнуть лишь 5–10 минут.

Не легче был труд женщин, занимавшихся искусственным оплодотворением. Они загоняли взрослых десятикилограммовых индеек в угол вольера и ограждали это место. Потом две женщины заходили за эту ограду и хватали индейку за крылья, пытаясь удержать ее в неподвижности две-три минуты, пока третья женщина проводила искусственное оплодотворение. Схваченная индейка когтями раздирала женщинам одежду и царапала их до крови. Если ей удавалось высвободить одно крыло, она могла ударить им оплодотворительницу по лицу и даже ослепить ее. Работницы получали по одному комплекту рабочей одежды в год, и птицы безжалостно его рвали. Через несколько часов такой работы женщины были покрыты царапинами и пылью, и помыться им было негде.

Многие из колхозников начинали отлынивать от работы почти сразу после обеда. Если неожиданно появлялся предсе-

датель колхоза и спрашивал, куда все подевались, ему отвечали, что один пошел сдавать отчеты, а другие – за лопатами.

К 14 или 15 часам в колхозе было уже трудно кого-либо найти. Все или спали в полях, или пьянствовали по домам, или храпели на сеновале. Фактически обстановка в колхозе напоминала перманентную общую забастовку. По крайней мере половину времени колхозники были пьяны, и каждый делал все возможное, чтобы увильнуть от работы, в то же время пристально следя за другими. Здесь сложилась система зависти и ревности, и колхозники постоянно собирали компромат друг на друга и на бригадира. В этой ситуации бригадиру было трудно уговорить их работать, потому что они знали обо всех его грехах, и чрезмерное давление с его стороны могло обернуться поступлением в органы власти анонимного письма с разоблачением, например, разворовывания колхозного имущества. Положение председателя тоже было незавидным. Он знал, что почти каждый из колхозников заслуживает исключения из колхоза. Но в то же время он осознавал, что не может себе позволить от кого-то избавиться, потому что и без того некому работать. Если у кого-то из колхозников требовали объяснений относительно его халатности в работе, он молча стоял перед председателем колхоза или бормотал что-то невразумительное. Он знал, что все равно его не выгонят.

Колхоз «Искра» находился в селе Калининской области, вблизи города Старица, и специализировался главным образом на молоке и зерне.

Иконописец Александр Лякин жил в этом селе, и то безразличие, которое он там повсеместно наблюдал, считал следствием разрушения России коммунистами. Села были запущены, половина домов – заколочены и брошены. Машино-тракторная станция (МТС) была завалена отбракованными деталями, заржавленной сельскохозяйственной техникой и утопала в такой грязи, что по территории было трудно ходить даже в сапогах. В полях остатки несжатых зерновых еще долго торчали после уборки урожая, кое-где частично прикрытые снегом.

Разговоры между колхозниками состояли почти исключительно из ненормативной лексики, а самих их, казалось, никоим образом не интересовал внешний мир. Ленивые до невозможности, они проявляли активность лишь тогда, когда можно было выпить или что-то украсть.

Руководство появлялось на работе ровно в 7:30 и распределяло рабочие задания на день. Однако уже через час руководителей днем было не найти.

Потом в 9 часов на разбитых дорогах появлялись трактора. На них было написано: «Людей не брать», но этим пренебрегали. Почти каждый трактор тянул прицеп с несколькими рабочими в нем. Нередко прицепы переворачивались и люди погибали, особенно, если тракторист был пьян.

Вскоре в разных местах колхоза можно было увидеть группки людей за работой, но их труд отличался какой-то бессистемностью. В поле пять-шесть женщин могли выкапывать вручную картофель, в то время как рядом с ними валялся совершенно пьяный мужик.

В 10 часов Лякин обычно сталкивался с группой из 10–15 мужчин, стоявших около какого-то объекта строительства и обсуждавших, где раздобыть водку и получат ли они сегодня аванс. У всех эти мужчин, как правило, был очень деловой вид, но ничем, похоже, не занимались и злились, когда кто-то обращался к ним с вопросом.

Коллективная попойка начиналась обычно немного позже, когда колхозники собирались в лесу, за кустами или в гараже, где ремонтировались трактора. То же делали в полях по всей территории трактористы. Вскоре вся жизнь в колхозе окутывалась алкогольным туманом, десятки людей, качаясь, слонялись улицами, в магазинах начинались драки. Работа останавливалась, потому что большинство колхозников оставляли свои рабочие места, а другие шли на работу, чтобы там свалиться пьяными и уснуть. Кое-где возмущенные жены вытягивали мужей из мест коллективных попоек, но многие женщины в колхозе сами злоупотребляли алкоголем.

Однако во второй половине дня колхозники, даже пьяные, были уже за работой на своих приусадебных участках. Выплачиваемое им на трудодни не дотягивало до прожиточного минимума, поэтому выживать приходилось за счет личного огорода. Почти никаких средств механизации у людей не было, поэтому иногда можно было увидеть на этих участках супружескую чету, обрабатывавшую землю, впрягшись в борону или деревянный плуг. Другая работа делалась с помощью лопаты, серпа или косы.

Для поддержания своего частного хозяйства колхозники постоянно что-то крали в колхозе. Этим занимались как взрослые, так и дети. Стоя посреди сарая колхозника в окружении всевозможных проводов, молотков, гвоздей, колес, смазочных масел и пиломатериалов, можно было не сомневаться, что ни одна из этих вещей не была куплена.

Колхозники жили с убеждением, что тот, кто не обворовывает государство, обворовывает собственную семью, и в определенном смысле они были вынуждены заниматься воровством. Колхозники не могли покупать корма для скота, который выращивали на своих подворьях, поэтому крали их в колхозных хлевах. Они не могли купить инструменты, поэтому крали их в ремонтных мастерских. И главное – колхозники старались украсть как можно больше съестного, которое их руками производил колхоз.

Доярки, например, брали себе от полуведра до ведра молока ежедневно. Механики, которые обслуживали технику, убирающую навоз из коровника, тоже брали молоко, как и водители, которые перевозили бидоны с молоком. По приблизительным подсчетам Лякина, потери колхоза от краж достигали 10 процентов от дневной продукции и скрывались с помощью разбавления молока водой. Потом, в магазинах, это молоко разбавлялось еще раз.

Если доярка крала молоко, оно выливалось в банку или канистру, где и пряталось, а остаток в бидоне разбавлялся водой. С этой кражей, как и с другими кражами колхозников, все мирились – они давно стали составляющей системы.

Ритм жизни в колхозе «Искра» оставался неизменным многие годы. Однако в конце 1980-х годов произошло событие, нарушившее привычное спокойствие этих мест. Однажды весенним утром 1988 года трактористу Владимиру Карданову было приказано явиться в кабинет председателя колхоза Алексея Дурнова в Панково. Карданов, черкес по национальности, приехал в этот колхоз в ноябре прошлого года, спасаясь из зоны межнационального конфликта на своем родном Кавказе, и оказался очень добросовестным работником.

В 1987 году в стране повеяли ветры перемен, и Дурнов, чтобы соответствовать курсу Михаила Горбачева на создание класса крестьян-арендаторов земли, вынужден был искать колхозника, готового арендовать землю.

Проблема заключалась в том, что этот новый горбачевский план предусматривал у кандидатов в арендаторы склонность к самоотверженному труду. Именно это побудило Дурнова обратиться к новоприбывшему Карданову. Он пообещал Карданову хорошие условия, в том числе приемлемые сроки возвращения кредита на приобретение трактора, коров и коровника, а также низкую арендную плату, и Карданов согласился стать первым арендатором в колхозе. Он выбрал себе двадцать пять коров, трактор, и ему выделили участок земли и коровник.

Свою карьеру арендатора Карданов начал с большими надеждами, которым отчасти способствовала пропагандистская кампания в центральной прессе, посвященная арендаторам. Однако проблемы начались почти сразу же. Первого мая, вступив во владение своим коровником, Карданов обнаружил, что колхоз «забыл» подключить к нему электричество, поэтому в течение двух месяцев ему с женой пришлось доить коров вручную. Были трудности и с приобретением кормов для скота. Когда же электричество, наконец, подключили, и проблема с кормами была решена, республики Прибалтики приняли декларации о независимости и провозгласили право на «частную собственность». Это напугало местную власть, и она пересмотрела

соглашение с Кардановым. Если первый вариант соглашения предусматривал, что после выплаты стоимости коров, коровника и трактора все они становятся собственностью Карданова, то теперь они должны были оставаться собственностью колхоза даже после уплаты всех этих платежей.

Однако, несмотря на эти неурядицы, Карданов с рвением начал работать на успех своего дела. Вдохновленный возможностью финансового процветания, он стал работать почти круглосуточно, то есть спал не больше четырех часов в сутки. Уход и забота, которыми он окружил своих коров, начали приносить результаты. Уже через несколько месяцев кардановские коровы стали давать намного больше молока, чем колхозные. От каждой он получал ежедневно по 12 литров молока, а в колхозе эта цифра достигала в среднем 8 литров. К тому же молоко от коров Карданова было более высокого качества: жира в нем было 3,9 процента – по сравнению со средними по колхозу 2,8 процента. Он начал зарабатывать по полторы тысячи рублей в месяц.

Успех Карданова ошеломил остальных колхозников. Сначала они наблюдали молча, однако уже вскоре картина его обогащения начала вызывать общую ненависть.

Первые признаки напряжения возникли в бухгалтерии, где колхозники становились в очередь за зарплатой. Они жадно смотрели, как Карданову выдавали его деньги. Колхозники привыкли к тому, что всем платили практически одинаково, независимо от качества работы. А теперь Карданов получал втрое больше кого-либо из них.

Карданов быстро стал объектом клеветы. Колхозники жаловались, что его коровы убегают и вытаптывают поля клевера, требовали его оштрафовать. Они обвиняли его в манипуляциях, с помощью которых он искусственно повышает жирность молока. Приехала комиссия, проверила молоко и не обнаружила ничего противозаконного.

Карданов стал арендатором при условии, что колхоз будет оказывать ему помощь, но коллеги-колхозники стали требовать

у него деньги за каждую услугу. Когда он просил одолжить борону, бригадир говорил ему: «Я тебе ничего не дам. Ты зарабатываешь кучу денег, можешь сам купить».

Соседи начали обижать детей Карданова. Соседские дети били их и крали их велосипеды. Когда жена Карданова жаловалась на них, родители защищали и оправдывали своих детей. Карданов попробовал разобраться, но его послали матом.

С началом уборки урожая Карданов испытал уже откровенную агрессию. Один из колхозников на тяжелом тракторе поехал через кардановские поля, специально разоряя пастбище, где Карданов выпасал своих коров. На просьбу не ездить через поле Карданов опять услыхал лишь матерные слова.

Однажды ноябрьским морозным утром Карданов увидел, что один из соседей распахивает его поле. Карданов выбежал из дома и сказал соседу, что это поле принадлежит ему. Тот ответил: «Я здесь родился, а ты здесь живешь меньше года – это моя земля».

Один за другим все соседи Карданова прекратили общаться с ним. Стало невозможно получить ни запчасти для трактора, ни помощь в погрузочных или строительных работах. В декабре загорелся кардановский коровник, от него остались одни головешки. Карданов утверждал, что это был поджог. Доказательств не было, но когда он решил отстроить коровник, купил цемент и взял в аренду бетономешалку, то столкнулся с новыми трудностями: бетономешалку украли, а рабочие, с которыми он договорился о помощи в строительстве, не появились.

В конце концов, не выдержав этих издевательств и не имея возможности продолжать свою работу, Карданов решил отказаться от попытки стать арендатором. Холодным зимним вечером он со своей семьей упаковал вещи и покинул колхоз навсегда.

7

ГРАНИЦА

«А тигры у вас в Греции есть»?
«Есть»
«А львы?»
«И львы есть. Это в России ничего нет, а у нас в Греции все есть».

Антон Чехов. «Свадьба»

«Когда советский гражданин выходит из таможни аэропорта Шереметьево, – рассказывал Андрей Ковешников, таксист двадцати с чем-то лет, – он похож на зверя, за которым гонятся охотники. Он нагружен чемоданами и сумками и явно боится, что кто-то следит за ним, чтобы украсть его вещи. Когда он пытается найти такси, он нервничает и постоянно думает о том, кто следующий его обманет. С иностранцами все иначе. Иностранец спокоен, он улыбается. У него жизнерадостное выражение лица. Когда он оглядывается вокруг, заметно, что он впервые в Советском Союзе, но он не подозрителен. Ты разговариваешь с ним на ломаном английском, и он реагирует доброжелательно. Он вежлив, говорит тебе "благодарю". Я это наблюдал изо дня в день, и это было мое первое знакомство с Западом.

Потом меня пригласил в Германию мой друг, бывший советский немец, который жил в Санкт-Августине под Кельном. Первое, что меня поразило в Германии – это дорога из Кельнского аэропорта. Она была как будто отполирована, никаких выбоин.

Все знаки были видно издалека, и я подумал, что там трудно заблудиться, даже если не знаешь языка.

В пятницу я попал в большой магазин. Там три этажа, где торгуют продовольственными товарами, и за два часа мне удалось рассмотреть лишь половину первого этажа. Мои друзья покупали все, что им было нужно. Я сравнил цены с нашими, и с учетом уровня зарплаты, цены в Германии оказались ниже.

Там были десятки сортов хлеба. Я никогда в жизни не видел такого достатка, и мне стало обидно за свою страну. Я подумал, что в России живут одни дураки. Мои родители никогда не видели такого богатства, и родственники тоже, и никогда не увидят.

Я поступил на немецкую фабрику, где работал один из моих друзей. Это была мебельная фабрика, и большинство рабочих распиливали доски. В Германии, если кто-то работает, то работает все восемь часов. Моя работа заключалась в том, что я носил и складывал доски. Это было тяжело и однообразно. Я очень уставал, нельзя было ни попить, ни покурить. В России никто так не работает. Здесь рабочий день начинался в 6 часов утра, и мы работали до 9-ти. В 9 часов был пятнадцатиминутный перерыв. То есть мы работали три часа подряд без всякого перекура. Ни один бригадир не приходил и не ругал нас, а рабочие не выражали недовольства.

Я сразу заметил, что здесь можно украсть кучу древесины. Было также много инструментов – электропилы, дрели, молотки лежали везде, но никто не пытался воровать.

Отношения были очень деловыми. Цех – исключительно чистый. Никаких свалок материалов. Никто не стоял над нашими душами. Везде пилили дерево, но я не видел опилок или пыли. Все обрезки аккуратно складывали в корзины для мусора. Лишних разговоров не было – только по рабочим вопросам.

Если в работе случалась пауза – например, из-за остановки конвейера, – то люди немедленно начинали что-то делать сами: убирали мусор, чистили инструменты. Для русского это како-

е-то безумие, но именно благодаря такому отношению к работе они живут так хорошо».

Однажды теплым майским вечером 1990 года Игорь Ерофеев постучал в двери квартиры Николая Федорова, одного из чиновников Министерства газовой промышленности, располагавшегося на Комсомольском проспекте. Двери открыл сам Федоров. У него был какой-то странный блуждающий взгляд.

«Не обращай на него внимания, – сказала жена Федорова, выходя из комнаты. – Он в таком состоянии уже неделю – с тех пор, как вернулся из США».

Федоров пригласил Игоря пройти в гостиную, пока его жена готовила чай.

«Для чего я жил, для чего работал, и чего я достиг?» – спрашивал Федоров, едва замечая присутствие Ерофеева. Было очевидно, что он в каком-то шоковом состоянии.

«Ты знаешь Сашу Иванова?» – спросил Федоров, имея в виду шахматного гроссмейстера, который женился на еврейке, эмигрировал вместе с ней и теперь жил в Бостоне.

«Знаю».

«Ты можешь представить его за рулем автомобиля?»

«Честно говоря, не могу» – сказал Игорь. Иванов очень мало зарабатывал в Москве и всегда скромно одевался.

«У него автомобиль длиной девять метров!»

И Федоров продолжил: «...Пятнадцать лет в очереди на квартиру, пять лет в очереди на машину, теперь в очереди на дачу, а до пенсии осталось всего два года».

«Первое, что меня поразило, – рассказывал Сергей Мелкумов, механик ледовой арены стадиона “Динамо", – это организация труда на одной французской ферме возле Бове, куда я приезжал к другу. Там в коровнике десять коров были подсоединены к одному автоматическому доильному аппарату. Механик

нажимал на кнопку, и в тот же миг потоки молока начинали бежать по прозрачным шлангам в огромный бак из нержавеющей стали. Тут же подъехала автоцистерна, ее соединили с баком с помощью рукава, и она начала выкачивать молоко, объем которого автоматически измерялся счетчиком. Наблюдая за этим, я вспоминал наших доярок, которые садятся рядом с коровами и доят их грязными руками.

Вблизи коровника я увидел пастбище с густой травой, огражденное бетонными стойками с колючей проволокой. Все было сделано очень аккуратно. Я подумал: ведь это чья-то земля, это частная собственность, и она неприкасаема. У каждой коровы есть номер, и я понял, что это помогает наблюдать за животными – сколько корова ест, сколько дает молока и сколько весит. Эти номера дают возможность вести самый точный учет.

Я был знаком с сельской жизнью в России, поэтому из-за увиденного во Франции едва не заболел.

Когда я впервые попробовал французские пирожные, то был потрясен. Я не мог не признать, что они очень вкусные, и купил себе шесть пирожных за 72 франка. Потом стал сравнивать их стоимость с зарплатой рабочего во Франции и в России. В процентном отношении эта стоимость оказалась почти одинаковой, но качество пирожных во Франции было намного выше.

Мой друг – тренер по теннису. Я поехал к нему на работу – в предместье Парижа Сарсель, где он был инструктором в клубе «Маккаби». Он организовал небольшой турнир для детей 8-12 лет. Я видел, как он работал и как родители благодарили его. Я был поражен восторженным отношением детей и их благодарностью русскому учителю.

В России такие клубы невозможны. Детей тренируют лишь для профессионального спорта, чтобы зарабатывать деньги.

Во Франции мне все было интересно. Если в России вы к кому-то обратитесь, чтобы узнать дорогу или еще что-то, то не всег-

да можете рассчитывать на подробное объяснение. Во Франции все иначе».

С началом процесса реформ в Советском Союзе тысячи советских граждан впервые получили возможность выезжать за границу, и встреча с внешним миром вызывала у многих из них шок. Образ Запада годами навязываемый им средствами информации в СССР преимущественно как общество бедности и эксплуатации «пролетариата», и вдруг, оказавшись там, советские люди видели яркое освещенные улицы, разноцветные дома и богатые витрины, благосостояние и отсутствие очередей. Их шок, впрочем, был не просто реакцией на внешнюю сторону западной жизни. За десятилетия тоталитарного режима советские люди потеряли ощущение причастности к внешнему миру. И в ситуации, когда режим пытался навязать иллюзорную идеологию, лишь доступ к внешнему миру мог дать советским гражданам какой-то внешний критерий, способный пробудить в них ощущение реальности. Но этот доступ всегда жестко контролировался.

Советская граница была не обычным барьером, это была демаркационная линия между двумя разными состояниями сознания. На Западе сознание формировала настоящая реальность, а в СССР – подмена ее искусственно сконструированной. Из-за этого нормальная жизнь советским гражданам стали чуждой, и именно потому они испытывали такой шок при первом столкновении с внешним миром. И эти различия в сознании, культивируемые тоталитарным режимом, проявлялись в чистом виде в судьбах тех, кто пытался сбежать из Советского Союза.

Тихим летним вечером Анатолий Бутко, гинеколог из Артемовска Донецкой области, вошел в свою каюту на борту теплохода «Латвия», стоявшего на якоре в порту Батуми, разулся и не раздеваясь лег на свою койку, сделав вид, что крепко спит. Три других пассажира каюты занимались своими чемоданами и, судя по всему, не заметили, что Бутко вошел без вещей.

В 22:10 заработали двигатели, и «Латвия» вышла из порта, держа курс на Сухуми, а потом на Сочи.

В коридоре и каютах было тихо. Дождавшись, пока последний из соседей по каюте начнет ровно дышать во сне, Бутко сел и обулся. На всякий случай сказал громко: «Пойду прогуляюсь по палубе». Никто из соседей не шевельнулся. Тогда он обернул свои часы полиэтиленовой пленкой, вышел в пустой коридор и пошел к ящику с пожарным инвентарем, где ранее спрятал зонтик, который в случае необходимости можно будет использовать в качестве паруса, несколько плиток шоколада, небольшую емкость с водой и резиновый спасательный жилет. Все это он взял с собой на палубу.

В ряби на поверхности моря серебряными дорожками дробилось отражение луны. Была почти полночь, и Бутко заметил, что палуба пуста – за исключением пары влюбленных, которые обнимались, прислонившись к борту, и молодого мужчины, в котором Бутко заподозрил сотрудника КГБ. Тот стоял одиноко, держа руки в карманах. Бутко закурил сигарету, молодой мужчина несколько минут безразлично смотрел на него, а потом отвернулся и пошел на нос судна. Увидев это, Бутко спокойно загасил сигарету и пошел к корме. Там он оглянулся и убедился, что на палубе больше никого нет. Тогда он перелез через ограждение и прыгнул с десятиметровой высоты в воду.

Действия Бутко той ночью были следствием многих лет разочарований в советском режиме. В 1950-е годы, после армейской службы на Сахалине, Бутко проехал через весь Советский Союз домой, на Донбасс, и видел десятки исправительно-трудовых лагерей в Сибири, а вокруг Байкала – голодных колхозников, просивших хлеба. В 1960-х его избили милиционеры, забирая в вытрезвитель, а когда он назвал их «фашистами», ему обрили голову. Уже тогда он знал, что ему придется покинуть эту страну, но семья удерживала его в СССР. Когда же брак распался, Бутко решил, что наступило время попробовать убежать на Запад.

Бутко начал изучать проблему пересечения советской границы. Он узнал, что перед границей всегда есть «зона повышенной бдительности» не менее 15 километров шириной. В пограничной зоне милиция бдительно наблюдала за всеми дорогами, и любой обнаруженный там без разрешения на пребывание человек подлежал немедленному аресту. Местных жителей проверяли на «благонадежность» и вознаграждали за каждое сообщение о появлении чужаков. В то же время любого, кто показался подозрительным, на территории в 50 километров от границы могли задержать и потребовать объяснений.

Еще Бутко узнал от соседа, сын которого служил пограничником, что на суше непосредственно перед границей установлено ограждение из колючей проволоки, по которой пущен электрический ток, наблюдательные вышки и широкие контрольные полосы вспаханной земли, постоянно разравниваемые боронами и проверяемые на наличие следов.

Советский Союз был окружен «дружественными» странами – Финляндией, социалистическими государствами и Ираном, с которыми были подписаны договора о возврате ему нарушителей границы. Турция их не возвращала, но, учитывая охрану пограничных зон, Бутко сомневался, что ему удастся попасть в Турцию по суше. Он обдумывал вариант с воздушным шаром, но понял, что не сможет достать нужный для него водород. У него был морской опыт, он был хорошим пловцом и потому решил попробовать добраться до Турции вплавь.

Для своего побега Бутко правильно выбрал время. Вода была теплой, и, отдышавшись, он надел спасательный жилет и смотрел, как «Латвия» поворачивает на север, в направлении Сухуми. А потом мощными, ритмичными гребками поплыл. Ночь была ясной, и теплый ветерок создавал легкую рябь на поверхности воды. Бутко почувствовал себя чрезвычайно одиноким в этом путешествии к другой планете под куполом звездного неба. «Латвия» исчезла за горизонтом, и Бутко издали заметил, что огни советских

городов желтые, а турецких – разноцветные. Он подумал, что это из-за рекламы. Кое-где он видел в море советские пограничные катера, а вдоль берега периодически зловеще загорались прожектора, освещая побережье. Бутко старался держать постоянный темп и видел, что с каждым часом приближается к турецкому берегу.

Пока Бутко плыл, он думал, чем будет заниматься на Западе. Он был врачом, поэтому надеялся, что его медицинские навыки пригодятся. Он был охвачен эйфорией и впервые в жизни чувствовал себя свободным человеком.

Светало. Чтобы определить свое местоположение, Бутко посмотрел на часы и пришел к выводу, что к турецкому берегу плыть еще около четырех часов. Однако вскоре ветерок утих, донесся далекий грохот грома, и далеко в небе замелькали молнии. Вдруг течение усилилось, и Бутко почувствовал, что плыть ему становится все тяжелее. Неожиданно все вокруг покрыл густой туман, и он перестал ориентироваться. Бутко старался плыть в сторону турецкого берега, но не был уверен в правильном направлении. Вдруг он столкнулся с чем-то студенистым, почувствовал сильную боль и потерял сознание.

Когда Бутко очнулся, поверхность моря рябило от сильного дождя, и он не мог двигаться. Он понял, что его ужалила медуза. Спасательный жилет держал на поверхности, но сильное течение начало относить его назад. Так продолжалось весь день и следующую ночь. Когда Бутко наконец пришел в себя от шока и немного восстановил свои силы, он находился уже примерно в том же месте, где прыгнул с теплохода, и тогда он осознал, что через несколько часов его принесет назад, к советскому берегу.

У Бутко не было ни еды, ни воды. Погода изменилась, и море стало беспокойным. Дул сильный ветер, вокруг вздымались волны, но, преодолевая течение, он опять поплыл в Турцию. Напрягая все силы, он плыл час за часом и, несмотря на все более сильное встречное течение, был уже примерно в 2-х километрах от берега и даже увидел дома на турецком берегу, но в это время,

когда цель была уже почти рядом, ему стало предельно ясно, что больше бороться с волнами он не в состоянии. И течение отнесло его, совершенно обессиленного, обратно в море.

Следующие тридцать часов Бутко носило по волнам, пока наконец – спустя более трех суток, проведенных в воде, – не выбросило в полубессознательном состоянии на берег в Поти – на побережье советской Грузии.

Сначала Бутко лежал на берегу без движения, будто окоченевший, не осознавая, где он находится. В конце концов он разглядел наблюдательные пограничные вышки и понял, что он в Советском Союзе. Какой-то прохожий, увидев его спасательный жилет, позвал пограничников. Бутко был слишком слаб, чтобы убежать, поэтому его схватили и отправили сначала в отделение милиции в Поти, а потом в изолятор КГБ в Батуми.

В Батуми Бутко был допрошен майором КГБ, который сразу же заявил, что за попытку нелегального пересечения советской границы он может рассчитывать на 12–15 лет колонии. Но если будет доказано, что он психически болен, то наказание может быть менее суровым.

Вынужденный выбирать одну из этих альтернатив, Бутко решил притвориться психически больным. Он попросил психиатра: «Найдите у меня что-нибудь». В конечном итоге ему был поставлен диагноз: «психопатия с манией величия». Его отправили в психиатрическую больницу в Гуково Ростовской области, где продержали тринадцать месяцев – чрезвычайно короткий срок для невезучего нарушителя государственной границы.

В 1980 году я встретился с Бутко на квартире у Феликса Сереброва в Москве. В то время он уже спокойно жил в Крыму, в Алуште. После выхода из психушки он начал писать стихи, в том числе поэму под названием «S.O.S.», в которой призывал людей признавать жизненную реальность.

Из своей камеры в тюрьме маленького финского городка Александр Шатравка услышал, как к воротам подъехало несколько автомашин, потом – звон ключей, которыми отпирали главные двери тюрьмы этажом ниже, и какое-то оживление в коридоре. Наконец, двое часовых открыли дверь камеры. На Александра надели наручники и вывели.

Перед тюрьмой Шатравка увидел еще троих мужчин, которые вместе с ним успешно перешли советско-финскую границу: своего брата Михаила, бывшего пограничника Анатолия Романчука и своего приятеля Бориса Сивкова. Все они сидели в разных автомашинах. Александра посадили в синюю полицейскую машину, и через несколько минут эта колонна двинулась и выехала из города на юг.

«Куда они нас везут? – задавал себе вопрос Шатравка. – Советская граница на восток от нас, а мы движемся на юг. Может, мы едем в региональный центр? Или, может, они собираются нас передать?» В какой-то момент Шатравка подумал, не схватить ли ему водителя, сидевшего прямо перед ним, но не решился. Ему показалось, что они едут в другой финский город.

Из окна машины Шатравка рассматривал лес. Навстречу двигалась длинная череда автомобилей, к некоторым из них были прицеплены жилые трейлеры. В машинах сидели чаще всего молодые люди, и Шатравка им позавидовал. Вдруг колонна, в которой он ехал, резко повернула на узкую асфальтированную дорогу, ведущую на восток, в самую чащу леса. Машины замедлили ход и въехали на территорию финского пограничного поста – добротного строения, обнесенного ограждением из колючей проволоки.

Четверых нарушителей границы вывели из машин. Шатравка увидел перед собой Сивкова и заметил по его резким движениям, что тот очень взволнован. «Саня, – крикнул ему Борис, – они нас возвращают!»

Финские конвоиры стали вталкивать своих подопечных обратно в машины, но прежде чем Шатравка сел, он почувство-

вал, как кто-то схватил его за правую руку через открытую дверцу и пожимает ее. Резко обернувшись, он увидел виноватое лицо финского следователя, который его ранее допрашивал. Разозленный Шатравка вырвал у него свою руку.

Решение Александра сбежать из Советского Союза было реакцией на постоянное принуждение. Когда он учился на курсах водителей в криворожской автошколе, то носил длинные волосы. Инструкторы стали требовать от учащихся, чтобы те подстриглись, но Шатравка отказался и стал протестовать. Вскоре его вызвали в райком партии, где заведующий отделом пропаганды Панченко сказал ему: «В Кривом Роге пятьсот человек таких длинноволосых, как ты. Если бы мы только могли, то перестреляли бы вас всех».

Шатравка бросил автошколу и перебрался в Красноводск. Там он устроился на рыболовецкое судно и решил узнать у одного юриста, как можно было бы уехать из страны. Юрист донес в КГБ, и вскоре Александра вызвали в местное управление, где заместитель начальника майор КГБ Бобер допросил его относительно его планов пересечения границы.

«Ты же сын страны Советов, – увещивал его Бобер, – почему ты хочешь покинуть свою Родину?»

«Я ненавижу эту страну, – ответил Шатравка, не скрывая эмоций. – Я не хочу умереть на этой земле».

«Ладно – сказал Бобер, – если ты готов продать нашу страну, давай, иди на границу и получай пулю в спину».

После этого Шатравка уехал из Красноводска и вернулся в Кривой Рог. Вскоре его вызвали повесткой в военкомат в связи с призывом на военную службу. Однако Шатравка не намеревался служить в армии и пошел на призывной пункт со спрятанным в кармане ножом. Там он показал на карте на красную линию границы СССР и сказал военкому: «Видите эту линию? Даю вам слово, когда-нибудь я окажусь по ту сторону».

«Но ты же трус», – сказал военком.

«Это я-то трус?» – заорал Шатравка. Он выбежал из комнаты во двор, разорвал на себе рубашку и начал полосовать себя ножом. Через некоторое время он вернулся домой, где его схватили и отвезли в психиатрическую больницу под Днепропетровском. Позже его признали непригодным к службе в армии на основании признаков психопатии, и он окончательно стал готовиться к побегу на Запад.

Вместе с братом Михаилом Шатравка путешествовал по Советскому Союзу, изучая возможные места для побега. Они хотели бежать на каком-нибудь судне, но увидели в Ялте, что по ночам все побережье просвечивается прожекторами, а в море днем и ночью снуют пограничные катера. Они также рассматривали вариант с похищением самолета в симферопольском аэропорту, но отказались от этого плана, когда узнали, что все подобные рейсы вблизи пограничных территорий были отменены после успешного побега в Турцию двух литовцев за несколько лет до того. Они побывали и на Западной Украине, но отказались от идеи бежать через Венгрию в Югославию и Италию, потому что тогда пришлось бы пересекать не одну границу. Наиболее приемлемым им показалось пешее пересечение советско-финской границы.

Один из соседей Александра в Кривом Роге, Анатолий Романчук, в армии служил пограничником. Он рассказал, что можно перейти границу в районе западнее поселка Чупа в Карелии. Сначала Шатравка отнесся к Романчуку с недоверием, но со времени его конфликта в автошколе прошло уже три года, и ему не терпелось начать новую жизнь на Западе.

Чтобы заработать, Шатравка устроился на Криворожский металлургический завод, но вскоре уволился. И вот однажды они с братом Михаилом, Борисом Сивковым и Романчуком сели в поезд до Ленинграда, там пересели на поезд в Мурманск и в два часа ночи вышли на затерянной в лесах станции Чупа. Пройдя

мимо нескольких деревянных домов, они углубились в лес при свете ночного северного солнца.

Романчук уверял, что компас им не нужен, потому что он хорошо знает эту местность, однако очень скоро они заблудились в густом лесу, в болотах и среди бесчисленных озер. Комары тучами вились вокруг них, а у них не было с собой мази для защиты лица и рук. Они обливались потом в своих узких джинсах, а когда, совершенно измученные, ложились на землю отдохнуть, мошкара забиралась и под одежду.

Так они шли шесть долгих суток. На седьмой день они наткнулись на партию геофизиков, которые накормили их, а потом на своем грузовом самолете отправили в поселок Лоухи, до которого было приблизительно 145 километров.

Как правило, перебежчики расплачиваются за свои ошибки арестом, но в данном случае судьба, похоже, решила подарить шанс этим четырем путешественникам. Восемь дней они работали в Лоухи как разнорабочие, а потом купили мазь от комаров, сапоги и компас. Автобусом доехали до пункта, приблизительно в 80 километрах от границы, и там решили больше не слушать Романчука, а ориентироваться лишь по компасу, после чего снова отправились в путь.

На сей раз они уверенно продвигались к границе и, наконец, могли оценить красоту природы и спокойно спать в лесу, защищенные мазью от комаров.

Сначала шли проторенными тропами, но ближе к границе сошли с них и стали пробираться нехоженой чащей. На восьмой день своих странствий они вышли к широкой вспаханной контрольно-следовой полосе. Пересекли ее, оставив следы. Теперь они знали, что находятся около границы, но вместо того, чтобы вести себя с повышенной осторожностью, просто побежали со всех ног, стремясь как можно быстрее добраться до цели.

Вдруг лес окончился, и они очутились на берегу быстрой реки – это была граница между Советским Союзом и Финляндией.

Они побежали к воде, прыгнули в реку и переплыли на финскую сторону. Выбравшись на тот берег, снова побежали, теперь уже вдоль длинного ряда бело-голубых пограничных столбов с гербом Финляндии – львом с саблей.

Впоследствии Шатравка вспоминал эти первые минуты в Финляндии как одни из самых счастливых своей жизни. Измученный, но опьяневший от радости, он запел какую-то дикую песню. Охваченные эйфорией, беглецы не чувствовали усталости. Они бежали, словно летя над землей.

Так они бежали и шли часа два, и им казалось, что они попали на другую планету. Они останавливались, чтобы разглядеть каждую брошенную картонку или жестянку. Потом увидели вдали, на берегу озера, какой-то заброшенный домик. Находясь в слишком восторженном состоянии, чтобы думать о возможной опасности, беглецы решили устроить там привал.

Когда они добрались туда, Романчук сказал, что финны не очень будут стараться их задержать, остерегаться надо лишь местной полиции, но от нее легко скрыться. Все четверо очень устали, поэтому сразу повалились на деревянный пол и заснули глубоким сном, но вскоре Александр проснулся от грохота вертолета, пролетавшего над ними. «Откуда взялся этот вертолет?» – спросил он сквозь сон. «Спи, – ответил Романчук. – Это просто пожарный вертолет, он обследует лес».

Они опять заснули, но через несколько минут вновь проснулись от голоса Романчука, на сей раз не столь уверенного. «Кто-то идет», – сказал он. Двери широко отворились, и они увидели мужчину в хаки, с автоматом через плечо и собакой на коротком поводке. Он сказал им что-то по-фински и, не получив ответа, спокойно вышел, закрыв за собой двери.

«Не надо было сюда идти, – сказал Сивков. – Я знал, что будут неприятности».

Они стали обсуждать, что же им делать. Все их усилия были направлены на побег из Советского Союза. Им даже не приходило в голову, что у них могут возникнуть проблемы с финнами.

Сначала они решили спрятать свои советские документы под досками пола, а финнам сказать, что они канадцы украинского происхождения и ищут способ нелегально попасть в СССР, но в конечном итоге отказались от этой идеи, поняв, что финны вряд ли поверят этому.

«Они собираются вызвать подкрепление», – сказал Романчук. Беглецы решили покинуть избушку, но, когда вышли наружу, финские пограничники, сидевшие рядом на траве, быстро поднялись и жестами приказали им поднять руки вверх, после чего обыскали. Найдя в карманах ножи, они не обратили на них особого внимания и вернули. Убедившись, что у Шатравки и его спутников нет огнестрельного оружия, финны опять уселись на траву. Тогда беглецы решили присоединиться к ним и завязать с финнами дружеский разговор. Финны предложили им сигареты, тут же развернули детальную карту этой местности и показали советским гостям точное место, где те пересекли границу, а также пустую пачку эстонских папирос «Тулуки», которую они выбросили по дороге.

«Куда нам теперь идти?» – спросил Шатравка, пытаясь произносить как можно четче. «Два километра пути» – ответил один из финнов по-русски, мягко произнося слова, и показал на карте город Куусамо.

«Нас – в Россию? Мы идти в Россию?» – переспросил Шатравка по-английски, как ему казалось.

«Йа, йа, Русланд», – подтвердил один из финнов, показав на Александра с товарищами, а потом на советскую границу.

Шатравка попробовал объяснить, что в СССР их ожидает тюрьма, – скрестил пальцы, изобразив решетку. Финны, по-видимому, поняли, что это означает, потому что начали переговариваться между собой, сочувственно качая головами.

В это время появился вертолет и приземлился неподалеку. Из него вышел крепкий пожилой финн в шляпе и, не обращая внимания на беглецов, пошел прямо в дом. Когда он вышел оттуда через пару минут, в руках у него были документы, которые беглецы спрятали под полом. Мужчина что-то приказал пограничникам и вскочил обратно в вертолет, немедленно поднявшийся в воздух.

Вскоре после этого вся группа также отправилась в путь. Небо тем временем покрылось тяжелыми серыми тучами и пошел дождь. Впереди колонны шел финн с компасом, и в итоге Шатравка со товарищи в сопровождении пограничников вышли на мокрое асфальтированное шоссе. Из-за поворота появились три автомобиля – два «вольво» и «фольксваген», а за ними ехал еще микроавтобус. Александра вместе с двумя пограничниками посадили в зеленый «вольво», впереди он видел Сивкова в красном «вольво», а позади – желтый «фольксваген» и микроавтобус с братом и Романчуком.

Когда колонна двинулась по мокрому шоссе, Александра поразило, насколько Финляндия отличается от советской Карелии – несмотря на те же климат и ландшафт. Сельские дома были опрятны и окрашены в ярко-желтый или коричневый цвета. Здесь были и сараи, и покрытые асфальтом участки для тракторов и другой техники. На поверхности шоссе не было ни одной трещины или ямы, а вдоль дороги на деревянных подставках стояли бидоны с молоком, и это свидетельствовало, что здесь не бывает краж.

Наконец они прибыли в какой-то городок. Главная улица была запружена машинами всех цветов радуги. Витрины магазинов были настолько чистыми, что сияли на солнце. В магазинах – невероятное разнообразие продуктов, и везде, на каждом огражденном участке земли у ярко окрашенных домов, были высажены цветы. Шатравка был так увлечен увиденным, что не отводил взгляда от витрин и не заметил, как машина, в которой он сидел, свернула на территорию, огороженную проволочной сеткой.

Дождь прекратился, выглянуло солнце. Четырех нарушителей границы отвели в казарму и разместили в отдельных комнатах. Шатравка лег на солдатскую кровать и быстро заснул. Проснулся он оттого, что кто-то его сердито тормошил. Он поднялся и пошел за финном, который привел его в комнату, где за столом сидел худощавый мужчина в финской военной униформе. Этот офицер спросил Александра, знает ли тот какие-нибудь иностранные языки, и получил отрицательный ответ. Тогда он заговорил на ломаном русском.

«Почему вы пересекли советско-финскую границу? – спросил он. – Вы что, не знали, что у Финляндии есть соглашение с СССР о возвращении нарушителей границы?»

«Мы собирались в Швецию. Мы хотим просить политического убежища. Но раз мы уже здесь, в Финляндии, я прошу вас предоставить нам возможность встретиться с официальными представителями США», – сказал Шатравка.

«Очень хорошо, об этом мы подумаем, – сказал финн, – но сейчас я прошу вас выбрать из этой кучи документов ваши».

Найти свои документы Александру было нетрудно, и финн, проверив и убедившись, что это именно его бумаги, позволил ему вернуться в свою комнату.

День беглецы провели в казарме, а ночью их посадили в машины и повезли через спящий город. Шатравка и Романчук ехали вместе. Романчук спросил русскоязычного конвоира, который сидел рядом с водителем: «Вы собираетесь вернуть нас назад?»

«Не могу сказать точно, – ответил тот. – Это выяснится в понедельник, через два дня».

Машина подъехала к двухэтажному зданию, и Александра с Романчуком проводили внутрь. Они оказались в городской тюрьме. Беглецов встретил рыжебородый финн – по-видимому, дежурный, – который развел их по камерам. Шатравка лег на кровать, но спать ему не хотелось. Он стал смотреть в окно, забранное толстыми вертикальными прутьями. Через какое-то

время он увидел на улице рыжебородого финна – тот шел в направлении виднеющегося вдали желтого дома. Постепенно в домах гасили свет, город затихал. Только какая-то собака пробежала мимо ограды тюрьмы – она тоже не спала, как и все четверо беглецов из Советского Союза. Через двери камер они разговаривали между собой, обмениваясь впечатлениями. Все были потрясены красотой Финляндии и признавались, что охотно остались бы здесь жить до конца своих дней. Когда же речь зашла о вероятности их возвращения обратно в СССР, все снова были единодушны: лучше навсегда остаться в этой тюрьме, чем вернуться в Советский Союз.

Утром рыжебородый финн принес каждому из них по скромному завтраку. После завтрака начались допросы. Александра допрашивал приятный светловолосый молодой человек. Переводчиком был мужчина старшего возраста – преподаватель русского языка из местной школы.

Следователь задавал вопрос, непрерывно печатая на машинке ответы Александра. Тот рассказал, как советовался с юристом относительно возможности легального выезда из Советского Союза, как пытался избежать призыва в армию, как исполосовал себя ножом и как его упрятали в психиатрическую лечебницу.

«Поэтому вы понимаете, – говорил Шатравка следователю, продолжавшему печатать, – если вы меня вернете обратно, психушка мне гарантирована».

Следователь спросил Александра, почему он так хотел уехать из СССР. «У вас там так много красивых женщин, особенно в Ленинграде», – сказал он с улыбкой.

«Было много причин, – ответил Шатравка совершенно серьезно. – Ежедневная коммунистическая пропаганда, от которой почти некуда деться; клевета и притеснения честных и порядочных людей – например, кампания против академика Андрея Дмитриевича Сахарова; низкие зарплаты и угроза попасть за решетку за отказ работать на государство, то есть узаконенное

рабство; а также тот факт, что закрытые границы делают страну похожей на концлагерь».

На следователя ответ Александра, похоже, произвел впечатление.

«Вы собираетесь нас вернуть?» – спросил Шатравка.

«У нас нет выбора, – ответил следователь. – У нас есть соглашение с СССР о возвращении нарушителей границы. Если бы вы были туристом и попросили политического убежища, мы бы вам его дали».

В конце допроса следователь дал Александру документ, напечатанный на финском языке, и попросил подписать его. Шатравка подписал, и его отвели обратно в камеру. На следующий день его и трех его спутников привезли к финско-советской границе.

После того, как Шатравка сердито вырвал свою руку у финского следователя, двери микроавтобуса закрылись за ним, и все машины с беглецами выехали. Проехав еще несколько сотен метров по лесу, колонна затормозила перед шлагбаумом уже на советской территории, и финский офицер с несколькими конвоирами подошел к красному «вольво», в котором сидел Сивков. Тот неуклюже вылез из машины, поднялся первый шлагбаум, потом второй, и Сивков очутился на той стороне.

Шатравка, обозленный до исступления, подскочил и выбил ногой окно микроавтобуса, которое вылетело на асфальт вместе с резиновым уплотнителем. Финны, сидевшие в автобусе, остались невозмутимыми, будто ничего и не случилось. «Суоми швайн!» – выкрикнул Шатравка и стал плеваться через выбитое окно. Но после этой вспышки гнева он уже ничего не мог сделать, чтобы предотвратить неминуемое.

К микроавтобусу подошел офицер и сказал: «Выходите». Шатравка вышел, в сопровождении финнов пересек границу и оказался в Советском Союзе, оставив позади Финляндию и весь Запад.

«Как ваша фамилия?» – спросил худощавый советский полковник, встретивший Александра. Рядом стоял низенький, похожий на поросенка майор и две группы по трое пограничников с «калашниковыми».

«Не знаю. Я забыл», – сказал Шатравка спокойно.

«Как ваша фамилия?» – повторил полковник.

«Не знаю!» – заорал Шатравка и начал громко материться.

Финский офицер, который тоже стоял рядом, сказал на ломаном русском: «Его фамилия…»

«Заткни пасть, шестерка! – крикнул Шатравка и, пытаясь еще больше раздразнить советских офицеров, сказал: – Меня звать Ян Смит».

«Его фамилия Шатравка», – вставил финн.

«Прекратите паясничать – сказал полковник. – Мы напишем на вас рапорт за обиду финских представителей».

«Заткнись, ты, советская сволочь! Мне безразлично, что ты там напишешь!» – выкрикнул Шатравка.

«Уберите этого шизофреника!» – приказал майор достаточно громко, чтобы его услышал Михаил, который еще был на финской территории.

Советские конвоиры схватили Александра и заменили его финские наручники на тесные советские, затянув их как можно туже, чтобы сделать больнее. Александра посадили на заднее сиденье «газика», внутри которого сильно пахло бензином. Когда «газик» тронулся, он все еще не мог успокоиться. «Знаете, – сказал Шатравка своим конвоирам, – Финляндия – страна, созданная для людей. Поэтому лучше сидеть в тюрьме в Финляндии, чем жить на свободе в СССР». На это конвоиры ответили, что его скоро будут судить.

«Пусть. Отсижу три года и все равно перейду через границу. Так или иначе, а вырвусь из этого коммунистического ада».

«О чем ты говоришь, какие три года? – сказал молодой лейтенант. – Тебе пятнадцать дадут».

Четыре «газика» с беглецами проехали по грунтовой дороге мимо какого-то озерца и остановились у дома, стоявшего просто в лесу. Александра провели в комнату, где горел свет и стоял длинный стол, покрытый красной скатертью. По одну сторону стола сидели финские офицеры, по другую – советские. Советский полковник предложил Александру сесть и объяснил, что он доставлен сюда как свидетель передачи его документов финскими властями советским пограничникам. Ему надо было расписаться за каждый документ.

«Ясно, – сказал Шатравка, – но нельзя ли сначала снять наручники? Иначе я не смогу расписаться».

Полковник распорядился снять наручники. Почти нестерпимая боль в руках, которая доходила до локтей, начала стихать, но Александру все еще было трудно шевелить пальцами. «Ваши наручники лучше советских», – сказал он финнам, и те улыбнулись на этот комплимент.

Наконец Шатравка дал знак, что готов, и начал расписываться. После этого один из офицеров опять стал надевать ему наручники.

«Можно не так туго?» – попросил Шатравка.

«Не затягивайте сильно», – приказал полковник.

Александра вывели и позвали в комнату его брата.

Валерий Церн, молодой советский немец, стоял на людном вокзале в Черновцах и изучал расписание поездов на высоко установленном табло, раздумывая, стоит ли ему садиться на дизельный поезд к Вадул-Сирету – городку на советско-румынской границе. Вадул-Сирет находился в запретной пограничной зоне, поэтому путешествовать туда без разрешения было рискованно, но Валерий надеялся, что оттуда ему удастся перебраться в Румынию пешком.

Этим влажным и душным летним вечером Церн пребывал в нерешительности. В Москве он познакомился с диссидентами и знал, что неудачные попытки пересечения границы заканчива-

ются лагерями или психушкой. В то же время атмосфера лжи в Советском Союзе становилась совершенно нестерпимой. Церн стоял и наблюдал, как группа немецких туристов прощается со своим интуристовским гидом и садится в поезд на Бухарест. «Странно, – думал он, – через несколько часов они пересекут границу. Румыния – социалистическая страна, но, по крайней мере, они преодолеют границу СССР».

Поезд на Вадул-Сирет отправлялся в полночь. В конце концов в 23:30 Церн осмелился войти в вагон и сел на одну из деревянных скамей, напротив дородной женщины в цветастой шали, которая посмотрела на него красноречивым взглядом. «Если вас схватят в Вадул-Сирете без разрешения, то немедленно арестуют», – сказала она. «Мне нечего бояться, – ответил Церн, – я местный».

В полночь поезд отправился из Черновцов.

Церн жил в украинском городке Харцызске и впервые начал серьезно подумывать о побеге, когда испытал притеснения во время службы в армии – после того, как на политзанятиях не согласился с характеристикой Западной Германии как «капиталистического ада». Однако последней каплей стало отклонение его заявления на эмиграцию в ФРГ.

Сначала Церн задумывал пересечь границу с Турцией. Однако, приехав в Батуми и увидев наблюдательные вышки вдоль берега моря, понял, что шансов на успех там мало. Тогда он поехал в Кишинев и там сел на электричку в Унгены – город на границе с Румынией. Однако, когда поезд подошел к пограничной зоне, двери вагонов автоматически заблокировались, и выйти было невозможно. В итоге Церн вышел на станции Окница в Северной Молдавии. Он не знал, что теперь делать. В конце концов, помывшись в местной бане, он пошел вдоль железнодорожного пути в направлении границы и под конец дня очутился на станции Восканцы Черновицкой области. Там он заметил женщину, которая стояла с коровой перед домом у станции и попросил у

нее по-украински кусок хлеба. «Пойди к священнику, – ответила та, – он что-нибудь тебе даст». Церн провел ночь на станции, а утром на попутном грузовике добрался до другой сельской станции, где сел на электричку в Черновцы.

В 2:30 ночи поезд до Вадул-Сирета прибыл в Глубокую – последнюю остановку перед пограничной зоной. Там он должен был стоять до 4-х часов утра; Церн вышел из поезда и, гуляя, забрел на безлюдную центральную площадь города. Ночь была безлунной, и вдруг его осенило, что вместо того, чтобы ехать дальше до Вадул-Сирета, менее рискованно попробовать дойти до границы пешком от Глубокой. С центральной площади, он дошел до сортировочной станции и там углубился в лес.

Два часа Церн шел сквозь лес, густо заросший акацией и кустарником, продираясь через кусты и ветки и прислушиваясь к шуму поездов, чтобы не сбиться с пути. Наконец он увидел станцию, залитую ярким светом, а за ней – прожектора и наблюдательные вышки. Он понял, что это Вадул-Сирет.

Обходя станцию, Церн свернул на грунтовую дорогу, ведущую к границе. Однако, когда на небе появились первые отблески утренней зари, он неожиданно увидел мужчину, который приближался к нему на велосипеде. Испугавшись, Церн сошел с дороги и углубился в лес, где решил провести день, а границу пересечь ночью.

Становилось все светлее, и Церн почувствовал, что день будет знойным. Он на несколько минут вышел из леса, чтобы присмотреться к пограничным вышкам, которые вырисовывались впереди. Где-то рядом начал работать трактор. Вернувшись в лес, Церн повесил сушиться свою мокрую обувь, достал из кармана атлас и стал изучать карту Румынии. Зной усилился, Валерий начал сильно потеть. От стоячей болотной воды шел запах сероводорода, и атмосфера становилась удушливой. Церн пил последний раз еще в Черновцах – сутки тому назад.

Наконец он выбрался из леса на расчищенное место, где нашел колосья пшеницы и поел немного зерна.

Проходили часы, и жажда становилась нестерпимой. Время от времени Церн выходил из леса, чтобы осмотреть местность – поля и асфальтированное шоссе, которое вело в Румынию. По шоссе ехали иностранные автомобили. В конце концов, измученный голодом и жаждой, он начал сомневаться в успехе своего дела. Теперь ему уже казалось, что это бессмысленная затея – изо всех границ избрать для перехода границу с Румынией.

Церн понял, что больше не сможет без воды, вышел из леса, побрел к ближайшему селу и спросил у первого встречного, где бы попить воды. Тот отвел Церна к какой-то фабрике, а там ему показали колодец, из которого он поднял колодезным воротом ведро воды и, не обращая внимания на окружающих, стал жадно пить, а потом опустил ведро обратно в колодец и пошел к шоссе.

Кто-то, очевидно, не преминул сообщить властям о появлении Церна, потому что, стоя на шоссе, он увидел, как к нему приближается «газик» с офицером и тремя солдатами. Церн не пытался убежать, и «газик» остановился перед ним. Пограничники вышли и попросили предъявить документы.

«Я заблудился», – сказал Церн.

«Садитесь в машину, – сказал офицер, – больше не заблудетесь».

Церна привезли на пограничный пост и допрашивали шесть часов. Потом отправили в Черновцы, где он провел ночь в камере с матрасом и подушкой. При этом Церну сказали, что такие хорошие условия, как у него в камере, объясняются тем, что здесь иногда содержат иностранцев.

Утром Церна опять допросили, а потом повезли к границе и приказали продемонстрировать свой путь. Конвоиры следовали за ним с собакой, и он показал им все места, где останавливался, чтобы они в дальнейшем могли перекрыть этот маршрут.

На удивление Церна, капитан Кучеренко, который его арестовывал, отнесся к нему доброжелательно. Он сказал, что Церн – дурак, если собирался пересечь румынскую границу, потому что румыны просто передали бы его обратно. Он прибавил еще, что люди плохо относятся к пограничникам: «КГБ нас унижает, народ настроен скептически, но мы делаем полезную работу».

В итоге Церну повезло. Во-первых, после службы в армии у него была инвалидность, а во-вторых, задержан он был в пограничной зоне, а не на границе. Эти факты смягчали его вину. Церна месяц продержали в специзоляторе, закрыв в крошечной камере вместе с двадцатью пятью другими задержанными, по большей части пьяницами и бродягами, а потом отпустили, предупредив: если когда-нибудь он опять появится в пограничной зоне, то будет обвинен в серьезном преступлении.

8

КГБ

Никогда не разговаривайте с неизвестными.
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

Когда утром 27 октября 1990 года жители Москвы проснулись, их ожидала необычная статья, помещенная на первой странице газеты «Комсомольская правда». Несмотря на гласность, КГБ редко упоминался в советской прессе, но в это из ряда вон выходящее утро внимание читателей приковала фотография Кати Майоровой, темноволосой девушки двадцати с чем-то лет, одетой в бронежилет.

Статья под заголовком «Катя Майорова – мисс КГБ» начиналась с того, что КГБ, как и любая организация, имеет свою королеву красоты. Майорова, писал автор статьи, носит свой бронежилет с «утонченным изяществом» модели Пьера Кардена. «Но ничего так не подчеркивает целомудренную обворожительность Кати, считают ее коллеги, как способность нанести удар каратэ по голове противника».

После выхода статьи Дэвид Ремник из газеты *Washington Post* позвонил в пресс-центр КГБ и спросил, можно ли взять интервью у Майоровой. Он ожидал, что над ним посмеются, но через несколько минут ему перезвонили и сказали, что интервью возможно.

«А фотоаппарат взять можно?»

«Мы на это надеемся».

Вскоре Ремник подъехал к одному из зданий комплекса КГБ в центре Москвы и встретился с Майоровой, которая пришла на интервью в свитере из ангорской шерсти и облегающих джинсах.

О «внутренней кухне» КГБ Майорова не сообщила ничего, но упомянула, что любит «Битлз», играет на гитаре и ходит на свидания не только с сотрудниками КГБ. С нею сделали фото на фоне статуи Дзержинского, и она рассказала, что умеет стрелять из пистолета, прибавив: «Нам стараются привить разнообразные навыки».

Избрание «мисс КГБ» было лишь одной из составляющих широкой кампании по изменению имиджа этой организации. Ее глава Владимир Крючков стал соглашаться на интервью, в которых рассказывал о себе и представлял любопытную версию прошлого этой организации. «Насилие, бесчеловечность, нарушение прав человека, – говорил он корреспонденту итальянской газеты *L'Unita*, – всегда были чужды работе нашей спецслужбы». И хотя время Брежнева было «не лучшим в нашей жизни», КГБ и в этот период действовал в соответствии с существующим законодательством.

КГБ начал также проводить экскурсии по своей штаб-квартире на площади Дзержинского. Экскурсии включали посещение кабинета бывшего председателя КГБ Юрия Андропова на третьем этаже и музея, в котором, кроме залов, посвященных Ленину и Дзержинскому, был и зал с экспонатами, свидетельствующими об успешных операциях, проведенных в последние годы.

В КГБ был создан отдел по связям с общественностью, возглавляемый генералом Александром Карбаиновым, который рассказал одному из западных журналистов, что назначение этого отдела – объяснить миру: «Цель КГБ – служить обществу, а не наоборот».

Таким образом КГБ пытался отбелить свою репутацию среди советского населения не столько осуществляя реальные шаги, сколько создавая иллюзии.

КГБ был скрытой силой, ответственной в Советском Союзе за все, что, казалось бы, происходило автоматически – от единодушного одобрения политики партии на заводских собраниях до повсеместного молчания, которое служило им фоном.

Все диктаторские режимы утверждают, что их граждане счастливы, но советский режим пытался заставить население страны еще и демонстрировать свое «счастье». Эти демонстрации были крайне важны для выживания режима, поскольку именно претензия на создание общества, способного на добровольное единодушие, оправдывала абсолютную концентрацию власти при этом режиме.

КГБ достигал своей цели, заставляя советских граждан играть назначенные им роли в идеологическом спектакле страны с помощью двух отдельных функций. Он создал общие условия для принуждения населения к повиновению, установив надзор за каждым с помощью столь разветвленной сети информаторов, что не было клуба, жилого дома или рабочей бригады, где не работал бы доносчик, и обеспечивая лишение возможности заработать на жизнь каждого, кто проявить политическую независимость. В то же время КГБ, маскируя свою деятельность, делая вид, будто действует в рамках «демократической» идеологии, принимал все необходимые меры для подавления той немногочисленной, выходившей из ряда вон, группы людей, которая осмеливалась публично демонстрировать свое инакомыслие.

Эти две функции были, безусловно, взаимосвязаны. Ведь если в стране, твердо настроенной на представление иллюзорной версии действительности, не подавлять диссидентское меньшинство, конформизм большинства вскоре даст трещину.

Стремление КГБ к созданию иллюзий не было какой-то безобидной прихотью. Мираж единодушия, порожденный монолитным повиновением, производил сильное психологическое воздействие. В ситуации, когда кажется, что все единодушны, человек, имеющий собственное мнение, теряет надежду на возможность защитить свою индивидуальность и временами даже начинает сомневаться в собственном психическом здоровье. Как минимум, он убеждается в своей полной изоляции.

В течение многих десятилетий склонность КГБ к созданию искусственной реальности отражалась на судьбах отдельных людей.

В мае 1977 года, через два месяца после ареста Анатолия Щаранского, Виктор Браиловский, еврей-отказник, заметил, что за ним следят. Его преследовали и пешком, и на машинах, причем очень плотно. Однажды две группы мужчин в темных пальто шли несколько впереди Браиловского и настолько же позади, как бывает перед задержанием. В конце концов Браиловского вызвали в следственный отдел КГБ в Лефортово, где он был допрошен Александром Солонченко, старшим лейтенантом КГБ.

«У меня уже достаточно материалов, чтобы обвинить вас в государственной измене, – сказал Солонченко, шурша какими-то бумагами. – Но мы весьма гуманны. Если вы согласитесь дать показания, мы не будем предпринимать каких-либо действий против вас».

Солонченко вынул написанное от руки обращение к иностранным еврейским организациям.

«Эксперт-графолог дал заключение, что этот антисоветский документ написан вами». Он показал документ Браиловскому, пристально всматриваясь в его лицо. Однако Браиловский не отреагировал. Солонченко положил документ назад и стал спрашивать о других обращениях и встречах евреев, в частности, о встрече евреев-отказников с группой американских сенаторов

в 1975 году. Браиловский опять ничего не ответил. Наконец Солонченко взял еще одно обращение и спросил Браиловского, подписывал ли он его. «Это следствие по делу Щаранского, – сказал Браиловский, – но вы используете мое положение свидетеля, чтобы попробовать возбудить дело против меня».

К удивлению Браиловского, Солонченко прекратил задавать вопросы и разразился пространной речью. Расхаживая по комнате, он высказался по поводу русскоязычных передач «Голоса Америки» и BBC, вспомнил различных диссидентов, включая Сахарова, а также попробовал убедить Браиловского в том, что Юрий Орлов является проплаченным агентом Запада, а западная поддержка диссидентов слабеет. «Скоро мы сможем сделать с вами все, что захотим», – заключил он.

Завершив свою речь, Солонченко снова взял второе обращение и опять спросил, подписывал ли его Браиловский. «Я могу вас обвинить по статье 64 за пять минут, – прибавил он. – Если вы не будете отвечать на вопросы, я вызову сотрудников, и вас немедленно арестуют».

Однако Браиловский опять отказался отвечать, и Солонченко изрек еще один монолог, посвященный анализу ситуации в мире.

Проходили часы, но Солонченко казался неутомимым со своими бессистемными характеристиками внутреннего и международного положения, прерываясь лишь для того, чтобы снова спросить Браиловского о его подписи под еврейской петицией.

«Это вполне безобидная петиция, и ваша подпись под ней не будет означать ничего противоправного, – сказал Солонченко. – Я настаиваю на ответе».

Однако Браиловский продолжал молчать.

В восемь вечера начало смеркаться. В жилых домах через дорогу засветились окна.

«Виктор Львович, – сказал Солонченко, – мы оба понимаем, что это невинный документ и абсолютно невинный вопрос.

Почему вы отказываетесь дать на него ответ на протяжении одиннадцати часов?»

«Мы оба понимаем, что это совершенно невинный документ и абсолютно невинный вопрос, – сказал Браиловский. – Тогда зачем же вы задаете мне этот вопрос на протяжении одиннадцати часов?»

На второй день допросов Солонченко повторил свое предупреждение, что Браиловского могут обвинить в государственной измене, и вернулся к первому рукописному документу, который показывал накануне. Он еще раз напомнил, что эксперты-графологи КГБ опознали почерк Браиловского. Браиловский опять отказался отвечать, и Солонченко разразился новой речью – на сей раз о трагической судьбе евреев, которые покинули Советский Союз. Он пытался доказать, что евреи-эмигранты – сплошь эгоисты и живут на Западе в нищете. Допрос длился десять часов, но Браиловский опять отказался сотрудничать со следствием.

На третий день Браиловский сказал, что хочет сделать заявление. Солонченко дал ему бумагу, и Браиловский написал: «Я отказываюсь давать любые свидетельства по делу Щаранского». После этого Солонченко вышел и вскоре вернулся вместе со старшим следователем КГБ, который сел в кресло, тогда как Солонченко остался стоять, вытянувшись по стойке смирно.

Старший следователь обратился к Браиловскому с серьезным выражением лица. «Вы очень ошибаетесь, если думаете, что избежите наказания, – сказал он. – Вам дадут несколько лет колонии – возможно, не очень много, но мы знаем, что вы болеете, а советские колонии – это не дома отдыха. У вас будет очень мало шансов выжить. Я предлагаю вам подумать над этим два-три дня, и если потом вы опять откажетесь давать показания, это решит вашу судьбу».

На следующий допрос Браиловского вызвали лишь через месяц. Однако, когда он появился перед Солонченко, тот предстал

перед ним уже совсем другим человеком. «Виктор Львович, – сказал Солонченко с наигранной грустью, качая головой, – вы совершили очень плохой поступок. Вы нарушили закон – закон о том, что свидетель должен давать показания. Как вы знаете, диссидентское движение настаивает на соблюдении советской законности. Виктор Львович, из уважения к диссидентскому движению вы обязаны дать показания».

У Браиловского волосы стали дыбом. Потом он рассказывал жене: «Я был готов ко всему, только не к этому». И все же он отказался давать показания.

Впоследствии Браиловского вызывали в Лефортово уже в ноябре. На сей раз следователь был новый – Коваль.

«Виктор Львович, – сказал Коваль, – я хочу знать, почему вы не даете показаний. Возможно, предыдущий следователь вас не устраивал? Солонченко все же очень молод... Но давайте говорить серьезно. Вы ожидаете выездную визу. Мы не можем вам ее дать, пока не услышим ваших показаний».

Несмотря на все, Браиловский снова отказался свидетельствовать против Щаранского, и, в конце концов, ему позволили выехать из СССР.

Галину Кремень допрашивал майор Скалов, который начал с длинной речи на тему кампании президента Картера по правам человека. Он говорил без перерыва. Сперва Кремень вставляла саркастические замечания, но постепенно умолкла. Это был ее первый допрос, и, вопреки собственному желанию, речь Скалова показалась ей местами интересной.

Скалов осудил отказников, которые, по его мнению, пытаются шантажировать власть, и клятвенно заверил, что их тактика не сработает: «Мы не боимся политики Картера и не собираемся уступать никаким отказникам на радость Картеру».

Наконец, в 11 часов, Кремень прервала Скалова вопросом: «Когда будет перерыв на обед?»

«Обед у нас в час», – ответил Скалов, внезапно застигнутый этим вопросом.

«Тогда простите, – сказала Кремень, – мне пора позавтракать». Она достала из сумки яблоко и бутерброд и начала есть в присутствии Скалова. Растерянный Скалов вышел из комнаты и вернулся лишь через полчаса.

Возобновив допрос, он спросил у Кремень, знает ли она Щаранского.

«К сожалению, нет», – ответила та.

«Почему “к сожалению”?» – спросил Скалов.

«Для вас он преступник, но я его таковым не считаю».

Скалов спросил также, известно ли Кремень, каким образом список отказников с их реальными адресами попал на Запад и какова была роль Щаранского в отправке этого списка и в организации демонстраций. Кремень сказала, что на все эти вопросы она не может дать ответа. Тогда Скалов показал ей разные ходатайства, подписанные ею и Щаранским, и спросил, не она ли их подписывала. Галина ответила утвердительно.

Скалов спросил, видела ли она фильм «Скупщики душ», показанный по советскому телевидению. Там шла речь о советских активистах-евреях, в том числе о Щаранском.

«Я видела его, – ответила Кремень, – и считаю отвратительным».

Окно в кабинете Скалова было открыто, оно выходило во двор тюрьмы. Вдруг Кремень услыхала крик. Она спросила Скалова, что это. Тот ответил, что это в другом кабинете идет фильм по телевизору. И прибавил, что когда люди не дают показаний добровольно, они могут попасть в эту тюрьму.

«Что вы слышали от своего мужа о Щаранском?» – спросил Скалов.

«Я ничего не могу сказать о своем муже».

«Что вы слышали о связях Щаранского с ЦРУ?»

«Я не знаю Щаранского».

«Были ли вы знакомы с первой или второй женами Щаранского?»

«Я думала, что у него была лишь одна жена».

«Вы думаете, что после всех ваших ходатайств разрешение на выезд получит больше отказников?»

«Это не имеет отношения к делу».

«Щаранский – наглец, – сказал Скалов. – Похаживает, словно глава государства». И стал топтаться по комнате, пытаясь изобразить походку Щаранского.

Наконец Скалов вернулся к своему столу и сказал: «Я считаю, Александр Лунц [один из первых лидеров еврейского эмиграционного движения] был умнее Щаранского. Лунц уехал, а Щаранский – в тюрьме. Может, в науке Щаранский что-то и смыслит, но по жизни он – дурак».

Аркадия Мая, ученого-историка на пенсии, тоже допрашивал майор Скалов. На людей поколения, к которому принадлежал Май, определенное психологическое давление оказывал уже сам факт вызова в Лефортово, откуда многие не вернулись в 1930-х годах.

Утром Скалов не задавал прямых вопросов относительно Щаранского, которого Май все равно знал не очень близко. Зато он спросил Мая о его пенсии и о том, что ему писали родственники из Израиля. Май сказал, что это не относится к делу. Впрочем, содержание писем его родственников не было тайной для КГБ, потому что они читали всю его почту.

Скалов от души рассмеялся.

«Зачем все эти вопросы?» – спросил Май.

«Мы просто хотим побольше о вас узнать».

После обеда Скалов начал расспрашивать Мая о деятельности Щаранского.

«Я хочу знать, в чем его обвиняют», – сказал Май.

Однако вместо ответа Скалов начал длинный монолог, суть которого заключалась в том, что для успеха следствия КГБ и отказники должны сотрудничать.

«По моему мнению, – сказал Май, – это не сотрудничество, а скорее борьба между вами и мной».

«Что вы имеете в виду? – спросил Скалов. – Классовую борьбу?»

Май опять поинтересовался, в чем обвиняют Щаранского.

Скалов какое-то мгновение колебался, но в конце концов сказал: «Щаранский передавал секретную информацию западным корреспондентам».

«Каким это образом? – спросил Май. – Щаранский встречался с корреспондентами открыто».

«Он передавал ее в спичечных коробках».

Потом Скалов спросил Мая, что тот думает о встречах Щаранского с конгрессменами и сенаторами.

«Почему вы меня об этом спрашиваете? Меня там не было».

«Да, это правда, мы знаем обо всех, кто там был», – сказал Скалов.

«Тогда почему спрашиваете меня?»

«Хотим знать ваше мнение».

«Мое мнение здесь не играет роли».

В какой-то момент Скалов вышел из кабинета и вернулся с несколькими документами, в том числе с экземпляром русскоязычной израильской газеты и некоторыми фотокопиями. Он спросил Мая, был ли Щаранский автором письма в эту израильскую газету об избиении участников демонстрации советских евреев. «Вы должны знать, кто писал это письмо, – сказал он Маю, – потому что там упоминается ваша фамилия».

«Я не буду об этом говорить, потому что это газетная статья, а не документ. Кроме того, моя фамилия там напечатана неправильно».

Скалов показал Маю несколько фотокопий коллективных писем от евреев, но Май и их отказался комментировать. «Никогда не показывайте копий историку, – сказал он. – В истории известно множество примеров фальсификаций». И начал читать целую лекцию на эту тему, с многочисленными примерами успешных подделок, вспомнив в том числе дело Шереметьевых, которые, подделав документы, стали владельцами огромных имений в XVII веке.

«Подделка была убедительной, – рассказывал Май, не обращая внимания на Скалова, напрасно пытавшегося его прервать, – что ее не могли распознать вплоть до XX века».

«Вы подписывали что-либо из числа этих коллективных писем?» – спросил наконец Скалов, показывая на документы.

«Это преступление?»

«Что вам известно о шпионаже Щаранского?»

«Ничего. Я считаю это обвинение абсурдом».

Май смотрел, как Скалов пишет на документе: «Ничего». Заметив, что тот записал не весь ответ, он настоял на дописывании слов: «Я считаю это обвинение абсурдом», – а также замечаний, сделанных Скаловым относительно передачи Щаранским информации иностранным корреспондентам в спичечных коробках. Но Скалов отказался.

Владимир Слепак знал Щаранского лучше, чем многие другие из отказников, но его допрашивали последним – возможно, потому, что КГБ сознавал: добиться от него сотрудничества почти нереально, если перед тем не склонить к тому остальных.

Слепак начал с того, что попросил следователя Коваля рассказать, в чем суть обвинения, выдвинутого против Щаранского. Коваль ответил, что его обвиняют по статье 64 – «измена Родине».

«В статье 64 огромное количество параграфов, – парировал Слепак. – Например, отказ возвращаться из-за грани-

цы, шпионаж, побег из СССР. По какому параграфу обвиняют Щаранского?» Коваль ответил, что это тайна следствия. «Вы должны назвать мне конкретное обвинение против Щаранского, – упорствовал Слепак . – Иначе я буду считать следствие необъективным и откажусь свидетельствовать».

К удивлению Слепака, Коваль разволновался. «Мы хотим знать правду, – сказал он. – Если правда будет в пользу Щаранского, тем лучше для него. Почему вы не хотите помочь Щаранскому?»

«Вы можете все перекрутить, – ответил Слепак. – Я скажу что-то в пользу Щаранского, а вы используете это против него».

Коваль пытался заверить его, что КГБ проводит свои расследования строго в рамках законности, но Слепака, которому на протяжении многих лет не давали выехать в Израиль «законно», убедить было невозможно.

«Я знаю много примеров, когда ваша организация отправляла невинных людей в лагеря или на смерть», – стоял он на своем.

«Это было тридцать лет назад», – уточнил Коваль.

«Ничего не изменилось».

«Вы говорите – ничего не изменилось, но мы сейчас вас не бьем, не загоняем иголки под ногти».

«Многие из тех, кто совершал преступления при Сталине, теперь на свободе, их так и не привлекли к ответственности, – сказал Слепак. – А Сталин теперь – опять герой».

«Он очень много сделал для страны», – заметил Коваль.

Тогда Слепак вытащил написанное им заранее заявление с отказом от участия в следствии и попросил Коваля присоединить его к делу. Коваль отказался.

«Где же ваша объективность? Я пытался дать свидетельства в пользу Щаранского, а вы отказались их принять».

Слепак написал еще одно заявление и попросил Коваля отдать его руководителю следственного отдела КГБ, но Коваль и его отклонил, прибавив: «Если я отказался взять, то и он отка-

жется». Выходя из комнаты, Слепак попробовал отдать заявление часовому, но тот тоже его не взял, объяснив: «Я никогда не беру никаких бумаг».

В конечном счете из более чем двухсот отказников, допрошенных по делу Щаранского, ни один не дал свидетельств против него, что было настоящим актом сопротивления. Такое поведение отказников объяснялось тем, что они считали расследование не попыткой выяснить правду, а фарсом, призванным предоставить большую убедительность заранее предопределенному обвинительному вердикту. Единственным, кто действительно дал важные показания, был не отказник, а Роберт Тот, московский корреспондент *Los Angeles Times*, который принял это расследование всерьез.

Непосредственное участие Тота в следствии началось в четверг 11 июня 1977 года, когда он был схвачен сотрудниками КГБ на улице, где московский биофизик Валерий Петухов передавал ему свою статью по парапсихологии. Тота привезли в следственный изолятор КГБ в Лефортове и отпустили после того, как сообщили ему, что он находится под следствием по обвинению в шпионаже и не может покинуть страну. Роберт Тот завершал свою работу в Москве и уже получил авиабилеты на 17 июня, то есть ему оставалось до отлета всего шесть дней.

Допрос Тота начался в понедельник и касался не статьи, полученной им от Петухова, а исключительно его связей со Щаранским. Принимая во внимание угрозу обвинения в шпионаже, Роберт Тот дал следователям детальные показания по этому вопросу. Щаранский был для Тота одним из главных источников информации, и репортер во всех подробностях рассказал об их отношениях, считая, что ему как американцу нечего скрывать. По совету американского посольства Тот подписал протокол допроса – несмотря на то, что тот был написан по-русски, а Тот этого языка не знал.

Возможности КГБ относительно фабрикации данных были безграничными, но в конечном счете именно показания Тота помогли сотрудникам комитета собрать против Щаранского доказательную базу, которую они представили в июле 1978 года. Перечень секретных предприятий, якобы найденный дворником в мусорном контейнере во дворе дома, где проживал Тот, был привязан к Щаранскому, которого обвинили в государственной измене и приговорили к 12 годам исправительной колонии.

Однажды холодным декабрьским днем Василия Бараца, сотрудника советского Генштаба, вызвали в кабинет полковника Кожевникова, руководителя психиатрического отделения больницы Генштаба.

Барац за месяц до того подал рапорт об отставке, договорившись с Кожевниковым, что основанием будет указан «комплекс страха». При этом Кожевников знал, что реальной причиной была невозможность для Бараца дальнейшей работы в Генштабе, потому что КГБ начал расследование его деятельности как английского шпиона.

Получив вызов, Барац немедленно поехал к Кожевникову.

«Извини, – сказал тот, когда Барац вошел в кабинет, – но твой рапорт не принят. Тебе придется вернуться в госпиталь Бурденко».

Барац отрицательно покачал головой: «Я туда не вернусь». Кожевников посмотрел на него с сочувствием. «Если не пойдешь сам, тебя отвезут туда силой».

Внезапно Кожевников поднялся, вышел в коридор и стал звать санитаров. У каждого психиатра есть ключ, чтобы запереть пациента, однако Кожевников оставил двери открытыми, и Барац понял, что это значит. Он выбежал из кабинета, спустился по лестнице на первый этаж, вбежал в больничную аптеку и через служебный ход выскочил на улицу. Там он побежал по Гоголевскому бульвару в направлении Кропоткинской площади.

Был ненастный зимний день. Убедившись, что его никто не преследует, Барац перепрыгнул через металлическое ограждение бульвара, перебежал улицу и углубился в лабиринт арбатских переулков, двигаясь по направлению к огромному открытому бассейну, построенному на месте бывшего собора Христа Спасителя. Он в отчаянии думал, что же теперь делать, и в конце концов пошел к приятелю, у которого и переночевал.

Побег Бараца из больницы был лишь последним эпизодом в том кошмаре, который начался много лет тому назад. В 1960-х годах Барац, тогда еще студент Высшего военно-инженерного училища в Киеве, предложил на комсомольском собрании выгнать из училища алкоголика Федотова. Федотова выгнали, но по завершении учебы Барац получил назначение в вычислительный центр Генштаба СССР, где кадровиком оказался дядя Федотова, а его отец – заведующим сектором, в который был направлен на работу Барац. В довершение Барац еще и рассорился с Анатолием Тишиным – сотрудником КГБ, занимавшимся контрразведкой в вычислительном центре. Тишин, казалось, чувствовал какую-то личную неприязнь к солдатам. Он называл их в присутствии Бараца «отбросами», и это едва не привело к драке между ним и Барацем.

Через несколько месяцев после этого с Барацем начали происходить странные вещи. Он сдавал экзамен по немецкому языку в Москве. Экзамен принимали трое гражданских и два офицера. Экзаменаторы полчаса задавали вопросы по-немецки и в конце сказали Барацу, что он сдал экзамен на отлично. Однако, к его удивлению, после этого военные начали разговаривать с ним по-английски. Барацу оставалось только стоять перед ними с бессмысленной улыбкой, потому что он ничего не понимал.

Наконец один из мужчин в штатском сказал ему уже по-русски: «Почему вы скрываете свое знание английского языка?»

«Прошу прощения, – ответил Барац, – я не знаю английского».

«Конечно же, знаете, – сказал второй офицер. – Вы не просто говорите по-английски, вы говорите замечательно – лучше меня».

Барац не верил своим ушам. Он повторил, что не говорит по-английски.

«Говорите, – сказал второй офицер. – Вы знаете английский, но по каким-то причинам хотите это скрыть».

Через десять дней после этого Барац столкнулся с замполитом своего подразделения, полковником Левкиным. «Почему вы скрываете, что говорите по-английски? – спросил его Левкин. – Чего вы боитесь? Вы должны гордиться. Кто из нас здесь говорит на иностранном языке?» Барац стал объяснять, что не знает английского, но Левкин посмотрел на него с явным неодобрением и пошел прочь.

Барац всегда отличался аккуратностью и на своем рабочем месте привык складывать бумаги в определенном порядке. Теперь же он стал замечать, что каждый раз, как он возвращается к своему столу, этот порядок оказывается нарушенным. Коллеги – без какой-либо видимой причины – начали называть его «бандеровцем». Барац действительно был родом из тех мест в Карпатах, где действовал Степан Бандера и его соратники. Летом 1973 года он в состоянии некоторого смятения поехал в отпуск в Закарпатье, где и встретил свою будущую жену Галину Кочан, которая, судя по всему, тоже находилась под надзором КГБ.

В 1968 году дядя Галины Кочан, Михаил Дямко-Дэвис, живший в Калифорнии, в Беверли-Хилз, приехал в Советский Союз повидаться с родственниками. Он эмигрировал еще до Первой мировой войны и приезжал в Закарпатье лишь в 1931 году, на похороны своего отца. Со своей сестрой и Галиной он встретился в Ужгороде и когда узнал, как они живут, решил подарить им машину. Михаил пошел в валютный магазин и заказал для своей племянницы экспортную модель «Волги». Она была дороже обычной, с большим количеством хромированных деталей и бо-

лее мощным мотором. Но заказывать ее надо было через Киев, потому Галина не смогла ее получить, пока дядя был в стране. После окончания срока визы Михаил уехал к себе домой, а когда Галина наконец пошла забирать машину, ей выдали обычную «Волгу». Галина сначала отказалась ее принимать, но ей сказали, что выбора у нее нет.

Несколько месяцев спустя Галина Кочан ехала на своей машине по безлюдной сельской дороге, когда мимо нее промчалась машина ГАИ, в которой сидел сотрудник автоинспекции Слепичев. Он присутствовал при продаже Галине «Волги». Когда Галина подъехала к заправке, Слепичев развернулся и тоже остановился там. Выйдя из машины, он заговорил с Галиной, объяснил, что ее обманули, и пообещал помочь ей написать в соответствующие инстанции письмо о том, как это было сделано. Однако через две недели Галина прочитала в газете, что Слепичев «трагически погиб». Поговаривали, что его убили, но подробностей никто не знал. Позже до Галины дошли слухи, что ее «Волга» досталась начальнику областной милиции по фамилии Лучок, ставшему вскоре заместителем начальника Ужгородского управления КГБ. От этих новостей Галине стало тревожно, и с тех пор она жила в страхе перед местным КГБ.

После смерти Слепичева Галина Кочан стала замечать признаки слежки. В деревне Усть-Черная, где она преподавала в школе, у нее случались мелкие конфликты с другими учителями, и однажды, когда она собиралась ехать к матери, в другое село, за 250 километров, механик заглянул под капот ее машины и сказал: «Ты смотри, что они собирались с тобой сделать». Передняя ось была почти перепилена, и во время набора скорости она бы сломалась.

В 1970 году Галина Кочан поступила в аспирантуру Ужгородского университета, где у нее тоже скоро появилось чувство, что за ней ведется наблюдение. Она была членом партии с 1963 года, и теперь на партийных собраниях ее критиковали за

то, что она «красит ресницы, носит брюки, ездит на машине и рекламирует американский образ жизни».

Однако инцидент, который окончательно убедил Галину в преследовании со стороны КГБ, случился в 1972 году в Москве. Она поехала туда для исследовательской работы и остановилась в университетской гостинице. На второй неделе пребывания там в ее номер подселили молодую медсестру из Калинина, которая представилась Альбиной. Ситуация с Альбиной с самого начала показалась Галине странной. Ей самой достаточно трудно было поселиться в эту гостиницу, предназначенную прежде всего для университетских преподавателей, даже при наличии всех необходимых документов из Ужгорода. Однако Альбине, которая проживала неподалеку от Москвы и могла бы ежедневно добираться туда электричкой, удалось поселиться в гостинице на неопределенный срок и, очевидно, без проблем. К тому же она, казалось, никогда не покидала номер – еще спала, когда Галина уходила, и была уже там, когда Галина возвращалась.

Несколько раз после возвращения в гостиницу Галина замечала, что в ее вещах кто-то рылся. Она всегда очень аккуратно их складывала, а здесь все было смято и разбросано. Однажды она вернулась, забыв что-то в номере, и увидела, как Альбина роется в ее чемодане. Галина заметила также, что с ее мылом, зубной пастой и губной помадой тоже будто что-то делали – у них был странный запах, словно к ним что-то подмешали, а нижнее белье Галины было влажным.

Как-то утром, через десять дней после того, как Альбина поселилась в номере, Галина проснулась и заметила на руках и лице красные пятна. Было восемь утра, шторы раздвинуты, и комната была залита солнечным светом. Альбина уже встала и одевалась. Галина почувствовала слабость и увидела, что пятна на ее теле покрыты пузырьками, как гусиная кожа. Зная, что Альбина – медсестра, Галина попросила ее посмотреть, что у нее с кожей.

Альбина захохотала. «Ну, наконец!» – вымолвила она сквозь смех.

Галину охватил безумный ужас. Она схватила Альбину и потянула ее к окну. «Рассказывай, что ты здесь делаешь! Рассказывай, что все это значит, иначе я выброшусь из окна вместе с тобой!» Держа Альбину железной хваткой, Галина открыла окно, и в комнату ворвался шум с проспекта Вернадского. В этом шуме никто не услышал бы крика. Галина стала поднимать девушку, чтобы выбросить ее из окна, и Альбина поняла, что ее действительно собираются убить.

«Подожди! – завизжала она. – Я все расскажу».

Галина поставила ее на пол и повела в ванную. Там Альбина полностью открыла кран над ванной. Она побледнела, ее губы посинели, голос изменился, став писклявым и будто придушенным.

«Я умоляю, только никому не говори, – сказала Альбина. – Если они узнают, что я тебе рассказала, они меня тоже убьют, я знаю такие случаи». И она рассказала, что ее подослали с целью заразить Галину какой-то инфекцией. Она не знала, какой именно. «Как ты могла? – спросила Галина. – Что я тебе сделала?»

«Они меня заставили, – ответила Альбина. – Если бы не я, это сделал бы кто-то другой». И прибавила, что это дело рук КГБ. Потом она впала в такое же шоковое состояние, как и Галина, и все повторяла, чтобы Галина никому об этом не рассказывала, что она постарается ее вылечить, что Галина может ее уничтожить, но и ее саму тоже уничтожат.

«Я не могу с тобой разговаривать, – сказала Галина. – Ты сделала то, что сделала».

Альбина ушла, а Галина села на кровать и просидела так час или два, не зная, что делать, о чем думать. Наконец она вышла из гостиницы и пошла по городу. Был замечательный весенний день, везде машины чистили улицы, ремонтировали бордюры – шла подготовка к визиту президента Ричарда Никсона, который должен был ознаменовать собой начало политики разряд-

ки. Галина вспомнила случай с Борисом Спиваком, историком из Ужгородского университета, которого нашли мертвым в этой самой гостинице год назад. Официальной причиной смерти была названа болезнь сердца, но в Закарпатье никто в это не поверил. Сразу после похорон местная власть забрала квартиру, где проживала жена Спивака с двумя детьми.

Галина Кочан решила остаться в Москве до конца своей командировки, а потом, уже в Ужгороде, обратиться за помощью к знакомому врачу, которому доверяла. Однако когда через две недели она вернулась домой, симптомы уже исчезли, и она отчитывалась в университете о научных исследованиях, проведенных ею в Москве. В Ужгороде ее осмотрел знакомый врач, сказал, что она больна и ей необходимо лечение, но не вдавался в детали, а лишь дал ей адрес врача в Киеве. Через месяц Галина поехала в Киев, и врач сообщил ей, что у нее повышенный уровень лейкоцитов в крови. Он дал ей рецепт на какие-то таблетки и сказал, что ожидает ее через месяц. Однако когда через месяц Галина опять к нему приехала, оказалось, что его перевели в Казахстан, в Караганду. Потом она месяцами искала эти таблетки, но не нашла их ни в одной аптеке.

Через какое-то время в санатории Перечинского лесохимического комбината Галина познакомилась с Барацем, которого ей представил как сотрудника Генштаба Степан Малицкий – главный врач санатория и приятель Галины. Барац предложил Галине вместе выпить кофе, но она сначала отказалась, потому что побаивалась, что контакт с ней может навредить карьере Бараца. Когда Малицкий оставил их наедине, она рассказала Барацу о Слепичеве и машине, а также о некоторых других подробностях своей ситуации. Барац выслушал ее внимательно, но, похоже, не воспринял все это серьезно.

«Если Москва возьмется за расследование, – сказал он, – то поймет, что это действия местного КГБ, и все выяснится». А по-

том прибавил: «В действительности у меня самого были проблемы с КГБ. Но этих деятелей всегда можно поставить на место».

В конце концов Галина согласилась встретиться с Барацем, и через неделю они пообедали вместе в зеркальном зале ресторана «Верховина» в Ужгороде, где в окружении собственных отражений детально обсудили все, что с ними случилось. В Ужгороде они встречались еще несколько раз, а когда Галина опять поехала в Москву, чтобы поработать в зале диссертаций Ленинской библиотеки, Барац встретил ее на вокзале. Через месяц в доме родителей Бараца в закарпатском селе Перечин состоялась их свадьба.

Несмотря на подозрение в скрытом знании английского языка, Барац вскоре после бракосочетания получил от начальника контрразведки вычислительного центра специальный пропуск, который позволял ему заходить в любое здание Министерства обороны с портфелем, не оставляя его в гардеробе. Эта привилегия предоставлялась обычно лишь военным высокого ранга. Однако и теперь в рабочее время его везде сопровождали, а за Галиной начали следить.

Осенью 1973 года Барац с высокой температурой попал на два месяца в больницу. Однако, как ни странно, его там не лечили. Когда он однажды на это пожаловался, то шутя спросил, каких признаний от него здесь ожидают.

Наконец Бараца выписали из больницы, но весной 1974 года его здоровье опять ухудшилось, и он опять был госпитализирован. На этот раз он лежал в военном госпитале им. Бурденко, где с ним побеседовал психиатр, капитан Владимир Ютин, который сначала предложил Барацу пройти обследование в психиатрическом отделении, а потом дал понять, что выбора все равно нет. В психиатрическом отделении полковник Григорий Колупаев сказал Барацу, что тот и ему необходим курс глюкозы и витаминов. В течение восемнадцати дней ему делали инъекции и давали разные таблетки – как он впоследствии узнал, в

том числе и седуксен. В результате этого лечения Барац начал непрестанно говорить. Когда через восемнадцать дней его перевели из психиатрического отделения, он не мог самостоятельно ходить, правая половина тела была частично парализована, а память ухудшилась. В конце концов его выписали из госпиталя, но не позволили вернуться к бывшей работе специалиста по вычислительной технике, а поручили, как обычному солдату, ремонтные и погрузочные работы.

Поняв, что с военной карьерой покончено, Барац пошел к полковнику Кожевникову в психиатрическое отделение клиники Генштаба и спросил, может ли он выйти в отставку по медицинским показаниям. Именно тогда Кожевников и предложил Барацу подать рапорт об отставке в связи с «комплексом страха».

Однако рапорт не спешили удовлетворить, поскольку армейские психиатры сомневались в наличии у Бараца психического расстройства. Кожевников сказал Барацу, что ему надо вернуться в госпиталь им. Бурденко, и тот, напуганный этой новостью, бежал.

Спрятавшись в квартире приятеля, Барац обдумал ситуацию и понял всю ее серьезность. Если он не вернется на службу, его сочтут дезертиром. Если вернется, его упрячут в психиатрическую лечебницу. Наконец он позвонил с улицы Кожевникову и вернулся в его кабинет, где с ним побеседовали восемь психиатров. После этого его направили в неврологическое отделение Третьего центрального военного госпиталя в Красногорске, где его осмотрел главный врач Олег Лимонов и признал психически здоровым. В сопровождении Лимонова Барац вернулся в госпиталь им. Бурденко, где его объявили физически непригодным к военной службе и отправили в отставку.

После увольнения Барац надеялся, что его неприятности с КГБ закончились. В марте 1975 года он начал работать в вычислительном центре Министерства лесного хозяйства, но и здесь его продолжали преследовать по той же схеме. Люди вокруг

него непрерывно спрашивали о его политических взглядах, а восьмидесятилетняя уборщица сказала ему, что ночью в помещение заходят какие-то люди.

И все же прямых инцидентов не было больше года, и за это время Галина Кочан получила место младшего научного сотрудника в МГУ. Летом 1976 года супруги Барац решили провести отпуск в Закарпатье. Как-то вечером они гуляли в Обаве, маленьком селе, расположенном в долине между лесистыми холмами, когда на них неожиданно напал десяток юнцов, вооруженных палками и камнями. Поваленные на землю, Барацы стали кричать и звать на помощь. В соседнем доме зажегся свет, и нападавшие убежали.

Поднявшись, Василий и Галина увидели, что они все в крови, а также заметили, что из-за угла, откуда на них напали, за этой сценой наблюдает знакомый им сотрудник местного КГБ на мотоцикле. Они спросили его, почему он не помог, а тот ответил: «Хороших людей не бьют».

Когда Барац вернулся на работу, то заметил, что атмосфера ухудшилась. Стукачи заводили антисоветские разговоры, а из его стола начали исчезать рабочие материалы. Однажды вечером Василий попросил о помощи Дмитрия Черешкина, заместителя директора вычислительного центра. «Вася, – сказал тот, – я ничего не могу поделать. Тебе конец. Твоя голова должна лежать на блюде до конца года».

В декабре 1976 года один из сотрудников дал Барацу экземпляр повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вскоре после этого, во время обеденного перерыва, кто-то похитил его портфель, а в 17 часов было созвано партийное собрание для обсуждения подозрения, что Барац потерял какую-то запрещенную литературу. В конечном счете Бараца спасло то, что участники собрания стали жаловаться, что руководство транжирит их время на обсуждение глупостей. Однако в начале 1977 года Бараца понизили в должности на три категории, и вместо

200 рублей в месяц он стал получать 130. Потом ему приказали ехать в командировку вместе с Виктором Астаховым, заместителем начальника отдела, но перед этим Астахов вызвал его к себе и сказал, что узнал, что Барац – английский шпион и хочет использовать Астахова как прикрытие.

«Мы никуда не поедем, – заявил он Барацу. – Вы собирались расширить свою шпионскую сеть. Вот мы вас и разоблачили».

Теперь Барац понял, что КГБ не оставил его в покое. Единственное, чего он не знал, – арестуют его или уволят.

В начале мая Бараца уволили – якобы в ходе сокращения штатов, но в действительности штат увеличился, что делало его увольнение незаконным. Несмотря на это, профсоюз вычислительного центра утвердил увольнение.

Потеря работы в министерстве убедила Бараца, что в советской системе ему не на что надеяться. Он попробовал восстановиться в должности, обратившись непосредственно в министерство и даже в региональное управление КГБ. Галина Кочан обращалась к Юрию Андропову, но все было напрасно. В конце концов Барац решил, что больше некуда обращаться, поэтому 4 июля 1977 года послал письмо Брежневу с сообщением, что они с Галиной отказываются от советского гражданства и хотят покинуть СССР. Причиной он назвал безосновательное преследование со стороны КГБ. Вскоре после этого Галину перевели с ее должности преподавателя истории партии в МГУ с месячным окладом в 105 рублей на должность завхоза с зарплатой 75 рублей.

Супруги Барац подали официальное заявление на эмиграцию, но в московском ОВИРе им сказали, что они не указали достаточных оснований для отъезда из страны. Эта аргументация шокировала Бараца. «Мы бежим от репрессий», – сказал он. На это ему лишь повторили, что нужны более убедительные основания.

Проходили месяцы, и у Барацев заканчивались деньги. В это время Василий научился готовить обед за пятьдесят копеек в

день. Килограмм хлеба стоил 20 копеек, кочан капусты – 10-15 копеек, а на остальные деньги можно было купить картофель, постное масло, лук и сушеные грибы, и из всего этого сварить суп. В конце 1977 года Василий начал распродавать свои книги.

Наконец Барацам удалось связаться с американским консулом Робертом Принглом относительно получения приглашения в США. Однако через несколько дней после встречи с Принглом Василия вызвали в местное отделение милиции, где его встретили начальник милиции, прокурор, какая-то женщина по фамилии Печкина и мужчина в штатском – как предположил Барац, сотрудник КГБ. Они спросили Бараца, почему он не работает и пригрозили ему привлечением к ответственности за тунеядство. Позже, вызвав его повторно, ему вручили направление на работу, и с 1 июля 1978 года Василий стал работать в прачечной разнорабочим за 105 рублей месяц.

Два следующих месяца Барацы продолжали свои попытки эмигрировать, но не достигли в этом особого успеха. В конце концов после неудачи с очередной попыткой получить помощь от одного московского партийного работника, который поначалу отнесся к ним доброжелательно, Барац решил, что единственный шанс получить разрешение на эмиграцию – это стать диссидентами. Он познакомился с другими людьми, не принадлежащими к еврейским отказникам, которые также безуспешно пытались покинуть страну, и они организовали Комитет за свободу эмиграции.

С Барацем меня познакомили члены этого комитета, и во время нашей первой встречи он рассказал мне свою историю во всех подробностях, объяснив при этом, что все, что с ним случилось, не является таким необычным, как кажется.

«КГБ в каждом может заподозрить иностранного шпиона, – сказал он, – потому что КГБ всегда ищет шпионов. Сотрудник КГБ может взять кого-то в разработку как шпиона, чтобы отомстить, уничтожить соперника или ради мелчной личной ме-

сти. А когда дело открыто, закрыть его уже трудно. Каждое движение подозреваемого в шпионаже истолковывается как подтверждение первоначального обвинения. Если он прибегает к грамотной стратегии, чтобы оградить себя от преследования, – избегает стукачей или сопротивляется провокациям, – это рассматривается как типичное поведение шпиона. В результате материалов дела становится все больше».

Мне пришлось сотрудничать с Барацем в обнародовании дел кое-кого из обращавшихся в комитет за помощью, и их правдивость неоднократно подтверждалась. Однако годы лишений в атмосфере тотальной слежки, которую КГБ удалось создать вокруг Барацев, не прошли для них бесследно.

В частности, находясь в сплошном окружении информаторов и шпионов, Василий научился быстро их распознавать и гордился, что легко замечает, когда за ним следят. Он рассказал, что в соседней с ними квартире, через стенку, установлены устройства для прослушивания. Он вспомнил, что когда они с женой поселились в этой квартире, в смежном жилье обитало семейство, любившее пить, танцевать и играть на гармошке. Однако позже там все стихло и так оставалось в течение трех лет – за исключением того, что каждое утро в 6 часов включалось радио. Барац сказал, что в жаркие летние дни, когда окна его квартиры были открыты настежь, как и окна смежной, можно было заглянуть к соседям с помощью зеркала, прикрепленного к длинной палке. И Барац увидел там пустую комнату и какой-то большой металлический аппарат. Случалось Барац видел и сотрудника КГБ, который работал с этим аппаратом.

Барац считал также, что за ним с Галиной следят и из квартиры снизу, и даже из наблюдательного пункта на другой стороне улицы. Как-то ночью он подвел меня к окну и показал на маленький огонек на чердаке противоположного дома, под самой крышей. Именно оттуда, сказал Барац, агенты КГБ наблюдают за ними.

Комитет за свободу эмиграции занимался делами широкого круга людей – евреев, русских, обычных рабочих и тех, кого преследовали по религиозным мотивам. Кроме встреч с иностранными журналистами и работы в прачечной, Барац писал еще дневник под названием «Отъезды», где содержались детальные истории людей, которым было отказано в разрешении на выезд из страны, с комментариями Бараца.

Впрочем, эта группа просуществовала недолго, потому что Барац и другие ее члены стали обвинять друг друга в сотрудничестве с КГБ. Когда группа распалась, Барацы приобщились к движению пятидесятников – христианской секты, члены которой наиболее деятельно добивались права на отъезд из страны.

Однако теперь Барацев стало трудно отыскать. Временами они исчезали на неделю, путешествуя на машине Галины по Прибалтике или городам Украины, и потом не рассказывали, где были. Если раньше Василий сам охотился за иностранными журналистами, то теперь стал неуловимым, и я виделся с ним все реже. Завершилось все тем, что 9 августа 1982 года, во время посадки на самолет в Ровно, его задержали и избили сотрудники КГБ. Когда Галина прилетела в Ровно, чтобы выяснить, что случилось с ее мужем, местные власти отказались даже подтвердить, что Барац находится в городе. С третьей попытки, приехав в Ровно 23 августа, она наконец узнала, что его содержат в заключении в Ростове-на-Дону. Там же 9 марта 1983 года арестовали и саму Галину. Однако обоим предполагаемым «шпионам» было предъявлено обвинение не в шпионаже, а в антисоветской пропаганде и агитации.

Ранним июньским вечером 1980 года московский физик Виктор Блок и двое его друзей, тоже физики из Института органической химии , Юрий Хронопуло и Геннадий Крочик, заняли места в кинозале клуба им. Макаренко в центре Москвы и ожидали начала фильма об Индии, как вдруг услышали сирены и

звук тормозов на улице. Минуту спустя в зал ворвались двадцать милиционеров в форме и в штатском с криками: «Оставаться на местах! Никто не давал разрешения на показ фильма!» Потом милиция переписала фамилии всех собравшихся и уехала.

Прошло четыре месяца. Хронопуло, Крочик и Блок больше не ходили в кино, но часто посещали лабораторию биоэлектроники в переулке Фурманова, в которой занимались экспериментами в области парапсихологии. Из-за этого Хронопуло как-то вызвали в партком института, где, кроме институтских партийцев, его ожидали трое незнакомых ему людей: молодой мужчина, явно из КГБ, инструктор райкома и какой-то старый большевик.

Заседание началось в типично советском стиле.

«Как вы думаете, почему вас сюда вызвали?» – спросил сотрудник КГБ.

«Понятия не имею, – ответил Хронопуло. – Это вы расскажите».

«Ладно, – уступил гэбешник. – Скажите, вы интересуетесь парапсихологией?»

«Да».

«Вы посещаете лабораторию биоэлектроники в переулке Фурманова?»

«Да, я даже подал туда заявление».

«А, вы и заявление подали? – вмешался старый большевик, повторяя слова Хронопуло с подчеркнутой иронией. – А вы подумали, что теперь ваши данные лежат на столе у американской разведки?»

«Мои данные есть в каждом журнале, где я когда-нибудь публиковал свои научные труды», – заметил Хронопуло.

«А как относительно фильма? – спросил инструктор. – О чем он был?»

«Не знаю, – ответил Хронопуло, – я же так его и не смог посмотреть».

«Ну, а как он назывался?»

«Я и этого не знаю».

«Вы – доктор наук, – сказал старый большевик, – и вам не стыдно, что вас втянули в какую-то секту? Как там она называется?»

«Общество Криштаны», – подсказал инструктор, хотя было видно, что он не совсем уверен в этой информации.

«Я не знаю о таком обществе», – сказал Хронопуло.

Это почему-то обозлило старого большевика. «Вы должны заниматься наукой!» – гаркнул он.

«Вы хотите сказать, что я не имею права интересоваться парапсихологией в свое свободное время?»

«Конечно, можете, – сказал гэбешник, почему-то пытаясь разрядить атмосферу, – но вы должны остерегаться возможных провокаций. Вас могут попробовать втянуть в религиозную секту».

Вскоре после этого директор института вызвал к себе Блока.

«Вы ходите в лабораторию биоэлектроники, – сказал он, – и КГБ от этого не в восторге. Я должен вас предупредить: если вы и в дальнейшем будете ходить туда, может возникнуть ситуация, когда я буду вынужден вас уволить».

Аналогичные предупреждения получили и Хронопуло с Крочиком, и все трое прекратили посещения лаборатории.

Увлечение Блока парапсихологией началось в 1962 году, когда он решил сходить в лабораторию биоинформации у Курского вокзала, услышав, что там проводят эксперименты по телепатии. Он знал, что лаборатория работает по средам, и когда приехал туда впервые, спустился по лестнице в подвал и вошел в слабо освещенную комнату. Там за столом сидел невысокий добродушный мужчина сорока с чем-то лет и что-то деловито писал. Блок сказал, что хочет ознакомиться с работой лаборатории, и мужчина энергично пожал ему руку и выдал членский билет.

Когда Блок пришел в лабораторию в следующую среду, в подвальной комнате уже не было стола, а мужчина, выдавший ему билет, куда-то исчез. Блок попробовал что-то выяснить у других людей, которых встретил в подвальном помещении, но когда

спросил их об этом человеке, то один из них ответил: «Мы тоже не знаем, кто это был».

Блок больше не возвращался в ту лабораторию, но в 1968 году, на последнем курсе Физико-технического института, он вместе с товарищами провел в общежитии некоторые эксперименты по телепатии. Один из собравшихся сосредотачивал свое внимание на одной из пяти карт, которые лежали на столе, а другой пытался прочитать его мысли с расстояния в десять метров.

Тогда же Блок посетил лекцию Юрия Каминского, посвященную его телепатическим экспериментам – обмену сигналами с актером Карлом Николаевым. Лекция проходила в клубе. О ней нигде не сообщалось, но зал был полон. Каминский не только рассказывал о собственных экспериментах, но и приводил разнообразные примеры, в том числе вспомнил одного медиума из Австрии, который разыскивал исчезнувших детей и расследовал преступления.

Блок и после этого интересовался исследованиями в области парапсихологии, но не мог найти никаких публикаций на эту тему. Постоянно ходили слухи о разных экспериментах, но он мог лишь догадываться о масштабах этой работы.

Закончив учебу, Блок устроился на работу в Московский радиотехнический институт и вместе с друзьями продолжил свои эксперименты по парапсихологии. Однажды он встретил девушку, которая училась вместе с ним. Она дала ему приглашение на Третий всесоюзный съезд парапсихологов, который должен был состояться в Институте гражданской авиации в Москве. Блока поразило, что в Советском Союзе может произойти такое событие, как всесоюзный съезд парапсихологов – при том, что согласно марксизму-ленинизму, парапсихологии не существует.

По дороге Блок встретил невысокого седого мужчину лет пятидесяти и спросил у него, как пройти к Институту гражданской авиации. Мужчина ответил, что тоже идет туда. «Меня зовут

Александр Спиркин, – сказал он, протягивая руку. – Вы, возможно, читали мой учебник по марксистско-ленинской философии».

«Кто же не знает ваш учебник? – ответил удивленный Блок. – Но разве марксистско-ленинская философия может сочетаться с интересом к мистицизму?»

«Вполне может, – ответил Спиркин добродушно. – Диалектическая философия имеет то преимущество, что сегодня можно включить в нее все, что отрицалось вчера, в том числе и мистицизм».

На съезд собрались около четырехсот человек, и зал был полон, хотя это событие никак не рекламировалось. Первым выступающим был Геннадий Сергеев, доктор наук из Ленинграда, который сделал сообщение об экспериментах с Кулагиной, – одной из нескольких экстрасенсов в Советском Союзе, способных передвигать предметы. Потом биофизик из Новосибирска рассказал, как одному экстрасенсу удалось провести лабораторную мышь по лабиринту, а также о том, как присутствие мыши, которая уже однажды преодолела лабиринт, влияло на другую, не имевшую такого опыта мышь и помогало ей пройти лабиринт быстрее. Докладчик из лаборатории биоинформации, которую Блок посещал несколько лет назад, описывал попытки угадать содержимое закрытых коробок.

Под конец дня один из выступающих сказал: «Мы надеемся собраться опять в будущем году». Но ни даты, ни места проведения следующего съезда указано не было. Блок так и не узнал, кто организовал этот съезд, что происходило на первом и втором съездах, и состоялись ли потом четвертый и пятый съезды. Ему также никогда не попадались никакие публикации, посвященные тем работам, о которых говорили на этом съезде.

Время шло, и Блок уже начал терять надежду на то, что ему удастся удовлетворить свой интерес к парапсихологии. Однако именно тогда, когда он был уже готов отказаться от этой идеи,

его познакомили с московским мистиком Валерием Сергеевичем Аверьяновым, известным также под именем Вар Авера.

Однажды к Блоку пожаловал его друг Игорь Степанков, который работал дворником, а также занимался изучением йоги и труда Шпенглера «Закат Европы». Степанков часто беседовал с Блоком о йоге, но именно в тот день предложил другу встретиться с его новым учителем. Блок согласился, и они поехали в центр Москвы, где в подвальной квартире старого двухэтажного дома проживал Аверьянов.

У светловолосого Аверьянова было некрасивое, но выразительное узкое лицо. В его комнате стоял небольшой стол, заваленный рукописями и книгами, шкаф с личными вещами и длинная деревянная скамья – по-видимому, для гостей. На стене висели две больших картины: одна, абстрактная, изображавшая, похоже, какую-то космическую войну, другая представляла собой вполне реалистический женский портрет. В комнате находились также двое учеников Аверьянова – Валера и Наташа.

Аверьянов спросил Блока, что, как он думает, означают эти картины. Немного поколебавшись, Блок сказал, что видит в них стремление соединить материнство с битвой в космосе. Аверьянову очень понравился этот ответ. «Вы первый, кто угадал смысл этих картин, – одобрил он и продолжил, указывая на собравшихся: – Валера у нас – бог войны, Игорь – наивысшее божество, а вы будете богом мудрости».

Вскоре Блок узнал, что Аверьянов и его ученики занимаются тем, что они называли «пространственным каратэ» – причинением боли на расстоянии. Аверьянов рассказывал о естественном движении энергии в теле, как ее накапливать, направлять и распространять. Когда он с кем-то «боролся», его ученики собирались вместе и медитировали о том, кого он хотел уничтожить. Игорь позже рассказал Блоку, что Аверьянову удалось вызвать сердечный приступ у одного из ведущих йогов Москвы.

«Йоги пишут, что надо предотвращать распространение зависти и ненависти, – говорил Аверьянов. – Но это нонсенс. Мы должны распространять ненависть. Мы победили в войне с фашизмом лишь благодаря ненависти. Ненависть является источником силы и энергии». Аверьянов считал также, что наибольшая угроза для русских исходит от китайцев и национальных меньшинств, потому нужно уничтожать китайцев. «Секрет заключается в проникновении в человеческий разум. Если бы у меня было 75 учеников, вместе мы смогли бы изменить агрессивную природу китайцев, мистически перевоспитать их, чтобы они делали все, что мы захотим. Мы можем изучить этот процесс, испытав наши методы на бурятах».

Еще Аверьянов говорил, что КГБ преследует евреев в Советском Союзе, и это хорошо, но надо делать это эффективнее. Он дал также понять, что ненавидит любые национальные меньшинства. На протяжении многих лет Аверьянова периодически помещали в различные психиатрические лечебницы, и наибольшими своими врагами, после национальных меньшинств, он считал психиатров, державших его в психушках, тогда как он был самым нормальным из всех людей. Единственное место, сказал он, где к нему относятся с уважением и чрезвычайно серьезно воспринимают его занятия пространственным каратэ, – это КГБ.

Аверьянов заверил, что его ученики беспрекословно выполнят любые его приказы. «Если я прикажу им раздеться, выйти на улицу и что-то крикнуть, они и это сделают».

Относительно того, что нужно для овладения пространственным каратэ, он сказал: «Если я увижу по вашим глазам, что вы имеете какое-то собственное мнение, вы никогда не усвоите этот метод. Вы должны научиться подчиняться».

Блок больше не встречался с Аверьяновым, но постоянно слышал о нем, потому что Москва была наводнена его книгами, брошюрами и буклетами. Большинство из них были объемом

в 100–200 страниц, и с них делали качественные фотокопии. Аверьянов писал о своем личном опыте, о своей философии, о китайской угрозе и о необходимости уничтожать национальные меньшинства. Его публикации всегда были подписаны его именем, поэтому КГБ в любой момент мог их пресечь, однако произведения Аверьянова множились и распространялись. Это свидетельствовало о явном интересе КГБ к его деятельности и подтверждало слова Аверьянова о том, что КГБ единственный воспринимал его идеи всерьез.

В одной из своих брошюр – «Теория и практика психоэнергетической борьбы с всемирным китайским экспансионизмом» – Аверьянов отвечал на вопрос двух своих учеников. Он объяснял методы подготовки специалистов по пространственному каратэ, которые должны «довести свой мозг до состояния чистой магнитной пленки, на которой могут быть записаны лишь наши идеи, – сжато и по существу, как военные команды». Книга завершалась тем, что ученики Аверьянова вызывают китайских мистиков на бой: «Они увидят нашу силу. И это будет последним, что они увидят».

Через какое-то время после знакомства с Аверьяновым Блок стал работать в Институте органической химии, где к нему вскоре присоединились Хронопуло и Крочик, иногда посещавшие редкие лекции по парапсихологии в Москве, узнавая о них из слухов. Однажды они попали на лекцию Сергеева в Историческом обществе, посвященную «биополям». Сергеев утверждал, что биополе способно определить, в каком веке произошло то или иное событие. Он показывал небольшую темную коробку величиной с транзисторный радиоприемник, имевшую антенну и шкалу со стрелкой. Когда он к кому-то подносил этот аппарат, стрелка двигалась вдоль шкалы. Когда к устройству подносили копья XII века, он тоже реагировал и давал «показание». Историки одобрительно кивали головами.

После лекции Хронопуло и Крочик спросили, можно ли посмотреть на схему этого устройства. Сергеев пригласил их на свою следующую лекцию в Зоологическом музее МГУ. Хронопуло и Крочик рассказали об этом Блоку и предложили пойти вместе. После этой лекции Сергеев показал трем физикам схему продемонстрированного им прибора и рассказал о его способности регистрировать биополе. Однако его объяснения показались им неубедительными с научной точки зрения. Они попробовали объяснить Сергееву некоторые элементарные физические принципы, но тот упорно повторял одно и то же, словно пластинка, которую заело. Они поняли, что дискутировать с ним нет смысла и прекратили встречаться с Сергеевым.

В начале 1980-х годов Блок, Хронопуло и Крочик услыхали от сотрудников Физического института им. Лебедева о формировании в Институте физкультуры группы для проведения экспериментов по парапсихологии и присоединились к этой группе. Другие участники группы тоже узнали о ней по слухам. Все они должны были обучаться основам парапсихологии. В первом семестре студентов учили, как руками улавливать биологическое поле вокруг человека. Во втором они изучали органы тела и способы различения здоровых и больных органов.

Когда трое физиков убедились, что реально могут ощущать сигналы, посылаемые телом, они решили попытаться научно обосновать существование биополя. Они стали думать, существует ли какая-то связь между этим биополем и чакрами – психоэнергетическими центрами, согласно йоге. Йога учит, что определенные звуки – мантры – вызывают реакцию в чакрах. Физики произносили эти звуки и собственными руками убеждались в существовании чакр, но они хотели увидеть, как можно подтвердить эти результаты с помощью приборов. В группе были врачи, тоже заинтересованные в этом. Они хотели знать, могут ли парапсихологи влиять на те же точки, что и поддающиеся воздействию акупунктуры.

Преподавателем и организатором этой группы при Институте физкультуры был радиоинженер Сергей Митрофанов, который работал также в лаборатории биоинформации, где Блок был восемнадцать лет назад. Хронопуло с Крочиком пошли в эту лабораторию, куда теперь можно было попасть лишь по специальному пропуску, и увидели перед ней скопище людей, пришедших просить помощи в лечении. Неоднократно из лаборатории кто-то выходил и призывал людей разойтись. Митрофанов познакомил Хронопуло и Крочика со Спиркиным, который за эти годы не потерял интереса к парапсихологии, а потом они встретились с Николаем Носовым – руководителем лаборатории и армейским полковником.

Лаборатория была строго засекреченной. Попасть туда можно было только в сопровождении кого-либо из сотрудников. Людей с улицы туда не пускали. Посторонние, не из числа сотрудников, читали в лаборатории лекции по йоге, целительству и теориям устройства Вселенной. В лаборатории одни были учеными, другие – мистиками. Когда кто-то из посетителей спрашивал, чем занимается лаборатория, ему отвечали: «Поступайте и узнаете».

Хронопуло и Крочик, к которым теперь присоединился Блок, пришли на еженедельный семинар, где представили присутствующим, которых было около 40 человек, свое предложение. Они сказали, что хотят использовать ультразвуковые волны для влияния на чакры людей и измерять возможные изменения в электрическом поле вокруг человеческого тела. Для этих экспериментов им нужны приборы, и они надеются получить их в лаборатории. В частности, им нужен был чрезвычайно чувствительный электрометр.

Реакция аудитории на это предложение оказалась неоднозначной. Носов начал нервничать. «Что вы здесь делаете? – кричал он. – Для чего вы сюда пришли?» Другие были настроены более дружелюбно. Несколько сотрудников московских научных институтов, участвовавших в работе лаборатории, отреаги-

ровали на предложение физиков с энтузиазмом. Однако вскоре выяснилось, что для получения необходимых приборов придется затратить столько энергии, что на что-либо другое не останется ни времени, ни сил.

Товарищи посещали семинары три вторника подряд, пытаясь заинтересовать людей своей идеей, но вскоре поняли, что их энтузиазм не оценили. Чтобы стать сотрудником этой лаборатории, надо было заполнить анкету, предоставить фотографию и пройти проверку у экстрасенсов на «соответствие». Ничего из перечисленного Хронопуло, Крочик и Блок не сделали. И когда они в четвертый раз пришли на семинар, им довольно резко указали на дверь.

Когда Блок, Хронопуло и Крочик пытались заинтересовать лабораторию биоэлектроники своим предложением, определенные советские чиновники прилагали усилия к закрытию этой лаборатории на том основании, что ее деятельность не соответствует материалистическим принципам. Будущее лаборатории неоднократно обсуждалось руководством Научно-технического общества им. Попова, и в конце концов было решено, что лаборатория должна отказаться от ненаучных методов. Хронопуло, Блоку и Крочику окончательно запретили посещать эту лабораторию после милицейской облавы в клубе им. Макаренко и официальных предупреждений в институте, где они работали.

Все трое продолжали изучать парапсихологию с Митрофановым в Институте физкультуры, пока в январе 1981 года партком института не изменил своего отношения к этому кружку. Митрофанова вызвали на партком и сказали, что парапсихология – не марксистская наука, и мистицизм может привести людей к религиозному мировоззрению. Однажды вечером Митрофанов собрал вместе членов кружка и сказал: «Нам запретили здесь собираться. Мы продолжим свои занятия, но это должно быть сделано частным образом».

Многие из участников группы действительно продолжили посещать занятия в частном порядке, но проводить работу кружка с меньшим количеством людей и без организационной структуры стало намного тяжелее. В то же время власть начала всячески преследовать тех, кто проявлял интерес к парапсихологии.

Хронопуло опять вызвали к руководству института – на сей раз к заместителю директора, который предупредил его, что в КГБ обеспокоены продолжением его встреч с парапсихологами и что это может навредить его карьере. Ему предложили также уйти с поста руководителя лаборатории. Заместитель директора заявил, что «руководящие должности могут занимать только люди, разделяющие нашу идеологию».

Однако вскоре случилось нечто странное. К Хронопуло подошел коллега (тот, что когда-то пригласил Блока на просмотр фильма в клубе им. Макаренко) и спросил: «Юрий Георгиевич, что бы вы сказали, если бы вам предложили заниматься парапсихологией в одном закрытом учреждении?» Хронопуло поинтересовался, почему он спрашивает. «Интересуюсь сугубо теоретически», – был ответ.

«Я не хочу работать в закрытом учреждении, – ответил Хронопуло. – Я не хочу добавлять парапсихологию к средствам войны».

Этот коллега подходил к Хронопуло еще несколько раз. «Послушайте, – говорил он, – если бы вы работали в закрытом институте, то, по крайней мере, удовлетворили бы свой научный интерес».

«Лучше не иметь с этим ничего общего», – ответил Хронопуло, и коллега прекратил свои попытки.

После всего этого Хронопуло, Блок и Крочик поняли, что, несмотря на преследование парапсихологии со стороны КГБ, государство хочет получить от нее максимальную выгоду, особенно если ее можно как-то использовать в военных целях. Парапсихология была запрещена, но лаборатории в переулке

Фурманова позволили работать – чтобы привлекать всех, кто интересуется данной темой, и обнаруживать среди них желающих поработать на советскую военную машину.

Кроме парапсихологии, Блок и Хронопуло уже давно интересовались спиритизмом. Блок впервые участвовал в спиритическом сеансе еще в 1960-х годах в Ярославле.

Способ, которым общались с духами, был аналогичен используемому спиритуалистами во всем мире. Они рисовали стрелку на тарелке, подогретой на свече, а потом полукругом писали буквы на листе бумаги. Поставив тарелку на лист, они как можно легче касались ее пальцами и следили за ее движением, чтобы получить ответы на вопросы.

Однажды декабрьским вечером всех троих пригласили на встречу в квартиру некоего сорокапятилетнего парапсихолога, занимавшегося исследованиями способов омоложения. Им пообещали, что там они могут встретиться с интересными людьми.

Квартира, где происходила встреча, была заполнена книгами по оккультным наукам, астрологии и парапсихологии. На кухне была система труб, соединенная с устройством для очистки воды, которое включало механизм ионизации воды ионами серебра. Вода проходила также через активированный уголь и систему магнитов. Хозяин квартиры объяснил, что объединил в одну систему все методы очистки воды, которые когда-либо описывались в журналах. Полученную воду он замораживал в морозильнике, а затем пил талую воду. Он уверял, что эта вода значительно его омолаживает, и действительно, выглядел активным и бодрым мужчиной, хотя и немного параноидального типа.

Когда Блок и Хронопуло сели в гостиной, их познакомили с двумя мужчинами, которых они раньше никогда не встречали. Эти двое назвали свои имена и отчества, но не назвали ни фамилий, ни мест работы. Они сказали, что не спрашивают о фамилиях Блока и Хронопуло и не хотят, чтобы их спрашивали. Однако, несмотря на явную готовность позволить Блоку и

Хронопуло сохранить анонимность, они не скрывали, что много знают о физиках, и выражали большое уважение к их способностям. Началась беседа о парапсихологии и проблемах передачи информации. Наконец один из них, более активный, сказал, что они хотят провести эксперимент с помощью тарелки, потому что им нужен ответ на один очень важный вопрос. Они рассказали, что имеют информацию, якобы один чешский парапсихолог по фамилии Павлита нашел способ создавать биополе без человека, пользуясь каким-то аппаратом. Это открытие имеет для них большой потенциальный интерес, потому им нужно найти этого Павлиту – к сожалению, он два года тому назад исчез, и с тех пор о нем ничего не слышно.

«Если он умер, – сказал более разговорчивый из этих двоих, – то не похоронен ни на одном кладбище. Мы проверили все кладбища в Чехословакии».

Блок и Хронопуло моментально утратили всякое желание участвовать в этом эксперименте. Проверить все кладбища в Чехословакии была способна лишь одна организация.

«Как правило, – заметил Блок, пытаясь как-то выпутаться из ситуации, – подобные вопросы остаются без ответа». Однако те двое настаивали на попытке и, разогрев тарелку, задали свой вопрос и получили туманный ответ. Тогда Блок спросил у них: «Если вы хотите найти этого человека, почему не расспросите чешские власти?» «Чехи могут нам не ответить, – ответил второй, более спокойный мужчина. – Они никому не рассказывают о том, что делают. Мы им не доверяем». А другой прибавил: «Мы считаем, что мистицизм – это один из каналов информации».

«Что вы понимаете под каналом информации?» – спросил Блок.

«Вот, например, женщина в короткой юбке, с открытыми коленками. Она вас не видит, но начинает прикрывать колени, когда вы на нее смотрите. Это телепатическая связь между людьми, которая тоже может стать средством сбора информации. Можно разработать что-то наподобие телепатической передачи

данных, предназначенной только одному человеку, и никто другой не сможет эту информацию перехватить».

Блок сказал, что их с Хронопуло интересует лишь исследование механизма передачи информации, а также диагностика и исцеление болезней. На это более словоохотливый ответил, что для них важен не способ действия этого механизма, а способ его использования.

Когда Блок и Хронопуло собрались уходить, эти двое мужчин обратились к ним, правильно назвав их имена и отчества (хотя при знакомстве они называли лишь свои имена), и сказали, что работают в Институте дистанционных коммуникаций, который является чрезвычайно секретным военным учреждением. Они пригласили физиков на семинар, который должен был состояться в одном из районных отделов ГАИ.

Хронопуло идти туда отказался, чувствуя какую-то опасность в дальнейших контактах. Блок же на семинар пришел, послушал там выступление философа, говорившего о теории паранормальных явлений, включительно с телепатией, а также увидел целителя, который демонстрировал свои диагностические способности. Еще одним демонстратором был преподаватель марксизма-ленинизма Жариков, умевший передвигать предметы. На следующем семинаре Жариков должен был показать эти эксперименты детальнее. Один из мужчин, пригласивших Блока, дал ему номер телефона Жарикова, но когда Блок позвонил по этому номеру, чтобы узнать место и время этой демонстрации, тот ответил, что она не состоится. Позже Блок узнал, что она все-таки состоялась, но без Блока, так как своим нежеланием сотрудничества они с Хронопуло доказали, что не представляют интереса для главных покровителей мистицизма и парапсихологии в Советском Союзе.

9

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

С политической точки зрения, в условиях террора большинство примут правила игры, но найдутся такие, кто этого не сделает, – как урок тех стран, которым было предложено «окончательное решение»: «это могло бы произойти» в большинстве из них, но это не произошло везде. С точки зрения человечества, чтобы эта планета оставалась подходящим местом для человеческих существ, ничего больше и не требуется, ничего больше и не пожелаешь.

Ханна Арендт. «Эйхман в Иерусалиме»

МОСКВА, 6 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА

Низкое северное солнце освещало фасады длинных рядов жилых пятиэтажек, оставляя их торцы в темно-синей тени, а сильный ветер раскачивал на балконах жесткое от мороза выстиранное белье, развешенное на обледенелых веревках, и сдувал снег с перил.

Бесконечная зима лишь подчеркивала однообразие и безрадостность жизни в этом юго-западном районе Москвы и усили-

вала ощущение, что в Советском Союзе ничто и никогда не изменится. Однако именно этим утром, когда на дорогах началось движение автобусов, а по обледеневшим тропам между редко посаженными березами пошли по своим делам закутанные женщины, в одном из этих домов состоялась встреча, доказавшая, что в СССР что-то все же изменилось, и это изменение достаточно значимо, чтобы повлиять на жизнь миллионов людей.

Окно кухни запотело от пара, рвущегося из давно кипящего на плите чайника. Ростислав Евдокимов и Лев Волохонский, которые только что вышли из лагеря для политических заключенных, сидели, ожидая, пока их приятельница заказывала телефонный разговор с одним из советских эмигрантов на Западе. «Здравствуй, – сказала наконец женщина после длительного ожидания, – я звоню из дому. Волохонский и Евдокимов сидят рядом. Они приехали вчера поездом».

«Не может быть!» – сказал эмигрант.

«Подожди, сейчас дам трубку Волохонскому».

«Алло!»

«Левка! Не может быть!»

«И мне тоже так кажется, – сказал Волохонский. – Это какой-то сон. Но половину нашего вагона составляли политзаключенные. Они нас всех там сфотографировали – в одном и том же галстуке, единственной рубашке и одном на всех пиджаке – и выдали свидетельства об освобождении. В нашей 35-й зоне, как они утверждают, больше нет политзаключенных».

Трубку взял Евдокимов.

«Мы не знаем, какова ситуация в 36-й зоне, – сказал он. – Похоже, что этот приказ об освобождении их не касается. Но, может, есть другой приказ. Так или иначе, они не выпускают людей из спецзоны».

«Что за указ?»

«Никто не знает, – ответил Евдокимов, – тем более что там был не один указ. Среди ехавших с нами одних освободили по

указу 6463, других – по указу 6462. В чем между ними разница, никто не знает».

«Ясно одно, – вставил Волохонский, – у них теперь не хватает политзаключенных, чтобы заполнить три лагеря. По-видимому, они собираются закрыть один или два лагеря. Думаю, 35-ю зону оставят».

«И они вот так прямо вас освободили? – спросил эмигрант. – Не через следственный изолятор?»

«Именно так», – подтвердил Волохонский.

«И на каких условиях?»

«Условие для всех было одно. Мы должны были заявить, что не будем заниматься антигосударственной деятельностью, хотя никто и не признавал, что мы когда-нибудь ею занимались. После этого, пообещали, прокурор от имени Верховного Совета издаст постановление о помиловании. Ну и спросили нас, кто чем будет заниматься после освобождения. Здесь уже каждый говорил свое. Потом нас привезли в Чусовую. Вокзал был полностью оцеплен, но нам позволили свободно пройти и посадили на поезд».

Трубку опять взяла москвичка. «Я прихожу домой, а мне говорят: сядь, чтобы не упасть. Тебя ждет Волохонский».

«Надеюсь, – сказал Евдокимов, – что это лишь начало процесса. Надо только быть умными и надеяться на лучшее».

Этот телефонный разговор Волохонского и Евдокимова стал предвестником конца советской системы.

В отличие от других тираний, требовавших лишь повиновения, советская система создала мир симулякров, мнимых образов, который стал мощным орудием психологического доминирования и обеспечил режиму возможность править с минимальным применением грубой силы.

Утром 1 мая на Красной площади в Москве из громкоговорителей гремели марши, а на площадь выходили колонны демон-

странтов с лозунгами «Решения XXV съезда партии – в жизнь!», а за ними – шеренги спортсменов со знаменами и бумажными цветами. Когда все были на месте, на площади мгновенно наступила тишина. Члены Политбюро стали подниматься по лестнице на мавзолей Ленина, а молодежь – размахивать флагами и выкрикивать приветствия им, пока все они не выстроились наверху. После этого демонстранты начали отбивать такт взмахами тысяч красных знамен и скандировать «Слава СССР!», «Слава советскому народу!». Затем они двинулись по площади, идя в ногу и размахивая флагами, а на смену им двинулись парадные платформы местных предприятий и колонны остальных участников демонстрации с флагами, цветами, воздушными шариками и портретами Ленина и Брежнева.

Эта первомайская демонстрация была наглядным примером того, как в Советском Союзе миф всегда оборачивался реальностью, а реальность тонула в мифе. Эту демонстрацию жестко контролировали, но в свете ясного утра было легко представить, что это действительно стихийное проявление всенародной поддержки режима.

До образования Советского Союза единственным общепризнанным способом проверки научной гипотезы был практический опыт. Однако вместе с попыткой трактовать марксизм-ленинизм как науку ситуация изменилась. Вместо сравнения идеологии с действительностью, которая поддается наблюдению, действительность начали фальсифицировать, чтобы она согласовывалась с идеологией, и этот процесс полностью отвечал определенной космологии, где любые понятия, получая свое неизменное значение, но только не из трансцендентной сферы, толковались лишь как отражение переменчивых «потребностей» рабочего класса.

Этому режиму удалось создать фиктивный мир потому, что он имел дело с народом, который носил в себе глубоко въевший-

ся в душу тайный страх, а потому боялся открыто выражать свое несогласие. То, что массовый террор отступил, не имело особого значения. Каждый гражданин знал, что свободное высказывание собственного мнения карается, и этого было достаточно для воздействия на поведение людей в стране, где при отсутствии гарантированных прав каждый чувствовал себя зависимым от милости власти.

Когда этот режим в 1987 году выпустил на волю политических узников, люди действительно начали избавляться от страха. Как следствие, притворный мир, порождавший иллюзию единодушия, начал понемногу разрушаться, а в конечном счете и рухнул, что сделало его крах, как и крах системы, которой он служил опорой, практически неизбежным.

ВОЛОГДА, ОКТЯБРЬ 1981 ГОДА

Иллюзия единодушия создавалась в каждом советском городе. Мы с Эндрю Нагорски, корреспондентом журнала *Newsweek*, вышли из здания вокзала и пошли через площадь к гостинице «Вологда». Зарегистрировавшись и распаковав вещи, мы отправились на прогулку по городу, представлявшем собой смесь старины и новизны. Бетонные пятиэтажки чередовались с полуразвалившимися деревянными домами в окружении берез и высокого бурьяна. Примерно через десять минут мы дошли до центра, напоминавшего парк культуры и отдыха начала XX века – вдоль главной улицы выстроились магазины с овальными витринами, украшенные рельефами и колоннами. Впрочем, этим воскресным утром центр был почти безлюдным, поэтому мы решили взять такси до Кирилло-Белозерского монастыря, находящегося в двух часах езды. Оттуда мы поехали в Кириллов, отделенный от монастыря небольшим парком.

Посетить Вологду мы решили еще и потому, что это была родина «вологодского масла» – наилучшего в Советском Союзе, и именно отсюда было бы логичным писать о дефиците продуктов в стране. Кроме того, люди Северной России известны своим терпением, и мы хотели посмотреть, не теряют ли они это терпение в ситуации, которая явно ухудшалась.

В Кириллове мы двинулись вдоль одной из улиц, пока не наткнулись на неряшливое двухэтажное кирпичное здание торговых рядов. Мы зашли в магазин, над которым была вывеска «Мясо». Там в полумраке стояли в длинных очередях пожилые женщины с авоськами, а на прилавках мяса не было и в помине – лежали лишь глыбы замороженной кильки. На прилавке с маслом, масла не было – лишь несколько пачек маргарина.

Я спросил у одной из женщины в очереди, можно ли здесь купить масло.

«Масло? – переспросила она удивленно. – Какое масло? Масла нет».

Вдруг где-то позади нас кто-то воскликнул: «Кто сказал, что нет масла?». Старушка, с которой я разговаривал, побледнела, а я стал записывать, что происходит. «Что вы пишете?» – спросил мужчина в черной кожаной куртке, стоявший теперь между нами.

«А вам какое дело?» – ответил я ему несколько раздраженно.

«Я сейчас милицию вызову», – пригрозил он. И, развернувшись, вышел из магазина.

Я опять попытался заговорить со старушкой, но теперь та была напугана. «Я ничего не знаю», – сказала она.

Пошли в овощной магазин, где в продаже не было свежих овощей, кроме моркови в больших контейнерах, капусты, лука и свеклы. Мы стали оглядываться, ища кого бы расспросить, как тут в магазин вошел еще один мужчина в черной кожанке. Во избежание нового столкновения мы решили уйти.

На улице начинало смеркаться. Над близлежащими полями подул ветер и закружились снежные вихри, похолодало, в небе

на западе солнце обрамляло оранжевыми контурами темные тучи. Мы пошли дальше по улице, больше похожей на грязевой поток, и подошли к молочному магазину, где люди с бидонами стояли в очереди за разливным молоком. Я спросил старушку из очереди, можно ли в этом магазине купить масло.

«Нет, сынок, – ответила она, – масла нет, только маргарин».

Вдруг откуда-то вынырнул мужчина средних лет и начал ругаться, повторяя слово «сметана». Чтобы не создавать пожилой женщине проблем, мы вышли из магазина.

Ничего больше не узнав в Кириллове, мы вернулись в Вологду.

Утро понедельника было хмурым. Когда мы с Энди пошли по магазинам, чтобы получить представление о продовольственном снабжении, улицы были уже заполнены людьми. В магазине на проспекте Мира не было ни мяса, ни масла, ни молока. Я спросил продавщицу, бывает ли здесь масло.

«Иногда бывает, – ответила она, подумав. – Редко, но бывает. Зайдите позже».

На колхозном рынке продавалось немного свинины и сало. Я побеседовал с колхозниками, а Энди их сфотографировал. Но и здесь вдруг появилось двое молодых людей подозрительного вида и начали мешать Энди. Колхозники быстро оборвали разговор.

Возвращаясь в гостиницу, мы поговорили еще с пожилой продавщицей в центральном книжном магазине. «Да, проблемы есть, – сказала она, вздыхая. – Но и Москва не сразу строилась. Мы оптимисты. Мы стали первой социалистической страной в мире. Есть проблемы, но мы считаем, что любые трудности можно преодолеть».

Ужинали мы в гостиничном ресторане, где к нам присоединилась Люба – преподавательница английского языка. Мы спросили ее о ситуации с продовольствием в Вологде.

«Существуют проблемы временного характера, – ответила она, – но по сравнению с тем, что мы пережили во время войны, какие-то перерывы в снабжении никого не волнуют».

На другой день утром мы опять пошли в центр Вологды, где попытались (на этот раз успешнее) пообщаться с прохожими, а потом решили поехать за 130 километров, в Череповец, где находится большой металлургический комбинат.

По дороге мы разговаривали со своим водителем, который на наши вопросы о ситуации с продуктами заметил, что если люди хотят мяса, они могут поехать за ним в Москву. Предприятия, сказал он, организуют «колбасные туры». Официальная цель таких поездок – посещение музеев или мавзолея Ленина, но люди проводят там время в московских магазинах.

«Разве не странно ездить в Москву, чтобы купить мясо, произведенное в вашей собственной области?»

«Столица есть столица», – ответил он.

Мы въехали в Череповец, минуя островки закопченных деревянных домов в окружении нагромождений угля, железнодорожные сортировочные станции, и наконец остановились в квартале жилых пятиэтажек. Зайдя в продуктовый магазин, мы спросили продавщицу, когда будет в продаже масло.

«Мы масла больше не получаем», – ответила она тоскливо. Тогда я спросил о мясе. Она покачала головой и сказала: «Мяса вообще не завозят». В другом магазине молоко продавалось лишь для детей до двух лет, но продавщица сказала, что после 11-ти утра нигде в Череповце нельзя свободно купить молоко.

Однако все это людей, казалось, особо не волновало.

«Как-то перебьемся, – сказала нам женщина на улице. – Кто-то достает продукты на рынке, кто-то – в столовой, кто-то – по знакомству. На Западе магазины полны, а дома ничего нет. А здесь в магазинах – ничего, а дома есть все».

Следующее утро в Вологде было облачным. Я рано вышел из гостиницы на прогулку, и когда остановился, чтобы посмотреть, как рабочие бросают в костер бревна от старого разобранного дома, ко мне подошел какой-то незнакомец и стал кричать, что я приехал в Вологду, чтобы «поливать ее грязью». Вернувшись в гостиницу, я услышал от Энди, что какой-то прохожий обругал и его тоже. Позже, когда Энди собирался сфотографировать длинную очередь перед молочным магазином, молодой мужчина стал прямо перед объективом, и чем больше Энди старался его както обойти, тем активнее тот маневрировал, заслоняя очередь от фотокамеры.

Мы ушли оттуда и направились к мэрии, где нас принял сам мэр Вологды Владимир Парменов. Он признал, что определенный дефицит продовольствия имеется, но обвинил в этом плохие погодные условия, которые уничтожили урожай, а также напряженную международную обстановку.

«Наш народ понимает, что чудес не бывает, – сказал он. – Наш народ помнит Великую Отечественную войну, когда не было семьи, в которой кого-нибудь не оплакивали бы. Ни одна страна в мире не пострадала так, как Советский Союз».

После посещения мэрии мы вышли на площадь, остановили двух старушек и спросили, где в Вологде можно купить масло. Они сказали, что его в продаже нет, а потом, услышав наш акцент, спросили, откуда мы. Мы ответили, что приехали из Америки, корреспонденты.

«Почему Америка нам угрожает?» – спросила одна из женщин.

«Америка не угрожает вам», – сказал я.

«Тогда зачем вы создаете нейтронную бомбу?»

В это мгновение какой-то неряшливый подросток, став между нами и женщинами, сказал, указывая на мэрию: «Если вам нужна информация, то вам нужно туда». Но самоуверенность, с

которой подросток к нам обращался, заставила обеих женщин быстро завершить беседу.

Вечером мы упаковали вещи и отправились на вокзал. Увиденное там лишь усилило впечатление какой-то космической пассивности. В полумраке зала ожидания единственными цветными бликами были красные погоны военных. В креслах с прямыми спинками люди сидели, сложив руки, закрыв глаза, с мешками картофеля у ног, и были похожи не на пассажиров, а на какой-то человеческий груз, пересылаемый к другому месту назначения невидимой силой, которую они не способны ни контролировать, ни понять.

Иллюзия единодушия в Вологде была типичной для любого советского города, и впечатление полного отсутствия несогласных лишь усиливало нашу уверенность в том, что эти рамки сознания установлены режимом. Однако основой процесса создания виртуальной реальности оставались репрессивные учреждения – исправительно-трудовые лагеря и психиатрические больницы.

На пространствах огромной страны места заключения создавали невидимый, но всем известный мир и формировали характер видимого мира в таких городах, как Вологда.

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ

Первым полюсом этого невидимого мира были лагеря для политзаключенных, где людей изнуряли принудительным трудом и подвергали постоянным моральным издевательствам. За наименьшую попытку протеста против нарушения своих прав узника упекали в карцер – каменный мешок, где рацион питания гарантировал медленную смерть от голода.

Поскольку любой свободомыслящий человек представлял собой потенциальную угрозу той иллюзии единодушия, которая

была основной гарантией стабильности государства, задача этих лагерей состояла не просто в наказании диссидентов, но и в принуждении их к отказу от политической деятельности. Узники обычно сопротивлялись, но давление было безжалостным и непрестанным.

Дождливым осенним утром Галина Корягина вышла из уральского села Половинка. С двумя сумками продуктов в руках и рюкзаком за спиной она стала подниматься по раскисшей дороге на холм. Она шла медленно, часто останавливаясь и ставя сумки в грязь. Наконец она достигла вершины холма и увидела вдали, в лесу, вышки заброшенного рудника.

Вблизи этого рудника располагался трудовой лагерь, в котором был заключен муж Галины Анатолий. С момента его ареста прошло девять месяцев, и это должно было быть их первое свидание за все время.

Корягина остановилась отдохнуть и вдруг услышала позади какой-то шум. Она обернулась и увидела, что ее догоняет старик на конной упряжке. В телеге стояли бидоны, которые он вез в лагерь – по-видимому, для отходов. Подъехав ближе, возница остановил телегу, и Галина спросила у старика, не подвезет ли он ее до лагеря. Тот согласился и даже помог ей погрузить сумки.

«Откуда у русских женщин столько сил? – сказал дед. – Говорят, что женщины – слабый пол. А вишь, сколько сумок доперла на гору. Да еще и на каблуках. В гости едешь?»

«Да», – ответила Корягина.

«Муж?»

«Да».

«Политический?»

«Не совсем. Я не знаю, как объяснить».

«По-видимому, искал правду и нашел что-то не там, где надо. Они этого не любят. Здесь в лагере полно “умных”, и всегда было.

Здесь их называют демократами. Они на все готовы ради правды. Только кому ты ее докажешь, эту правду? А сколько ему дали?»

«Семь. И пять лет ссылки».

«Ну надо же! Это же столько воды утечет. Годы не вернешь. Да еще и здоровье. Отсюда никто еще не вышел здоровым. Да и тебе столько горя... Дети есть?»

«Трое сыновей».

«Трое? А кем он работал?»

«Психиатром».

Старик озадаченно посмотрел на Корягину: «Чего же ему не хватало, что он правду стал искать?»

«Он искал правду и говорил правду, дедушка. Он говорил, что психически здоровых людей упрятывают в специальные психушки, что над ними издеваются и обращаются, как с больными».

«Зачем их туда упекают?»

«Чтобы их не судить – как вы говорите, за политику и за правду. Они считают, что психически нормальные люди не могут выступать против власти, что так могут делать лишь психически больные. Мол, недовольных политикой людей у нас нет, есть просто больные».

Старик, казалось, был шокирован. «Ну, и чего же он добился? Ему присудили двенадцать лет, а говорят, что ссылка еще хуже, чем лагеря».

«Что я могу сказать? Никакой поступок, совершенный человеком ради блага другого человека, не бывает напрасным, тем более, когда его совершают самоотверженно, по зову сердца».

Старик умолк, а потом, когда они спускались с холма через густой лес, заговорил о своей жизни. В селе, сказал он, никого ничто не трогает. Куда ни глянь – везде безразличие и пьянки. Соседи непрерывно пьют и дерутся.

Наконец Корягина добралась до управления трудовой колонии Пермь-37, где ее принял сотрудник КГБ.

«Я считаю важным, – сказал он, – что мы пытаемся убедить Анатолия Ивановича стать на путь исправления. Если он это сделает, думаю, мы сможем пересмотреть приговор и, возможно, отправим его работать на “химию”. Подумайте о длительной разлуке с вашим мужем и как это повлияет на ваших детей и на мать Анатолия».

«Как я, по вашему мнению, должна убедить его?»

«Вы женщина...»

«Я приехала сюда не для того, чтобы уговорить своего мужа покаяться в каких-то несуществующих грехах. И не намереваюсь шантажировать его своей женской слабостью. Анатолию не в чем каяться».

Убедившись, что не может склонить Галину на свою сторону, офицер КГБ отпустил ее, и вскоре она встретилась с мужем.

Анатолий был поражен, увидев жену, и едва мог говорить, а Галина не смогла сдержать слез. Наконец, когда они немного успокоились, Анатолий рассказал об условиях содержания в лагере. Начальство, сказал он, делает все, чтобы спровоцировать узников на поступки, которые формально оправдывали бы наказание. Хлеб выпекается из черствых остатков, которые перемалываются и пускаются в ход повторно. Узники его почти не едят, зная, что он не имеет никакой пищевой ценности. Все лето практически не дают никаких овощей и фруктов, даже лука или чеснока. Те, кто в лагере больше года, страдают от заболеваний желудка и почек, а также от сильного недостатка витаминов. К самому Анатолию у начальства особенное отношение. Его заставили носить полосатую робу и заниматься уборкой в запретной зоне между стенами лагеря, где за любое лишнее движение в него могут стрелять без предупреждения.

«Я не стремился к какой-то великой цели, – говорил он. – Я просто чувствовал свою ответственность как врач, который должен предотвращать лишние страдания. Мне была нестерпима мысль, что профессия, к которой я принадлежу, используется не в гуман-

ных целях, а как средство наказания людей. Теперь они делают все, чтобы сломить мою волю. Если им это хотя бы на мгновение удастся, это конец. Я потеряю уважение к саму себе».

Вскоре после свидания с женой положение Анатолия резко ухудшилось. В конце октября Олег Михайлов, похититель самолета, начал нападать на других узников и часто жестоко избивал их. На протесты людей начальство не реагировало, и стало понятно, что Михайлов – просто орудие в руках администрации.

Корягин решил организовать на лагерном предприятии забастовку с требованием изоляции Михайлова. Забастовка длилась две недели. Корягина и еще десятерых заключенных посадили в карцеры. В лагере Пермь-37 карцер фактически представлял собой бетонный холодильник площадью 3,2 квадратных метра.

Пятнадцать дней Корягин изнемогал от голода, холода и бессонницы, переступая с ноги на ногу в узком карцере в каком-то оцепенении. Иногда он проваливался в сон, но почти сразу просыпался от холода. Под конец срока пребывания в карцере его вызывали в управление колонии на разговор с двумя сотрудниками КГБ. «Анатолий Иванович, – сказал один из них, – у вас была хорошая работа, семья, дети. Что вас побудило заняться антисоветской деятельностью? Вы сделали ошибку. Если вы это признаете, все может устроиться».

«Я не разговариваю с агентами КГБ, – отрезал Корягин, – и советую вам отказаться от дальнейших попыток».

После этого Корягина на шесть месяцев посадили в лагерную тюрьму. Условия там были лучше, чем в карцере. Он сидел в камере, а не в бетонной коробке, а вместо нар здесь была кровать. Пищи тоже было немного больше. Однако, за исключением выхода на зарядку, Корягин не мог покидать камеру.

В апреле 1982 года срок его пребывания в тюрьме истек, но в лагерь его не перевели. Напротив – дали еще два дополнительных срока в карцере за отказ общаться с КГБ. Из карцера Корягин вышел лишь в мае.

Вернувшись в колонию, он обнаружил, что рабочие нормы на фабрике повысили, а заключенных бросали в карцер по любому поводу. Когда заключенные ответили на это голодовками, Корягин присоединился к ним, и это побудило администрацию усилить давление на него. Тринадцатого июля 1982 года он предстал перед судом за неповиновение и получил приговор – три года в Чистопольской тюрьме.

Через неделю Корягина по железной дороге привезли в Чистополь, где начальник тюрьмы почти сразу его предупредил: «Если будешь вести себя здесь так же, как на зоне, то жизнь у тебя сладкой не будет». Несмотря на предупреждение, Анатолий отказался подчиняться тюремным правилам. Его назначили плести сетки, но он делал это лишь для того, чтобы убить время. Он отказывался выполнять норму. За это его посадили в карцер, а когда Анатолия сильно избили надзиратели, он объявил бессрочную голодовку.

Этой голодовке суждено было стать суровым испытанием, которое длилось шесть с половиной месяцев. Две недели Корягин оставался в карцере без еды. Время текло медленно. Он думал о доме и детях, о человеческой жизни и ее физических пределах. Каждое утро те тюремщики, которые его били, заходили в карцер и спрашивали: «Как дела? Как здоровье? Когда будешь есть? Зачем ты это делаешь?» В конце концов Корягина перевели в камеру, где подвергли принудительному кормлению: между челюстями вставили распорку и по трубке заливали в желудок еду. Эту процедуру проводили лишь раз в четыре-пять дней, поэтому у Корягина было постоянное ощущение начала новой голодовки. Постепенно он терял силы, пока не наступил момент, когда он уже не мог подняться с кровати.

После этого тюремщики начали применять разнообразные формы психологических пыток. Они включали радио на всю мощность, и Корягин был вынужден весь день слушать советскую пропаганду. Они открывали водопроводные вентили, что-

бы вода ревела в санузлах, и ему казалось, что он лежит под водопадом. Поскольку он не мог вставать, в баню его отправляли на носилках, и всю дорогу тюремщики матерились. Один говорил: «Этого подонка надо выбросить отсюда на помойку». Другие добавляли: «Чего мы его тащим? Пристрелить его, да и избавиться от этой проблемы раз и навсегда».

В бане Корягина раздевали и окунали в теплую воду. Охранники часто отворяли двери на улицу, и над полом волнами полз ледяной воздух. После мытья его оставляли на носилках посреди тюремного двора – возможно, в надежде, что он заболеет воспалением легких и умрет естественной смертью. Еду приносили в камеру и ставили прямо у его лица. Наконец, после шести недель голодания, Корягина посетил представитель КГБ.

«Анатолий Иванович, – сказал он, – как вы довели себя до такого состояния? Вы совершенно истощены, вы можете даже умереть. Почему бы не прекратить все это? Давайте поговорим и попробуем найти общий язык. Чего вам недоставало на свободе? Чего вам не жилось мирно и свободно? Вы были врачом. Если вы здесь, то это потому, что вы сами того хотите. Измените свое поведение, и я вам гарантирую, что отношение к вам тоже изменится. Все зависит от вас».

Гэбешник ожидал ответа Корягина почти полчаса, но тот так и не заговорил.

Несмотря на принудительное кормление, Корягин за два или три месяца потерял 40 процентов веса. Это испытание он выдержал, но становился все слабее, пока от него не остались практически кожа да кости, с отеками на теле от недостатка белков.

Однако за это время на Западе уже развернулась кампания по защите Корягина, его избрали почетным членом Всемирной психиатрической ассоциации, и у КГБ впервые появились основания сохранить ему жизнь. Зная, что многие опасаются за жизнь Корягина, КГБ на седьмой месяц его голодовки позволил привести в камеру к Корягину Генриха Алтуняна – его харьковского

друга и тоже политического узника. Алтунян сказал Анатолию, что все политзаключенные настаивают на его отказе от голодовки. Корягин согласился не сразу, но через 2–3 дня поставил администрации тюрьмы три условия прекращения голодовки: свидание с семьей, выведение из голодания с помощью безопасных медицинских процедур и разрешение Алтуняну остаться в камере Корягина. Начальство согласилось на эти условия и на сей раз сдержало свое слово.

Через две недели состоялось свидание Корягина с женой – первое за два года, и она была потрясена переменами в его внешности. Они общались через стеклянную перегородку, и Галине казалось, что она смотрит на привидение.

Анатолий расспрашивал жену о событиях в Харькове, но когда пытался рассказать что-то о собственной жизни, охранник его прерывал: «Анатолий Иванович, если вы будете рассказывать о тюрьме или о своей жизни здесь, мы прекратим свидание». В какой-то момент Анатолий показал на свое горло, намекая на свое принудительное кормление, но тюремщик немедленно повысил голос: «Мы уже договорились об этом, Анатолий Иванович!» Лишь в конце двухчасового свидания Галине удалось сообщить мужу о выступлении западных психиатров в его поддержку.

После двухмесячного пребывания в тюремной больнице, где Корягин выздоравливал от своей голодовки, его опять вернули в тюрьму. Но испытания его характера на этом не завершились.

Двадцать первого марта 1984 года чистопольские политзаключенные объявили однодневную голодовку в знак протеста против притеснений, и нескольких из них, в том числе Корягина, бросили в карцер. Он немедленно объявил, что продолжит голодание до конца своего тюремного срока, то есть еще 14 месяцев. И все повторилось: два месяца Корягина кормили через трубку, а на третий его жизнь уже второй раз висела на волоске. Однажды

к нему в камеру зашел сотрудник КГБ и сказал Анатолию, что его сын Иван стал участником какой-то драки в Харькове и милиция собирается обвинить его в хулиганстве. «Вашего сына будут судить. Его судьба зависит от вашего поведения. Давайте поговорим на эту тему». Однако Корягин опять отказался от разговоров с КГБ.

После шести месяцев насильственного кормления тюремщики надели Корягину на его руки, похожие на руки скелета, самозатягивающиеся наручники. Почувствовав нестерпимую боль, он плюнул одному из охранников в лицо. Его немедленно обвинили в сопротивлении, и начальство собралось опять предать Корягина суду.

Впрочем, дело обернулось так, что перспектива суда спасла ему жизнь. Как правило, перед судом узники проходили медицинский осмотр, и врач, осматривавший Корягина, приказал принудительно кормить его дважды в день, чтобы на суде он имел более-менее приемлемый вид. Суд вынес приговор – еще два дополнительных года в колонии, а после этого тюремщики опять стали кормить Корягина раз в 4–5 дней. Однако того дополнительного питания, которое он получил перед судом, хватило, чтобы его жизни больше ничего не угрожало.

В июне 1985 года, отбыв свой срок в тюрьме, Корягин прибыл в трудовой лагерь Пермь-35. Он прекратил голодовку и был помещен в лагерную больницу, где познакомился с Василием Овсиенко, украинским националистом. Тот рассказал Корягину, что слышал о его длительных голодовках, и сообщил о смерти Василия Стуса, Алексея (Олексы) Тихого и Валерия Марченко. Все они умерли после длительного пребывания в карцере. «Я не советую вам и дальше объявлять голодовки, – сказал Овсиенко. – Берегите свою жизнь. Кто-то должен будет свидетельствовать».

Во второй половине 1986 года давление на политзаключенных в колонии Пермь-35 резко усилилось. Начальство стало бро-

сать их в карцер за наименьшее нарушение правил. В то же время заключенные продолжали умирать из-за отсутствия надлежащего медицинского обслуживания. В июне 1986 года политический узник из Киева Михаил Фурасов умер от острой уремии, не получив своевременной помощи врачей, что побудило многих его товарищей по колонии объявить голодовку.

Делалось все, чтобы добиться от узников «признания» и убедить их сотрудничать с КГБ, как вдруг притеснения поутихли, и в лагерях стали распространяться слухи, что скоро всех будут освобождать.

Тюремщики начали уговаривать заключенных писать заявления с просьбой о помиловании. «Зачем вам здесь оставаться? – уговаривали они. – Подпишите заявление и идите на все четыре». То же повторяли стукачи: «Сейчас перестройка. Можно и подписать. Почему бы и нет?» Наконец 17 января 1987 года Корягина и еще двоих заключенных повезли в город Пермь, где прокурор сказал Анатолию, что власти решили его освободить. Все, что от него требовалось, – это подписать заявление о том, что он не вернется к антисоветской деятельности.

«Напротив, – сказал Корягин, – я обещаю, что в случае освобождения я на следующий же день возобновлю свою предыдущую деятельность».

Из Перми Корягина перевезли в Киев, в следственный изолятор КГБ. Здесь ему предложили то же самое, и он опять отказался. «Я считаю это предложение оскорбительным и не собираюсь писать ни единого слова», – сказал Корягин.

Двенадцатого февраля он начал новую голодовку, а 15 февраля его опять вызвали к прокурору, который сказал, что его дело будет урегулировано в течение недели. Восемнадцатого февраля Корягина вывели из камеры и на машине отвезли на вокзал. Один из сопровождающих вышел из машины вместе с ним и довел до входа. «Езжайте домой, – сказал он. – Вы освобождены».

Латышский националист Янис Барканс прибыл в трудовую колонию в Латвии морозным зимним днем. После регистрации его отвели в один из деревянных бараков, жители которого вызвали у него ужас своим видом: они были похожи на узников нацистского концлагеря.

Барканс был арестован КГБ в Выборге за попытку пересечь советско-финскую границу и осужден к 18 месяцам колонии строгого режима. Этот латышский лагерь предназначался для обычных преступников, но Барканс оставался там под надзором КГБ.

Через несколько дней Барканса назначили на погрузочные работы. В колонии производились металлические таблички, и работа длилась 16 часов в сутки и семь дней в неделю. В то же время питание было таким мизерным, что узники рылись в мусоре в поисках съестного или ели личинок и траву. Проработав в таких условиях несколько месяцев, Барканс написал стихотворение под названием «Долой коммунистов», которое прочел нескольким товарищам, один из которых оказался стукачом. Барканса немедленно посадили в штрафной изолятор, где, с согласия офицера КГБ, начали избивать.

В первый день его били руками и ногами. Назавтра один из тюремщиков бил его и обливал холодной водой, приговаривая: «Что, не нравится советская власть?» Потом Барканса повели на какой-то склад, чтобы бить уже там. Охранники объяснили: «Идем на политинформацию».

Эти побои длились пятнадцать дней, пока Барканса не поместили на шесть месяцев во внутреннюю лагерную тюрьму. Там он жил на тюремном рационе и шил мешки, но все же имел передышки. Однако через несколько дней его спросили, готов ли он быть «верным» советской власти. Когда Барканс ответил «нет», его вернули в изолятор, и это стало началом откровенного террора.

В первую ночь Барканс случайно подслушал, как один из сокамерников рассказывал, что начальство приказало ему продол-

жать бить Барканса и гарантировало, что за смерть Барканса он не будет наказан. За это ему были обещаны сигареты и еда.

Следующим утром, на второй день второго срока Барканса в изоляторе, ему отказали в доле хлеба и воды, несмотря на то, что он почти терял сознание от голода. Когда он попытался пожаловаться, его избили.

С четвертого по восьмой день тюремщики привязывали Барканса к решетке и истязали поочередно то раскаленным ножом, то ледяной водой. Он завшивел, и все тело у него стало зудеть. Чтобы он не расчесывал укусы, его сокамерники-уголовники вырвали ему на правой руке ногти. От боли Барканс потерял сознание, и его опять облили холодной водой.

На десятый день начальник колонии спросил: «Ну что, теперь уважаешь советскую власть?» Барканс отрицательно покачал головой. «Ладно, тогда сдохнешь, как собака».

Когда завершался двухнедельный срок Барканса в штрафном изоляторе, ему сказали, что за плохое поведение его пребывание здесь продлено еще на десять дней. Он попробовал выползти из камеры, но охранник ударил его ногой и, с силой, закрывая двери, отсек ими Баркансу два пальца.

В конце концов Барканс объявил голодовку. Его покрытое вшами тело пожелтело. В изолятор зашла врач, и Барканс стал умолять отправить его в больницу, но она ответила, что ей запретили оказывать ему медицинскую помощь.

Чувствуя близость конца, Барканс пытался повеситься, но ему помешали охранники. Вскоре после того он опять был по-зверски избит сокамерниками. Его били, пока он не потерял сознания и не упал замертво. Сокамерники решили, что он умер, и позвали дежурного. Барканса отнесли на склад и положили на какие-то доски. Следующим утром, когда за телом пришли, чтобы отвезти на вскрытие, он пришел в сознание. Увидев, что Барканс шевелится, санитар испугался и выскочил из помещения. Когда начальство колонии поняло, что Барканс жив, то сначала хотело вернуть его

в изолятор, но в конечном итоге его перенесли в больницу. Он весил 40 килограммов, врачи обнаружили у него туберкулез костей и легких, он харкал кровью и не мог стоять на ногах.

Когда-то Барканс был незаурядным спортсменом, и, возможно, его отменные физические качества помогли ему выжить. Двадцать первого мая 1981 года, когда Барканс еще выздоравливал в тюремной больнице, завершился его полуторагодичный срок заключения, и он смог покинуть колонию.

Марк Морозов, преподаватель математики из Москвы, поступил в колонию Пермь-35 осенью 1980 года, после приговора за распространение запрещенной литературы. Его уже приговаривали к ссылке за распространение листовок в защиту диссидентов, но на сей раз приговор был суровее – 8 лет колонии строгого режима и 5 лет ссылки.

Морозов был глухим, к тому же имел слабое сердце и проблемы с кровообращением в ногах, что вызывало отеки и сильную боль. В колонии эти проблемы сильно обострились. Лагерь Пермь-35 находился на водоразделе между Европой и Азией. Там сильное магнитное поле, часы или спешат, или отстают. Ветер постоянно меняет направление, вызывая сильные головные боли и сердечные приступы.

Вскоре по прибытии в колонию Морозова вызвали на беседу с представителем КГБ. Тот сказал, что если Морозов откажется от своей диссидентской деятельности и даст показания на других диссидентов, включая Юрия Орлова, основателя Московской Хельсинкской группы, то он постарается выхлопотать ему досрочное освобождение. «Вы сами знаете настоящую природу ваших друзей. Их побуждает лишь тщеславие. Все, что мы просим у вас – это правда. Подумайте о себе и своей семье».

Сначала Морозов колебался. Потом стал встречаться с этим сотрудником КГБ и обсуждать с ним сроки своего возможного освобождения, оправдывая для себя общение с КГБ тем, что на свободе сможет больше сделать для демократического движения.

Однако со временем Морозов изменил свое мнение и решил, что его согласие на эти переговоры было ошибкой. Впрочем, КГБ и не собиралось отпускать Морозова. Там думали, что заставить его публично раскаяться можно усилением давления.

Морозова стали периодически сажать в штрафной изолятор, как-то даже на четыре месяца. В изоляторе он страдал от голода и холода, а также от нехватки общения с людьми. И все же после каждого освобождения все равно отказывался писать доносы на других диссидентов.

В 1984 году Морозова перевели в Чистопольскую тюрьму. К этому времени его состояние так ухудшилось, что голод и холод в карцере могли легко привести к ампутации ног, а это лишило бы КГБ рычагов давления на Морозова. Поэтому КГБ решил изменить свой подход.

К удивлению Морозова, ему неожиданно позволили носить штатскую одежду и даже не брить голову. Когда он спросил о пересмотре своего дела, представители КГБ ответили, что его заявление рассматривается на более высоком уровне. Морозов впервые позволил себе такую роскошь, как надежда. Он знал о своей болезни и стремился провести с семьей то время, которое ему еще оставалось прожить. Он надеялся, что, учитывая его слабое здоровье, КГБ освободит его досрочно.

В мае 1985 года в Чистополь к Морозову приехала группа сотрудников КГБ из Москвы. Они сказали, что досрочное освобождение можно организовать, но и он должен «пойти им навстречу», написав «правдивые» свидетельства о своих коллегах-диссидентах. Несмотря на ухудшение здоровья, Морозов нашел в себе силы отказаться. Теперь он понял, что его никогда не освободят, и взял решение своей судьбы в свои руки.

В июне 1985 года он пытался повеситься, но в последний момент его вынули из петли. Позднее он лишил себя жизни с помощью большого количества таблеток, которые копил несколько лет.

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНИЦЫ

Еще одним полюсом невидимого мира были психиатрические лечебницы, где политических заключенных уничтожали с помощью лекарств. Чаще всего для этого использовали такие препараты, как галоперидол, частично отключавший мозг; аминазин, который ввергал жертву в полуступор; мажептил, вызывавший острое психическое расстройство; сульфазин, внутримышечные инъекции которого вызывали резкое повышение температуры и нестерпимую боль.

Узниками таких больниц были, как правило, обычные люди, совершавшие поступки, несовместимые, по мнению режима, с психическим здоровьем – например, пытались бежать из страны. В отличие от диссидентов, такие люди часто не собирались устраивать никаких политических демонстраций, но, как и диссиденты, они угрожали созданной режимом иллюзии единодушия. Поэтому цель «лечения» заключалась в том, чтобы заставить их признать себя психически больными. В конечном итоге на это соглашалось большинство, потому что альтернативой было окончательное разрушение их психики медицинскими препаратами.

Александр Шатравка и его брат Михаил вышли из автозака в узком, ярко освещенном проезде между каменными зданиями и теперь стояли перед металлическими воротами Днепропетровской специальной психиатрической больницы. Через пять минут появились санитар и женщина-врач, и солдат, который сопровождал братьев, вручил женщине папку с документами. Бросив взгляд на вновь прибывших, доктор открыла папку и стала изучать ее содержимое. «Вы хотели увидеть мир, – изрекла она наконец, – а закончили тем, что попали к нам. Ладно, для начала надо обрить им головы».

Александра с Михаилом провели во внутренний двор больницы. Пройдя его, они вошли в полуподвальное помещение, служившее парикмахерской. После того, как братьям обрили головы, их разлучили, очевидно, собираясь поместить в разные отделения.

Александра передали другому санитару, и тот повел его в здание больницы, а там – по лестнице наверх. Лестницу ограждали металлические решетки – очевидно, для предотвращения самоубийств. Санитар отпер массивные двери, и они попали в коридор, по обе стороны которого тянулись запертые палаты. Через окошки Шатравка видел плотные ряды кроватей и мужчин с бритыми головами, лежавших, словно мертвецы, под белыми простынями.

Шатравка старался разглядеть все как можно внимательнее, как вдруг в коридоре прозвучал громкий смех. Это в углу медсестра общалась с двумя санитарами. Заметив Александра, она прервала разговор и подошла к нему.

«Рассказывай, что сделал», – потребовала она.

«Он вместе с братом перешел границу в Финляндию», – сказал сопровождавший Александра санитар.

«Перешел границу? – переспросила медсестра. – А что бы ты там делал? Ты бы там сдох от голода, рылся бы в мусорниках. У тебя с собой было золото? Ну ничего. Мы здесь тебя полечим, и тебе не понадобятся никакие заграничные путешествия».

Александра завели в палату, где он лег на узкую кровать и, утомленный поездкой, заснул.

Следующим утром он проснулся от резкого крика: «Эй, паразиты! А ну, выходим умываться! Первая смена – завтракать! Вот сволочь, ты же руки не помыл!»

Шатравка попробовал выйти в туалет.

«Ты куда?» – спросил санитар.

«В туалет».

«Разворачивайся. Все пойдут вместе. И ты должен сначала спросить».

«Я не знал».

«Теперь будешь знать».

Завтрак состоял из ломтя черного хлеба и тарелки прозрачного супа с одинокой каплей масла на поверхности, несколькими кусками плохо очищенного картофеля и перловкой на дне.

После завтрака выстраивалась длинная очередь к столу с разными медпрепаратами, которые пациентам давали горстями, а рядом стоял санитар, следящий за тем, чтобы все таблетки были проглочены.

Потом пациенты возвращались в палаты, и здесь Шатравка получил первый совет, как надо себя вести.

«При любых обстоятельствах, – сказал ему один из пациентов, – не спорь с врачами и не настаивай на том, что ты здоров. Это будет истолковываться как обострение твоей болезни».

Другой пациент спросил у Александра, за что он здесь. Тот сказал, что переходил границу.

«Ну ничего, они тебя долго не будут держать. Пять лет – и ты свободен».

«Пять лет?» – переспросил Шатравка с ужасом.

«А чего ты испугался? Вон Заболотный здесь уже девятый год. Володька вон там – седьмой».

«А ты здесь сколько?» – спросил Шатравка своего нового знакомого.

«Десять».

Чуть позже Александра вызвали к врачу, который должен был заниматься его «лечением». Шатравка решил согласиться с тем, что он болен, и считать любой свой протестный поступок проявлением болезни.

«Садитесь», – сказала врач, указывая на стул, и стала читать документы из папки Александра.

«Скажите, – спросила она наконец, – были ли среди ваших родственников психически больные?»

«Нет, – ответил Шатравка. – Мы с братом – первые психически больные в нашем семействе».

«Что побудило вас убежать из Советского Союза?»

«Вы о чем это? Мы не хотели убегать из Советского Союза – это же наша родина. Здесь живут наши родители. Нам никогда даже в голову не приходило остаться на Западе. Во-первых, мы не знаем языка, и потом, где бы мы взяли деньги? Мы ничего не смогли бы заработать. А безработных там оставляют на произвол судьбы. Наш сосед, бывший пограничник, пообещал провести нас через границу, и сразу обратно».

«А почему вы оскорбляли офицеров, когда вас передавали обратно на границе?»

«Не думайте, что я не хотел возвращаться в СССР. Это было просто потому, что я был шокирован из-за наручников и из-за того, что солдаты меня оскорбили, назвав изменником. Я хотел отомстить».

«По уровню развития, – сказал врач, – вы похожи на четырнадцатилетнего подростка. Когда подрастете – мы вас выпишем отсюда».

Когда Шатравка вернулся в свою палату, некоторые пациенты сновали взад и вперед по узкому проходу между рядами кроватей, а остальные спали. Шатравка стал вспоминать свое поведение во врачебном кабинете и решил, что ему удалось пустить врача по ложному следу, но как долго он сможет разыгрывать эту комедию, было неизвестно.

«Обед! Мыть руки! Куда ты собрался, сволочь?»

Больничный обед представлял собой 100 граммов черного хлеба, 150 граммов «белого» (скорее серого) хлеба, прошлогоднюю кислую капусту и треть стакана компота. После обеда пациентам было приказано встать в очередь за медикаментами. К очереди подбежала медсестра, выискивая Александра. «Вам тоже назначили лекарства», – сказала она.

Шатравка стал в очередь и смотрел, как тем, кто стоял перед ним, давали по целой горсти таблеток. Когда очередь наконец

дошла до него, он вздохнул с облегчением. Ему назначили две таблетки тизерцина – это было сильное средство, но от него человек не терял силы и не утрачивал контроля над своими движениями, как от других лекарств.

Проходили дни, и организм Александра начал в определенной степени адаптироваться к лекарствам. Он видел, что ему повезло сравнительно с теми пациентами, которые получали «лошадиные дозы» нейролептиков и при этом их еще и заставляли работать. Они стояли в оцепенении, переступая с ноги на ногу и держа перед собой согнутые в локтях руки, как растерянные кенгуру.

Для Александра каждый день начинался с построения, потом был завтрак, потом опять построение, прогулка, построение, обед, построение, уборка, ужин. Его работой была мойка лестницы – довольно легкая работа, потому что лестницу мало пачкали.

После карантина Шатравка стал прогуливаться по больничному двору и общаться с другими пациентами. Несколько месяцев он мыл лестницу, но потом его неожиданно назначили на кухню мыть посуду. Как оказалось, и с этим Александру повезло, потому что теперь он выходил на прогулку на час позже и однажды наткнулся на своего брата.

Шатравка подошел к Михаилу и спросил, как у него дела. Михаил с грустью покачал головой.

«Не огорчайся, Мишка, – сказал Шатравка, – мы это переживем. Так или иначе, они нас когда-нибудь выпустят».

«Выпустят? Да мы здесь с ума сойдем!»

«Что они тебе дают?» – спросил Шатравка.

«Целую кучу таблеток трижды на день: трифтазин, триседил. У меня от них такое головокружение, что я попросил что-то корректирующее, тогда стало немного легче».

«Тебе дают, а ты не глотай. Научись прятать лекарства во рту».

«Легко сказать – прячь. Санитары проверяют весь рот палочкой, и если что-то заметят, сразу начинают делать уколы».

Братья прогуливались вместе в плотной толпе пациентов. Двор больницы смахивал на какое-то отхожее место. В центре была большая куча угля, покрытая плевками и экскрементами, и после каждой дежурной группы пациентов широкий желтый поток мочи рядом с ней увеличивался. Посреди двора в окружении покрытых пылью кустов сирени стояла наблюдательная будка.

Шатравка видел, что признание себя психически больным брату не помогло, и во время прогулки у него блеснула мысль. Он предложил Михаилу попробовать объяснить врачам, что в действительности они не больные, а лишь притворяются. Он надеялся, что это убедит врачей уменьшить дозы лекарств, прописанные ими Михаилу.

На следующий день Шатравка пошел к своему врачу.

«Анна Владимировна, – спокойно сказал он, пытаясь сохранять самообладание. – В тюрьме и в институте Сербского я притворялся больным».

«А вы знаете, что симуляция – это тоже болезнь?» – резко прервала его врач.

«Когда нас посадили в тюрьму, – сказал Шатравка, – все настаивали, чтобы нас судили за измену. То, что мы пересекли границу, было такой глупостью, что теперь даже стыдно вспоминать об этом. Мы сами никогда бы не решились на такой шаг, если бы не наш сосед, бывший пограничник. Он пообещал провести нас туда, а потом назад».

«Вы как дети, – сказала врач. – Вам пообещали... А своего ума нет?»

«Мы были наивны, да и не представляли, что совершаем ужасное преступление».

«Ладно, – сказала врач. – Можете идти. После лечения мы вас выпишем».

Шатравка понял, что допустил ошибку. Он не только убедил ее в том, что солгал, когда признал себя больным, но и дал ей основания думать, что тайно считает себя здоровым, а следовательно, не может критически относиться к своей болезни.

На следующий день он пошел на прогулку и во дворе встретил брата, которому не терпелось узнать о результатах беседы с врачом.

«Она ответила, что ложь – это тоже болезнь, – сказал брату Шатравка. – Видишь, куда мы попали? Здесь одни идиоты. Когда мы говорим правду, они считают это симптомом болезни, а если начинаем лгать – рассматривают это как надежный признак выздоровления». И прибавил, что единственный выход – продолжать соглашаться с врачами в том, что мы больны.

«Не уверен, что я смогу, – сказал Михаил. – Я просто не могу думать. У меня мозги раскисли от всех этих лекарств».

«Послушай меня, Миша. Другого пути нет. Если ты не будешь делать вид, что ты болен, врачи решат, что ты совсем безумен».

Однажды вечером в палату Александра с проверкой зашла новая медсестра. Она явно никуда не спешила и завела разговор с Адамом – одним из старых, истощенных лекарствами пациентов. Когда эта беседа ей поднадоела, она повернулась к Александру и спросила: «Что тебя заставило перейти границу?»

«Глупость, – ответил Шатравка. – Я хотел странствовать».

«Так это ради странствий? Но у них полно своих безработных. Ты бы там по мусорникам лазил. Потому-то финны тебя и вернули».

«Типичная советская дурочка», – подумал Шатравка, но спорить с ней было опасно.

«Это еще хорошо, что вы никого не убили по дороге, – продолжала медсестра. – По-видимому, потому, что никого не встретили».

«Что это вы такое говорите? – возмутился Шатравка. – Мы с братом такие люди, что курице голову скрутить не сможем, а не только человека убить».

«Ну, так они бы вас убили, это уже точно. В кино шпионов всегда убивают на границе».

«То в кино, – сказал Шатравка. – В жизни все иначе. Во-первых, мы не были шпионами. А в кино всегда специально создают острые ситуации, чтобы было интереснее».

«Ну вот! – сказала медсестра. – Вот это и есть твоя болезнь! Ты действительно совсем больной человек. Ты ничему не веришь. Тебя лечить надо. Ну, ничего, тебя тут полечат».

Шатравка проклинал себя за то, что стал спорить с медсестрой. Он был уверен, что на следующий день она доложит об их беседе врачам. Тем временем медсестра оставила Александра и обратилась к остальным пациентам палаты.

«Скоро мы построим коммунизм! – сообщила она. – Мы и теперь живем хорошо, у нас есть все, и хлеба вдоволь, не так, как раньше. А когда построим коммунизм, то будет еще лучше!»

Слабоумный Адам сказал: «Какой коммунизм? Сколько его надо строить? Может, мы его вообще не построим».

«Построим, Адам. Мы построим коммунизм. Надо лучше работать. Только бы войны не было».

Медсестра заволновалась, у нее задрожал голос. «Империалисты, американцы ополчаются. Если бы не они, мы бы уже давно построили коммунизм. Но что нам Америка? Теперь нам Китай угрожает. Но мы их разобьем! Немцев же мы разбили? Разбили!»

Дискуссия разгоралась, Адам вскочил с кровати, и они с медсестрой стали обсуждать разные стратегические вопросы, но Александру было уже нестерпимо это все слушать.

Единственным утешением для него в этой атмосфере психиатрической больницы была ночь. Многие месяцы своего заключения он видел очень похожие сны. Ему снилось, что он снова переходит границу. За ним всегда гнались, и он бежал изо всех сил, зная: если его поймают, то упекут в спецпсихушку. В последний момент он оказывался по ту сторону границы, и его охватывало чувство неописуемого восторга. Но на этом месте он

обычно просыпался и потом долго ворочался в постели, пытаясь вернуться в этот сон.

Виктор Давыдов, студент из Куйбышева, был арестован за распространение запрещенной литературы и направлен в институт им. Сербского в Москве. Там несколько недель им занималась доктор Светлана Герасимова.

«Как ваше настроение?» – спрашивала она.

«Не знаю, – отвечал Виктор. – Я все вижу в черном цвете».

«Это черное – оно равномерное или с оттенками?»

Давыдов вдруг понял, что она пытается заставить его признаться в галлюцинациях, и объяснил, что «черный цвет» – это лишь метафора.

Находясь в институте Сербского, Давыдов настаивал, что психически здоров, и все же ему поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Потом его перевели в Бутырскую тюрьму, где он делил камеру с вором, который, как выяснилось, лежал в Смоленской специальной психушке, поэтому рассказал Виктору, что надо делать в таких случаях.

«Ты должен признать, что ты больной. Это единственный способ оттуда выбраться, и чем раньше ты это сделаешь, тем будет лучше».

Из Бутырской тюрьмы Давыдова перевезли в тюрьму в Казани, а потом – в Казанскую специальную психиатрическую лечебницу. В тюрьме надзиратели приказали ему обрить голову, а когда он отказался, немедленно затащили в какое-то помещение и вкололи аминазин и галоперидол. Это вызывало у него головокружение, сильную жажду и такую слабость, что он не мог подняться с матраца в камере. Когда наступило время переводить Давыдова в больницу, его пришлось нести вниз по лестнице. Врач, принимавший Давыдова в психиатрической спецбольнице, сжалился над ним. «Ладно, – сказал он, – три дня отдыха».

В больнице «лечение» продолжилось. Давыдову давали мажептил, и он опять погружался в полубессознательное состоя-

ние. Ему казалось, что в голове разворачивается действие какого-то фильма. Исчезла способность мыслить критически. Его сознание сосредотачивалось лишь на том, что он видел перед собой: стене, окне, дверях, другой стене. Он пытался остановить этот фильм и управлять своими мыслями, но это было невозможно. Его память куда-то исчезла, и все, окружающее, непрестанно надвигалось на него. Он с ужасом чувствовал, что сходит с ума.

После двух месяцев пребывания в Казанской психиатрической спецбольнице Давыдова привезли на вокзал в Свердловске.

«Куда меня везут?» – спросил он у охранника.

«В Благовещенск», – ответил тот.

После изнурительной полуторамесячной езды по железной дороге Давыдов прибыл в Благовещенск – город на границе с Китаем. Его и еще четверых человек увезли в больницу.

Стены в больнице были влажными, а окна в палатах покрыты изморозью. Давыдова завели в длинный коридор, где за решеткой собрались посмотреть на вновь прибывших пациенты. Они были в рваных пижамах и с обритыми головами. Они смотрели на Давыдова отрешенно, лица под действием лекарств превратились в странные маски. Давыдов понял, что здесь лечат еще более тяжелыми препаратами, чем в Казани.

Через решетки пациенты спрашивали: «Откуда?», «Почему?». Но их голоса были какими-то невыразительными. Давыдов смотрел на их пожелтевшие лица и холодные глаза, и ему казалось, что он попал на другую планету.

В его палате было еще четверо пациентов. Один из них слышал «голоса», второй утверждал, что беседует с птицами, третий был гиперактивным, четвертый – наоборот, замкнутым в себе. Наблюдая за ними, Давыдов впадал во все более глубокое отчаяние.

В ожидании беседы с психиатром он решил не отрицать свою психическую болезнь. Осмотр проводил Вячеслав Белановский, главный врач приемного отделения.

«Вы считаете себя больным?» – спросил Белановский.

«Да, конечно», – ответил Давыдов.

«Почему?»

«Потому что врачи в институте Сербского объявили меня больным».

Потом с Давыдовым беседовали другие врачи. Они тоже спрашивали, считает ли он себя больным. Он отвечал утвердительно, и они тоже спрашивали, почему.

«Потому что я в больнице», – отвечал Давыдов, словно констатируя неопровержимый факт.

Через несколько недель он начал убеждаться в правильности избранной стратегии.

Сначала ему не давали никаких лекарств. Потом назначили небольшую дозу аминазина, которая оказалась сносной. А в конечном итоге аминазин вообще отменили и давали лишь валиум.

Сначала Давыдова назначали убирать на кухне, а потом – шить фартуки в швейном цеху. В это же время он познакомился с другими политическими заключенными, которые отказались признать себя психически больными и из-за этого подвергались варварскому «лечению».

Егора Волкова из города Находка впервые госпитализировали в 1968 году за то, что он возглавил протест рабочих против произвола в оплате труда. Когда врачи спросили Волкова, понимает ли он, что болен, тот ответил: «Нет, я не болен, я политический заключенный». После этого Егора лечили почти непрерывно. Ему давали тизерцин, галоперидол, аминазин, трифтазин. Он нажил себе язву желудка и повышенное кровяное давление, но ничто не могло заставить его признать себя психически больным. Казалось, что он больше не думает о свободе, а стремится лишь не сдаться.

В декабре 1981-го, после года пребывания в больнице, с Давыдовым поговорила главный врач Валентина Тимофеева.

«Скажите мне, вы понимаете, что ваша предыдущая деятельность была результатом болезни?» – спросила она.

«Я не могу судить, я же не психиатр».

«Но вы же должны иметь какое-то мнение?»

«Не имею никакого. В Институте Сербского мне поставили диагноз “вялотекущая шизофрения”*. При такой шизофрении симптомы мало заметны. Больной не имеет никакого представления, болен он или нет. Это может определить лишь квалифицированный психиатр».

«Ладно, оставим вопрос о болезни. Скажите, когда вы занимались той деятельностью, вы считали себя морально правым?»

«Если я был болен, значит, то, что я делал тогда, мне казалось правильным, то есть для больного человека мои действия были обычными».

«Вы собираетесь вернуться к предыдущей деятельности?»

«Нет, я больше не собираюсь совершать никаких безумных вещей».

В Благовещенске Давыдов провел еще один год, получая лишь валиум, а потом его выпустили. Эти два года в Благовещенске были необычайно коротким сроком для политического заключенного.

Двенадцатого декабря 1980 года Иосифа Терелю, украинского националиста, вызывали в кабинет полковника Бабенко, начальника Днепропетровской психиатрической спецбольницы. Там его ожидали сам Бабенко, врач Неля Буткевич, заведующая отделением, в котором лежал Тереля, и подполковник Капустин из днепропетровского КГБ. Тереля провел в этой больнице три года в отдельной палате и только недавно был переведен в общую палату. Сейчас решался вопрос относительно его возможного освобождения.

«Вы признаете, что вы больны?» – спросила Буткевич.

«Меня признали психически больным ведущие психиатры Советского Союза», – ответил Тереля.

* Этот диагноз часто использовали в СССР для оправдания принудительной психиатрической госпитализации диссидентов, но на Западе его никогда не признавали медицински обоснованным.

«Мы это знаем, – сказала Буткевич, – но что вы сами думаете?»

«То же, что и ведущие психиатры СССР».

«Это не ответ. Мы, по-видимому, недостаточно вас лечили».

«Неля Михайловна, вы забыли, в каком состоянии я был, когда прибыл сюда в 1977 году. Это лишь благодаря вам я могу сегодня так разумно отвечать на вопросы».

«Все пациенты, – сказала Буткевич, – утверждают, что они здоровы. А вы говорите, что вы больны».

«Я говорю, что был больным, но теперь, благодаря вам, мое здоровье улучшилось».

«Скажите мне, Тереля, – продолжала Буткевич, – вы правильно сделали, когда написали протест против ареста Руденко?»

«Я не помню, – ответил Тереля, – я же был болен».

«А что вы думаете о зерновом эмбарго, введенном Картером?»

«Я не знаю никакого Картера».

«Картер – президент США».

«Тогда я и подавно не могу его знать. Я и Брежнева видел лишь на фотографиях, как я могу знать Картера?»

«Но вы и ваша жена послали Картеру письмо относительно эмиграции по политическим, экономическим и религиозным причинам. И что – помог он вам?»

«О том времени, когда я был больным, я ничего не помню».

«Тереля, – вступил в разговор Капустин, – есть решение вас освободить. Как вы на это смотрите?»

«Я думаю, это нормально, – ответил Тереля. – Меня лечили. Это же больница, а не тюрьма».

«А Корчак говорит, что мы палачи и что он здесь в тюрьме», – сказал Бабенко.

«Мы с Корчаком не во всем согласны, – ответил Тереля. – Но если он так думает, возможно, он все лучше понимает».

«Иосиф Михайлович, – сказал Бабенко, – вы говорили, что вы христианин, а не политик. Что вы имели в виду?»

«Лишь то, что политика меня никогда не интересовала и я всегда стремился к Богу и любви».

«Но вера в Бога, – продолжал Бабенко, – это политика. Капиталисты строят на этом свою агрессивную внешнюю политику».

«Вера в Бога – это бессмыслица, – прибавила Буткевич. – В научной медицинской литературе это называется массовым психозом».

«Об этом я не знаю, – заметил Тереля. – А может, просто никогда не читал».

«Конечно, вы же не читаете специальную литературу, – отреагировала Буткевич. – А вы знали, – продолжила она, изменяя тему, – что Плющ в канадской клинике и его там лечат?»

«Я не знаком с Плющом и ничего не знаю о его болезни».

«А ваш друг Плахотнюк – он болен или нет?»

«Плахотнюк врач, ему лучше знать. Я не видел его с 1972 года, а тогда он был нормален».

«В действительности, – вздохнула Буткевич, – он еще серьезнее болен, чем вы».

«Вам известно, – спросил Капустин, – что ваша жена передала на Запад информацию, якобы мы держим психически здоровых людей в психиатрических спецбольницах?»

«Моя жена тоже советский врач, – ответил Тереля, – она имеет собственное мнение».

«Ну тогда вы должны сказать ей, что вы больны», – посоветовала Буткевич.

«Она мне не верит».

«А что вы скажете о Сахарове?»

«Я с ним не знаком».

«Вы знаете, что Сахаров получает деньги от ЦРУ и подрывает мощь нашего государства?»

«Нет, не знаю».

«Вы верите советской прессе?»

«Конечно, верю. Я же не больной».

«Давайте без сарказма. Сахаров – враг. Не думайте, что мы побоимся и его сюда отправить. Просто власть ожидает, когда он изменит свои взгляды».

«Тереля, – включился Бабенко, – вы заявляли, что будете работать над легализацией униатской церкви. А что вы сейчас об этом думаете?»

«Я не знал, что существует подпольная церковь».

«Вы сами об этом написали в западной прессе», – сказал Капустин.

«По-видимому, я был тогда очень болен».

«Ладно, – сказал Капустин, – но вы желали также, чтобы Украина была независимой».

«Я думал, она и так независима».

«Вообще-то да, – сказал Капустин, – но вы хотели отделить ее от России».

«Я прошу прощения, – уточнил Тереля, – но все республики входят в состав СССР как независимые образования».

«Конечно, но что вы думаете о выходе Украины из федерации советских республик?»

«Украина к этому не готова».

«Почему? – спросил Капустин. – Не то время или не та ситуация?»

«Но все и так хорошо. Сейчас не нужна виза, чтобы поехать в Москву».

«Если бы вокруг вас не подняли такой шум, – сказал Бабенко, – то вы бы давно уже были дома».

«А кто поднял шум?»

«Ваши так называемые друзья, – ответил Капустин. – Сахаров и те, что вокруг него, использовали вашу болезнь для подрыва советской власти».

«Как это человеческая болезнь может подорвать такую могучую власть?»

«Ваша правда, – сказал Капустин. – А еще вас использовали в своих целях сионисты».

«Я не знаю никаких сионистов».

«Они действуют через тайные сети».

«Это что-то такое, чего я не понимаю».

«Обычному человеку этого и не понять, – сказал Капустин.

«Мы должны быть уверены, – сказала Буткевич, – что вы опять не попадете сюда. У вас жена, дочка. Живите для них. Не впутывайтесь больше в грязные дела. Поймите, что мы вам ближе кого-либо из ваших так называемых друзей. Мы действительно не желаем причинить вам вред».

«Тогда как надо понимать тот факт, что вы запрещаете мне писать или рисовать?»

«Когда вы начинаете писать стихи, – ответила Буткевич, – ваша болезнь обостряется. В будущем у вас не будет потребности писать стихи, даже о цветах».

«А кто мне даст работу после освобождения?» – поинтересовался Тереля.

«Относительно этого не волнуйтесь, – заявил Капустин, – мы поговорим с товарищами в Ужгороде, и там обо всем позаботятся».

«Просто отдыхайте, – прибавил Бабенко. – Работа никуда не денется. Важнейшее, что вы должны сделать, – это понять нашу советскую действительность».

10

ГЛАСНОСТЬ

В начале было Слово...
Евангелие от Иоанна 1:1

На рассвете одного июньского дня 1991 года подмосковным лесом ехала автомашина с телерепортером российского телевидения Сергеем Рыбиным и его оператором. Они незамеченными проехали через ворота дачного поселка советской элиты Назарьево, припарковали машину, а затем, пройдя по грунтовой дороге, подошли к охраннику, стоявшему перед продуктовым магазином. Рыбин кивнул охраннику, и оператор начал снимать двухэтажные деревянные дачи с широкими верандами, а потом – высокие березы вокруг и богатый ассортимент магазина.

«Они здесь неплохо живут»,– заметил Рыбин, обращаясь к охраннику, который не предпринимал никаких попыток помешать съемке.

«Лучше всех», – ответил тот с грустной улыбкой на морщинистом лице.

«А сравнительно с вами – как?»

«Им завозят черную икру, и они разбирают ее килограммами, – ответил охранник, одетый в синюю униформу с зелеными погонами. – А я и ста граммов не могу купить. Им отпускают по пятнадцать килограммов сахара, а в моей деревне норма – полтора кило на человека».

«Никакой справедливости», – заметил Рыбин.

«Вот именно, никакой».

Через восемь дней этот сюжет был показан в вечерней информационной программе «Вести» независимого российского телевидения, в репортаже о привилегированной жизни высокопоставленных партийных бонз. На следующее утро покупатели в очередях в пустых московских продовольственных магазинах обменивались возмущенными репликами: «Вы видели вчера новости? Вот негодяи!»

На протяжении пяти лет гласность использовалась в качестве оружия в политической борьбе между Горбачевым и его оппонентами. В результате в политическом пантеоне советских граждан изменился состав героев и злодеев, как изменилось и представление о враждебных и дружественных странах и о том идеологическом конфликте, который привел к холодной войне. Однако гласность, начавшись как внутрипартийный маневр, в конечном итоге уничтожила веру в коммунизм, бывшую главной опорой режима. Это изменение, в свою очередь, определило судьбу системы, потому что именно вера в коммунизм помогала оправдывать жертвы, приносимые всем народом.

МАРТ 1982 ГОДА

На улице в свете фонарей непрерывно падал снег, а Леонид Бородин – писатель и русский националист – пытался объяснить мне особенности менталитета, взлелеянного в стране советским режимом с помощью контроля за распространением информации.

«Нас разделяют не просто разные политические системы, – говорил он, – а два разных состояния сознания. На Западе люди строят свою жизнь вокруг ощутимых вещей – большого дома, одежды, новой машины. У наших же людей такого нет. Для нас важна победа наших идеалов. Советские люди очень искренни. Они искренне желают полного равноправия для негров в США.

Они искренне хотят, чтобы наступил день, когда крестьяне в Сальвадоре увидят триумф справедливости. Здесь нет эгоизма, мы желаем добра всем».

Бородин сделал последнюю затяжку и затушил окурок в пепельнице.

«Когда строили Братскую ГЭС, – продолжал он, – я был комсомольцем-добровольцем. Мы жили в палатках посреди леса. Не было ни свежей еды, ни водопровода. Нас заедали комары. Рядом был лагерь с сотней заключенных. Мы питались хуже их, а работали тяжелее. После работы мы были так истощены, что просто падали на койки. Это было в 1957 году. Тогда все казалось романтичным. Мы страдали больше заключенных, но я и до сих пор вспоминаю те дни с теплотой».

Бородин вышел из комнаты, походил несколько минут по коридору и, вернувшись, сел, закурил еще одну сигарету и зашелся долгим, изнурительным кашлем.

За месяц до этого КГБ провел на квартире Бородина обыск, и он знал, что ему оставались считанные дни на свободе. И, принимая во внимание респираторное заболевание, пребывание в колонии ставило его жизнь под угрозу.

«Люди в этой стране живут плохо, – сказал он, – но мы уверены, что мы сильнее. Если будет нужно, мы будем питаться кожей своих ботинок. Американцы такое есть не будут. Если Рейган их об этом попросит, они его переизберут. А мы будем есть. Капитализм – это эксплуатация человека человеком, и это зло. Мы должны бороться с этим злом. Если Америка построит сто танков, мы затянем пояса и построим сто два.

Люди здесь бесконечно уверены в своей правоте. Вы когда-нибудь наблюдали за Громыко, когда он выступает в ООН? Слышали его высказывания? Никаких сомнений в себе. Он демонстрирует абсолютную уверенность в своей правоте.

Этому режиму не нужно территориальное или экономическое превосходство. Он желает идеологического превосходства

– превосходства социализма над всем миром. Именно поэтому, когда Запад, оставаясь в стороне, кричит: “Вы сборище рабов, покорных, как стадо овец, почему вы не сбросите это иго?” – мы отвечаем лишь ироничным смехом. Мы восходим на Эверест. Перед нами сияющая цель, и ничто нас не остановит».

Описанный Бородиным менталитет господствовал в Советском Союзе годами, мобилизуя население на принесение жертв ради создания земного рая, который все время маячил где-то далеко впереди.

Покойный писатель Владимир Кормер сказал во время нашего разговора в начале 1980-х, что в СССР действительно существует морально-политическое единство, но не на основе марксизма-ленинизма. Это единство основывается на стремлении жить согласно определенной идее и заставлять других делать то же самое. Именно этой тягой к единодушию объяснялись некоторые негативные свойства диссидентской среды, пронизанной слухами и интригами, разъединенной нетерпимостью и внутренними дрязгами.

Кормер считал, что, за исключением некоторых частных случаев, идеологическая ментальность, резкое отторжение всего чужого были общими для всего советского народа. «Если бы к власти в СССР пришел Солженицын, – говорил он, – то повесил бы Сахарова, или, по меньшей мере, отправил бы его в ссылку. Если бы к власти пришел Сахаров, он был бы либеральнее, но если бы власть досталась его жене, она бы с радостью повесила Солженицына».

Кроме сектантства и отсутствия элементарного уважения к мнению других, существовал еще комплекс лидерства, особенно глубоко укоренившийся у интеллигенции. В 1968 году, перед вторжением в Чехословакию, Павел Литвинов и Виктор Красин безуспешно пытались договориться, кто из них будет лидером диссидентов. Во время одного спора Красин сказал Литвинову: «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я идеолог русского

демократического движения!» Но это не произвело впечатления на Литвинова, который настаивал на большей важности именно своей персоны.

Идеологическая атмосфера советского общества отражалась в отношениях между людьми так или иначе связывая себя политикой. Среди таких людей (а к этой категории принадлежало большинство неформальной интеллигенции) у дружбы почти всегда был оттенок товарищества с его потребностью в некритической идеализации. Сила этой дружбы была очевидной в среде диссидентов, которые были, по сути, одним большим, объединенным на политической почве семейством: практически жили дома друг у друга, демонстрировали фотографии друг друга и искренне интересовались личными делами друг друга. Вполне понятно, что дружба подобного типа становилась нестерпимой в случае хотя бы малейшего изменения во взглядах сторон. Тогда любое несогласие между друзьями считалось изменой, и ближайшие друзья могли превратиться в заклятых врагов: люди, словно проснувшись, начинали детально анализировать не замеченные ими раньше отталкивающие и недостойные черты тех, кого они годами считали своими наилучшими друзьями.

Важность контроля за средствами массовой информации в этой ситуации невозможно было переоценить. С каждым значительным событием в мире советские средства массовой информации превращались в огромный ретранслятор, распространявший какую-то странную, но целиком последовательную искаженную версию реальности. Эту картину сфальсифицированной действительности СМИ вкладывали в головы рядовых граждан вместо фактической картины, сводя на нет роль личного мнения. Основные политические убеждения советских граждан, замкнутых в герметичном пространстве лживой информации, формировались под воздействием псевдореальности, истолкованной режимом, а не реальности как таковой.

Начало гласности пробило брешь в этой изолированной, как монастырь, системе, и результат оказался одновременно и разрушительным, и неконтролируемым. Этот перелом в сознании немедленно привел к попыткам ограничить гласность как фактор дестабилизации. Однако партийные либералы теперь были заинтересованы в гласности. В это же время и журналисты начали отстаивать свою независимость. Многие из них посвятили свою профессиональную жизнь пропаганде, и теперь, получив шанс на восстановление своего честного имени, журналисты не собирались позволять снова заткнуть себе рот. Они шли на риск и, защищая свои права на свободное самовыражение, сыграли важную роль в ментальном раскрепощении всего советского народа.

Как-то осенним днем 1989 года Владимир Вигилянский, журналист «Огонька», вышел из автобуса на окраине города Ессентуки и пошел мимо ряда полуразрушенных деревянных домов в сторону тихого переулка. Легкий ветерок шуршал морем опавших листьев.

Вигилянский приблизился к неказистому домику и постучал в дверь. Через несколько минут дверь отворилась, и он увидел девушку, в которой узнал дочь одного из своих московских друзей. Она пригласила его в комнатку, где топилась железная печка, а вдоль стен стояли полки с книгами и висели рисунки – по большей части пейзажи, сделанные цветными карандашами, углем и акварелью. Девушка взяла у гостя пальто и провела его к Евфросинии Керсновской, которая лежала, полупарализованная, на узкой металлической кровати.

За несколько месяцев до этого Вигилянский прочитал мемуары Керсновской о годах, проведенных ею в сталинских лагерях, дополненные сотнями рисунков из лагерной жизни, и решил попытаться найти ее. Он и раньше читал лагерную литературу, но в книге Керсновской его поразило утверждение, что в действительности лагерный опыт приблизил заключенных к Богу. Текст

книги – полторы тысячи машинописных страниц – был слишком велик, чтобы напечатать его в «Огоньке», но Вигилянский хотел опубликовать хотя бы рисунки. Принимая во внимание отсутствие фотографий или фильмов, которые зафиксировали бы сталинские лагеря, эти рисунки были бесценным историческим документом.

Керсновская, которой было уже 83 года, взглянула на Вигилянского с интересом. В последний раз ее официально посещали по случаю ареста. Теперь, после многих лет, проведенных в лагере, и почти двух десятилетий шахтерского труда, она была окончательно прикована к постели и не могла даже ходить за водой к уличной колонке.

Вигилянский стал рассказывать ей о журнале «Огонек». Сказал, что редакция «Огонька» не остановится, пока не разоблачит все преступления сталинских времен. «Теперь нечего бояться. Благодаря Горбачеву можно говорить и делать все. Кто бы мог это предвидеть?»

К удивлению Вигилянского, Керсновскую это, похоже, мало впечатлило. «Я не верю этому Горбачеву, – сказала она. – Он лжец, и если солгал в чем-то одном, будет лгать и дальше».

«Ваши рисунки – это мощная антисталинская пропаганда, – сказал Вигилянский. – Их надо опубликовать».

«Я хочу опубликовать всю книгу. Публикация одних лишь рисунков создаст ложное впечатление».

«Но если рисунки будут обнародованы в “Огоньке”, вы станете знаменитой. Будет легче найти издателя для вашей книги».

Керсновская умолкла. Вигилянский знал от московских друзей, что увидеть свою книгу напечатанной было для нее главной целью жизни. Он несколько часов убеждал ее, что она просто обязана поделиться своими рисунками с людьми. Наконец, когда уже стемнело и в соседних домах засветились окна, Керсновская согласилась на публикацию своих рисунков в журнале «Огонек».

Раиса Бобкова, преподавательница истории партии в Московском институте торговли, была шокирована новой информацией, появлявшейся в прессе. Это были статьи о запрете генетики в СССР, а также новые материалы о революционерах-большевиках, где разоблачалась их безжалостность и жажда власти. В течение многих лет Раиса рассказывала студентам о перевыполнении первого и второго пятилетних планов в СССР, а теперь узнала, что они не были выполнены и фактически даже не приближались к выполнению. Она годами учила студентов, что в центре внимания XIV съезда Коммунистической партии была индустриализация, а в свете вновь публикуемых данных выходило, что его истинной целью было уничтожение Льва Каменева и Григория Зиновьева и что Сталин не только изменил подготовленный к публикации текст своего выступления на съезде, но и прибавил карандашом примечания – «Аплодисменты».

Раисе было так стыдно, что хотелось спрятаться, хотя некоторые вопросы, поднятые в газетных публикациях, приходили ей в голову и раньше. Каждую неделю внимание всех в институте было приковано к литературной рубрике журнала «Огонек», где пережившие сталинские времена рассказывали свои истории. Однажды, после публикации в журнале серии статей о судьбе украинских крестьян во время коллективизации, в том числе о массовом голоде и каннибализме, одна из коллег подошла к Раисе в слезах.

«Ты сегодня видела “Огонек”?» – спросила она.

«Да», – ответила Раиса.

«Ну, так мне кажется, что все то время, которое мы посвятили преподаванию, можно просто вычеркнуть из жизни».

Сначала Раиса продолжала защищать партию. Во время одного спора с подругой, Еленой Сухоруких, она сказала: «Мы начинали с нуля, и только партия обеспечила наше благосостояние». Она продолжала также работать над статьей о роли

пропаганды, которая, по ее мнению, вдохновляла молодежь на политическую активность.

Однако проходили месяцы, поток разоблачений превратился в потоп, и Раиса начала пересматривать свое мировоззрение. Она задумывалась над природой человека и источниками зла, над тем, что позволяло одним людям манипулировать другими и превращать их в сырье для удовлетворения собственных амбиций.

Как-то августовским утром 1990 года Вигилянский неожиданно увидел в своем кабинете в редакции «Огонька» молодую девушку, которая тащила огромный мешок с письмами и телеграммами. Как лидер общественной кампании за освобождение «Огонька» от партийного контроля Вигилянский обращался к читателям с просьбой присылать письма поддержки, но не ожидал подобной реакции. Он высыпал содержимое мешка на свой стол и начал читать.

«Мы требуем свободы для "Огонька"!» – было написано в одном письме.

«Скажите аппаратчикам, пусть заберут свои грязные руки от "Огонька"».

«Мы с вами! Если эти злодеи победят, я откажусь от подписки!»

Вигилянский позвал к себе остальных членов редакции. Только за один день пришла почти тысяча писем, и во всех поддерживалась борьба «Огонька» за независимость. «Возьмите эти письма, – сказал Вигилянский секретарше, – положите в пакеты и отошлите в ЦК КПСС».

Потом Вигилянский подал на партию в суд в связи с ее намерением сохранить за собой активы, которые она считала своим «имуществом». Вопрос оказался более спорным, чем того хотелось партии. Ее власть слабела, и партийные чиновники не хотели публичных споров относительно того, каким образом они в 1960-х годах присвоили сотни газет, журналов и типографий. Они, в конечном итоге, отказались от своих претензий на

«Огонек», и государственный комитет зарегистрировал его как издание, подконтрольное трудовому коллективу редакции.

Сентябрьским вечером 1989 года Владислав Старков, редактор газеты «Аргументы и факты», наиболее тиражной в СССР, собрал в зале коллектив редакции и сказал: «Горбачев недоволен нашей работой. Он говорит, что мы настраиваем народ против партии, и предложил мне уйти в отставку». Старков выглядел бледным и раздраженным. «Ребята, – сказал он, – ничего не поделаешь. Они слишком сильны». По залу прокатилась волна возмущения. Журналисты знали: если Старкова уволят, новый редактор уволит и всех их, и это будет конец «Аргументов и фактов» как независимой газеты.

После Старкова выступил его заместитель Николай Взятков, предложивший коллективу редакции избрать Старкова редактором газеты. Он раздал бюллетени, и коллектив единодушно проголосовал за избрание Старкова на эту должность. С этого момента он был не только назначенным, но и избранным руководителем, поэтому пообещал присутствующим на собрании, что откажется оставлять свой пост.

Долгие голы «Аргументы и факты» были периодическим изданием для лекторов КПСС. Их задачей была «контрпропаганда», и они помещали статьи о безработице, наркомании и преступности на Западе, а также статистические данные – часто неточные. Однако в 1987 году, в соответствии с новой политикой гласности, в ЦК было принято решение об обеспечении партийных лекторов более широкой информацией, и главным средством осуществления этой политики стали «Аргументы и факты».

Газета начала печатать ответы на вопросы читателей, публиковать материалы о ценах на продукты на колхозных рынках, впервые продемонстрировав наличие серьезной инфляции в Советском Союзе. Публиковалась также информация о ДТП, алкоголизме и воровстве. В 1988 году стали печатать показатели

рождаемости и смертности, которые всегда были строго засекреченными.

Газета почти немедленно прославилась как издание, в котором граждане могут получить честные ответы на свои вопросы. Ее тираж увеличился, и читатели заваливали редакцию все новыми письмами. В одной из статей, где сравнивалось потребление мяса на душу населения в США и СССР, сообщалось, что в Советском Союзе оно составляет 62 килограмма в год (в действительности оно равнялось 40 килограммам), однако в то же время констатировалось, что в США эта цифра достигает 120 килограммов в год. В ноябре 1988 года «Аргументы и факты» ошеломили читателей сообщением, что в Америке норма жилой площади на одного человека равна 57,3 кв. м, в то время как в Советском Союзе она равнялась 9 кв. м.

Однако, находясь под контролем партии, газета могла лишь дозированно публиковать правдивую информацию.

В мае 1989 года внимание советских граждан было приковано к первому заседанию Съезда народных депутатов, и в соответствии с новым духом демократии «Аргументы и факты» попросили своих читателей оценить качество работы депутатов. К удивлению коллектива редакции, наивысшую оценку получил Сахаров, за ним шли Ельцин и экономист Гавриил Попов, а Горбачев занял лишь семнадцатое место.

Старков был в отпуске, когда газета опубликовала результаты этого опроса. Когда он вернулся на работу, его вызвали к ЦК и приказали «положить партбилет» на стол. Через несколько дней Горбачев созвал заседание при участии редакторов центральных газет. Использовав как повод опрос, проведенный «Аргументами и фактами», он обвинил прессу в «безответственных левацких шатаниях», а относительно самого опроса заявил: «Такие вещи дезориентируют население». Старкову Горбачев сказал, что на его месте он бы уволился.

Геннадий Марченко, преподаватель журналистики в МГУ, начал читать лекции по идеологической борьбе в начале 1980-х. Темы лекций были тщательным образом подготовлены: существует несколько миров – мир капитализма, мир социализма и некий неопределившийся третий мир, за который продолжается непрерывная борьба; капитализм намерен уничтожить социализм и хочет заставить социалистические страны принять его идеологию.

Информацией Марченко обеспечивали Московский горком партии и газета «Аргументы и факты». Когда происходили какие-то встречи на высшем уровне, Марченко рассказывал в своих лекциях, как выглядел президент США, сколько раз главы государств встретились, в чем они пришли к согласию, а в чем разошлись. Он рассказывал аудитории, что американский президент иногда спрашивает о диссидентах, и главы государств часто обсуждают вопросы обмена.

Геннадий старался укрепить идеологическую стойкость своих слушателей. Он объяснял, что капиталисты пытаются применять против Советского Союза психологические методы воздействия, в частности, путем распространения соответствующей музыки, футболок и таких фильмов, как «Рокки» и «Рэмбо». Сам он их не смотрел, но характеризовал как враждебные социалистическому миру и предназначенные для подрыва духа молодежи. Он также часто вспоминал Севу Новгородцева, ди-джея Русской службы BBC, с которым никогда не встречался. Он описывал привычки Новгородцева, как тот общается со слушателями, шутит с ними, пытается создать непринужденную атмосферу, но цель его программы, объяснял Марченко, – издевательство над СССР.

Когда наступила гласность, Геннадий подумал, что это временно. Он вспомнил кампанию «Пусть расцветают сто цветков» в Китае, когда интеллектуалов поощряли выражать свое мнение, а потом подвергли репрессиям, и допускал, что то же самое

может произойти и в Советском Союзе. И все же, когда стало появляться все больше фактической информации, в частности, в ранее ортодоксальных «Аргументах и фактах», у Геннадия стали возникать сомнения. Политическая атмосфера начала изменяться. Слушатели на его лекциях начали задавать вопросы. Они спрашивали о борьбе за власть в руководстве страны и о жене Горбачева Раисе. Люди выражали возмущение тем фактом, что Раиса сопровождает Горбачева в его заграничных поездках, и спрашивали: «Кто ее избирал?»

В 1987 году СССР прекратил глушить западные радиостанции, а газеты начали критически описывать низкий уровень жизни в стране. Все это стало для Геннадия неожиданностью. Однако однажды ему пришлось пережить еще больший удар. В советской прессе была опубликована сокращенная версия речи Рональда Рейгана – «главный империалист» Рейган говорил о необходимости установления культурных связей, и, как стало известно, цензура вычеркнула из текста речи лишь несколько абзацев о ситуации с правами человека в СССР.

Марченко и раньше сомневался в некоторых, используемых им в своих лекциях, аргументах. Например, он подозревал, что наличие государственной собственности подавляет экономическую инициативу, но никогда об этом не говорил. Однако, когда перестройка стала набирать силы, он стал смелее. От разоблачения идеологических врагов он перешел к саморазоблачению. Говорил, например, что американская музыка не оказывает какого-то значительного идеологического влияния, а тот факт, что кто-то натянул американские джинсы на свой русский зад, не означает, что он стал жертвой идеологической диверсии.

Геннадий понимал, что и у самих лекторов мозги давно промыты. Однажды осенью 1987 года он разговаривал с преподавателями Института железнодорожного транспорта на тему идеологической борьбы и впервые выразил мнение, которое созрело

у него за последние два года. Он сказал, что баланс сил в мире меняется и нужно не вооруженное противостояние, а контакты. Идеологическая борьба не исчезнет, но станет цивилизованной дискуссией между людьми, у которых есть что-то общее.

Речь Марченко вызвала бурный протест, но это был определенный акт самораскрепощения. Читая позже лекцию группе студентов, он поставил под сомнение главную идею марксизма-ленинизма – что личность человека формируется обществом. Он сказал, что эта марксистская концепция является слишком узкой и делает личность заложником общества. В лекции на тему религии Марченко заявил о необходимости рассмотреть позитивные аспекты религии, в том числе очищение души в общении с Богом, и о существовании мощной религиозной мотивации на протяжении всей истории человечества.

По мере усиления либерализации жизни в СССР и улучшения отношений с Западом, начали терять популярность лекции, посвященные идеологической борьбе, которые ранее всегда хорошо посещали из-за их агрессивности. В то же время Марченко заметил, что другие лекторы тоже стали свободнее выражать свое мнение. В актовых залах предприятий, в аудитории общества «Знание» около площади Дзержинского лекторы, десятилетиями специализировавшиеся на противодействии «западной пропаганде», которую их слушатели никогда не имели случая услышать, теперь утверждали, что наступило время для примирения с Западом и что немало из того, что на Западе считалось агрессивной политикой СССР, действительно имеет место.

В конце 1988 года, когда советские газеты изобиловали статьями прозападного характера, лекции о непримиримой борьбе двух образов жизни читались все реже. В конце концов общество «Знание», предоставлявшее лекторов по запросам партийных организаций, упразднило все лекции на тему идеологической борьбы: лекторы не проявляли готовности освещать эту тему, а их аудитория растаяла.

После заседания в редакции «Аргументов и фактов» Старков пережил микроинсульт и перестал ходить на работу. Впрочем, это имело и положительную сторону: когда из ЦК начали звонить и спрашивать, когда же Старков принесет заявление об увольнении, им отвечали, что он болен и этот вопрос можно будет обсудить лишь после его выздоровления.

Тем временем сотрудники редакции организовали кампанию в защиту Старкова. Первым шагом был выход на западную прессу, которая начала писать об этом противостоянии. Потом журналисты «Аргументов и фактов» обратились к советским изданиям. Сначала советская пресса побаивалась становиться на сторону Старкова. Однако в конечном итоге Владимир Молчанов, ведущий популярной телепередачи «До и после полуночи», пригласил Старкова в свою программу, чтобы тот рассказал о своем конфликте с властью. После этого пресса тоже начала выступать в защиту Старкова.

Партийные органы, осознавая популярность «Аргументов и фактов», надеялись устранить Старкова тихо и даже предлагали ему должности в других газетах и журналах. Однако перед редакцией газеты на улице Малой Бронной стали появляться пикеты в поддержку Старкова, а на крупных предприятиях прошли митинги в его защиту. Рабочие Московского метрополитена угрожали забастовкой в случае каких-либо действий, направленных против «Аргументов и фактов».

Коллектив редакции пытался воздействовать на высокопоставленных должностных лиц, особенно на правление общества «Знание», которое должно было официально проголосовать за освобождение Старкова от занимаемой должности. И, наконец, в тот вечер, когда должно было состояться голосование, к зданию общества прикатили автобусы с рабочими и транспарантами «Руки прочь от “Аргументов и фактов!”». Внутри здания заместители Старкова нервно мерили шагами коридор у зала заседаний, где проходило голосование.

Около шести вечера двери зала открылись, и Старков с улыбкой сообщил своим сторонникам, что битва выиграна. За ним группами выходили члены правления общества «Знание», они тоже улыбались. Правление проголосовало против отставки Старкова. Орган, который до этого был полностью подчинен партии, счел правильным прислушаться к общественному мнению.

Однажды в мае 1989 года ленинградская тележурналистка Наташа Серова и ее оператор вышли из машины в поселке Левашово и пошли мимо дач с деревянными заборами и штабелями дров во дворах, по изборожденной колеями грунтовой дороге, направляясь к соседнему сосновому лесу. Пройдя по лесу минут пятнадцать, они очутились на опушке. Именно там, по словам сотрудника КГБ, с которым они общались десять дней назад, были захоронены тела тысяч жертв сталинских чисток.

Оператор начал снимать, а Наташа стояла в высокой траве, среди россыпи полевых цветов. Свет пробивался сквозь ветви высоких сосен, создавая на опушке храмовую, торжественную атмосферу. Она пыталась представить, как это происходило: выхлопы моторов грузовиков, эхо непрерывных выстрелов в лесу, тела только что убитых, каждое с пулей в затылке. Наконец оператор сказал, что отснял достаточно, и они вернулись в Ленинград, где эти кадры были использованы в телепрограмме «Пятое колесо», в передаче, посвященной сталинским временам.

На следующее утро в кабинете Серовой зазвонил телефон. Уже по голосу позвонившей Наташа догадалась, о чем пойдет речь. «Вы хотите сказать, что наша жизнь была напрасной?» – спросила собеседница. После каждой передачи о сталинском периоде таких звонков было огромное количество, и многие люди были на грани отчаяния. «Если идеология государства была лживой, – ответила Наташа, – это не значит, что жизнь была напрасной. Идеология была неправильной, но жизнь напрасной не была».

В 1988 году Бэлла Куркова, журналистка молодежного отдела Ленинградского телевидения, и четверо ее коллег – Вячеслав Коновалов, Виктор Правдюк, Клара Фатова и Наталья Серова – встретились в ресторане «Кавказ», чтобы обсудить возможность создания новой программы, где репортажи сочетались бы с художественными обзорами. Журналисты годами страдали от жесткой идеологической цензуры. Однако освобождение политических заключенных вселило в них надежду, что они станут свидетелями начала новых времен. И они договорились попробовать создать новую программу и назвать ее «Пятое колесо».

Серова и Фатова начали съемки, пользуясь свободной техникой из небогатых ресурсов студии. Первая программа была посвящена художнику Павлу Филонову, представителю русского авангарда, отказавшемуся приспосабливаться к требованиям соцреализма. Вторая программа стала трехчасовым сатирическим представлением, составленным из номеров Аркадия Райкина. На фоне абсолютной ортодоксальности остальных телепрограмм обе передачи стали сенсацией. Студию завалили восторженными письмами и телеграммами, и это стало началом карьеры «Пятого колеса».

В «Пятом колесе» начали обсуждать творчество художников-авангардистов, включая Малевича и Кандинского, запрещенных поэтов – Мандельштама, Пастернака, Ахматову и Бродского, а также бардов – Александра Галича, Юлия Кима и Александра Городницкого. Вскоре уже почти весь Ленинград и многие в Москве не спали до поздней ночи, чтобы посмотреть «Пятое колесо».

В мае 1988 года, с началом настоящей антисталинской кампании, коллектив «Пятого колеса» пригласил жертв сталинских репрессий и их родственников прийти в телецентр на улице Чапыгина и рассказать о своих судьбах. Эта встреча состоялась 14 мая. К десяти утра улица была заполнена тысячной толпой с документами и фотографиями. Внутри телецентра на каждом

этаже тоже было столпотворение – люди пытались узнать о судьбах своих родителей, дедушек и бабушек, или по крайней мере о времени и месте их смерти. Это нашествие продолжалось до поздней ночи. Все плакали. Когда Серова с оператором проходили сквозь толпу и люди один за другим рассказывали им об обстоятельствах ареста своих близких, мучительнее всего было то, что многие и через 50 лет после исчезновения своих родных все еще надеялись, что где-то на просторах СССР их близкие, возможно, все еще живы.

В 1987 году Марина Филатова, преподаватель научного коммунизма в Институте нефти и газа, во время отпуска работала над диссертацией в МГУ, когда в прессе начали публиковать письма читателей и впервые – результаты опросов общественного мнения, продемонстрировавшие недовольство трудящихся. Филатова всегда учила своих студентов, что СССР – страна рабочих, но теперь, после обнародования данных соцопросов, она начала задумываться, достаточно ли хорошо знает рабочий класс на самом деле. Вскоре она получила приглашение участвовать в одном из проектов такого опроса, организованного факультетом социологии МГУ, и из любопытства согласилась.

Однажды летом 1987 года в городе Иваново Филатова подошла к группе рабочих, которые собрались в вагончике, где обычно обедали, и раздала им анкеты. Рабочие с испачканными лицами, обильно потевшие в этом вагончике, где сквозь грязные окна припекало солнце, смотрели на Филатову одновременно с досадой и любопытством. Она объяснила, что Министерство строительства хочет знать, что изменилось за первые два года перестройки. «Можете не спешить, – сказала Филатова, – а если захотите что-то прибавить, напишите в конце, там есть место». Другие рабочие уже возвращались на строительную площадку после своего 45-минутного обеденного перерыва, и подъемные краны опять начинали трудиться над сооружением будущего

металлообрабатывающего завода. Однако внутри душного вагончика мужчины продолжали сидеть, не двигаясь.

«Я ничего не буду писать», – сказал один из них.

«Почему?» – спросила Филатова.

«Вы действительно считаете, что ваши анкеты что-то изменят?»

Филатова ответила, что изменения будут. Тот факт, что министерство отправило ее провести опрос, свидетельствует, что к мнению рабочих теперь относятся по-новому. Впрочем, рабочие на это не отреагировали и ни один из них не пошевелился, чтобы начать заполнять анкету.

В конце концов в дело вмешался главный инженер. Он обвинил рабочих в попытке запугать Филатову и пригрозил, что никто не уйдет из вагончика, пока анкеты не будут заполнены. Это сработало – люди заполнили бланки и вернулись к работе.

Та же сцена повторялась везде. В Орле, на строительной площадке будущего сахарного завода, Филатова сказала рабочим, что ответы на вопросы анкеты помогут министерству улучшить условия их жизни, и все же они согласились сделать это лишь под давлением начальства. То же было и на другой стройплощадке, в Курске.

Филатова годами учила студентов, что в Советском Союзе средства производства принадлежат всем. Но рабочие, которых она опрашивала, явно так не считали. Ее сомнения усилились, когда в программе «Пятое колесо» стали показывать свидетельства людей, переживших зверства сталинского режима. Филатова была потрясена историями людей, которые могли быть буквально ее соседями.

В 1987–1988 годах жизнь Филатовой приобрела странный характер. Вынужденная днем продолжать работать над своей диссертацией на традиционную тему, вечерами она стала посещать спецфонд Института научной информации, где хранились книги, запрещенные в СССР, но абсолютно доступные на Западе. Этим фондом позволялось пользоваться лишь преподавателям

идеологических дисциплин, считавшимся политически надежными, и Филатова начала читать книги о демократическом обществе и произведения Вебера и Макиавелли.

Филатова была воспитана на идее, что в политике цель оправдывает средства, но теперь начала думать, что все не так просто. Если конечная цель системы – благосостояние человека, средства, которые использует система, не могут быть аморальными. Однако если цель системы – способствовать интересам конкретного класса, то эти средства почти автоматически становятся аморальными, потому что, по логике, притесняются остальные классы. И здесь возникал другой вопрос: если коммунизм не является научным, то тогда каким же? Ненаучным?

В МГУ, где Филатова тоже читала лекции по научному коммунизму, одновременно работая над диссертацией, студенты топали ногами, когда начиналась лекция, а кое-кто просто сидел и читал газеты. К декану поступало много заявлений с просьбами упразднить этот предмет, поскольку он противоречит действительности.

В декабре Филатова завершила диссертацию, посвященную экономическим взаимоотношениям между Советским Союзом и странами Совета экономической взаимопомощи. В январе 1989 года она вернулась в Институт нефти и газа, где студенты оказались не менее мятежными, чем в МГУ. Филатова пришла на заседание факультета и в присутствии пятнадцати преподавателей объявила, что отказывается в дальнейшем преподавать научный коммунизм, и прибавила, что с этого времени будет читать политологию. Декан факультета, не рискуя вступать в спор с группой преподавателей, чья вера в идеологию тоже пошатнулась после жестоких испытаний последних лет, неохотно согласился.

Самораскрепощение «Пятого колеса» вызвало чуть ли не панику в ленинградских партийных органах, которые поняли, что не могут наложить на программу даже наименьшие огра-

ничения без риска подвергнуться возмущенной реакции со стороны общества. В сентябре 1988 года «Пятое колесо» показало фильм о разгоне милицией демонстрации в месте массовых захоронений в белорусских Куропатах, где состоялась эксгумация тел тысяч жертв сталинского террора. Сперва руководство телеканала запретило этот сюжет, но в ответ коллектив «Пятого колеса» вообще отказался делать программу. На следующий день к Ленинградскому телецентру пришли с протестом три тысячи человек, и, в конце концов, фильм был показан.

В декабре 1988 года, когда произошло землетрясение в Армении, Куркова подготовила комментарий, в котором вина за гибель 50 тысяч человек возлагалась на плохое качество строительства в этой сейсмической зоне. Директор Ленинградского телевидения приказал Курковой снять этот комментарий. В ответ она в прямом эфире рассказала об этом акте цензуры. Это был первый случай, когда тележурналист открыто бросил вызов цензуре на телевидении, однако к Курковой не было применено никаких мер воздействия.

Пресса становилась все более свободной, и у людей начало меняться настроение. Журналисты «Пятого колеса» стали знаменитостями, их узнавали на улицах, а прохожие, которые раньше избегали телеоператоров, теперь охотно говорили перед камерой и верили, что их мнение что-то значит и может что-то изменить.

В конце 1988 года, в попытке повлиять на журналистов и как-то их переубедить, руководитель идеологического отдела Ленинградского горкома партии Галина Баринова пришла на собрание коллектива Ленинградского телевидения. «Вы знаете наш народ, – сказала она, – и то, что вы делаете, создает нездоровую атмосферу. Мы боимся взрывов и кровопролития. Не забывайте – это партия начала перестройку». Однако ее призыв, не сопровождавшийся угрозами увольнения, убедил немногих и фактически был проигнорирован.

В начале 1989 года, когда в СССР готовились к первым полусвободным выборам, Ленинград стал уже не тем городом, каким был еще год назад, и в этом была достаточно большая заслуга «Пятого колеса».

Передачами, которые произвели наибольший политический эффект, стали три программы, посвященные привилегиям партийной элиты. В центре внимания первой из них были дачи партийных руководителей на Каменном острове. Репортер «Пятого колеса» Зоя Беляева вместе с оператором карабкалась на стены, чтобы заснять эти роскошные имения, в некоторых из которых были даже помещения для прислуги. Последний сюжет из этого цикла был показан 17 марта. Через девять дней после этого все старые партийные руководители Ленинградской области, включая первых секретарей горкома и обкома партии, потерпели поражение на выборах в Верховный Совет СССР.

Эти результаты повергли местные партийные органы в шок, и первой их реакцией стало направление на Ленинградское телевидение следственной комиссии. На совместном заседании горкома и обкома партии «Пятое колесо» осудили. Выступающие говорили: не удивительно, что население проголосовало против кандидатов от партии после стольких месяцев промывания мозгов.

Для Курковой это давление означало угрозу для самого «Пятого колеса», и это побудило ее участвовать во втором раунде выборов. Во время избирательной кампании она в теледебатах осудила Юрия Соловьева, все еще влиятельного первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, за монополизацию телевизионного времени и оборудования.

Через два дня после выборов, успешных для Курковой, хоть она и не стала народным депутатом СССР, ее вызвали в обком и потребовали объяснений относительно выступлений во время предвыборных дебатов. Однако уже начались заседания Съезда народных депутатов, и Ленинградский обком уже лишился воз-

можности диктовать что-либо одной из самых популярных телевизионных личностей в стране. Куркова отказалась прийти в обком, зато сам Соловьев через несколько недель после того был отправлен в отставку. Куркова же продолжила работать над новыми программами.

Ленинградское телевидение оставалось составляющей советского Центрального телевидения, но их отношения весьма осложнились. В январе 1991 года в связи с гибелью людей в Литве на Центральном телевидении была введена жесткая цензура. «Пятое колесо» ответило на это показом фильма об убийстве невооруженных демонстрантов в Вильнюсе, и Куркова, представляя фильм, предупредила, что программа может быть прервана в любой момент.

Фильм все же был показан, но напряжение, вызванное независимостью коллектива «Пятого колеса», не исчезало. Девятого апреля 1991 года председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР Леонид Кравченко во время телефонного общения со зрителями в прямом эфире приводил цитаты из целого ряда писем, в которых телезрители якобы жаловались на антисоветский характер этой телепрограммы и призывали принять меры против Курковой. Однако в июне Горбачев одобрил создание независимого Российского телевидения. Куркова и «Пятое колесо» сообщили, что их конфликты с Кравченко позади, потому что эта телепрограмма – одна из самых популярных и самых авторитетных в Советском Союзе – переходит на новый канал.

11

HOMO SOVIETICUS

«Неужели я единственный трус на земле?» – подумал я. И с каким ужасом подумал! Трус, затерявшийся среди двух миллионов героических психов, сорвавшихся с цепи и вооруженных до зубов?

Луи-Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи»

В шесть часов морозным декабрьским утром 1988 года поезд с Урала прибыл на Ярославский вокзал, и Михаил Кукобака, собрав свои тюремные пожитки в один мешок, сошел из вагона на платформу, уже заполненную людьми. С тех пор, как Михаил в последний раз видел Москву, прошло десять лет, и он с интересом разглядывал все вокруг, прежде чем через здание вокзала выйти в город. На площади трех вокзалов уже бурлила жизнь. Стояли длинные очереди на такси, за медлительными автобусами тянулись дымные выхлопы, над станцией метро в морозном воздухе горела буква «М». Кукобака знал адрес Вячеслава Бахмина, бывшего заключенного и диссидента, поэтому решил обратиться к нему за помощью в поиске жилья.

Прохожие с интересом оглядывались на Кукобаку, все еще одетого в серую лагерную одежду, со следами черных ниток там, где была нашивка с фамилией, но он почти не замечал этого. Подойдя к милиционеру, Кукобака спросил, как пройти на улицу Новосибирскую. Тот показал ему направление, а потом спросил документы. Кукобака извлек свою справку об освобождении из трудовой колонии Пермь-35, милиционер пробежал ее глазами и сказал, что в Москве Михаил может оставаться лишь 72 часа.

«Я буду оставаться столько, сколько посчитаю нужным, – ответил Кукобака и пошел, но потом оглянулся и сказал милиционеру: Вы знаете, с кем говорили? Я – последний политический заключенный, освобожденный из лагерей».

Тут же какой-то мужчина в берете, стоявший рядом, подошел к Кукобаке и с чувством пожал ему руку.

Кукобака провел в заключении шестнадцать лет. Ему были инкриминированы попытки ведения политических дискуссий с советскими гражданами. А теперь прохожие обращались к нему с приветствиями. Он понял, что времена меняются, и люди меняются тоже.

Изменение атмосферы Кукобака почувствовал еще в колонии. Осенью 1986 года притеснения и издевательства над политическими заключенными лагерей достигли беспрецедентных масштабов, однако в то же время все «политические» были потрясены возможностью прочесть первые критические статьи в советской прессе. Правда, большинство из них считали гласность хитростью властей, попыткой обмануть Запад, но Кукобака был не настолько в этом уверен.

В начале 1987 года стали освобождать политических заключенных. Единственным условием было подать прошения о помиловании. Но Кукобака отказался, потому что считал, что не совершил никакого преступления. Эта неуступчивость стоила ему еще двух лет заключения, и его выпустили из колонии лишь в декабре 1988 года, накануне визита Горбачева в США. Однажды начальство лагеря вызвало его и сообщило о переводе в другое место. Но в действительности он вышел на свободу, а в справке было написано, что он помилован.

Первые дни в Москве Кукобака не работал, а жил на деньги, заработанные за годы пребывания в лагерях. Однако со временем он начал продавать на улице независимые газеты, и когда общался с людьми на Пушкинской площади, на Гоголевском

бульваре или на Арбате, замечал, что в менталитете советских людей произошли кардинальные изменения.

В начале 1989 года антисталинская кампания достигла своего апогея, в прессе ежедневно появлялись материалы о массовых казнях, об уничтожении крестьянства, и везде обсуждался вопрос, был ли «сталинизм» естественным следствием социалистической идеи или же отклонением от нее. Но никто не сомневался в достоверности самих разоблачений Сталина.

Как-то в марте, после демонстрации на улице Горького, Кукобака вступил в спор с немолодым мужчиной в каракулевой шапке, который сыпал проклятиями в адрес демократов и заявлял, что Сталин правильно делал, когда расстреливал людей. Это замечание обозлило Кукобаку. «Вы не обычный пенсионер, – сказал он старику. – Обычные пенсионеры не носят каракулевых шапок. Вы, по-видимому, оказывали государству какие-то особенные услуги».

К удивлению Кукобаки, люди вокруг немедленно его поддержали и начали ругать сталиниста. «Воскресший Берия!» – кричали они. «Сам был палачом, потому и защищаешь палачей!», «Ты бывший энкаведист, ты участник их преступлений!» Старик, однако, стал спорить с народом: «При Сталине цены были ниже, был порядок, всего хватало!»

Изменение мировоззрения, охватившее весь Советский Союз, стало заметным и в общении с чиновниками.

Кукобака был родом из белорусского города Бобруйска, и когда его выпустили из трудовой колонии Пермь-35, то местом жительства назначили Бобруйск, хотя сам освобожденный высказал желание жить в Москве. На протяжении первых нескольких недель жизни в Москве Кукобака ходил в местную милицию и пытался получить паспорт, но когда там увидели его справку об освобождении, то приказали ехать в Бобруйск. В результате на последующие девять месяцев он отказался от попыток получить паспорт.

Однако весной 1990 года он снова решил попробовать: поехал в Александров Владимирской области, где в 1970 году его впервые арестовали, и в единственном отделении милиции этого городка попросил выдать ему паспорт. Когда сотрудник милиции увидел, что Кукобака был без документов в течение 9 месяцев, то сказал, что ему надо разговаривать с начальником. Кукобака вернулся в Москву, а через несколько дней опять приехал в Александров – на сей раз с кучей газетных вырезок, посвященных его делу. Начальник милиции, человек лет за тридцать, прочитал справку об освобождении и сказал, что должен начать расследование, потому что Кукобака прожил 9 месяцев без паспорта.

Тогда Кукобака стал рассказывать офицеру о своей жизни. Он описал те годы, когда был политзаключенным, рассказал, как пошел в чехословацкое консульство в Киеве, чтобы выразить свои соболезнования по поводу советского вторжения в их страну в 1968 году, как его арестовали и держали в трудовых лагерях и психушках, как его били. Рассказал о людях, которых встречал на этом пути. Показал вырезки из газет *Chicago Tribune*, *Baltimore Sun*, *New York Times* и материалы на русском языке – из газеты «Русская мысль». И еще показал обнародованные за рубежом письма, в которых описывал условия в тюрьме.

К удивлению Кукобаки, начальник милиции заинтересовался его рассказом, стал расспрашивать о жизни в лагерях и что он думает о ситуации в стране. Проходили часы, к разговору подключились и другие сотрудники милиции, они расспрашивали Кукобаку о его планах на будущее.

Часа через три начальник наконец сказал: «Выдайте ему паспорт. Может, когда-нибудь он скажет о нас доброе слово».

Кукобака широко улыбнулся, а начальник милиции сказал: «Да, времена меняются».

Двадцать третьего февраля 1991 года Кукобака и еще двадцать демонстрантов из Демократического союза решили про-

вести пикет на Манежной площади по случаю Дня Советской Армии. Они держали плакаты и флаги России и Литвы, но наиболее провокационными были транспаранты Кукобаки: «Советская Армия – школа убийц» и «Генералы – изменники русского народа».

Народ на площади был за армию и стал протестовать против пикетчиков. Один мужчина кричал: «Советская Армия – школа убийц, а американская – не школа убийц? Что должна делать армия – дома строить? Армия должна убивать и уничтожать».

Но не все протестующие против пикетчиков ограничивались криками. Кое-кто стал бросать в демонстрантов разные предметы, и для предотвращения настоящего избиения милиция разделила толпу и демонстрантов.

Люди были раздражены плакатами пикетчиков и пытались дотянуться до них кулаками поверх милицейского заслона. Кукобака получил удар в лицо. Раздавались и антисемитские возгласы: «Жидовские морды!», «Сионисты!». Однако, несмотря на толкотню, милиции удавалось сохранять дистанцию между этими двумя группами. И что больше всего поразило Кукобаку – милиционеры, казалось, сочувствовали именно демонстрантам. Какая-то женщина из толпы кричала им: «Почему вы не прекратите это безобразие?» Один из милиционеров ответил: «У вас свое мнение, а у них свое. Они выражают свое мнение. Это демократия».

«Все эти годы застоя я не имел представления о мире вокруг», – говорил Сергей Осинцев, студент театрального факультета, когда мы однажды вечером вместе шли в Тюменский драмтеатр.

«Кроме СССР, не существовало больше ничего. Если говорить об Америке, то огромной загадкой было – почему они не хотят жить с нами в мире. Рейган был таким кровожадным, что казалось, будто он ничего, кроме войны, не желает. Мы ожидали, что Америка нападет на нас. Мы допускали, что кто-то в

США нажмет кнопку, и тогда конец, потому что мы, конечно, тоже нажмем свою. В школе нас учили, как спасаться в случае газовой атаки. Мы тренировались надевать противогазы. Нас учили собирать автомат Калашникова на время. Все верили, что все это делается ради обороны, и у нас нет другого выбора, потому что мы имеем такого соседа, как Америка, которая только тем и занимается, что наращивает вооружение.

Было трудно представить себе людей, которые живут в Америке. Это было как темная сторона Луны. Мы знали лишь то, что там огромное количество убийц, наркоманов и проституток, и вообще – это место, где тебя в любой момент могут убить. Нам показывали безработных, которые умирают на улицах, хотя теперь – если верить нашим газетам – оказывается, что безработные живут там не так уж и плохо.

Когда наступила гласность, стали показывать фильмы о США. В программе "Взгляд" был цикл под названием "Письма из Америки". В одной из этих передач показали фильм об американской полиции. В Америке полиция защищает человека. Если вы попросите американского полисмена о помощи, он вам ее окажет в любое время.

А еще мы увидели картинки из американских магазинов, и я задумался, почему этого нет у нас, почему я должен часами простаивать в очереди за хлебом. Американцы не знают такого унижения как стояние в очередях. Там можно заказать по телефону – и вам все привезут домой.

В Америке живут люди. А здесь живут подопытные кролики, на которых сначала испытали социализм, а теперь испытывают перестройку.

Раньше люди думали, что мы доживем до коммунизма, и все будет бесплатно, и вот тогда мы начнем жить хорошо. Теперь мы поняли, что ничего этого не будет, что есть только борьба за власть. Была такая программа "Пятьсот дней". Непонятно, приняли мы ее или нет. Уже третий год, как мы перешли на рыночную экономику, а я не вижу никаких изменений.

Теперь я отношусь к Америке положительно. Я за частную собственность. Я думаю, что когда собственность частная, можно проводить опрос и выяснять, в какой театр хотят люди. А теперь, когда идет новое представление, то в первый вечер зал полон, а потом людей приходит все меньше и меньше. В театре 670 мест, а на представлении может быть 30 или 50 человек. А то и всего двое.

Люди не ходят в театр, потому что не знают, хватит ли им денег на жизнь. Магазины практически пусты, единственное, что можно купить, – это морская капуста.

Я прожил всего двадцать лет и уже ничему не верю. Когда был пионером, верил в светлое будущее. А теперь мне кажется, что мы стоим перед черной дырой.

Мы не способны свободно мыслить. Нас приучают мыслить в определенных рамках.

Я не буду эмигрировать в Америку. Я бы хотел просто поехать посмотреть. Жить там было бы страшно. Не думаю, что я способен быть свободным, а там все бы зависело от меня. Может, если бы я туда поехал, то наловчился бы. Но надо было бы усвоить новый способ мышления и полностью измениться.

Я чувствую какую-то симпатию к этой стране. Я здесь родился, русский – мой родной язык. В Америке, боюсь, я никому не буду нужен».

«Гласность открыла нам глаза, потому что мы совершенно ничего не знали», – говорила Марина Баранова, библиотекарь одного из тюменских предприятий, когда мы беседовали в помещении факультета социологии Тюменского университета.

Я верила в социализм, когда была молодой девушкой, да и как можно было не верить, когда везде – по радио, по телевидению, в газетах – мы только и слышали, что у нас самая счастливая, самая состоятельная, наилучшая страна в мире.

Я жила в сельской местности, в совхозе, и видела, что урожай никогда не собирается полностью и хлеб остается в поле, но я

думала, что наш совхоз – исключение, что урожаи везде собирают, как полагается.

Когда к власти пришел Горбачев, я начала следить за тем, что происходит в стране. В 1986 году я сдавала экзамен по истории КПСС, и один из вопросов касался разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. Я отвечала, как написано в учебниках: Троцкий и Зиновьев были врагами, и осудить их было необходимо. А через год они были реабилитированы – в конечном итоге оказалось, что врагами они не были.

Преподаватели были совершенно растеряны и не знали, по каким программам учить. А мы потеряли всякий интерес к истории партии и вообще к истории страны. В мировоззрении студентов в то время произошли резкие перемены. Для меня Ленин был чем-то наподобие бога. Я считала, что революция – это хорошо, потом пришла к заключению, что ее загубила банда преступников, которая воспользовалась ею. Теперь я вижу, что сама революция была ошибкой. Октябрьская революция – трагедия России. Со временем это становится все яснее».

«**Еще полгода назад** я считал, что Ленин в общем-то был великим человеком, но теперь я уже так не думаю», – рассказывал студент МГУ Вадим Прахт, когда мы разговаривали с ним однажды ноябрьским вечером 1990 года в комнате общежития, которую он делил с двумя однокурсниками.

«Мне обычно бывало неприятно слышать анекдоты о Ленине. Я считал его святым. Может, наступит такое время, когда я скажу, что надо убрать все его памятники и вынести его самого из мавзолея.

Несколько лет назад мне было бы странно слышать об отделившихся республиках. Они были у нас, как штаты в Америке. Мы все верили в социализм. Нашим кредо была дружба народов.

Я считал, что США – страна огромных контрастов, что там есть небольшая группа, которая живет хорошо, а что касает-

ся простых людей, то я был убежден, что они живут хуже нас. Я думал – слава Богу, что я родился в СССР, где каждому гарантирована приличная жизнь – не роскошная, но приличная. В Соединенных Штатах, казалось мне, все живут в страхе перед завтрашним днем.

Когда я слышал о борьбе за права человека в СССР, то думал: те, кто об этом говорит, просто негодяи. Когда США заявляли, что мы нарушаем права человека, я думал: это США их нарушают, у них цветное население – это не просто второсортные граждане, а вообще изгои. Такое представление создавало у нас телевидение. Я думал, что в Америке есть небольшая группа людей наверху, которая живет хорошо и думает лишь о сохранении власти в руках буржуазии, и все мои знакомые и соседи в Хмельницком считали так же.

Я пошел в армию и поэтому был отрезан от гласности и всего, что происходило в стране, но когда вернулся в 1989 году, начал читать и был шокирован тем, о чем узнал. Я прочитал "Архипелаг ГУЛАГ" в журнале "Новый мир"» и был поражен уже самими масштабами репрессий. Я не представлял, что за любое слово можно было попасть в лагеря, и не понимал, что эта система была построена так, что люди, которые туда попадали, до последнего верили в Сталина.

Как-то весной в программе "До и после полуночи" был фильм о Нидерландах. Показывали какой-то фестиваль с цветами, улицы, где людям не приходится проводить время в очередях, страну, где человеку не надо постоянно думать, где купить кусок мяса или где провести отпуск с семьей. Там царит доброжелательная атмосфера, люди улыбаются друг другу. А здесь, если улыбнешься кому-то, то в ответ получишь брань».

Одним солнечным днем в конце весны 1990 года Долорес Ахметова – студентка университета, работавшая экскурсоводом в музее Ленина в Уфе, – увидела, что в музей заходит экс-

курсионная группа, которая состоит лишь из 15 туристов. Это ее удивило, она привыкла к более многочисленным группам – раньше они никогда не бывали меньше 40 человек.

Долорес отвела руководительницу группы в сторону и спросила, почему та привела так мало людей. «Я объявила в автобусе, что мы прибыли в музей Ленина, – объяснила она, – и половина туристов отказались выходить из автобуса».

На протяжении многих лет отношение к Ленину в Уфе было полурелигиозным, и атмосфера в музее Ленина – деревянном доме, где Ленин провел в 1900 году три недели у своей жены Крупской, – напоминала церковную. Посетители тихо слушали, когда Ахметова и другие экскурсоводы показывали им экспозицию и рассказывали о жизни Ленина, а детей приводили сюда на уроки истории. Когда Ахметова вела экскурсантов к спартанской комнате на втором этаже, где Ленин жил с Крупской, посетители были преисполнены такой почтительности, будто проходили мимо гроба.

Отношение Ахметовой было таким же, как и у посетителей. Она считала Ленина выдающимся политическим деятелем и мыслителем, а свою работу – действенным способом приобщать людей к его величию. Поэтому замечание руководительницы группы произвело на нее настолько сильное впечатление. Ахметова поняла: если люди не только не проявляют больше интереса к музею Ленина, но даже не хотят заходить в него, то в Уфе и вообще в СССР что-то кардинально изменилось.

Ахметова начала работать в музее Ленина в апреле 1988 года, на четвертом году пребывания Горбачева у власти. Пресса стала намного свободнее, а Горбачев произвел ряд реформ, целью которых было возвращение к «ленинизму». Приблизительно в то же время гласность, которая до того ограничивалась разоблачением коррупции времен Брежнева, стала шире – начали вскрываться преступления, совершенные во времена Сталина.

Эти разоблачения изменили атмосферу в стране. Как и большинство молодежи в Уфе, Ахметова смутно представляла себе масштабы сталинских репрессий, однако, когда в прессе появились свидетельства уцелевших, а по телевидению показали массовые захоронения жертв, ее поразил размах преступлений. Она всегда считала коллективизацию необходимой. Теперь же узнала из прессы, что эта кампания проводилась под дулами пистолетов, что взрослые годами лгали ей о советской истории, пока она училась в школе.

И все же через несколько месяцев после начала апогей антисталинской кампании остался позади. Студенты университета сначала вырезали из газет статьи о сталинских преступлениях и приносили их на занятия, но со временем интерес угас, и обсуждение этой темы прекратилось.

Разоблачениями Сталина были заполнены все газеты, это была постоянная тема телевизионных программ. Казалось, каждый советский гражданин, включая и сотрудников КГБ, теперь считает своим долгом внести собственную лепту в разоблачение Сталина. В то же время каждый недостаток в государстве – от дефицита продовольствия до не соблюдения законности – объяснялся наследием Сталина.

Как раз в разгар антисталинской кампании Ахметова услышала в университете от преподавателя психологии, что «красный террор» в нашей стране начал Ленин. Она была шокирована этими словами, но забыть их было уже невозможно.

С начала кампании по разоблачению Сталина большинство людей не были настроены против Ленина. Они продолжали массово посещать музей Ленина, однако наблюдалось постепенное снижение традиционной почтительности. Посетители, особенно туристы из таких городов, как Москва и Ленинград, задавали неслыханные ранее вопросы о личной жизни Ленина. Правда ли, что Ленин с Крупской не были женаты? Правда ли, что Ленин вступил в брак с Крупской лишь потому, что так было

удобнее с ней работать? Ахметова отвечала, что у музея есть документальные подтверждения венчания Ленина и Крупской в церкви, а также существуют письма, в которых Ленин объясняется Крупской в любви. Посетители спрашивали также, была ли Крупская второй женой Ленина и были ли у того любовницы.

Активность антисталинской кампании снижалась, но это не означало завершения попыток расшатать официальную версию истории. Напротив – в прессе стали появляться материалы, затрагивавшие уже и Ленина. Его имя не называлось, но вспоминался, например, голод 1921 года, когда страной руководил он. Были статьи о восстании в Кронштадте, подавленном большевиками. Ранее его всегда представляли как контрреволюционный мятеж. Теперь же восстание связывали с перебоями в снабжении продовольствием петроградских рабочих до уровня голодного пайка.

Появление этих статей посеяло зерна сомнения относительно Ленина в головах многих людей, и эти сомнения усилились еще больше, когда его памятник в центре Уфы был частично демонтирован для ремонта и оказалось, что его постамент составлен из надгробий, похищенных с местного кладбища, в том числе детских. Это скрыли, перевернув надгробия надписями внутрь.

И все же Ахметова сохраняла веру в Ленина. Она говорила себе, что даже если Ленин был каким-то образом связан с актами насилия, это случилось уже на закате его жизни, когда он был слишком болен, чтобы играть в этом главную роль.

Другие думали иначе. Однажды в октябре в музей перед самым его закрытием пришла женщина, которая, похоже, была в отчаянии. Она сказала, что преподавала историю в местном институте и теперь считает, что всю жизнь работала напрасно.

Большую часть 1989 года пресса лишь намекала на причастность Ленина к разным актам жестокости. Однако в феврале 1990 года из Конституции была изъята 6-я статья, и это стало

переломным моментом в отношении к Ленину. Впервые прозвучали утверждения, что Ленин знал об актах террора, осуществленных большевиками в первые дни большевистского режима.

В начале марта к Ахметовой в музее подошел студент Уфимского нефтяного института и спросил, верит ли она еще в Ленина. Ахметова не знала, что ответить. Студент напомнил ей о расстрелах заложников в первые послереволюционные годы, о которых рассказывалось в прессе. «Вы считаете, он заслуживает того внимания, которое мы ему уделяем?» – спросил он.

«Заслуживает, – ответила Ахметова, – но это внимание приобрело неправильную форму. Вместо того, чтобы читать его труды, мы посвящаем ему стихи и ставим памятники. Мы делаем не то, что нужно».

«Почему вы не изменили своего мнения?» – спросил студент. – Есть подтверждение, что он был действительно жестоким человеком».

«Я думаю, еще слишком рано делать какие-то выводы, – сказала Ахметова. – Прежде чем судить, мы должны ознакомиться со всей информацией».

Проходили месяцы, и в печати начали появляться подробности о ленинской жестокости. Экскурсоводы музея были потрясены одной из передач программы «Взгляд», где рассказывалось о причастности Ленина к умышленному убийству православного священника, который пообещал передать продовольствие для голодающих в обмен на прекращение разворовывания большевиками предметов культа из церквей. Экскурсоводов это так ошеломило, что они потом не сознавались посетителям, что тоже видели телепередачу, чтобы не отвечать на неприятные вопросы.

В апреле в музее начали ощущаться последствия всех этих разоблачений. Количество посетителей упало с 700–800 в день до 200. Бывали дни, когда музей посещало не более сотни ту-

ристов, и именно в такой день группа рабочих из Челябинска отказалась выходить из автобуса.

Вскоре подобная реакция стала обычным делом. Ахметова считала, что люди не должны демонстрировать свое отношение так агрессивно, но стала замечать враждебность даже со стороны тех, кто заходил в музей. Они стояли молча и казались озлобленными. Они не слушали ее объяснений. Потом в книге отзывов Ахметова находила записи наподобие: «Для чего все это построено?»

Кукобака, студенты, Ахметова были лишь отдельными частными примерами тех миллионов людей, на которых повлияла новая информационная политика в период перестройки.

С помощью идеологической цензуры режим показывал советскому народу мир настолько искаженным, что почти каждый аспект действительности – от успехов советской космической программы до безработицы в США – должен был служить прямым или косвенным подтверждением преимуществ советской системы.

Когда же советские граждане начали избавляться от этих навязанных им иллюзий, коммунистический режим был обречен, потому что (несмотря на надежды коммунистов-либералов) советским населением нельзя было манипулировать бесконечно. Когда в результате гласности режим потерял свой «небесный мандат», маятник общественного мнения не остановился на середине своей амплитуды, а приобрел непреодолимую инерцию движения к противоположному краю.

Однако крах фиктивной вселенной не изменил основополагающих психологических особенностей народа, который в течение 70 лет подчинялся лживой идее и в этом процессе потерял любое представление о трансцендентности. К числу этих особенностей относится стремление жить в мире иллюзий, склонность считать людей взаимозаменяемыми и тенденция нивелировать всех до одного уровня.

Несмотря на произошедшие в Советском Союзе изменения, эти особенности психологии остались неотъемлемой составляющей национальной ментальности и были заметны в течение десятилетий на фоне калейдоскопа происходивших событий.

Важнейшей чертой советского человека было стремление бежать из реального мира и жить в мире иллюзий.

В июне 1980-го, через полгода после вторжения в Афганистан, я решил съездить в Шадринск – город с 80-тысячным населением, расположенный в 160 километрах к востоку от Уральских гор.

Мои московские знакомые не верили заявлениям правительства, что вторжение в Афганистан является ответом на просьбу о помощи, но я допускал, что в «глухих закоулках», на евразийских пространствах, где проживает большинство советских граждан, могут думать иначе. Я стал изучать карту Союза в своем кабинете в поисках такого места и наконец остановился на Шадринске, который находится практически в географическом центре СССР. Билл Шмидт из *Newsweek* согласился составить мне компанию, и мы заказали два билета в купе транссибирского экспресса.

Лучи предвечернего солнца пробивались сквозь окно нашего купе, и поезд мерно катился в густом подмосковном лесу, мимо обветшалых деревянных домов придорожных поселков и толп провинциальных жителей, ожидающих электричек на платформах пригородных станций.

Нашим соседом по купе был школьный учитель-пенсионер. Он рассказал нам, что участвовал во встрече на Эльбе советских и американских войск в 1945 году. Он вспоминал, какие дружеские отношения были тогда между обеими странами. «Мы бы и до сих пор были друзьями, – сказал он, – если бы не Черчилль. В 1946 году я ожидал демобилизации, когда Черчилль выступил со своей речью в Фултоне о “железном занавесе”. Приказ о моей демобилизации был отменен, и мне пришлось отслужить еще год. И все из-за Черчилля».

Мы стали говорить об Олимпийских играх, которыми тогда были заняты мысли почти каждого, и я спросил учителя, что он думает об американском бойкоте, объявленном президентом Картером.

«Это позор, что американская команда не приедет, – сказал он. – Я понимаю, это связано с Афганистаном, но это же политика. Политика не должна вмешиваться в спорт. Это разные вещи».

«То есть вы не одобряете этот бойкот?» – спросил я.

«Мне жалко спортсменов – так пролететь после всех этих тренировок».

Мы вышли в коридор и продолжили нашу беседу, поглядывая на березы и поля Московской области, которые мелькали за окном вагона. Я не решался заговорить об Афганистане, но поскольку учитель сам о нем вспомнил, то я спросил, что он думает об этой войне.

«Мы только оказали Афганистану помощь, – сказал он, очевидно несколько смущенный всем этим разговором, – так же, как американцы помогли нам во время Великой Отечественной войны».

«Поэтому вы не считаете эту войну в Афганистане вторжением?»

«Конечно нет, это – советская помощь. Все официально, просьба о помощи была напечатана в наших газетах».

Учитель вернулся в купе, а мы со Шмидтом остались в коридоре еще на несколько часов, любуясь панорамой лесов и полей. Мы еще много с кем беседовали во время этого путешествия в Шадринск, которое длилось 39 часов, но чувства учителя разделяли, похоже, почти все. Никто не сомневался (по крайней мере, внешне), что советское вторжение является «братской помощью», предоставленной в ответ на «просьбу» правительства Кармаля, хотя этого правительства еще не существовало в тот момент, и этот факт должен был быть очевидным для всех.

Стемнело, и в вагоне наступила тишина. Проводница разнесла пассажирам стаканы с чаем, а музыку, раздававшуюся из динамиков, выключили. Единственным звуком остался ритмич-

ный перестук колес. Тем временем по вагону разнесся слух, что здесь едут двое американцев, и в наше купе с бутылками водки потянулись гости – поговорить. Среди них были рабочий из Архангельска, молодой солдат, рабочий из Ленинграда и чиновник из Минска. Это дало повод снова побеседовать о бойкоте Олимпиады и вторжении в Афганистан.

Ленинградец сказал, что, по его мнению, президент Картер пытается запугать Советский Союз, но что бы там ни делал Картер, советский народ полностью поддерживает решение помочь правительству Кармаля в Афганистане.

«Не все советские граждане были за, – сказал я. Как насчет Сахарова? Он осудил это вторжение и был сослан».

Атмосфера в купе была дружественной, наши спутники подливали нам в стаканы водку, но упоминание о Сахарове зацепило их за живое.

«Сахарова никогда не наказывали за то, что он говорил, – заметил учитель. – Советский Союз – демократическая страна. Здесь людей наказывают только за конкретные проступки. А Сахаров хотел создать правительство ученых, чтобы возглавить это правительство».

«Это так, – сказал ленинградец. – Сахаров живет здесь, а работает против интересов государства. Его надо закрыть надолго».

«Вы считаете, что это правильно – посадить человека лишь за то, что вы с ним не согласны?» – спросил Шмидт.

«В вашей стране то же самое, – сказал чиновник из Минска. – Вы критикуете нас из-за Сахарова, а вспомните, что случилось с Мухаммедом Али, когда он выступил против войны во Вьетнаме. Его едва не посадили в тюрьму».

«В “Литературной газете”, – сказал учитель, – писали, что Сахаров получал деньги из-за границы на антисоветскую пропаганду. Вот только что это написали в “Литературной газете”».

Я спросил учителя, не приходила ли ему когда-нибудь мысль, что написанное в советских газетах может быть неправдой.

«Как это может быть неправдой? – удивился он. – Они же не перекручивают информацию. Сообщения передаются мгновенно. Показывают корреспондентов в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне. Есть факты. Факты нельзя исказить».

«Вы когда-нибудь слушаете иностранные радиостанции?» – спросил я.

«Пять-шесть лет назад, – ответил учитель, – люди слушали “Голос Америки” или BBC, потому что они передают новости немедленно, а наше радио тогда давало информацию лишь через два-три дня. Но теперь наше радио передает ее быстрее, чем “Голос Америки”, потому интерес к западным радиостанциям пропал».

Здесь вмешался рабочий из Архангельска, который до сих пор молчал.

«Пишут то, что хотят, чтобы вы прочитали, – сказал он. – Они излагают свою точку зрения, но что-то не видно, чтобы они дали возможность высказаться Сахарову».

Я был поражен этим замечанием, свидетельствовавшим, что в советской провинции все-таки сохранился здравый смысл, но никто из собеседников на него не отреагировал, и рабочий опять умолк.

«Ну а как же быть с иностранными радиостанциями? – спросил я. – Они говорят, что никакой просьбы о помощи не было».

«Сначала, – сказал после некоторой заминки учитель, – ходили слухи, якобы бои в Афганистане – это гражданская война. Возможно, эту идею подбросили именно западные радиостанции. Но когда люди увидели, что нет ни погибших, ни раненых, и никто не слышал ни о каких захоронениях, то мы решили, что это не может быть гражданская война. В гражданской войне было бы больше жертв».

Беседа длилась, и становилось очевидным, что происходящее в нашем купе – это встреча двух разных миров. Мы переходили с темы на тему, но каждый раз попытка обменяться мне-

ниями наталкивалась на непререкаемую уверенность наших собеседников в «правдивости» официальных заявлений. Как-то пообщаться удавалось лишь при обсуждении практических вещей – например, стоимости товаров или размеров зарплаты на Западе, – но никоим образом не тогда, когда мы обращались к более чувствительным вопросам, в частности – к истории.

«Почему люди на Западе так не любят Сталина?» – спросил ленинградец.

«Потому что он убил миллионы людей», – ответил я.

«Убил, говорите. А может, так было надо».

«Сталин боялся внутренней буржуазии», – сказал учитель.

Упоминание о Сталине вдохновило молодого солдата (он ехал в Хабаровск) задать еще один вопрос.

«Почему Запад приписывает расстрелы в Катынском лесу во время войны нам?»

«Западные эксперты считают, – ответил я, – что эти расстрелы осуществлялись НКВД, когда эта территория была под советским контролем».

«А советские эксперты установили, что за Катынь отвечают немцы», – сказал учитель.

«Думаю, все зависит от того, кому вы хотите верить, – заметил я. – У Сталина были все основания желать уничтожения польского офицерского корпуса, и на Западе никто не сомневается в том, что это сделал он».

В конце концов гости разошлись по своим купе, а мы со Шмидтом и учителем разделись и легли спать, а поезд тем временем мчал на восток под звездным летним небом. На утро мы были уже далеко от Москвы и ехали по просторам Центральной России.

Под вечер второго дня нашего путешествия я стоял в коридоре рядом с молодым солдатом в форме, который тоже решил полюбоваться сельскими пейзажами. Впоследствии между нами завязалась беседа, и он рассказал, что служил под Алма-Атой, был демобилизован и теперь едет домой, в Красноярск. Я спро-

сил, есть ли у него знакомые, которые воюют в Афганистане. Он ответил, что из его военной части туда никого не отправляли. Мы стояли, глядя на запущенные села и обширные вспаханные поля, которые тянулись на километры под бледным голубым небом, и, наконец, я спросил солдата, что он думает об этой войне.

«Я поддерживаю присутствие наших войск в Афганистане, – был ответ. – Мы хотим, чтобы Афганистан стал на правильный путь, установил социалистический строй с современной промышленностью, тогда он не будет зависеть от своих соседей, таких как Китай и Пакистан».

Солдату было лет двадцать, у него были широкие скулы и несколько раскосые глаза.

«А если они не хотят становиться на правильный путь? – спросил я. – Или, может быть, имеют собственное представление о правильном пути?»

«Тогда мы должны попробовать убедить их примером».

«А если не удастся убедить?»

Солдат покачал головой и скептически улыбнулся. «Думаю, они хотят прогресса, – заверил он. – Это же они нас пригласили».

Ночью поезд пересек Уральские горы, разделяющие Европу и Азию. Когда мы проснулись, увидели, что едем по густо заросшей травой долине, где единственным признаком присутствия человека были цепочки бревенчатых изб, через равные промежутки возникавшие на горизонте. Этот пейзаж оставался почти неизменным, пока мы через несколько часов не достигли окраины Шадринска.

Шадринск – купеческий городок XIX века, превратившийся в небольшой промышленно-аграрный центр. Приближаясь к нему, мы проезжали мимо деревянных домов с голубыми колокольчиками во дворах и жилых бетонных коробок с заржавленными железными балконами. Запущенные подъездные колеи

заросли бархатцами, на солнце ржавели металлические части высоких элеваторов.

Мы проехали мимо нескольких заводов, и, наконец, поезд остановился у одноэтажного вокзала.

На перроне нас со Шмидтом встречала женщина из горсовета, которая отвезла нас в гостиницу «Урал». Мы зарегистрировались, быстро распаковали вещи и пошли прогуляться. В Шадринске мы никого не знали, но когда останавливались на улице поговорить с людьми, то выяснилось, что о нашем визите было заранее объявлено на каждом предприятии и в каждой школе города. Мы решили воспользоваться этим, чтобы познакомиться с возможно большим количеством людей.

День был безоблачным, и нас на открытой центральной площади безжалостно припекало солнце. На лавочках вокруг военного мемориала сидели молодые девушки. Напротив, на кинотеатре «Родина», висели афиши нового фильма, который назывался «С любимыми не расставайтесь». В соседних переулках из окон скособоченных, изувеченных дождями и снегами столетних деревянных домов с любопытством выглядывали старушки.

Мы пошли по этим переулкам и в конце пути очутились на берегу реки. Трава сияла на солнце изумрудной зеленью, по голубому небу плыли перистые облака, а на крыльце своих домов сидели высохшие, морщинистые старушки. Двое милиционеров не давали какому-то мальчишке ломать ветки кустарника. Неподалеку женщина в ситцевом платье что-то стирала в бочке, и щебет птиц смешивался с плеском воды – это девушки плыли с этого берега к заросшему осокой островку среди реки.

В Шадринске нас больше всего поразила какая-то отрешенность этого места и отсутствие всякой связи с событиями в Афганистане. Затем мы вернулись в свою гостиницу. Приветливые жители города кивали или махали нам, но вряд ли представляли, что с нами делать. Мы зашли в магазин суве-

ниров, где две продавщицы очень смутились, увидев нас, и стали прятаться друг за друга. По-видимому, для шадринцев наше пребывание здесь отразилось на их будничной жизни, словно визит пришельцев из космоса.

Когда мы под вечер вернулись на центральную площадь, было уже прохладно. Скамьи вокруг мемориала опустели. В своей гостинице мы зашли в ресторан и сели за столик. Завершив приготовления, заиграл музыкальный ансамбль, посетители начали танцевать, и перед нами развернулась целая галерея провинциальных типов.

Приземистый офицер Советской Армии с густыми бровями и похожими на бусинки черными глазами танцевал с крупной девушкой в черном в белый горошек платье. Другой офицер, с поредевшими волосами и безвольным подбородком, – со страстной брюнеткой с широкими бедрами и ростом (с учетом каблуков) не менее метра восьмидесяти. Грузин с черными баками и угловатым лицом танцевал с пятнистой перекисной блондинкой в джинсовом костюме, а партнершей мужика с красным лицом и жирными взъерошенными волосами, одетого в голубую тенниску, обтягивавшую его огромное брюхо, была высокая рыжеволосая девушка с яркой помадой и золотым зубом.

Все танцевали, как вздумается. Кто-то неуклюже приседал, кто-то раскачивался, кто-то изображал бег на месте; один держал руки на ягодицах партнерши, другой тоже пытался быть как можно ближе к своей даме, но его постоянно отталкивали. Двое юнцов танцевали друг с другом, толстухи трясли бедрами.

Ударники отбивали ритм, и танцоры неистово реагировали на оглушительную электронную музыку, которая делала невозможными любые разговоры и отражалась от стен.

Большую часть вечера мы с Биллом провели вдвоем. Официантки, которые знали, кто мы, отгоняли всех пытавшихся сесть рядом с нами. Однако в конце концов нас пригласили к

столу, за которым сидело несколько рабочих шадринского завода автозапчастей, и у нас завязался разговор о политике.

Один из рабочих, назвавшийся Володей, спросил нас, почему американцы не приезжают на Олимпиаду. Я напомнил о вторжении в Афганистан.

«Вы говорите – вторжение в Афганистан, – сказал он. – Но никакого вторжения не было. Мы лишь предложили свою помощь. Мы, русские, готовы помочь любой стране – это факт. Мы помогали Камбодже, где маоисты занимались геноцидом. Сколько там людей погибло? Три миллиона? Это же волосы становятся дыбом. Мы помогали Вьетнаму. Мы всем готовы помочь».

«Я считаю, спорт и политика должны быть отдельно, – сказал второй рабочий, которого тоже звали Володей. – Об Афганистане мы все знаем. Он наш южный сосед. Они обратились за помощью к нам, не к США. Но это не суть важно, это политика. Это должно быть отдельно. Спорт – это одно, а политика – это что-то другое. Надо сказать: "Ладно, между нами есть расхождения, но мы можем по крайней мере соревноваться"».

«Если бы у меня был последний кусок хлеба, а вы были бы голодны, – сказал первый Володя, – я бы отрезал вам половину. Мне все равно, кто вы – англичанин, американец, вьетнамец, израильтянин. Мне безразлично, кто вы. Мы все люди. Я уверен, что мы вошли в Афганистан по сугубо человеческим причинам, чтобы помочь другим людям».

Эта встреча словно задала тон нашему пребыванию в Шадринске – в дальнейшем мы со Шмидтом не нашли в городе почти никого, кто не одобрял бы это вторжение. Местная газета «Шадринский рабочий» и областная «Зауральская правда» посвящали большинство своих материалов урожаю зерновых или прогулам на заводах, а центральная пресса и телевидение описывали введение войск в Афганистан как «братскую помощь». Вследствие всего этого в изолированном Шадринске эта пропаганда и была реальностью.

Наутро второго дня нашего пребывания в городе мы встретились с Леонидом Дмитриевым, главой местной комсомольской организации, и он несколько часов снабжал нас фактами: в Шадринске шесть больниц, 75 заведений розничной торговли, 45 кафетериев, 4 тысячи частных автомашин, 800 свадеб в год... Когда же я спросил, как люди в Шадринске отреагировали на введение войск в Афганистан, Дмитриев сказал, что не может комментировать то, что выходит за пределы его компетенции.

«Но вы же что-то слышали», – сказал я.

«Да, – ответил он, – отношение людей не тайна. Мы поддерживаем политику ЦК».

Во время обеда в гостиничном ресторане к нашему столику подсел крепкий, коротко стриженный рабочий-строитель. «Вы, американцы, такие умники, – воскликнул он. – Ей-богу, умники! Приехали сюда спрашивать об Афганистане. А в скольких странах сами держите войска? Сколько ваших баз вокруг всего Советского Союза? Афганистан – наш южный сосед. Мы оказали помощь Афганистану – так же, как предоставляли ее Испании во время испанской гражданской войны, чтобы предотвратить ее распространение. Если хотите знать, здесь все поддерживают правительство».

Единодушие мыслей у людей в Шадринске действительно представлялось бы чем-то экстраординарным, если бы не один инцидент, который выпадал из общей картины.

В тот день мы с Биллом пошли прогуляться и натолкнулись на запущенную церковь. Вся она, за исключением красной колокольни и золотого купола с крестом, была окружена поломанными, полуразрушенными строительными лесами. В пустых оконных проемах гнездилось воронье, а по доскам лесов гонялись друг за дружкой трое или четверо мальчишек, вбегая и выбегая из пустой церкви. В церковном дворе какой-то старик наполнял ведра песком. Я попробовал с ним заговорить – спросил, идут ли реставрационные работы. Он засмеялся: «У государства

есть более важные дела, чем реставрация церквей! Сначала они разрушали церкви, теперь их реставрируют. Я помню, как уничтожали эту. Взорвали стену, сожгли иконы. Потом забрали серебро и золото. Сказали – нужен металл для промышленности».

Я пытался продолжить беседу, но старик положил лопату, поднял свои ведра и, не обращая на нас внимания, пошел через высокую траву на соседний участок.

Эта случайная встреча стала единственной, когда я услышал от жителя Шадринска комментарий, свидетельствовавший о незашоренном взгляде на реальность. Во всех иных случаях я будто оказывался в какой-то тихой заводи иллюзий, где любая информация попадала к жителям лишь в отфильтрованном виде, пройдя сквозь сито лжи.

В тот вечер в нашем гостиничном номере я включил свой коротковолновый радиоприемник, попробовал настроиться на Русскую службу BBC и поймал очень четкий сигнал. Слушая сообщение, я удивлялся, почему иностранные радиопередачи производят, судя по всему, столь малый эффект. И пришел к выводу, что правдивая информация не убеждает людей отчасти потому, что у них нет возможности действовать сообразно с ней. То, что передавало BBC относительно Афганистана, прямо противоречило версии событий, предлагаемой советскими средствами массовой информации. Поэтому эти передачи, по-видимому, лишь укрепляли официальный курс, вынуждая жителей городков, подобных Шадринску, заявлять о своей вере в систему просто ради того, чтобы убедить самих себя, что мир, в котором они живут, не является абсурдным.

На следующий день я вышел на прогулку слишком рано. Над городом висел легкий туман, а здания и уличные скамьи были покрыты росой. Мне вдруг пришло в голову, что я нашел место, где бьется сердце Советского Союза, – место, далекое от мира Москвы и Ленинграда, где в условиях полной изоляции система тотального контроля за информацией получает задуманный ею результат.

Под конец своей прогулки я зашел в единственный книжный магазин Шадринска, расположенный на центральной площади города. Его директор – маленькая, похожая на птичку женщина – стала расспрашивать меня о жизни в США. К моему изумлению, она обнаруживала все больший энтузиазм, слушая мои ответы, в которых не было ничего особенного, явно потрясенная возможностью дружбы между США и СССР, о чем свидетельствовало появление в Шадринске американского журналиста.

Тот день мы с Биллом провели в бесцельных блужданиях, а вечером забрели на открытую танцплощадку на окраине города, чтобы побеседовать с собравшейся там молодежью.

Площадка в обрамлении плакучих ив была залита светом и окружена, неподалеку был пруд. Оркестр играл громко и примитивно. Нас обоих пригласили танцевать, и чуть позже Билл спросил у моей партнерши, хорошенькой девятнадцатилетней продавщицы, означает ли тот факт, что она отдает преимущество западным джинсам и музыке, что ей не нравится Советский Союз.

«Нет, – заявила она категорическим тоном, – я люблю Советский Союз».

Бескрайнее евразийское небо было заполнено звездами, и у меня возникло ощущение, что какой-то *dieu trompeux* (бог-обманщик) руководит этим забытым городком, где вопреки любой логике люди были преисполнены ощущением своей причастности к поступи исторического прогресса и, казалось, с молчаливым одобрением все маршируют в ногу.

Последний день мы провели в прогулке по городскому парку. При случае мы заговаривали то с одним, то с другим прохожим, а в конце нам удалось завязать беседу с Олегом, рабочим местного завода телефонного оборудования.

Было солнечно, и мы вместе с Олегом присели на скамью в старой неокрашенной беседке. Он сказал, что приехал в Шадринск

в 1968 году, и это дало мне повод спросить, как люди в Шадринске отреагировали на введение войск в Чехословакию.

«Все были за это, – ответил Олег. – Мы всегда были друзьями с чехами, а от чешского правительства поступила просьба о помощи».

Билл спросил Олега об отношении людей к вторжению в Венгрию в 1956 году.

«Думаю, немногие понимали, почему там произошло восстание, но люди верили, что это была попытка захвата власти правыми и что мы правильно сделали, когда подавили ее».

Мы расстались с Олегом, договорившись встретиться вечером в гостинице, и продолжили свою прогулку по парку. Густые листья, казалось, поглощали жару, но в воздухе было полно мух. В аллеях родители толкали перед собой детские коляски, женщины прогуливались под руку. Яркий солнечный свет пробивался сквозь деревья, и они отбрасывали густую тень на аллеи, а ветки и листья образовывали плотный навес над извилистыми грунтовыми дорожками. Встречались и мужчины в военной форме, и легко было представить себе потенциал армии, состоявшей из таких людей, как жители Шадринска, которые бы шли в бой, уверенные в своей правоте, но не имея ясного представления, за что они воюют.

Вечером в гостиничном ресторане мы увидели Олега, сидевшего вместе с несколькими друзьями, и присоединились к ним. После тостов за «мир» и «дружбу» Олег разволновался. «Скажите Картеру, – говорил он, – что русские не хотят воевать. Скажите ему, что мы умеем воевать, но не хотим войны». Он залпом выпил бокал водки, а потом прочитал стихотворение Евтушенко «Хотят ли русские войны». А прочитав, несколько раз повторил во весь голос: «РУССКИЕ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ, РУССКИЕ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ, РУССКИЕ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ!»

Тут вмешался друг Олега Витя, сказав, что события в Афганистане доказывают, что Советский Союз никогда не

бросает друзей в беде. Я спросил Витю, не беспокоит ли его тот факт, что СССР заявил о своем намерении помочь правительству Афганистана, но афганский президент Хафизулла Амин был убит советскими войсками сразу же после их появления. Витя задумался, и мне показалось, что этот вопрос приходил ему в голову.

«Могло быть два правительства, – предположил он наконец, – одно – народное, другое – антинародное. Мы поддерживали народное правительство Бабрака Кармаля. Мы всего не знаем. Что там наверху в политике, мы не видим. Нам видно только то, что нам известно, а нам известно недостаточно для того, чтобы выработать свою точку зрения».

О склонности граждан жить в мире иллюзий свидетельствовали и мои советские друзья. Одним из них был Адольф Мюльберг, чье знакомство с ирреальностью длилось 33 года.

Мюльберг родился в Латвии в 1931 году. В 1939-м они с матерью эмигрировали в Германию, в рамках массового возвращения фольксдойчей в Рейх. После войны они жили в Рурской области, но Адольф неоднократно убегал из дома, пытаясь найти работу на каком-нибудь судне. В конце концов его отправили в исправительное заведение, но он опять убежал и отправился странствовать по Европе. Однажды в 1948 году Мюльберг очутился на перроне железнодорожной станции в Шварцвальде, где встретил советского гражданина, тоже ожидавшего поезда.

Через тридцать лет Мюльберг ничего не мог вспомнить о том незнакомце – ни его имени, ни вида, помнил лишь, что тот был русским или белорусом лет сорока. Однако эта встреча изменила его жизнь. Он тогда сказал незнакомцу, что хочет стать моряком, и тот предложил ему поехать в Советский Союз. Сказал, что СССР – это рай, и там можно будет работать на любом судне. За три десятилетия своего советского опыта Мюльберг убедился, что незнакомец не лгал. Просто он идеализировал советскую жизнь настолько, насколько сам верил в то, что говорил.

Он направил Мюльберга в советское военное представительство в Баден-Бадене, и через семь недель Мюльберг, не имея никакого представления о стране, в которую едет, сел на поезд и вместе с другими репатриантами отправился в СССР.

Мюльберг стремился убежать из безрадостной послевоенной Германии, но, несмотря на свою жажду странствий, был не готов оказаться в стране, население которой обитало в мире мифов.

Он прошел проверку в лагере для репатриантов под Гродно, а потом его посадили на поезд в Ригу, где он впервые столкнулся с миром чужой ментальности.

Пока поезд мчал по сельской местности, Мюльберг подслушал разговор двух колхозников. Один из них говорил: «В нашем колхозе все зависит от председателя. Когда председатель добрый, то завозят кожаные сапоги, и люди могут их купить». Мюльберга это замечание смутило. В Германии люди были бедны, но свою бедность считали временной, следствием опустошительной войны. Мысль, что люди считают колхозное руководство достаточно эффективным, если будут деньги на сапоги, показалась ему странной. Другой колхозник сказал: «В нашем колхозе все хорошо. В этом году я засолил по бочке огурцов и капусты». Это удивило Мюльберга еще больше. Если возможность засолить по бочке капусты и огурцов – это «хорошо», то что же тогда «нормально»?

Мюльберг прибыл в Ригу и сразу отправился в Лиепаю, где прошло его детство перед войной. У него остались приятные воспоминания об этом городе, поэтому он был тем более поражен увиденным. Порт был отделен бетонной оградой с колючей проволокой и охранялся пограничниками. Латвийские газеты предупреждали о «диверсантах», и все мосты тоже были под охраной. В Германии мосты не охраняли даже во время войны.

Из Лиепаи местные чиновники отослали Мюльберга обратно в Ригу, где он столкнулся с еще одним примером советской ментальности. Ему сказали, что он не может стать советским гражданином, потому что отказался от латвийского гражданства

в 1939 году. Когда он ответил, что ему безразлично гражданство, потому что он хочет стать моряком, чиновники ответили, что и это невозможно, потому что он – лицо без гражданства. В то же время ему сообщили, что он не может покинуть страну и предложили поселиться в Даугавпилсе, за 240 километров от побережья.

Мюльбергу было тогда всего 17 лет, но он уже начал осознавать, что приезд в СССР был ошибкой. Он поехал сначала в Даугавпилс, а потом в Куртспилс, где нашел работу – присматривать за ветряной мельницей. Однако зарплаты не хватало на жизнь, и Мюльберг в отчаянии поехал в Москву, запрыгивая в поезда на ходу.

В 1949 году в Москве не было немецкого посольства, поэтому Мюльберг стал расспрашивать, как пройти к посольству Австрии. А поскольку он плохо говорил по-русски, то его направили к посольству Австралии. Когда он нажал там на кнопку звонка, между ним и дверью возник милиционер.

Мюльберга арестовали и привезли на Лубянку, откуда после допроса отправили обратно в Латвию. Через полтора месяца его опять арестовали и присудили к 18 месяцам заключения за нарушение паспортного режима. Меньше чем через год после прибытия в СССР он уже сидел в тюрьме.

Освободился Мюльберг в начале 1950-х. Выйдя на свободу, он поехал в Одесскую область, где устроился на работу в колхоз, и там увидел, как люди живут в мире иллюзий.

В 1950-х годах колхозникам не позволялось покидать колхоз без общего согласия всех его членов. Когда Мюльберг сказал односельчанам, что это означает рабство, они ответили, что это «колхозная демократия», а они – «самые свободные люди в мире».

Когда я встретился с Мюльбергом в начале 1980-х годов, он жил со своей русской женой и детьми в селе Берендеево Ярославской области. Немного позже он пережил сердечный

приступ и на неопределенное время переехал с семьей в Москву, поселившись в квартире на Зубовском бульваре.

Приблизительно в этот период возвращение Мюльберга в Германию стало выглядеть реальной перспективой. Посольство ФРГ согласилось поддержать его заявление о предоставлении западногерманского гражданства, и с учетом этого обстоятельства он начал разыскивать в Москве диссидентов и иностранцев. В то же время он встречался и с обычными гражданами, и я попросил его записывать свои впечатления так, словно он уже живет не в этой стране.

Впечатления Мюльберга за этот период были типичными для советского этапа его жизни.

На День Победы 1981 года Адольф Мюльберг оказался в клинической больнице № 51 после второго сердечного приступа. Он лежал в общей палате вместе с восемью другими пациентами, которые, услышав имя «Адольф», заинтересовались его происхождением.

Один из них решил по случаю праздника втянуть Мюльберга в разговор. «Скажите, – спросил он, – вы любите Гитлера?»

Мюльберг почувствовал колоссальную усталость. Ответ на этот вопрос требовал от него чрезмерных усилий. Но, учитывая интерес, который вызвал этот вопрос у всей палаты, он не имел выбора.

«Гитлер был диктатором, – сказал Мюльберг. – Мало того – тоталитарным диктатором, поэтому я, конечно, не могу чувствовать к нему ничего, кроме ненависти».

«А Сталин? – спросил лежавший на соседней кровати грузин. – Сталина вы любите?»

«Да, – вмешался один из русских, – Сталина любите?»

«На мартовском Пленуме ЦК 1956 года, – ответил Мюльберг, – и, должен прибавить, на XXI и XXII съездах партии все, что надо было сказать о Сталине, было сказано. Вы партийные

люди. А я простой человек. Вы сами должны знать, что было сказано о Сталине».

Это вызвало недоброе возбуждение в палате: пациентов возмутило, что кто-то по имени Адольф читает им лекцию. «Что вы знаете о том съезде? Вы там были?» Кое-кто начал поносить «этого идиота Хрущева».

«Дело в том, – сказал Мюльберг, пытаясь объяснить свою позицию, – что для того, чтобы увидеть реальный прогресс в этой стране, надо вернуться на двадцать лет назад».

«Глупости, – заявил один из русских. – При Сталине все было в порядке. Его единственная ошибка – что он не дал Жукову пойти дальше. Жуков дошел бы до Атлантического океана. И вся Европа была бы советской».

«Это правда, – подтвердил другой. – Это была ошибка Сталина. Вся Германия была бы советской, и ФРГ нам не угрожала бы».

Лежа среди них в своей кровати, Мюльберг понял, что выпутаться из этой беседы не так легко.

«Вы знаете, – сказал он, опершись о локоть, – сливочное масло поступает сюда не из ГДР, а только из Западной Германии. Если бы вы захватили Западную Германию, это масло никогда бы сюда не попало. Я видел также в магазинах курятину из ФРГ. Ее вы тоже не видели бы. Правда в том, что войну выиграли не вы. Ее выиграла Западная Германия».

К удивлению Мюльберга, никто ему не возразил. Все умолкли и, казалось, слушали с интересом. «После войны, – продолжал он, – Западная Германия лежала в руинах. Сегодня в ней живет почти 70 миллионов человек, и у них 25 миллионов автомашин. Это значит – одна машина на троих человек. Семьдесят пять процентов населения проводят отпуск за рубежом. У шестидесяти процентов людей лишний вес. Если бы они организовывали колхозы, такого бы не было».

Мюльберг продолжал делиться информацией об уровне жизни в Западной Германии, и позже, когда одного из пациентов по-

звали к телефону, он услышал, как тот говорит: «Ты поздравляешь меня с Днем Победы, но поздравь лучше западных немцев».

Впрочем, вскоре одному из посетителей Мюльберга его лечащий врач сказал, что кто-то из пациентов пожаловался, что Мюльберг ведет антисоветскую агитацию. И прибавил, что, возможно, придется проверить, не болен ли Мюльберг психически. Мюльберг мгновенно сделал из этого выводы. Несмотря на больничную одежду и на больное сердце, он немедля покинул больницу на такси и вернулся только через несколько дней, чтобы забрать свою одежду.

Однажды тихим воскресным утром Адольф Мюльберг с сыном пошли за хлебом в магазин на Зубовском бульваре. Пока они стояли в очереди, Мюльберг заметил, что какой-то чисто выбритый мужчина лет шестидесяти словно изучает его.

Выйдя из магазина на яркий солнечный свет, отец и сын пошли по улице. Когда они остановились на перекрестке около церкви Николая Чудотворца в Хамовниках в ожидании зеленого сигнала светофора, Мюльберг увидел, что тот мужчина из магазина стоит рядом.

«Не могу понять, – сказал мужчина. – Все делается для молодежи. Все хотят быть молодыми и все же отращивают бороды и пытаются выглядеть старыми».

«Посмотрите на золотые купола этой церкви, – ответил Мюльберг мужчине. – Это древняя Россия, которая опять становится молодой. Молодежь начинает узнавать о том, что здесь было раньше».

«А вы верующий?» – спросил старик.

«Я человек не религиозный, – ответил Мюльберг, – но я ненавижу, когда притесняют религиозных людей».

«А откуда вы взяли, что религия притесняется? Здесь все открыто».

«Откуда я взял? Потому что такое случается».

«Была такая ужасная война, стольких людей уничтожили. Теперь мы выступаем за мир, за счастье, а вы говорите, что мы притесняем».

«Правда, была война, и она была ужасной. И был фашизм. Я понимаю, что хуже ничего не может быть. Но посмотрим на факты. Вы говорите, что фашизм уничтожил миллионы людей. Однако большевики уничтожили 60 миллионов».

Они пересекли «зебру» Комсомольского проспекта.

«Я – старший преподаватель Высшей военной академии, – сказал незнакомец. Откуда вы взяли эти цифры?»

«Как старший преподаватель вы, по-видимому, интересуетесь демографией. И если обратитесь к демографическим исследованиям и другим источникам, то увидите, что эта цифра точная».

«Но когда эти люди были уничтожены? Они же не исчезли просто так», – сказал старик.

«Они уничтожались в течение всей вашей жизни. Большевики расстреливали белогвардейцев, буржуазию, интеллигенцию, морили голодом крестьян до и после коллективизации. Потом был 1937 год, сталинский террор».

Незнакомец начал сердиться. «Посмотрите, что делается в Америке. Они там убивают друг друга».

«Америка – самая свободная страна в мире, – сказал Мюльберг, – и каждая страна должна брать с нее пример».

«Вы – буржуазный элемент, – сказал мужчина, окончательно потеряв самообладание. – Таких, как вы, мы уничтожили 50 миллионов!»

«Благодарю, – ответил Мюльберг, – благодарю за то, что подтвердили мои цифры. Я сказал – 60 миллионов, вы говорите – 50, но все равно спасибо за то, что сказали правду».

Он повернулся и пошел прочь. Незнакомец продолжал что-то кричать, но Мюльберг уже не мог разобрать слов.

Однажды поздним вечером мы с Мюльбергом и другом Сереброва Михаилом Бердниковым вошли во двор церкви

Николая Чудотворца в Хамовниках и заговорили с ночным сторожем – невысоким приветливым мужчиной в бежевой униформе. Заметив мой акцент, он спросил, откуда я. Я сказал, что американец, а Мюльберг назвался немцем.

Когда мы уже собирались уходить, сторож сказал Мюльбергу: «Берегите мир. Мир нам нужен, как воздух». И прибавил: «Этот новый американский президент нам угрожает».

Мюльберг положил ему руку на плечо и сказал: «Мы же не военные специалисты, правда? Поэтому мы не можем знать точно, кто кому угрожает».

Сторож потеребил подбородок и посмотрел на Мюльберга с интересом.

«Возьмем границу между Востоком и Западом, – продолжал Мюльберг. – Эта граница проходит между ФРГ и ГДР, не так ли?»

Сторож кивнул.

«Ну и на этой границе стоят советские войска, танки и ракеты, так?»

Сторож опять согласился.

«Но это значит, что советские танки стоят лишь в 480 километрах от Парижа и всего в 200 километрах от Бонна. А войска НАТО находятся более чем за 1900 километров от Москвы».

«Я понимаю, что вы хотите сказать, – возбужденно прервал его сторож. – Но скажите мне, когда Россия на кого-то нападала? Когда?»

«А как насчет военной кампании против чеченцев и ингушей в XIX веке или нападения на Финляндию перед последней войной? – спросил Мюльберг. – Нападение на Финляндию было необъявленной войной. Финляндия находилась в состоянии мира с Советским Союзом».

«Ладно, согласился сторож. – А Гитлер объявлял войну? Была эта война объявленной?»

Мюльберг секунду помолчал, собираясь с мыслями.

«Было мирное соглашение, и мы его выполняли, – сказал сторож. – Мы не нападали на Германию».

«Да, – ответил Мюльберг, – Гитлер напал на Советский Союз, но ведь после подписания соглашения с Гитлером СССР напал на Польшу. СССР и Германия разделили ее пополам. Разве это не было нападением?»

На лице сторожа появилась улыбка. «О, я вижу, вы знаете историю», – сказал он с деланым уважением. Немного поколебался, а потом в его глазах блеснул злой огонек.

«Ну а Израиль?» – спросил он.

«Что Израиль?»

«Надо взять ту бомбу и сбросить ее на Израиль», – заявил сторож.

«Как вы можете такое говорить? Это древнее государство, которое через две тысячи лет было восстановлено».

Ночного сторожа затрясло и он схватил Мюльберга за руку. «Мне без разницы, – сказал он, – они жиды и пусть сдохнут». Он потянул Мюльберга к ближайшей скамье и заставил его сесть. «Вот скажите мне – кто изменил Иисусу Христу? Иуда, так? За тридцать сребреников. Еврей изменил собственному народу».

«Да, – сказал Мюльберг, – но это было внутреннее дело еврейского народа. Иисус был евреем. Все апостолы были евреями».

Повышенные голоса казались неуместными в тихом церковном дворике. Нам с Бердниковым надо было обсудить другие дела, поэтому мы отошли, но и на расстоянии слышали, что разговор перешел на баптистов, которых ночной сторож назвал сектантами, а Мюльберг хвалил за честность и самоотверженность. Сторож сказал, что в России было лишь две настоящие веры: православные и старообрядцы.

Дальше дискуссия коснулась вопроса, кем были Маркс и Энгельс. Мюльберг сказал, что это были голландский еврей и немецкий англичанин. В каждом пункте ночной сторож выражал свое восхищение широтой эрудиции Мюльберга, но ни в одном пункте Мюльбергу не удалось в чем-то его убедить.

Наконец мы распрощались. Ночной сторож пожелал нам всего доброго и сказал: «Помните, самое важное – это мир».

Мюльберг был готов и дальше оставаться в Москве, но его контакты с диссидентами и иностранцами были замечены КГБ, и милиция начала наведываться в квартиру на Зубовском бульваре с вопросами о прописке.

В то же время, несмотря на активную помощь посольства ФРГ, Мюльберг не продвинулся в своих попытках получить выездную визу и побаивался, что его пребывание в Москве побудит соответствующие органы арестовать его то ли за нарушение паспортного режима, то ли по обвинению в тунеядстве. В конце концов он решил, что не может себе позволить так рисковать и вернулся вместе со своей семьей в Берендеево.

Там он начал заниматься составлением ходатайств в советские учреждения, дискуссиями с односельчанами и работой над мемуарами. В Берендеево он был менее заметен, чем в Москве, но все равно оставался уязвимым. Находясь в этом ненадежном положении, Мюльберг пригласил меня и Эндрю Нагорски к себе в гости – чтобы подчеркнуть, что он известен иностранцам и не совсем беззащитен.

Мы из Энди выехали из столицы морозным воскресным утром и направились на север по усеянной выбоинами дороге мимо небольших деревень в город Переславль-Залесский, заброшенные церкви и облупленные фасады которого производили впечатление вымершего города-призрака. От Переславля-Залесского мы свернули на проселок и обнаружили, что путь нам преграждает куча гравия и песка в метр высотой. После нескольких попыток нам удалось объехать ее, выкарабкаться из грязи и продолжить свой путь.

Так вышло, что наше решение посетить Берендеево оказало решающее влияние на судьбу Мюльберга. Мы сообщили МИД о своей поездке заблаговременно, за двое суток, и за это время власти, очевидно, решили не тратить больше усилий на удержание Мюльберга в Советском Союзе. Он был поставлен в известность, что теперь, через 33 года, получил разрешение на выезд.

Однако мы с Нагорски уехали из Москвы, еще не зная этого, поэтому были совершенно не готовы к сцене, ожидавшей нас в Берендеево.

Мы приехали туда в 11 утра. Избы поселка четко вырисовывались на фоне хмурого серого неба. Дом Мюльберга стоял в конце улицы, среди таких же деревянных домов и обнаженных деревьев. Он накренился на одну сторону, а окна смотрели в землю.

Мы постучали в дверь и, войдя в дом, с удивлением увидели какого-то флегматичного мужчину лет сорока с простоватым красным лицом, который сидел около печки, и старика с бородой и в очках в роговой оправе.

Бородатый вынул какие-то документы и сказал: «Я журналист, а это представитель советской власти, председатель поселкового совета Берендеево».

Мюльберг был явно возбужден. Указывая на нас, он сказал краснолицему председателю: «Это мои друзья».

Журналисту, похоже, было не очень приятно встретиться с нами при таких обстоятельствах, но он сказал, что работает в областной газете «Северный рабочий» и пришел потому, что «этот человек» (он показал на Мюльберга) только что получил разрешение на эмиграцию. После этого они с председателем показали нам свои удостоверения. «Это, чтобы доказать вам, что мы не из КГБ», – сказал журналист. Документы никоим образом нас не успокоили. Мы отмахнулись и сели на кровать рядом с печкой, а журналисту и председателю Мюльберг предложил стулья. Над головами у нас висело белье, а на обшарпанном подоконнике стоял самовар. Нина, жена Мюльберга, хозяйничала рядом на кухне.

«Вот, видите, как живут советские граждане», – вздохнул журналист, словно подтверждая, что мы нашли то, что искали.

«Скажите, – спросил он с серьезным выражением лица, – это нам интересно с профессиональной точки зрения: зачем вы приехали в эту дыру?»

Я сказал ему, что Мюльберг наш друг. Журналист горько улыбнулся. Он взглянул на Мюльберга, потом обернулся к нам: «Ваш друг? Что вы в нем нашли? Есть столько интересных людей, с которыми я мог бы вас познакомить. Они могут рассказать вам такое, что вы рты разинете».

«Замечательно, – сказал я, – почему бы не встретиться с ними?»

«Я знаю одного, – сказал журналист, – он работал реставратором церквей и памятников архитектуры. Он может рассказать об этой местности даже больше, чем вам надо».

«Мы готовы встретиться с ним в любое время».

«Но скажите – почему? Мне очень интересно – почему вы приехали именно к этому человеку, почему он вас так интересует?»

«Ну, если вам так надо знать, – сказал я, – то это личное дело. Это наши личные отношения. Мы были знакомы еще в Москве и, честно говоря, я не думаю, что причина нашего визита каким-то образом вас касается. Кто вас сюда пригласил? Адольф?»

«Они пришли сообщить, что мне выдали визу», – сказал Мюльберг.

До меня начало доходить.

«Визу? То есть вы можете уехать из страны?»

Журналист и председатель мрачно кивнули.

«После тридцати трех лет они наконец-то собираются вас отпустить!» Я немного помолчал, застигнутый этой новостью врасплох. Потом повернулся к председателю и журналисту: «Надо выпить за это».

Мюльберг налил всем водки, и я поднял свой стакан, предложив выпить за «новую жизнь Адольфа». Оба представителя советской власти сидели молча, держа свои стаканы.

«Вы же не собираетесь меня оскорбить, отказавшись выпить?» – спросил я, наслаждаясь их дискомфортом. Слишком досадными, тяжелыми были мои воспоминания о тех многочисленных случаях, когда меня заставляли пить за «мир», «дружбу» и за другие сомнительные советские идеи.

Они посмотрели на меня с отчаянием и пробормотали, что выпьют. Так и сделали.

Я вернулся к теме нашего интереса к Мюльбергу. «Раз вы принесли такие хорошие новости, – сказал я, – то я объясню, зачем мы приехали. Адольф для нас – очень интересный человек. Он родился на Западе и рос на Западе, у него западная ментальность, но он тридцать три года прожил в Советском Союзе. Попробуйте представить себе эту ситуацию. Это как советский гражданин против собственной воли прожил бы тридцать три года в Китае. Разве его опыт не был бы для вас интересным?»

«У нас здесь и хорошо, и плохо, – сказал журналист. – Я это признаю. Но зачем вы слушаете только тех, кто рассказывает вам о плохом?»

«Этот парень – инвалид, – сказал поселковый председатель, кивая на Мюльберга. – Кто будет заботиться о нем на Западе?»

«Как вы представляете себе Запад? – спросил журналист Мюльберга. – Думаете, там сплошь молочные реки и кисельные берега?»

На это Мюльберг ответил, что Западная Германия – государство общего благосостояния, где о больных и инвалидах заботятся, поэтому он знает, на что там можно рассчитывать.

Тогда председатель сменил тему. «Что же вам не нравится в нашей стране?» – спросил он Мюльберга.

«Здесь нет демократии», – ответил тот.

«А что вы понимаете под демократией?» – спросил журналист.

«Право на эмиграцию, – сказал Мюльберг. – На Западе людей не держат силой в стране. Есть и другое. Утром вы можете купить свежие булочки. Можете прочитать в газетах критику собствен-

ного руководства. Там на Рейгана рисуют карикатуры. А здесь, если вы скажете что-то против руководителей, вас посадят».

«У вас детские представления о демократии, – парировал журналист. – Вам говорят о демократии, а вы думаете о булочках. Чтобы вы знали – я всегда говорю то, что думаю, высказываюсь откровенно, и за пятьдесят лет никто меня не посадил».

«А я сидел дважды», – сказал Мюльберг.

«Значит, были основания, – твердо сказал журналист. И посмотрел на нас с Нагорски. – Что вы им рассказывали о советской жизни?» – спросил он Мюльберга.

«Рассказывал, как народ пьет».

«Вот видите! Он рассказывает вам лишь вот такое. Давайте честно. Я не антисемит, я не против немцев, хотя и являюсь антифашистом. Но страна была разрушена войной».

«Как и вся Европа», – вставил Мюльберг.

«Почему бы нам не перейти к более нейтральным темам? – предложил я и обратился к председателю. – Скажите, сколько людей живет в вашем поселке?»

К моему удивлению, в его глазах появилось какая-то хитринка. «А почему вы спрашиваете?»

Журналист, немного смутившись, прервал его: «Можете ответить ему, это не военная тайна. В поселке около трех тысяч жителей».

В этот момент двери открылись, и в дом вошел милиционер.

«Это ваша машина на дороге?» – спросил он, имея в виду автомобиль Нагорски – единственный «вольво» в Берендеево. Нагорски подтвердил.

«Я заметил, что одно колесо спущено. Можно посмотреть ваши документы?»

Мы с Энди дали милиционеру свои документы, и он стал их рассматривать. Я не взял с собой паспорт, да и вообще не носил его при себе, потому что терпеть не мог показывать паспорт каждому милиционеру, который им заинтересуется. Поэтому я дал свою карточку *American Express* – единственный найден-

ный мной в бумажнике документ, который удостоверял мою личность. Милиционер внимательно ее изучил и спросил, что это такое. Журналист объяснил ему, что это документ, который гарантирует оплату счетов.

«Как коллега, я могу за него поручиться», – сказал он и подмигнул нам.

Милиционер спросил, не было ли у нас проблем по дороге из Переславля. Этот вопрос подтвердил наше с Нагорски подозрение, что куча гравия на единственной дороге между Переславлем и Берендеево была насыпана не случайно. Потом он порекомендовал нам выехать отсюда до наступления темноты, чтобы не встретить трудностей на обратном пути. И прибавил, что здесь, в Берендеево, не на что смотреть – никаких исторических достопримечательностей.

Мы вышли к машине и обследовали колесо, которое, как мы позже установили, было продырявлено ножом. Пока мы его меняли, милиционер назойливо вертелся рядом и в конце добавил еще один комментарий о Мюльберге. «Вы могли бы найти себе лучшего друга, – сказал он. – Я его знаю. Плохой тип. Пьет много».

Это странное замечание из уст милиционера подчеркнуло уязвимость Мюльберга. Когда мы сели в машину, я был под жутким впечатлением от этой страны, которая может проглотить человека и через тридцать три года вдруг выплюнуть его обратно.

12

КОРНИ ФАНАТИЗМА

Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили.

Петр Чаадаев. «Философические письма. Письмо первое»

Однажды вечером, когда я засиделся допоздна в офисе газеты *Financial Times*, мне позвонил Михаил Бердников, попросив встретиться с ним в центре Москвы, в доме у женщины, которую он лечил. Я вышел из офиса и в начале двенадцатого ночи подошел к старинному дому, где в темном каменном вестибюле висела разбитая люстра, а длинный ряд синих почтовых ящиков возле мраморной лестницы свидетельствовал о том, что этот дом давно превратился в «муравейник» из коммунальных квартир.

У входа в квартиру 16 сидел в потертом кресле какой-то молодой мужчина с сигаретой, а неподалеку стояла и разговаривала по телефону женщина в халате. Меня встретили сам Михаил и Петр Резниченко. Они провели меня по длинному коридору и открыли дверь в узкую комнату. Там, на кровати у стены, зажатой между ночным столиком и шкафом, я увидел седую голову на грязной подушке. Женщина попыталась подняться, и я разгля-

дел разинутый рот с пожелтевшими зубами, гладкие щеки и спокойные серые глаза.

Я подошел к кровати, и Анна Израилевна, знакомая Бердникова, протянула мне свою твердую руку и пожала мою. Она попросила Бердникова помочь ей сесть, и Резниченко вложил ее левую руку в повязку.

«Извините, – сказала она, – это из-за волнения от присутствия нового человека». Анна Израилевна села с помощью Михаила, и я понял, что она непроизвольно помочилась в постель.

Я отвернулся и стал разглядывать маленькую уютную комнату. Шкафы были забиты личными вещами Анны Израилевны, а сверху лежали стопки книг. На столах стояли флаконы с лекарствами, на электрической плитке закипал чайник. Я сел на стул, стоявший рядом с кроватью.

«Я глубоко уважаю Англию, – начала она, – за естественную порядочность английского народа».

Я прервал ее и объяснил, что я американец.

Поколебавшись, она прибавила, что Америку тоже уважает. «Но, – продолжала она с определенным нажимом, – вы не можете понять того, что понимаем мы тут, в России. Возможно, вам известно, что от 5 до 10 миллионов человек погибло во время коллективизации, еще 20 миллионов – во время войны, а еще 20 миллионов мы убили сами, но поймите меня правильно – вы можете лишь с удивлением наблюдать, но вы не способны понять, что это значит, потому что у Запада недостает духовности, чтобы понять, что здесь происходило».

Ее начало трясти, а подбородок задрожал.

«Вы на Западе настолько заняты материальным обогащением, что сами обрекаете себя на духовное обнищание. Люди здесь страдали, у нас почти ничего нет, но с этими страданиями пришло понимание, которого у вас, западных людей, не будет никогда, потому что вы не жили так, как приходилось жить нам».

«Миша, – позвала она тихо, и Бердников подошел к ней. – Прости меня, я очень устала». Бердников помог ей опять лечь. Она вздохнула, и я понял, что ее слабость вынуждает нас за-

вершить беседу. Я поднялся, и Анна Израилевна вымолвила: «Надеюсь, я вас не оскорбила тем, что сказала... Будьте так добры, позвольте вас поцеловать». Я наклонился, и она поцеловала меня в щеку. «Будьте здоровы, приходите еще».

Искреннее желание жить ради идеалов было характерным не только для отдельных людей в Советском Союзе. Стремлением к какому-то высшему смыслу жизни отличались люди из всех слоев общества. Именно это сделало советских граждан доверчивыми и жертвенными, психологически далекими от прагматизма меркантильного Запада.

В первые годы своей жизни в Советском Союзе я часто задумывался, почему атеистический коммунизм победил в России – стране, население которой когда-то считалось одним из самых религиозных в Европе. Но чем дольше я там жил, тем больше убеждался, что это не парадокс, а историческая предопределенность: люди, для которых моральное суждение отдельного человека давно потеряло свою ценность, однажды высвобождаются из ментальных кандалов мессианской религии, чтобы надеть кандалы мессианской идеологии.

Русская жизнь, с ее силой симпатий и антипатий, отсутствием чувства личной ответственности, но также и со способностью к самоотверженности и самопожертвованию, находится на более высоком уровне эмоционального напряжения, чем жизнь на Западе, где уважение к свободе, опирающейся на традиционное признание этической трансцендентности, способно оказывать сдерживающее влияние на гражданские конфликты.

Советские люди участвовали в постоянном поиске какого-то духовного оправдания для своей короткой и часто нищей жизни. Но этот поиск не имел ничего общего с трансцендентностью, потому что они искали какой-то единственный источник абсолютной истины и ожидали, что она будет ясной, неопровержимой и подаренной им прямо здесь, на земле.

СВЕТСКИЕ БОГОИСКАТЕЛИ

Люди со светским мировоззрением пребывали в поисках некой интеллектуальной системы.

Как-то вечером я зашел к Геннадию Шиманову, русскому националисту антисемитского и антидемократического толка. По моей просьбе он описал свою эволюцию.

Шиманов рассказал, что все началось в ранних 1960-х. XX съезд партии разоблачил преступления Сталина, и после многих лет насильственно навязанной материалистической идеологии сталинского режима люди начали искать какой-то идеал, который мог бы указать им путь к лучшей жизни. Одним из проявлений этого поиска было чтение стихов на площади Маяковского, в котором участвовали люди, впоследствии ставшие известными диссидентами.

В то же время в Исторической библиотеке в Старосадском переулке можно было прочитать труды русских философов-эмигрантов, которые власть не удосужилась убрать с полок, считая, что они могут быть интересны лишь узким специалистам.

На фоне всех этих обстоятельств Шиманов решил искать истину, а, найдя – выстроить в согласии с ней всю свою дальнейшую жизнь. Он был атеистом и материалистом, но, как и другие, однажды открыл для себя Историческую библиотеку и начал читать Кропоткина, Бердяева, Мережковского, Достоевского, Шекспира и Булгакова. Он читал даже тогда, когда ему почти нечего было есть, и постепенно, под воздействием Достоевского и русских религиозных философов, пришел к мысли, что если в жизни вообще есть смысл, то он никак не связан с марксизмом-ленинизмом.

Шиманов жил в одном из дворов Потаповского переулка в пристройке, сооруженной еще его дедом, куда он стал приглашать своих приятелей из числа посетителей Исторической библиотеки. Со временем дом наполнился самыми разными людь-

ми: философами, дельцами черного рынка, авантюристами, гомосексуалистами, бандитами.

Люди, жившие у Шиманова, образовали некое импровизированное свободное сообщество. День у них начинался обычно в одном из московских кафетериев, где хлеб к блюдам можно было взять бесплатно. Как правило, кто-то один заказывал, и порцию делили на шестерых. Потом группа отправлялась в Историческую библиотеку, проводила день за чтением и возвращалась к Шиманову; там разговоры продолжались до трех утра. Спали на том, что было: на кроватях, раскладушках, диванах.

Одним из попавших в эту компанию был Юрий Самойлов, который признался, что провел десять лет на Колыме за участие в антисоветской организации. Самойлов был эрудитом, не имел ни копейки и оказался совершенно обворожительным человеком. Он всем рассказывал, что после десяти лет на Колыме не верит ни во что, и заявлял, что самое главное в жизни – это делать деньги.

Свои принципы Самойлов пытался претворить в жизнь. Группу московских писателей и философов он заверил, что может добыть в Ташкенте морфий, перевезти его на север, на Колыму, где много наркоманов, и таким способом получить огромную прибыль. Нужны были лишь деньги для закупки морфия. Чары Самойлова и перспектива участия в прибыли сделали свое дело, и писатели дали ему деньги. Он собрал 30 тысяч рублей, а потом исчез, и больше о нем никто ничего не слышал.

С ослаблением репрессий в Москве появились квартиры, где собирались люди, не согласные с официальной идеологией. Одной из них была квартира учителя математики Юрия Мамлеева, другой – квартира Елены Строевой, куда приходили иностранцы еще в те времена, когда они почти не имели возможности встречаться с обычными советскими гражданами. В этих квартирах можно было встретить католиков, фашистов, гомосексуалистов, поэтов, художников, сюрреалистов. Туда наведывался Александр Есенин-Вольпин, бывший в то время

анархистом, а также многие из тех поэтов, которые читали свои стихи на площади Маяковского.

Шиманов познакомился с Мамлеевым в Исторической библиотеке в тот период, когда еще не определился с собственными взглядами. Мамлеев представился ему как идеалист и последователь Канта. Когда Шиманов сказал, что он материалист, но не марксист, ему показалось, что Мамлеев посмотрел на него с искренней ненавистью.

Мамлеев писал рассказы о борьбе добра со злом, в которых добро всегда побеждало, но в результате знакомства с Самойловым, который взял у него большую сумму денег, в его характере произошли определенное изменения. Мамлеев стал писать рассказы, в которых высмеивалось какое бы то ни было добро в мире. Он заявил, что Бог – его личный враг, и попробовал изобрести собственную религию, которую назвал «яйностью» – от «Я». Символ этой новой веры заключался в том, что он, Мамлеев, сам – единственное реальное явление в мире, а все остальные – это только его впечатления. Шиманов спросил, означает ли это, что, разговаривая с ним, Мамлеев в действительности разговаривает сам с собой, но тот ушел от ответа.

Шиманов пытался научиться чему-то новому у каждого, кого встречал. Одним из постоянных посетителей Исторической библиотеки был Лев Барашков, поклонник Ницше и Чаадаева. Он выступал за абсолютный индивидуализм и не признавал никакой морали. Еще одним членом кружка был Илья Барашков, который приходил в дома к людям в нацистской форме, свободно разговаривал по-немецки и цитировал наизусть речи Гитлера. Позже он стал старообрядцем и отпустил бороду.

Была еще и группа мистиков, увлеченных восточной философией, к ним присоединился какой-то молодой художник.

В стране, медленно восстанавливающейся после всех лет сталинизма и материализма, мистики смогли убедить художника, что тигр Чандра из Московского зоопарка – это одно из воплощений Будды и что, если пристально смотреть ему в глаза,

то можно получить высшие знания. Воспользовавшись наивностью и впечатлительностью художника, мистики отправили его в зоопарк, где тот часами стоял на холоде и смотрел на Чандру. А сами мистики тем временем занимались сексом с его женой.

Шиманов познакомился также и с Константином Пучковым. Это был студент-филолог, однажды увидевший сон, в котором он якобы открыл истину, но, проснувшись, не мог вспомнить, что это было. Потом этот сон повторился, но он опять не смог его запомнить. В третий раз он снова очутился ночью наедине с истиной, усилием воли заставил себя проснуться и, чиркнув спичкой, записал что-то на обороте пачки сигарет, а потом заснул опять. Наутро он прочитал на пачке: «запах керосина». Вот в чем заключалась «истина».

У Пучкова было худощавое лицо и большие, задумчивые, мечтательные карие глаза. Он обладал приятными манерами и прекрасно говорил по-английски. Узнав о содержании своего сна, он решил, что единственный способ найти истину – это полностью посвятить себя ей и отказаться от обыденной жизни. Пучков бросил институт, оставил дом и стал бродягой, ночуя на лестничных клетках в тех случаях, когда не удавалось переночевать у друзей. Он перестал есть, но сохранял свои приятные манеры, представляющие теперь резкий контраст с его образом жизни и мертвенной внешностью. Время от времени он работал и даже умудрялся выполнять какие-то случайные переводы, но что-то потустороннее крепко держало его в плену. В конце 1960-х годов он устроился на работу смотрителем на берегу реки во Владимирской области. Однажды утром его не оказалось на посту, а через несколько дней его тело выловили из реки. Причина смерти осталась неизвестной.

Москва 1970-х и 1980-х годов была городом, наводненным всяческими целителями, йогами, кришнаитами, парапсихоло-

гами, последователями разных гуру и представителями культа живой природы.

Одним из самых знаменитых гуру был Порфирий Иванов, известный также как Учитель. Он был почти двухметрового роста, имел чрезвычайно широкие плечи и длинную белую бороду, не стриженую много лет. Еще в молодости Иванов почувствовал в себе какую-то силу и понял, что может использовать ее для лечения людей. Именно в то время он начал также ходить почти без одежды. Однажды, когда он сидел на вершине холма, ему было видение. Он увидел огромную, длинную змею, которая стала извиваться, и понял, что змея – это мировое зло и что все зло в мире происходит потому, что человек совершает насилие над природой.

В 1930-х годах Иванов объездил всю Россию, одетый в одни лишь трусы, даже в сильные морозы. Секта евангелистов-флагеллантов (самобичевальников) нашла его в каком-то селении на Северном Кавказе. До этого они годами блуждали в поисках «голого Бога». Флагелланты забрали его в свою деревню Боги в Ростовской области, которую после войны переименовали в Ново-Кондручи.

Никому точно не известно, кто из внешнего мира первым обнаружил Иванова. Но его стали регулярно посещать разные люди, и впоследствии он разработал определенную систему. Он проповедовал единство человека с природой и теплоту человеческих отношений. Он рекомендовал своим ученикам (среди которых были как ростовские студенты, так и московские и ленинградские интеллигенты) не менее 20 минут в день стоять на земле босиком, дважды в день обливаться холодной водой, поститься в течение 4 часов по средам, и 72 часа – с пятницы до воскресенья. Иванов никогда не употреблял слова «Бог». Он всегда говорил, что советуется с природой, и рассказывал о разных чудесах, которые случались с людьми под воздействием природы.

Многие годы люди из окружающих селений приходили к нему лечиться, и благодаря этим способностям народного це-

лителя слава Иванова распространялась все шире. В 1970 году его положили в психиатрическую больницу, откуда выпустили лишь в 1974-м, после того, как его ученики собрали достаточно денег, чтобы купить главному врачу цветной телевизор.

Каждый год на советский День учителя сотни людей из близлежащих селений и ученики Иванова со всей страны собирались на холме возле Ново-Кондручи, чтобы послушать его рассказы и получить консультацию. В 1978 году Иванов приехал в Москву, чтобы поговорить с директором Московского онкологического центра на Каширском шоссе. Он привез с собой письма тридцати больных, которых вылечил от рака. На улице в тот день был тридцатиградусный мороз, а Иванов шел по заснеженным улицам босиком, в одних трусах. Врачи в центре отказались с ним разговаривать, но директор в конце концов сказал: «Оденьтесь, и я с вами поговорю».

«Как же я могу одеться? – удивленно ответил Иванов. – Я ведь представляю собой голую сущность».

В 1979 году, когда сотни людей собрались в День учителя у Ново-Кондручи, чтобы выразить свое почтение Иванову, власти в Ростове, некоторое время терпевшие Иванова и считавшие его безвредным деревенским чудаком, решили, что ситуация зашла слишком далеко и образовалась новая секта. Деревню окружили солдаты и рассеяли толпу.

В свои последние годы «старые большевики» часто встречались в санатории им. Ленина вблизи подмосковной станции Кратово и в больнице № 60 на бульваре Энтузиастов. Одной из таких старых большевичек, с историей жизни которой я познакомился, была мать А. И. – стеснительная женщина с тихим голосом, абсолютно преданная идеям марксизма-ленинизма.

А. И. подозревал, что его матери свойственен какой-то врожденный фанатизм. Когда ее брат умер в Белоруссии от туберкулеза, она так за ним убивалась, что ела из его тарелки, чтобы заразиться этой же болезнью (она и заразилась, и спаслась

лишь благодаря тому, что ее как комсомолку отправили лечиться в специальную больницу в Крыму). В молодости она участвовала в «классовой борьбе на селе».

В 1930-х годах мать А. И. стала преподавать общественные науки в одном из московских институтов. Она была настолько предана марксизму-ленинизму и настолько безразлична к окружающей жизни, что часто забывала и о собственном благосостоянии, которое могло бы быть лучшим, если бы она настолько серьезно не воспринимала эту доктрину. Однажды, когда на партийном собрании обсуждался один из теоретических постулатов Сталина, она поднялась и заявила, что сказанное Сталиным – это не нечто новое, а лишь другая формулировка известного положения. Она никому, даже Сталину, не собиралась позволять «искажение» марксизма. И только потому, что никто не донес, она избежала ареста.

Мать А. И. не отрекалась от Сталина, пока он был жив, но разоблачение его преступлений на XX съезде КПСС позволило ей найти объяснение тем сомнениям, которые раньше ей приходилось подавлять, и в конечном счете она полностью одобрила разоблачение Хрущевым «культа личности». Впрочем, это не повлияло на ее веру в коммунистическую доктрину.

Периодически в ее институте появлялся с перечнем контрольных вопросов молодой партийный функционер из райкома, почти ничего не знавший о марксизме. Он должен был оценивать качество преподавания предмета, которому женщина посвятила всю свою жизнь. Во время этой проверки она продемонстрировала перед коллегами непроходимое невежество функционера.

Мать А. И. имела склонность к фантазированию. Например, никакой реальный опыт общения не мог поколебать ее веру в священные качества советского рабочего. Когда А. И. вспоминал высказывание Солженицына, назвавшего Советский Союз «ложью, ставшей образом жизни», она говорила: «Он делает такие заявления лишь потому, что не верит в рабочий класс». Если в квартире появлялся пьяный слесарь, который требовал

взятку за выполнение своей работы, она видела в нем не того, кем он был в действительности, а лишь яркого представителя международного пролетариата.

Григорий Сергеевич Н., еще один старый большевик, был членом партии с апреля 1917 года и участвовал в революционных событиях на Урале. Он каждый день читал «Правду», а также выписывал местную, свердловскую газету. Чтобы быть полностью в курсе, он слушал и «Голос Америки», BBC и другие иностранные радиостанции, а также каждый вечер смотрел программу «Время». Вся эта информация помогала ему делать выводы о положении в мире, и он регулярно писал в ЦК письма с советами относительно советской внешней политики.

В 1985 году Григорий Сергеевич внес следующие предложения.

Польское правительство не должно платить никаких процентов по своим западным кредитам. Отказаться возвращать основную сумму кредита трудно, но проценты Польше не следует платить однозначно.

Решением проблемы Афганистана должна стать организация комсомольских бригад для борьбы с пакистанской агрессией – «добровольцев», как их называли во время гражданской войны в Испании.

В западном полушарии Советский Союз должен разместить свои ракеты на Кубе и в Центральной Америке. Он должен также попытаться договориться с Канадой. Ведь США дружат с Турцией и разместили свои ракеты вблизи советской границы.

Григорий Сергеевич гордился каждым намеком на свой статус и показывал гостям письмо с благодарностью, полученное им из ЦК в ответ на первое, написанное им. Но его несколько беспокоил тот факт, что на второе письмо он так и не получил ответа.

Софья Магарик родлась в Риге и изучала медицину в Петрограде. В 1917–1918 годах она занималась в Латвии подпольной работой для большевистской партии, а потом, в 1918-м,

вернулась в Россию, где во время Гражданской войны работала медиком-добровольцем. В 1934 году ее исключили из партии за работу в латвийском коммунистическом подполье, и это, по-видимому, спасло ей жизнь. Когда начались чистки, они затрагивали преимущественно членов Коммунистической партии.

После смерти Сталина Софья восстановилась в партии. Ее сын Владимир пытался расспрашивать ее о чистках, но она отказывалась отвечать. Он спрашивал, как она могла опять вступить в партию, которая принесла ей столько страданий, но и на этот вопрос она не желала отвечать. Несмотря на свою сдержанность, Магарик серьезно относилась к своим партийным обязанностям. Она регулярно посещала партийные собрания, и после изнурительной двухлетней борьбы ей восстановили непрерывный партийный стаж. Она продолжала читать Маркса и Ленина, воспоминания старых большевиков и часто в разговорах высказывала свое уважение к Ленину.

Одно событие особенно пробудило у Софьи ощущение принадлежности к партии. В 1967 году отмечалась пятидесятая годовщина революции, и всем было известно, что по этому случаю люди, внесшие вклад в основание советского государства, получат награды.

Софья редко говорила о чем-то связанном с партией, но теперь она несколько раз напомнила сыну о вручении наград, которое должно вскоре состояться. Она считала, что с учетом ее дореволюционной деятельности в подполье, участия в Гражданской войне медиком-добровольцем и 50-ти лет безукоризненной работы врачом, спасшим от смерти сотни детей, она заслуживает наивысшей награды – ордена Ленина.

Накануне юбилея революции Софью вызвали в райком партии и вручили «Знак почета» – самый незначительный из орденов. Обычно им награждали старых большевиков, даже тех, кто вступил в партию намного позже, и со временем образовалась определенная система, согласно которой старых большеви-

ков-евреев награждали «Знаком почета», а всех прочих – более высокими наградами.

Когда Софья вернулась домой, она ничего не сказала, но по выражению ее лица сын понял, что она глубоко огорчена. Один из ее друзей позвонил ей и спросил: «Ну что, получила еврейский орден?»

Софья еще долго пребывала в состоянии подавленности. Она ничего не говорила, но горечь сквозила в ее голосе и выражении лица. Она была уверена, что заслужила орден Ленина. Несмотря на все тяжелые годы, она оставалась верной и непреклонной коммунисткой. Она никогда не выражала собственных сомнений и продолжала ходить на партийные собрания, и теперь, в возрасте 71 года, ей хотелось получить определенный знак признания, но так, как она это представляла, не получилось.

Положение старых большевиков было очень хорошо знакомо одному седому мужчине в Москве, который в 1930-х годах занимал высокую должность в советском правительстве. Благодаря «счастливому билету» в этой «лотерее», по его собственному высказыванию, он избежал расстрела во время чисток. Его арестовали в 1939 году, и он провел много лет в лагерях, выйдя из ГУЛАГа только после смерти Сталина. Этот бывший чиновник иногда рассказывал о преданности старых большевиков марксизму-ленинизму.

«Когда человек теряет веру в свое прошлое, – говорил он, – он начинает искать какую-то спасительную соломинку. Для многих старых большевиков это партия. Они чувствуют желание "вернуться к Ленину", как они сами говорят. Они пытаются анализировать текущую ситуацию с точки зрения того, как сделал бы Ленин, и обычно приходят к выводу, что, несмотря ни на что, должны служить государству, созданному Лениным».

По словам этого бывшего высокопоставленного функционера, многие из старых большевиков пытались пересмотреть свои убеждения, но почти всегда останавливались перед кри-

тикой Ленина и Октябрьской революции. «Один отрекается от Сталина, – рассказывал он. – Другой – от Сталина и некоторых действий Ленина. В первую очередь Сталина обвиняют в том, что он уничтожил старых большевиков».

Полностью подчинив свою жизнь требованиям этого движения, старые большевики не могли отречься от марксизма-ленинизма, не признав, что вся их предыдущая жизнь была ошибкой. И эту дилемму они в определенной степени навязали всей стране. Найти в себе силы и мужество на такое признание удалось очень немногим.

«С этими людьми невозможно разговаривать, – продолжал бывший чиновник. – Они словно пластинка, которую заело: повторяют шизофренические идеи, не имеющие никакого отношения к реальности. Теперь они все чаще вспоминают своих коллег, членов семьи или друзей, которые были арестованы или убиты. Вспоминают их лица, споры с ними, пытаются доказать самим себе, что во время чисток делали лишь то, что могли сделать. Говорят, что дело революции не завершено, пока кто-то, находящийся на грани старческого маразма, что-то плетет о “судебных ошибках”».

ВЕРУЮЩИЕ

Верующие ищут чудес...

Однажды холодным мрачным ноябрьским утром 1981 года в пять часов я вышел из поезда Москва–Великие Луки, быстро миновал пустой зал ожидания и очутился на большой площади. Я приехал сюда, чтобы узнать о чуде, которое якобы произошло здесь больше двадцати лет тому назад.

Окрестные леса уже вырисовывались в рассветной синеве, когда я прошел через спящий город, пересек по деревянному мосту реку Ловать и наконец очутился среди деревянных до-

мов, мимо которых грунтовая дорога вела к небольшому холму, а на полпути стояла православная церковь.

В Москве отец Сергей Желудков рассказал мне такую историю. В 1959 году, во время хрущевской антирелигиозной кампании, в городе Великие Луки молодая девушка, всю жизнь считавшая себя калекой, снова начала ходить после того, как помолилась перед часовней Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Ленинграде. Девушку звали Нина Новикова. Ей было лет 18, она была частично парализована и много лет могла передвигаться лишь с помощью костылей. Она часто страдала от болей, иногда вынуждена была целыми днями лежать неподвижно. Девушка, по-видимому, окончательно потеряла надежду, что когда-нибудь сможет ходить, как однажды группа верующих уговорила ее поехать в Ленинград и помолиться о выздоровлении перед часовней.

Нина поехала в Ленинград той же осенью и помолилась. И чудо свершилось! Будучи всю жизнь парализованной, она вдруг смогла ходить. Вернувшись в Великие Луки, она уже ходила без костылей, на радость всем верующим.

Однако вид Новиковой, бывшей калеки, которая ходит без поддержки в разгар хрущевской антирелигиозной кампании, обеспокоил местных партийных чиновников. Нину вызвали в КГБ, где от нее потребовали признания, что ее вылечили врачи. Сотрудник КГБ, который ее допрашивал, приказал ей снять нательный крестик. Когда она отказалась, он ударил ее по лицу. Один из великолукских священников написал Хрущеву письмо, пожаловавшись на преследование Новиковой, но это привело лишь к тому, что священника обвинили в клевете.

Воздух был пропитан всепроникающей сыростью, церковь и прилегающее к ней кладбище утопали в кустарниках и деревьях. Хмурую тишину нарушало лишь воркование голубей, собравшихся на колокольне и наклонной церковной крыше.

С первыми утренними лучами стало очевидно, что день будет облачным. Вокруг церкви не было никаких признаков жизни. Однако за несколько минут до восьми отовсюду начали подходить сгорбленные пожилые женщины, с палками, в черных пальто и платках. Они останавливались, чтобы низко поклониться и перекреститься, а потом ковыляли к церкви по разбитой кирпичной дорожке.

В 8 утра церковный двор опять опустел, и я вошел в церковь. Там в полумраке верующие покупали свечи, и вскоре сотни огоньков отразились в стеклах десятков икон. Благостные старушки целовали это стекло, низко наклонившись, целовали пол церкви, прежде чем собраться перед алтарем в ожидании начала богослужения.

Служба длилась два часа, а по ее завершении многие из верующих становились на колени и касались лбом пола, и только потом выходили во двор.

Хотя начинался дождь, верующие не спешили расходиться, и я подошел к ним и стал спрашивать, знают ли они что-нибудь о молодой девушке-калеке, которая исцелилась после молитвы перед часовней Ксении Блаженной в Ленинграде.

Одна из женщин ответила, что ей ничего не известно ни о каком чудесном исцелении. Священник тоже сказал, что никогда не слышал об этом. Один из нескольких мужчин, присутствовавших на службе, заявил, что ничего подобного здесь никогда не происходило. Толпа начала расходиться.

В это время я заметил одну маленькую, сгорбленную и немного косоглазую женщину с морщинистым лицом и спросил у нее, знает ли она о парализованной девушке, которая когда-то жила в Великих Луках и удивительным образом начала ходить.

«Вы имеете в виду Нину? – спросила она, придерживая под подбородком концы серого платка. Девушку, которая ходила на костылях?»

«Да, – подтвердил я, – именно эту девушку я имею в виду».

«Да-да, это Нина Новикова. Ее не видели здесь много лет».

Женщина умолкла, словно пытаясь что-то вспомнить. «Нина была доброй девушкой, – сказала она, – но они не оставили бы ее в покое. Она ходила в эту церковь».

«Когда? После исцеления?»

«Да. До того никогда не ходила, никто ее здесь не видел».

Я попросил женщину присесть со мной на деревянную скамью, но когда мы сели, по другую сторону от меня на скамью села женщина с круглыми розовыми щеками и седыми усиками. Я попробовал продолжить беседу со старушкой, но новая соседка дернула меня за руку и, привлекая таким способом мое внимание, начала рассказывать мне о чудесном исцелении, произведенном какой-то колдуньей в Одессе.

Не совсем понимая, зачем она мне все это рассказывает, я спросил у этой женщины, знает ли она что-то о девушке по имени Нина Новикова.

«Нет, – сказала она, – я никогда ничего о ней не слышала». И пристально на меня посмотрела.

«Почему вас интересует это дело?» – спросила она.

«Просто интересно», – ответил я.

«О нет, не просто, – сказала она, гримасничая и дергая волосок на подбородке, – из простого любопытства так не выспрашивают».

В каждой советской церкви были информаторы, и во взгляде этой женщины было что-то специфическое. Я повернулся к ней спиной и стал слушать хрупкую старушку.

«Как вы отреагировали, – спросил я, – когда увидели, что Нина ходит»?

«Мы были очень рады, – тихо ответила она, глядя на меня своими добрыми глазами. – Мы восприняли это как Божий знак».

Пока мы разговаривали, к нам стали подходить другие женщины. Они говорили свободно, и я понял, что раньше они молчали из-за страха. История, рассказанная мне в церковном дворе, несколько отличалась от той, которую я услышал от отца Сергея в Москве. По словам женщин, Новикова повредила по-

звоночник, катаясь на лыжах, и, когда она лежала в больнице, любое движение вызывало у нее такую боль, что она кричала. Врачи применяли разные методы лечения, но ничего не помогало. Наконец ее отправили домой, и врачи помогли ей оформить пенсию по инвалидности, признав таким образом, что больше ничего для нее не могут сделать.

Одна из женщин сказала, что была медсестрой и участвовала в лечении Нины. Она видела рентгеновский снимок ее позвоночника и подтвердила, что он был настолько деформирован, что в таком состоянии девушка не могла ходить.

Однако, когда Нина вернулась из Ленинграда, она ходила нормально. Когда же распространилась новость о ее чудесном выздоровлении, местная власть обвинила ее в религиозной пропаганде. А после ее отказа заявить, что ее вылечили врачи, в местной газете вышла статья с обвинением Нины в том, что она представляет себя исцеленной Богом.

Сначала Нина пряталась в доме матери и редко выходила на улицу. Потом стала жить у одной из прихожанок. И в конце концов покинула Великие Луки, переселившись в женский монастырь.

В церковном дворе стало очень тихо. Когда рассказ о том, что случилось с Ниной Новиковой, завершился, я заметил, что, кроме закутанных в платки старых женщин, собравшихся вокруг меня, здесь был еще один человек: на нижнем краю кирпичной дорожки стоял молодой мужчина в черной куртке.

Когда все разошлись, усатая женщина, навязчиво продолжавшая держаться возле меня, предложила мне пойти с ней к какому-то колдуну, но я пропустил мимо ушей ее слова и вместе с бывшей медсестрой пошел по кирпичной дорожке, а потом перешел на грунтовую дорогу, ведущую к городу. Мужчина в черной куртке следовал за нами, не очень умело прячась за кустами.

Когда я приехал на несколько месяцев в Москву в следующий раз, то опять встретился с отцом Сергеем и рассказал ему о своем путешествии в Великие Луки. В этот раз он признался, что он – тот самый священник, который пожаловался Хрущеву на пре-

следование Новиковой. Я пересказал ему, о чем узнал в Великих Луках, и он сказал, что в целом это соответствует тем событиям.

«Только я не слышал о каком-то несчастном случае во время катания на лыжах, – сказал он, – но такое могло случиться. Что касается рентгена, то в это я не верю. Тогда люди говорили, что Нина парализована, а не о том, что у нее сломан позвоночник. Этот паралич был неизвестного происхождения».

Как рассказал отец Сергей, от обвинения в клевете его спасло лишь подтверждение кем-то из верующих в прокуратуре, что с Ниной произошло нечто чрезвычайное. Дело было закрыто за отсутствием доказательств. Он подтвердил также, что Новикова покинула Великие Луки, но не смог сказать, действительно ли она ушла в монастырь. Ему так и не удалось выяснить, что с ней случилось потом, так как проблемы, возникшие у него из-за этого чуда, вынудили и его уехать из города.

В восемь утра 27 апреля 1987 года в селе Грушево на Западной Украине девятилетняя Мария Кизин вышла из дома и, закрыв за собой деревянные ворота, пошла по проселочной дороге к церкви. Был серый хмурый день, на земле еще кое-где лежал снег. Вдруг Мария почувствовала волны тепла, исходившие от церкви. Она подняла голову и увидела перед церковью женщину в черном, которая зависла в воздухе в метре над землей.

Мария побежала назад, домой. «Мама! – кричала она. – Богородица явилась!»

Ярослава Федоровна, мать Марии, выскочила из дома и вместе с Марией побежала к церкви. Там она тоже увидела похожий на тень образ. Они с дочкой рассказали об этом соседям, и через четверть часа новость распространилась по всему селу.

Проходили дни, а тень не исчезала. Она оставалась видимой, как какая-то бесплотная статуя, и слухи о явлении Богородицы разлетелись по всему Дрогобычскому району. Через две недели уже вся Львовская область обсуждала это, а в самом Львове ходили слухи, что Богородица одета в желтое и синее – национальные цвета Украины.

В Грушево начал прибывать народ. Людей становилось все больше, о явлении Матери Божьей рассказали западные радиостанции. В июне паломники прибывали уже тысячами. Каждый день в селе собиралось от 40 до 100 тысяч людей. Стало невозможно достать билет до Дорожева – ближайшей к селу железнодорожной станции. В центре Грушево, вокруг церкви, днем и ночью дежурила толпа из нескольких тысяч человек, многие люди держали белые свечи.

Местная власть была застигнута всем этим врасплох. Стали останавливать автобусы и автомашины из Львова и Дрогобыча под предлогом карантина из-за заболевания скота. Однако люди выходили из машин и шли пешком, поэтому проселки, ведущие к Грушево, были запружены брошенным транспортом. Когда КГБ попробовало полностью перекрыть все пути к Грушево, было уже поздно. Человеческий поток было уже невозможно повернуть назад.

Иван Гель, историк и недавно освобожденный политзаключенный, жил с матерью в селе Клицько под Львовом, где работал пастухом в колхозе «Большевик», присматривая за стадом из 183 коров. Он почти сразу узнал о явлении Богородицы, но не мог оставить стадо, и когда прибыл в Грушево, был уже конец мая. Подходя к селу, Гель заметил над куполами церкви подобное нимбу сияние. Протолкавшись сквозь толпу, он увидел тень, похожую на образ женщины с ребенком, плывшую в воздухе за полтора метра от стен церкви. Образ вырисовывался очень четко, и люди вокруг неистово молились.

Пока Гель смотрел на этот образ, его вдруг охватило ощущение, что годы, проведенные им в заключении, не были напрасными. Он почувствовал солидарность со всеми теми тысячами людей, которые стремились к религии и к возрождению украинского независимого государства.

В мае Геннадий Ситенко, ночной сторож Театра кукол в Москве, услышал от приятеля о явлении Богородицы в Грушево. Уже несколько месяцев Ситенко ожидал чего-то подобного, и когда услышал о событиях в Грушево, не удивился и решил по-

сетить украинские монастыри. Сначала он поехал в один из монастырей в Киеве, потом – в монастырь в селе Александровка в Болградском районе Одесской области, где в 1920-х годах тоже являлась Богородица. Стоя там, он чувствовал, что стоит на святой земле. Потом Ситенко поехал в Мукачево и наконец – в Свято-Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области. Там ему рассказали, как доехать в Грушево.

Четырнадцатого июня Ситенко сел в автобус до Грушево. Автобус остановился за восемь километров от села, и уже на место Ситенко подъехал на попутке. Подойдя к церкви, он увидел там тысячи людей, многие стояли на коленях.

В тот день дождило, поэтому сначала Ситенко ничего не разглядел. Но уже через минуту он увидел Богородицу в воздухе возле карниза – Она кивала верующим.

Геннадий так описывал увиденное: «От карниза исходила какая-то энергия, от нее зелень становилась живее, более яркой. Падал дождь, и поток этой энергии начал изменять все вокруг – все приобретало золотой блеск, мир становился в десять раз богаче красками и ярче. Это свечение исходило от Богородицы, и все вокруг стало напоминать живую золотую икону. Небо зазолотилось, дождь прекратился, а свет от Богородицы пульсировал. Я почувствовал поток света на себе, он прошел сквозь мое сердце и был в десять раз сильнее материнской любви, будто меня накрыло легким ветерком. Внутри меня раздавалась самая величественная в мире симфония. Когда на меня с подозрением глянул милиционер, я почувствовал, что люблю и его».

Вечером вокруг церкви стояли тысячи людей со свечами в руках. Некоторые люди плакали, не видя Богородицу, но потом удивленно открывали рты, вдруг заметив движение Ее руки.

Сотрудники КГБ и милиционеры в штатском пытались выдергивать людей из толпы. Когда они слышали общую молитву, то кричали в громкоговорителе: «Прекратить! Не нарушать порядок!»

Один священник сказал: «Мы молимся за наш украинский народ, за наших детей и за грешников и атеистов, которые нас преследуют».

Когда начало смеркаться, к церкви привезли два огромных авиационных прожектора и включили их на полную мощность, но образ все равно был виден. На следующий день в местных газетах написали, что прожекторы продемонстрировали, что темная фигура была оптической иллюзией, но паломники еще много недель прибывали в Грушево, чтобы увидеть Богородицу.

13

УКРАИНА

Ще не вмерла України і слава, і воля…
Национальный гимн Украины

КИЕВ, 24 АВГУСТА 1991 ГОДА

Слабый свет проникал сквозь стеклянный купол зала Верховной Рады Украины, когда Леонид Кравчук занял председательское кресло на возвышении, а депутаты, все еще не отошедшие от потрясений последних шести дней, заполнили ряды кресел в зале. За три дня до этого бесславно завершилась попытка сохранения Советского Союза, и теперь вопрос о независимости Украины витал в воздухе. Никто не верил, что коммунисты, представляющие парламентское большинство, проголосуют за независимость. Однако рабочие крупнейших предприятий Киева были настроены взять парламент штурмом в случае отказа коммунистов голосовать.

В 10 часов утра Кравчук объявил заседание открытым, и два депутата – Игорь Юхновский и Дмитрий Павлычко – потребовали объяснений, почему он не призвал людей выйти на улицы во время путча.

Кравчук казался спокойным и уверенным в себе. Он сказал, что его целью было предотвратить введение чрезвычайного положения в Украине, что он сознательно не призывал к демонстрациям, чтобы не дать власти повода для репрессий. «Под моим командованием не было войск, а украинского КГБ нет, – сказал он.

– Суверенитет должен на что-то опираться. Но если бы путчисты бросили танки на улицы Киева, моя реакция была бы иной».

Когда Кравчук закончил, депутаты демократического крыла заявили, что он продемонстрировал трусость и должен быть лишен права на руководство. Однако Кравчук остался невозмутимым. «Я был вынужден маневрировать, – ответил он, – ради сохранения спокойствия».

Потом выступал Станислав Гуренко, первый секретарь ЦК КПУ. Накануне лидеры оппозиции во Львове ворвались в горком партии и нашли там экземпляры указаний Гуренко местным парторганизациям выполнять приказы путчистов. Для своего выступления Гуренко избрал высокомерный и сухой тон. Он сказал, что партия не принимала участие в заговоре и в дальнейшем остается руководящей силой общества.

Выступление Гуренко вызвало возмущение в зале. Депутаты начали выкрикивать «Позор!», и десятки людей выбежали к трибуне с криками: «Тебя арестовать надо!» Гуренко пытался продолжить, но его заглушили, беспорядок в зале рос, депутаты от коммунистов и оппозиции начали кричать друг на друга, и казалось, вот-вот вспыхнет драка.

Наконец депутат от Киева Лариса Скорик, которую украинцы Америки и Канады прозвали «питбулем оппозиции», протолкалась сквозь окруживших трибуну депутатов, поднялась на нее и просто оттолкнула Гуренко: «Он не имеет права тут говорить. Его надо арестовать». Увидев, что завершить речь не удастся, Гуренко сошел с трибуны и покинул зал. Кравчук объявил перерыв, и зал опустел.

К этому времени на площади перед парламентом собралось 10 тысяч демонстрантов с сотнями желто-синих флагов и транспарантами «Мы не овцы» и «Прощай, СССР!». Вячеслав Черновол, депутат Рады и бывший политзаключенный, вышел поговорить с народом. «Мы будем стоять на своем там, – сказал он, – а вы стойте на своем здесь».

После перерыва начали выступать националисты. Раздавались призывы к созданию украинской армии и обвинения партии в голодоморе 1930-х годов и ядерной катастрофе в Чернобыле. Депутат от Киева Владимир Яворивский сказал, что вся история Украины была длительной борьбой за независимость. «Наши внуки не простят нам, если мы упустим этот шанс», – заявил он. Многие из коммунистов сидели, опустив головы и уставившись в пол. Наконец, Юхновский призвал начать голосование за независимость, и Кравчук объявил еще один перерыв.

Коммунисты собрались в кинозале, расположенном в подвальном помещении. Они были совершенно ошеломлены. Днем ранее российский парламент приостановил деятельность российской Коммунистической партии, и большинство украинских коммунистов считали, что им ничего не остается, как дистанцироваться не только от путча, но и от событий в России. Однако выраженная кем-то идея – взять на себя инициативу по роспуску СССР – показалась большинству фантастической. Один из депутатов сказал: «Я не понимаю, зачем нам независимость. Мы же не сделали ничего плохого».

Однако вскоре дискуссия сосредоточилась вокруг критического вопроса, смогут ли коммунисты удержать власть в независимой Украине. Кое-кто из депутатов-коммунистов считал: если в Москве главным будет Ельцин, независимость – это способ спасти господство коммунистов в Украине, возможно – под другим названием. В то же время все понимали, что коммунисты рискуют потерять все, если будут сопротивляться, и парламент будет распущен силой. Гуренко подытожил: «Если не проголосуем за независимость, горе нам».

В 16 часов коммунисты начали переговоры. Их лидер Александр Мороз сообщил оппозиции, что голосование за независимость без референдума он считает проблематичным. Тогда Павлычко, Юхновский и Яворивский быстро написали и передали Морозу текст Акта провозглашения независимости

Украины, включавший пункт, который предусматривал проведение референдума.

В 17 часов на закрытом заседании началось обсуждение Акта. Депутаты-коммунисты не могли усидеть на месте. Они привставали, пытались успокоиться, ходили взад и вперед. Наконец, текст Акта был поставлен на голосование, и коммунисты поднятием рук выразили ему свою поддержку. Из подземного конференц-зала они выходили, еще не опомнившись от того, что сделали, но убеждая самих себя, что это был для них единственный способ сохранить свою власть в Украине.

В 17:55 напряженная тишина повисла в зале Верховной Рады, когда депутаты заняли свои места и приготовились голосовать за Акт провозглашения независимости. Кравчук предоставил слово Левко Лукьяненко, еще одному бывшему политзаключенному, проведшему 23 года в советских лагерях.

Лукьяненко занял место председателя вместо Кравчука и призвал зал проголосовать за провозглашение Украины «независимым демократическим государством».

Когда депутаты вставили свои карточки в устройства для голосования, все взгляды обратились к электронному табло на стене зала в ожидании исторического вердикта. И там высветился результат: 346 «за», 1 «против», 3 «воздержались». Зал взорвался шквалом аплодисментов.

Националисты считали, что достигли своей цели – независимой Украины, а коммунисты – что избежали катастрофы и смогут сохранить свои позиции в новой Украине.

В 21 час Кравчук, по просьбе Черновола, согласился впустить в парламент народ. Двери отворились, и в зал хлынул поток людей с огромным желто-синим флагом. Когда его развернули над столом президиума, националисты запели «Ой у лузи червона калына» и «Ще не вмерла Украины и слава, и воля». Лукьяненко безуспешно призывал к порядку. Минут через десять зал наконец успокоился, и Лукьяненко сказал: «То, за что боролись и страдали многие поколения, осуществилось. Мы наконец по-

лучили то, что для других наций давно было естественным, – собственное государство».

Эта сцена в украинском парламенте обозначила собой завершение процесса, который длился более пяти лет. Когда Горбачев и его коллеги инициировали политику гласности, они вряд ли осознавали, что в итоге это приведет к отделению Украины. С наступлением гласности вектор украинской истории изменился. Гласность разорвала заколдованный круг марксистской идеологии «интернационализма» и, познакомив украинцев с подробностями русификации и искусственных голодоморов в Украине в 1930-х годах, помогла также показать русско-украинские отношения в ином свете. Впервые украинцы стали смотреть на свою страну не как на «братскую республику», а как на жертву угнетения, и национализм начал возрождаться.

Следствием этой переоценки стало стремление Украины к независимости. Западная Украина, окончательно аннексированная Советским Союзом после Второй мировой войны и немедленно подвергнутая массовому террору, всегда была решительно настроена на избавление от советского господства. Однако на остальной территории Украины это стремление развивалось медленнее, по мере того, как все больше людей, дезориентированных в результате потока новой информации крахом универсальной марксистско-ленинской теории, прежде определявшей их жизнь, переживали кризис сознания и начинали иначе смотреть на когда-то знакомый мир.

Первым значимым событием на пути Украины к независимости стал учредительный съезд Народного Руха Украины за перестройку (НРУ) – первой политической оппозиции Украины. Он состоялся в Киеве в сентябре 1989 года.

В 1987 году в Украине начали возникать первые независимые объединения, в том числе экологические, такие как «зеленые», и Общество украинского языка им. Тараса Шевченко, целью

которого была защита украинского языка. И все же атмосфера в Украине, особенно по сравнению с Прибалтикой, продолжала оставаться репрессивной. Несогласных арестовывали или увольняли с работы, газеты самиздата конфисковывали. В декабре 1988 года львовская милиция с собаками атаковала толпу демонстрантов.

Однако в марте 1989-го в Киеве группа писателей, под влиянием все более широкого национального движения в Прибалтике, объявила о создании Руха. На первых порах эта группа часто упоминала о своей преданности коммунизму. Ее программа, опубликованная в газете «Литературная Украина», призывала к демократизации и культурной автономии, но в ней упоминалось и о руководящей роли партии и совершенствовании социализма. Члены Общества им. Шевченко стали распространять по предприятиям петиции с требованием легализировать эту организацию. За несколько недель они собрали сотни тысяч подписей в поддержку Руха, в основном в Западной Украине.

Идея Руха получила поддержку и в Киеве, а необходимость такой организации обсуждалась и на украинском телевидении. На момент открытия учредительного съезда 8 сентября 1989 года новая организация была уже в центре внимания всей Украины.

Этот съезд собрал полторы тысячи участников, его смотрели по телевидению по всей Украине. Выступающие рассказывали об искусственном голоде 1933 года, русификации, несправедливости социальной системы и последствиях взрыва реактора Чернобыльской АЭС для экологии Украины с откровенностью, неслыханной для официально санкционированного публичного форума. Хотя выступающие пытались создать впечатление, что они предлагают реформы, а следовательно, заинтересованы в сохранении коммунистической системы, в действительности это был едва прикрытый бунт. В конце первого дня работы съезда представитель Народного фронта Латвии поднялся и сказал: «Мы все идем в одном направлении – к ликвидации коммуни-

стической диктатуры и созданию многопартийной системы». Зал взорвался аплодисментами.

Когда Мирослав Попович, председатель Киевского отделения Руха, смотрел на собравшихся на съезд Народного движения в Киевском политехническом институте, он ощущал себя свидетелем общенационального собрания Украины. Еще никогда ему не приходилось быть участником мероприятия, где столько разных людей – казаки, православные священники, шахтеры, крымские татары, партийные чиновники – высказывались бы так свободно.

Весь день участники съезда обсуждали экологические проблемы Украины, выборы в Верховную Раду, государственные языки в Украине, национальную символику и этнические вопросы, включая антисемитизм (который был осужден), а после этого перешли к проблеме политического контроля в республике. Лукьяненко сказал: «Наша история – это история оккупаций, но больше всего мы пострадали от русских. Поэтому нашей целью должен быть выход из СССР». Другой делегат, Сергей Конев, призывал «положить конец царствованию политических динозавров». Он сказал, что Владимира Щербицкого, главу коммунистов Украины, надо предать суду за ядерную катастрофу в Чернобыле: «Не может быть и речи о реформах в Украине, пока преступники, ответственные за Чернобыль, остаются у власти».

Наблюдая за съездом со своего места на сцене, где сидели члены руководства НРУ, Попович удостоверился, что национальное возрождение началось.

Многие годы Попович работал в Институте философии в Киеве, писал труды по философии науки и математической логике. Одна из его книг – «Логика и научное познание» – знакомила широкую аудиторию с методом научного логического мышления. Рукопись книги не содержала ни одной цитаты из Маркса или Ленина; когда была готова первая корректура, Поповичу стали угрожать увольнением за «политическую бли-

зорукость» и заставляли добавить «верноподданнические» цитаты. Впоследствии он организовал научную конференцию и был обвинен представителем ЦК в «грубых методологических ошибках». Как выяснилось, Попович не поместил в начале брошюры с материалами конференции хотя бы какую-то цитату из Брежнева. Даже после того, как Горбачев заговорил о необходимости изменений и начал употреблять термины «гласность» и «перестройка», Попович полагал, что Щербицкий будет до конца сопротивляться реформам в Украине. В то время, когда центральные советские газеты становились свободнее и откровеннее, в Украине не происходило ни либерализации прессы, ни каких-либо изменений в высшем руководстве.

Однако после катастрофы, случившейся на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, ситуация стала меняться.

Вечером 27 апреля Попович встретил в вестибюле института напуганную и запыхавшуюся сотрудницу. «Вы слышали новости? – спросила она. – На Чернобыльской АЭС – авария».

«Вы знаете, что именно произошло?» – спросил Попович.

«Не знаю, но слышала – что-то серьезное».

Попович поехал домой и попробовал что-то выяснить из сообщений западных радиостанций, которые тогда глушились. Он знал, что в случае катастрофы советское радио о ней сразу же не сообщит. Но даже по «Немецкой волне» он ничего не услышал.

Однако на следующий день по Киеву поползли слухи, а 29 апреля BBC передала первые подробности об аварии и утечке радиации и порекомендовала жителям Киева закрывать окна, мыть полы и не выходить на улицу.

Город охватили растерянность и неразбериха. Из советских источников массовой информации не поступало никаких подтверждений того, что киевлянам нужно чего-то опасаться, но просочились слухи о массовой эвакуации людей с территорий вокруг реактора. Иностранные радиостанции, прорывающиеся к слушателям, несмотря на глушилки, сообщали, что взрыв

в Чернобыле привел к наибольшим выбросам радиации в истории ядерной энергетики.

Первого мая, ярким солнечным днем, руководство КПУ провело традиционную первомайскую демонстрацию, и главную улицу Киева – Крещатик заполнили колонны трудящихся с красными знаменами, танцорами в национальных костюмах и детьми с бумажными цветами. Никто из них не осознавал, что подвергает себя воздействию радиации, которая в две тысячи раз превышает норму.

Однако уже 2 мая Киев охватила паника. Причиной стали сообщения западных радиостанций о том, что коммунистические лидеры Украины эвакуируют свои семьи. В конце этого дня едва ли не все пытались вывезти из города детей и женщин детородного возраста. Третьего мая, когда официальные средства информации все еще молчали об аварии, Попович проводил на местном телевидении экономическую дискуссию. Он знал, что произошла большая катастрофа, но не осмелился упомянуть об этом в эфире. После программы Попович провожал на вокзал московского чиновника, принимавшего участие в теледискуссии, и там они увидели сотни людей, осаждавших каждый поезд, пытаясь втиснуть своих родственников в переполненные вагоны. Попович и его гость в состоянии легкой паники переходили с перрона на перрон в поисках хоть какого-нибудь поезда, которым можно было бы уехать из Киева. В конце концов с помощью Поповича этому москвичу поздней ночью удалось попасть на московский поезд.

Четвертого мая Попович с дочкой и внучкой поехал на вокзал, где теперь царил полный хаос. Билеты потеряли всякий смысл. На перронах вспыхивали драки, когда люди пытались втолкнуть женщин и детей в вагоны. Купе вскоре настолько переполнились, что невозможно было закрыть двери, и каждый поезд, который отправлялся из Киева, был похож на поезд метро в час пик. Наконец, Поповичу удалось посадить дочку на поезд в Ленинград и передать ей внучку через окно.

Следующие за катастрофой месяцы происходило постепенное расширение гласности, но Попович не воспринимал эти изменения всерьез. Лишь в 1989 году он приобщился к событию, которое должно было радикализировать сознание украинцев, – к созданию Руха.

Как-то в феврале литературный критик Вячеслав Брюховецкий и секретарь парторганизации Союза писателей Борис Олейник пригласили Поповича в Дом писателей, где попросили его помочь в организации Украинского народного фронта – организации наподобие уже существовавших в прибалтийских республиках. Один из друзей Поповича в то время как раз разрабатывал экономическую программу для этой организации, и Попович согласился присоединиться.

Двадцатого марта в маленьком театре на улице Чкалова Рух провел организационное заседание, в котором участвовало 60 человек – большинство из них были членами партии и известными, официально признанными писателями. Участники встречи не обращались за надлежащим разрешением, поэтому, согласно действующему законодательству, она была нелегальной.

Атмосфера на заседании была окрашена национальными идеалами, особенно сильными в среде киевских писателей. Все обсуждения велись на украинском языке, а одним из требований было принятие закона, запрещающего родителям выбирать язык обучения для детей в школе. В своих речах делегаты также обвиняли партийных чиновников в противодействии перестройке, называя Украину «Вандеей перестройки». В конце заседания поэт Иван Драч, исполняющий обязанности председателя, обратился к Поповичу и неожиданно предложил ему стать председателем. Рух ориентировался – по крайней мере, официально – на поддержку политики Горбачева, а отношение Поповича к Горбачеву изменилось за три прошедшие после Чернобыля года. Если раньше он не доверял ему, как и любому коммунистическому лидеру, то теперь считал, что Горбачев

символизирует собой прогресс, и если население не поддержит его, то его устранят. Попович решил принять это предложение.

Через три дня после первого заседания программа Руха была опубликована в «Литературной Украине», и на предприятиях и в научных учреждениях начали образовывать группы поддержки, а рядовые граждане обращались к руководству Руха за поддержкой в своих столкновениях с советской бюрократией. Во всем этом Попович увидел зарождение очага оппозиции.

В апреле члены киевской организации Руха заговорили о созыве учредительного съезда. Второго апреля руководитель идеологического отдела КПУ Кравчук посетил Союз писателей, где встретился с Поповичем и другими лидерами Руха, но взаимопонимания достичь не удалось. Кравчук сказал, что Рух должен помогать партии в улучшении судьбы народа, а представители Руха, со своей стороны, обвинили партию в том, что она заботится лишь о своих привилегиях.

После первой встречи Попович стал общаться с Кравчуком наедине, пытаясь убедить его в целесообразности разрешения провести съезд в Киеве, поскольку с нынешним руководством Руха еще возможен диалог. Если Рух будут преследовать, этих руководителей могут заменить люди более радикальные, а с ними договариваться будет тяжелее.

В итоге Кравчук предложил провести телевизионную дискуссию – действительно ли нужен Рух в ситуации, когда партия проводит перестройку. Попович согласился. Передача была анонсирована, и вскоре Поповича завалили описанием множества реальных случаев из жизни, предлагая проиллюстрировать ими абсурдность попытки партии сохранить свое исключительное право на власть. Несколькими из них Попович воспользовался, и Кравчук не нашел, что на это ответить.

Во время второй дискуссии Кравчук просто развел руками и сказал, что не понимает, зачем нужен Рух.

Потерпев поражение в попытке убедить общественность в бесполезности Руха, партия намеревалась сорвать учредитель-

ный съезд бесконечными переносами. Лидеры Руха добивались разрешения воспользоваться для проведения съезда каким-то вместительным залом в Киеве, но партийные чиновники сказали, что программа Руха написана нечетко и они не понимают, с какой организацией имеют дело. В контролируемой коммунистами печати появлялись статьи, утверждавшие, что Рух хочет посеять ненависть к евреям и русским и заставить их отдавать детей исключительно в украинские школы.

Тем временем по всей стране оперативно возникали филиалы Руха, и стало ясно, что дальнейшие препятствия приведут к конфронтации, с которой партии в условиях перестройки будет трудно справиться. Поэтому партийное руководство сочло необходимым попытаться ассимилировать Рух и дало разрешение на открытие учредительного съезда 8 сентября в Киеве.

Во время съезда Поповича тревожил воинственный тон некоторых выступающих. Рух разделился на поддерживающих перестройку и тех, кто хотел независимости. Однако Поповичу казалось, что, еще не сформировавшись как настоящая организация, Рух уже эмоционально был предан идее независимости. Весь зал расцвечивали желто-синие флаги, было принято около сотни резолюций, многие из которых – по историческим событиям начиная с XVII века. Бывшие политзаключенные, объединенные в Украинский Хельсинкский союз, вспоминали пережитые притеснения, что подогревало атмосферу сдержанного радикализма. К тому же делегаты знали, что их показывают по украинскому телевидению, и это тоже способствовало эмоциональности выступлений.

В конце концов Иван Салий, глава одного из киевских райкомов партии, ошеломил аудиторию призывом к большей самостоятельности Украины и требованием отставки Щербицкого. Это выступление продемонстрировало, что Рух имеет потенциальную поддержку даже в среде некоторых партийных деятелей. Когда Салия спросили, способна ли партия работать вместе с Рухом, он ответил: «Мы должны это сделать».

Возникновение Руха дало определенный толчок активизации людей в Украине. После учредительного съезда участились массовые демонстрации, кульминацией которых 21 января 1990 года стало еще одно важное событие в продвижении Украины к независимости: «Украинская волна». В этой демонстрации поддержки участвовало более 300 тысяч человек, образовавших живую цепь от Киева до Львова.

Центром народной активности вскоре стал Львов. Большая часть Западной Украины никогда не входила в состав Российской империи, а после присоединения к Советскому Союзу 10 процентов местного населения было сослано в Сибирь. Поэтому национальное самосознание было здесь не менее сильным, чем в Прибалтике, и западные украинцы начали организованно выступать против коммунистического режима, воспользовавшись ослаблением милицейского террора.

Семнадцатого сентября 1989 года Львов стал свидетелем наибольшей демонстрации в своей истории. Ею была отмечена пятидесятая годовщина вступления в город советских войск в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа. Пятнадцать священников запрещенной Греко-Католической церкви провели богослужение под открытым небом для почти 250 тысяч людей, которые собрались на площади перед Пороховой башней. После молитвы участники широким потоком, со свечами и иконами в руках, двинулись по городу к собору св. Юра, закрытому для греко-католиков, и провели службу. В 19 часов демонстранты опять собрались в центре города на минуту молчания в память о жертвах советской оккупации. В 21 час они разошлись по домам, где выключили свет и зажгли на окнах свечи, превратив весь город в мерцающий мемориал.

Когда начинались первые демонстрации, родители умоляли своих детей не принимать в них участие: «Вас расстреляют так же, как когда-то расстреливали ваших братьев и сестер». Но, увидев массовую поддержку стремления украинского народа к независимости, люди избавились от страха.

На День Львова, 1 октября 1989 года, тысячи манифестантов прошли по центру города следом за девушкой в вышиванке, целиком опутанной веревками – не связаны были лишь ноги. Распространились слухи, что арестовано нескольких студентов. Группа людей покинула шествие и ринулась к управлению милиции, где им было приказано разойтись. Однако многие, очутившись в тупике, не смогли оттуда быстро выбраться, и милиция набросилась на демонстрантов, кое-кого из них жестоко избив. Почти сорок человек пришлось госпитализировать. В ответ лидеры местного Руха призвали к всеобщей забастовке, и 3 октября вся работа в городе, за исключением чрезвычайных служб, была парализована. Это была первая демонстрация Рухом своей политической силы. Больше милиция Львова не пыталась разгонять демонстрантов.

К концу октября активисты Руха, уверенные в поддержке со стороны западноукраинских националистов, разработали план символического единения общественных активистов Западной Украины с остальной республикой живой цепью между Львовом и Киевом.

Непрерывный дождь лил на крыши и фасады домов львовского центра весь день 21 января 1990 года, когда Михаил Бойчишин, рабочий конвейерного завода, ставший одним из лидеров Руха, завел свой автомобиль и начал медленно продвигаться по многолюдным мощеным улицам. Куда бы он ни бросил взгляд, везде были толпы людей с украинскими флагами.

Выехав из Старого города, Бойчишин свернул к одному из новых районов, куда тоже тянулись длинные колонны демонстрантов, некоторые возглавляли греко-католические священники. Наконец Бойчишин выехал на автостраду, которая вела к Киеву, и там он увидел то, что окончательно убедило его: стремление Украины к независимости остановить невозможно. Автострада прорезала безграничные желто-соломенные поля, тянувшиеся под серым дождливым небом вплоть до горизонта, и с обеих сторон дороги – куда достигал взгляд – стояли бес-

конечной цепью демонстранты, взявшись за руки и размахивая флагами в знак поддержки свободной Украины.

Семью Бойчишина не обошли репрессии, как и большинство семей в Западной Украине. Его мать сослали в Сибирь, а дядя умер в воркутинских шахтах. В брежневские времена Бойчишин не отличался политической активностью. Но с началом либерализации в СССР он организовал на своем предприятии отделение Общества украинского языка им. Шевченко. Первым официальным действием этой группы стали заявления к руководству завода исключительно на украинском языке. В марте 1989-го, после объявления о создании Руха, Бойчишин принялся организовывать на заводе и его филиал.

Идея Руха вызывала среди рабочих большой интерес, потому что, в отличие от Общества им. Шевченко, сосредоточенного на вопросах языка, Рух нес в себе потенциал политической оппозиции. Никакой легальной политической оппозиции в Западной Украине не было уже со времени присоединения этой территории к СССР в 1944 году, но под гнетом послевоенного террора и русификации здесь всегда теплилось скрытое стремление к украинской независимости. Когда филиал Руха был создан на конвейерном заводе, на других предприятиях тоже начали спонтанно организовываться такие филиалы. За считанные месяцы Рух стал в Западной Украине массовой организацией.

Жизнь Бойчишина в корне изменилась. Каждый вечер ему приходилось, выходя из дома, встречаться с другими активистами на квартирах или на предприятиях, обсуждать с ними пути дальнейшего расширения густой сети местных организаций Руха.

Участвовал Бойчишин и в демонстрациях. Первого мая он присоединился к авангарду пяти-шеститысячной колонны демонстрантов, которая прошла в сотне метров от городской ратуши, где местные партийные руководители готовились принимать первомайский парад. Вдруг толпа резко рванулась вперед и прорвала милицейский кордон. Упавшего Бойчишина избила милиция, но другим демонстрантам удалось прорваться и они

прошли мимо официальных трибун, держа плакаты с украиноцентричными лозунгами и украинские флаги.

В сентябре, когда проходил учредительный съезд Руха в Киеве, на улицах всех городов Западной Украины реяли украинские флаги, проходили демонстрации в честь годовщин важных событий в короткой жизни независимой Украинской Республики или в память о массовых депортациях. Демонстрации становились все более массовыми, достигнув цифры в 100 тысяч участников.

Однако, несмотря на это бурное проявление украинского патриотизма в Западной Украине, Бойчишин и другие активисты Руха в регионе были обеспокоены очевидным отсутствием национально-освободительных устремлений в чрезвычайно русифицированной Восточной Украине. Бойчишин регулярно ездил в восточные города в надежде помочь им повторить тот успех в массовой организации людей, которого Рух добился во Львове. Проповедуя этническую гармонию, он хотел также смягчить представление об украинских националистах как о людях, нетерпимых к представителям других национальностей. Но везде встречал лишь непонимание и неприязнь.

В Тернополе Бойчишин принял участиеза в церемонии перезахоронения жертв расстрелов сталинских времен, а после нее стал рассказывать об истории политического террора в Украине. Большую часть его речи аудитория прослушала с уважением, но когда он сказал, что именно Ленин отдавал первые приказы о расстреле священников, в толпе стали громко выражать протест и недоверие.

В Полтаве милиция остановила автобус, в котором ехал Бойчишин, и приказала водителю съехать на обочину. Местные сторонники Руха встречали автобусы и рассказывали, что активистов снимают с поездов, а милиция останавливает автомашины с львовскими номерами. Они сообщили также, что людей в Полтаве предупредили за несколько дней, что экстремисты из Западной Украины планируют теракты. Убедившись в невозможности проведения митинга в центре города, Бойчишин

повел демонстрантов в ближайший парк, где заявил присутствующим, что Украина сможет руководить собственной судьбой лишь при условии независимости. Однако многочисленные зрители сочли участников митинга сторонниками Степана Бандеры.

«Вы бандеровцы», – говорили они.

«Правильно, – отвечали демонстранты, – мы бандеровцы. Бандера делал все, чтобы Украина стала европейским государством».

«Но он же творил зверства».

«Тогда была война, и ни у кого руки не остались чистыми».

В конце концов какая-то женщина из толпы воскликнула: «Я согласна, что Украина должна быть независимой, но нельзя вот так выступать против Ленина, против красного знамени и всего, за что мы сражались в Великой Отечественной войне».

В Донецке активисты Руха вместе с Бойчишиным ходили от шахты к шахте и раздавали листовки и различную литературу. Им почти нигде не были рады, и иногда прогоняли еще на подходе к шахте. Однако даже если им позволяли пообщаться с шахтерами, убедить людей почти не удавалось. «Нам безразлично, на каком языке разговаривать, – говорил Бойчишину один из шахтеров, – лишь бы колбаса была». Людей с такими взглядами Бойчишин называл «колбасниками».

Другой шахтер заявлял: «Так сложилось исторически: мы всегда жили вместе с Россией».

«Факт в том, – отвечал Бойчишин, – что нас заставляли жить с Россией».

«Но Россия – это лес, газ и нефть».

«В действительности все это берется из Украины», – отвечал Бойчишин.

Постоянно сталкиваясь в Восточной Украине с враждебным и скептическим отношением, активисты Руха, в том числе Бойчишин, убедились в необходимости действий, кото-

рые объединили бы обе части республики. Так родился план «Украинской волны».

Проезжая по автостраде, Бойчишин видел, что количество добровольных участников «Украинской волны» превзошло самые смелые ожидания. По предварительному плану, демонстранты должны были стоять на расстоянии десяти метров друг от друга и держать между собой ленту, но во многих местах маршрута люди стояли, взявшись за руки и в три-четыре ряда.

Бойчишин ездил вдоль маршрута, решая разные проблемы по мере их возникновения. В Новоград-Волынском вблизи Житомира в цепи образовался пробел: местные власти запугали жителей городка какими-то головорезами, чтобы они не становились в цепь. Бойчишину удалось обеспечить подвоз автобусами замены из Западной Украины. Когда какие-то предприятия отказывались предоставлять автобусы или говорили, что у них нет бензина, Бойчишин с коллегами появлялись там, требовали автобусы и оплачивали их аренду. Бойчишин сомневался в поддержке демонстрации в восточной части маршрута, но в действительности на эту идею с энтузиазмом откликнулась вся республика. Живая цепь не только не имела разрывов, но и образовала дополнительную петлю от Львова до Ивано-Франковска.

В Киеве прошел многолюдный митинг, в котором участвовали приблизительно 60 тысяч человек. Такие же митинги состоялись и в Харькове, Запорожье, Одессе и Донецке. К концу дня Бойчишин, который неутомимо работал над организацией «Украинской волны», убедился, что раскол в стране начинает исчезать.

После «Украинской волны» национальное движение обратило свое внимание на искусственный голод 1930-х годов, и следующим важным шагом в стремлении Украины к независимости стало поминовение памяти жертв этого геноцида. Оно состоялось в сентябре 1990 года в селе Тарган под Киевом.

В начале 1990-х годов психологический эффект гласности чувствовался во всей полноте. По всей стране обнаруживали

штольни, заполненные телами жертв сталинизма. Казалось, что каждый день откапывают новые скелеты и зажигают новые свечи. Однако украинцев больше всего взволновали опубликованные в газетах свидетельства об искусственном голоде, организованном против крестьянства в 1930-х годах, и в частности Голодоморе 1933 года.

Многие годы границы между советскими республиками было принято считать символическими, но теперь украинцы узнали, что в 1930-х годах граница между Россией и Украиной стала гранью между жизнью и смертью.

Люди во всех частях республики поневоле задумались над отличием украинской идентичности от советской. Расширилась сфера употребления украинского языка, который длительное время можно было услышать лишь в Западной Украине и в селах. Украинские ученые, десятилетиями не имевшие возможности честно описывать свою историю, начали презентовать ее как длинный перечень советских и российских преступлений.

Страна оставалась разделенной. В марте 1990 года первые в истории Советской Украины полусвободные выборы принесли Руху выразительную победу в Западной Украине, но в остальной части страны, воспользовавшись преимуществом своего контроля над предприятиями и организациями, большинство голосов получили коммунисты. В итоге Кравчук был избран главой нового парламента, и только четверть избранных депутатов были демократами. Однако к этому времени произошли определенные изменения даже во взглядах коммунистов. Шестнадцатого июля украинский парламент, под влиянием провозглашения независимости России, подтвердил украинский контроль над ресурсами республики, а также право Украины иметь собственную армию и ввести собственное гражданство.

В результате этого роста национального самосознания желание больше знать о прошлом стало главным стремлением для

многих людей и заставило тысячи украинцев собраться в селе Тарган.

Вечером седьмого сентября 1990 года, когда солнце на западе освещало своими косыми лучами тарганское кладбище, Александра Овдиюк держала за руку свою подругу Олесю Масло и горько рыдала. Ей трудно было поверить, что через столько лет мир, наконец, узнает о том, что случилось когда-то в этом уединенном месте.

Украинский писатель и исследователь Владимир Маняк спустился по ступенькам с деревянной платформы, возведенной над могильником, где были найдены кости 360 людей, умерших от голода в 1933 году. Рядом стояла статуя девочки с крестом. На ней была надпись: «Голод и тяжелый труд лишили их жизни».

Овдиюк ждала, когда Маняк начнет говорить. «Как можно словами описать то, что здесь происходило?» – думала она.

Серым ноябрьским утром 1987 года Овдиюк вышла из дома к почтовому ящику забрать свежий номер газеты «Сельские вести». Вернувшись с ним в свой маленький деревянный дом, она присела у печки, развернула газету – и испытала настоящее потрясение. В статье на первой полосе был опубликован подробный рассказ о Голодоморе 1933 года. Хотя с началом новой политики гласности газеты становились все откровеннее, Овдиюк не ожидала ничего подобного. Она выскочила из дома и побежала к своей подруге Олесе Масло, тоже пережившей тот голод.

«Ты видела газету?» – спросила Овдиюк.

«Видела».

Более пятидесяти лет обе женщины говорили о голоде лишь между собой. Овдиюк преподавала историю в сельской школе, восхваляя «достижения» социализма. Своим ученикам она никогда и словом не обмолвилась о Голодоморе. Но с Олесей они давно поклялись, что однажды составят список всех жителей Таргана, умерших от голода.

«Ну что – ты готова?» – спросила тогда Овдиюк.

«Готова».

«А если нас арестуют?»

«Я не боюсь».

С тех пор прошла целая жизнь, но ей казалось, что это было лишь вчера.

Сначала новая советская власть арестовала самых успешных и трудолюбивых крестьян, в том числе и отца Александры. Потом остальных согнали в колхозы. Производительность труда упала, и власть объясняла это «саботажем». Осенью 1932 года в села были отправлены отряды «активистов», чтобы конфисковать «спрятанное» зерно. Они врывались в хаты, срывали полы и прокалывали землю железными щупами в поисках зерна. Забирали все – весь урожай, все запасы и весь семенной фонд. Крестьяне умоляли этих грабителей оставить хоть немного зерна, но на их просьбы никто не обращал внимания.

В декабре 1932 года, когда голод уже косил украинские села, мать увезла Александру из Полтавской области в село Тарган, где родилась, и оставила ее у дяди, Григория Овдиюка. Сама же поехала на работу в Сумскую область, где, по слухам, условия жизни были лучше.

До конца 1932 года остатки зерна были исчерпаны. Крестьяне перебивались картофельной кожурой и ожидали помощи из города. Но помощь так и не пришла. Истощенные кони умирали, и люди отрезали куски и ели мертвечину.

Сначала крестьяне думали, что это какая-то ужасная ошибка, но проходили дни, и они начали осознавать, что стали жертвой какого-то дьявольского замысла. Сначала к ним перестали приезжать медики и представители государственной власти, потом на всех дорогах были установлены посты, чтобы не дать никому из крестьян уехать. Все железнодорожные станции, даже наименьшие, были окружены красноармейцами. Крестьяне с ужасом увидели, что власть решила заключить их в тюрьму в селах, лишив еды.

В борьбе за жизнь они отчаянно искали что-нибудь съестное: собирали желуди, ели мышей, крыс, воробьев, муравьев и зем-

ляных червей. Ели кору деревьев, стебли травы и осенние листья. Первыми начали умирать дети, за ними – старики.

Одноклассники Овдиюк один за другим переставали ходить в школу. Однажды, перед закрытием школы, один из учителей попросил Овдиюк и еще двоих детей выяснить, почему Тимош Бабенко не пришел на уроки. Когда они подошли к его хате, то узнали, что его мать, помешавшись от голода, зарубила Тимоша топором.

В конце февраля звуки обычной жизни в селе уступили место мертвой тишине. Единственной надеждой крестьян была озимая пшеница, но она была похоронена под толстым слоем снега. В отчаянных усилиях обмануть смерть жители села толкли в ступах кости, ели кожу с обуви, щавель, лишайники и крапиву.

Однажды днем в хату, где Овдиюк жила с двоюродными братом и сестрой, пяти и девяти лет, зашел какой-то мужчина с взъерошенными волосами и лихорадочным взглядом. У него в руке был нож и, схватив сестренку Алину за руку, он попытался отрезать от нее кусок мяса. Однако она так исхудала, что резать было ничего. «Одни кости!» – заорал мужчина. Он был готов убить девочку, как вдруг заметил, что у двери лежат несколько клубней свеклы, и выбежал с ними на улицу. Перепуганные дети быстро закрыли дверь.

Призрак смерти витал везде. Руки крестьян болтались как палки, а животы сильно вздулись. Они непрерывно мочились. Заснеженные поля продувал ветер, и мертвые тела складывали штабелями во дворах и на земляных полах хат. Возчик на запряженной конем телеге медленно пробирался по селу и собирал тела, а потом ехал на кладбище и сбрасывал их одно за другим в открытую яму.

Овдиюк удалось избежать смерти благодаря тому, что ее дядя работал в соседнем колхозе и регулярно получал там на паек муку. Однако в конце марта у Александры и ее двоюродных брата и сестры начали пухнуть ноги. Она написала матери: «Приезжай и забери свою дочку, потому что мы умираем».

Мать приехала в Тарган в конце апреля с мешком муки. Увидев тетю, пятилетний брат Александры закричал: «Мы спасены!»

Накормив семейство, мать Александры вместе с дочкой пошла по безмолвному селу. На деревьях уже появлялись листья, но в хатах не было никаких признаков жизни. Наконец они подошли к дому одного из родственников, Адама Каплуна. Открыв двери, они увидели троих мертвых детей, лежащих рядом на кухонном столе. На скамье лежало еще двое. Каплуна в хате не было. Александра знала, что он умер ранее. Мать умерших детей сидела на стуле. Увидев родственницу с мешком муки, она сказала: «Я сейчас тоже умру». Поднялась со стула и скончалась у них на глазах.

В 1987 году село Тарган выглядело совсем иначе. Вместо мазанок с соломенными крышами, которые во времена Голодомора тянулись по обе стороны улиц, теперь стояли кирпичные дома. На крышах торчали телевизионные антенны, работал телеграф. Земля давала хорошие урожаи, и колхозники выращивали здесь зерновые, картофель, сахарную свеклу, овощи, гречиху.

Там, где когда-то была мертвая тишина, теперь грохотали трактора и мотоциклы, гоготали гуси и пели петухи. Однако восемь месяцев Голодомора 1933 года, когда из 900 жителей села голодной смертью погибли 360, остались в памяти тех, кто тогда выжил. Официально никакого голода не было. Негде было о нем прочитать. Если о нем вспоминалось в каком-то романе, роман запрещался цензурой. Если кто-то из колхозников осмеливался в разговоре на малейшее упоминание о Голодоморе, это грозило ему арестом. Но между собой крестьяне старшего возраста часто говорили о голоде.

Овдиюк и Масло были уже на пенсии, но после того, как опубликовали первые рассказы о голоде, они обошли все дома в Таргане, где жили люди, достаточно старые, чтобы помнить те события. Сначала люди боялись говорить. Малейший шум за дверью вынуждал их содрогаться от страха перед КГБ. Кто-то начинал плакать, вспоминая своих друзей и близких, умерших от го-

лода ужасной медленной смертью. Другие же рассказывали четко и во всех подробностях. Овдиюк просила их записывать имена всех известных им жертв голода, включая маленьких детей.

Собирая эти имена, Овдиюк чувствовала себя словно в окружении привидений. Она видела умерших такими, какими они были перед смертью, и каждый из них будто спрашивал ее: «А я? А я? Не забудь назвать мое имя».

Вскоре и другие жители Таргана начали составлять собственные списки, и Овдиюк сверяла их со своим, чтобы не пропустить ни одного имени жертвы ни из одной злосчастной хаты.

Пока Овдиюк и Масло составляли свои списки, голодомор начали обсуждать и в газете «Литературная Украина». Здесь публиковались отрывки из книги Владимира Маняка и Лидии Коваленко, в которой авторы утверждали, что этот голод был актом геноцида украинского народа. В газете был опубликован также призыв к тем, кто помнил голодомор, написать Маняку и Коваленко. Овдиюк обратилась к Маняку, и он приехал в Тарган, записал ее свидетельство и обнародовал составленный ею список жителей села, ставших жертвами этого беспримерного голода.

Встреча Овдиюк с Маняком стала в определенном смысле судьбоносной. Он предложил ей выступить в Киеве на симпозиуме, посвященном Голодомору, а потом, когда встал вопрос о месте чествования памяти его жертв, был избран Тарган.

«То, что случилось в 1933 году, – говорил Маняк, – превзошло самые черные фантазии всех палачей мира. Преступники занимали высокие должности в коммунистической системе и направили свой карающий меч против собственного народа. В земле лежат 9 миллионов наших людей. В истории еще не было актов подобной звериной жестокости».

Пока он говорил, тысячи свеч отблескивали ореолами на лицах людей в толпе.

«Не существует аналогов такого преступления государства против собственного народа. Голодомор был направлен против

Украины и конкретно против каждого села. Само село хранило национальный дух, национальный язык и обычаи».

В толпе начали петь «Ще не вмерла Украины и слава, и воля…» Иоанн, епископ Житомирской епархии, призвал всех беречь «бессмертную память о невинных, заморенных голодом». Люди крестились и молились. Народный ансамбль исполнил песню «Червона калына», посвященную национальному символу Украины. Наконец, после поминального ужина в полночь, народ стал расходиться.

Возвращаясь в село при лунном свете, Овдиюк и Масло прошли мимо нескольких последних мазанок и череды плакучих ив, где когда-то проезжала телега с истощенными мертвыми телами на пути к яме на кладбище.

Овдиюк вспоминала маленькую девочку, которая отказывалась расставаться со своей умирающей мамой, а та пыталась оставить ее на ближайшем железнодорожном переезде в надежде, что девочку подберет милиция и ее отдадут в детский дом. «Ох, девочка, – думала она с болью в сердце, – жива ли ты еще на этой украинской земле, где умерла твоя мать?»

После поминальной службы по погибшим от голода жителям Таргана Овдиюк еще долго вспоминала годы молчания о Голодоморе и поняла, что в стране что-то кардинально изменилось. Год за годом она рассказывала школьникам на уроках истории СССР о «великих свершениях», включая и коллективизацию. Теперь же о том голоде говорят открыто. В церкви соседней Пархомовки регулярно отправляют службу по жертвам голодомора.

Однако наибольшее изменение произошло в политическом сознании. Узнав правду об ужасах голодомора, люди стали видеть в Кремле своего врага. В течение многих лет украинское село хранило традиции и язык, но не проявляло инакомыслия. Теперь же настроения, которые долго скрывались в молчаливых сердцах крестьян, подхватило население всей республики.

Город подал руку селу.

После церемонии в Таргане национальное самосознание начало распространяться в украинском обществе, затронув в итоге даже вооруженные силы. Кульминацией стремления Украины к независимости стало проведенное в Киеве 27 июля 1991 года совещание украинских офицеров, посвященное подготовке к созданию независимых вооруженных сил.

Осенью 1990 года власть коммунистической номенклатуры в Украине пошатнулась под двойным ударом гласности и все углубляющегося экономического кризиса. Четырнадцатого сентября Львов стал шестнадцатым городом Западной Украины, где был снесен памятник Ленину, а по всей республике из магазинов исчезли продукты и выстроились километровые очереди за бензином.

Тридцатого сентября более ста тысяч людей собралось перед зданием Верховной Рады в Киеве на митинг, требуя выполнения Декларации о суверенитете. Потом митингующие спустились на Крещатик, где к ним стали присоединяться другие, пока общее количество демонстрантов не достигло 200 тысяч, образовав самую многолюдную в истории Киева антисоветскую демонстрацию. С теми же требованиями студенты установили палатки на площади Октябрьской Революции и объявили, что начинают голодовку. Число голодающих на площади постоянно росло, и этот кризис был преодолен лишь после отставки премьер-министра Виталия Масола.

Семнадцатого марта на всесоюзном референдуме 70 процентов жителей Украины проголосовало за сохранение СССР, но 83 процента ответило «да» и на вопрос, должна ли Украина входить в состав СССР на принципах Декларации о государственном суверенитете Украины. По регионам результаты голосования были очень разными. В Западной Украине лишь 15 процентов избирателей было за сохранение Советского Союза, а в русскоязычной Восточной Украине таких насчитывалось до 80 процентов.

В начале 1991 года среди коммунистов в Верховной Раде наметился раскол. «Имперские» коммунисты поддерживали пред-

ложенный Москвой союзный договор, который предусматривал централизованное управление финансами, таможней, КГБ, армией и предприятиями всесоюзного подчинения. В то же время коммунисты национальной или «суверенной» ориентации были за то, чтобы украинскую промышленность переподчинить Киеву. Под влиянием все более широких националистических настроений в республике «суверенные» коммунисты превратились в Раде в подавляющее большинство.

Тем временем уклонение от воинского призыва в ряды Советской Армии в Западной Украине стало почти повсеместным явлением. В печати появлялись многочисленные сообщения о смертях призывников Советской Армии в результате несчастных случаев или так называемой дедовщины, и по всей Украине прокатилось требование, чтобы солдаты из Украины служили только на территории республики.

Второго февраля, несмотря на предостережение, полученное от высшего командования Советской Армии, и активную слежку со стороны КГБ, группа из двухсот украинских офицеров собралась в Киеве и приняла резолюцию с требованием о создании отдельных украинских вооруженных сил как логического следствия Декларации о суверенитете.

В апреле и мае 1991 года агитация в среде украинских офицеров продолжалась. Несмотря на препятствия и угрозы со стороны высшего командования, офицеры, которые собирались в Киеве в феврале, готовили проведение в столице в июле учредительного съезда независимого Союза украинских офицеров.

Полковник Вилен Мартиросян смотрел на четыре сотни офицеров, заполнивших зал Киевского дома офицеров 27 июля, и готовился к выступлению. Атмосфера в зале была столь напряженной, что многие из офицеров не решились прийти в форме. Мартиросян, впрочем, был в военной форме. «Это просто недопустимо, – сказал он, – чтобы матери приходилось бояться, что ее сына убьют в армии. В украинской армии такого не будет».

Здание было окружено военными патрулями, имевшими приказ арестовывать офицеров в форме, а Борис Шариков, начальник политуправления Киевского военного округа, угрожал сбросить делегатов съезда в Днепр. Внутри Дома офицеров милиционеры из Западной Украины с желто-синими нарукавными повязками с надписью «Охрана» патрулировали помещение и проверяли удостоверения у журналистов. Однако ходили слухи о возможном военном трибунале для присутствующих и о силовом разгоне съезда.

Мартиросян представил съезду женщин из объединения «Солдатские матери Украины». Держа в руках фотографии солдат с черной лентой в левом углу, а в одном случае – фотографию солдата в гробу, женщины едва сдерживали слезы, рассказывая о судьбах своих сыновей в Советской Армии. Одна женщина описала, как ее сына забили до смерти старослужащие из Средней Азии, когда тот отказался мыть пол зубной щеткой, что было традиционным ритуалом унижения новичков. Другая сказала, что ее сын умер от солнечного удара после шестичасовой тренировки, которая проводилась при 40-градусной жаре без адаптационного периода. Еще одна мать рассказала, как ее сына и десятки других «случайно» скосило пулеметным огнем во время учебных стрельб.

Когда матери кончили говорить, Мартиросян, сидевший за длинным столом на фоне большого украинского флага, сказал: «Наших сыновей убивают на службе имперской армии. Пустых деклараций о суверенитете недостаточно. Если Украина движется не только к “бумажной” независимости, а к такой, которую имеет любое другое государство, нам нужна независимая украинская армия».

Мартиросян приехал в Ровно из Сибири в 1985 году, приняв на себя командование 55-м отдельным полком. Условия в Ровно были типичными для Советской Армии тех времен. Командиры получали квартиры вне очереди и отоваривались в местном универмаге с его убогим ассортиментом. Солдаты злоупотребляли нецензурной лексикой и пьянствовали. Однако Мартиросян

еще во время службы в Сибири вынашивал идею демократизации вооруженных сил, и в 1986 году, когда у всех на устах была перестройка, решил реализовать свои планы.

Первой его целью было искоренение дедовщины. Мартиросян обратился к родителям нарушителей, попросив их повлиять на своих сыновей. Он расспрашивал солдат, какие офицеры пользуются у них наибольшим авторитетом, и руководствовался их отзывами как основанием для повышения в звании. Он боролся со сквернословием среди рядового состава и вместо нарушителей дисциплины наказания штрафными нарядами пытался пристыдить их, фотографируя тех, кто засыпал на посту, и вывешивая фотографии в коридоре казармы.

Методы Мартиросяна срабатывали, и вскоре 55-й отдельный полк имел наилучшие в 13-й армии показатели дисциплины и боеготовности. Однако успехи Мартиросяна испортили его отношения с начальством. В полку едва не еженедельно стали появляться разные комиссии – якобы для выявления хищений бензина или продуктов либо нецелевого использования боевой техники, а в действительности – с целью найти повод для перевода Мартиросяна на другое место службы. Осенью 1988 года, когда советские организации, в том числе воинские подразделения, выдвигали кандидатов в Верховный Совет СССР, Мартиросян стал чувствовать давление со стороны начальства и, чтобы защитить себя от дальнейших неприятностей, прибег к необычному шагу в предвыборном процессе.

Армянин по национальности, Мартиросян быстро стал настоящим украинским националистом. В конце 1988 года националисты были фактически единственной независимой политической силой в Ровно, и Мартиросян знал, что не победит на выборах без их поддержки. Сам он разговаривал по-русски, но пообещал поддержать украинский как государственный язык и самому его выучить. Это удовлетворило местных националистов, и они поддержали его. Когда был произведен подсчет голосов по-

сле выборов, Мартиросян, который баллотировался наряду с еще пятью кандидатами, получил 87 процентов голосов избирателей.

В последующие месяцы Мартиросян стал активным демократическим лидером, и это, в свою очередь, привело к политизации военнослужащих 55-го полка.

Сначала в полку существовало определенное сопротивление украинскому национализму, даже со стороны тех, кто был предан Мартиросяну: русские солдаты и офицеры опасались, что их демобилизуют из украинской армии или заставят покинуть Украину. Почти все они скептически относились к украинским националистам и напоминали, что желто-синий украинский флаг использовался партизанами-националистами, которые во время войны совершали разного рода жестокости.

Однако союзники Мартиросяна, националисты, начали проводить регулярные встречи с военнослужащими. Они рассказывали о голоде 1933 года и о коррумпированности Коммунистической партии, доказывали, что единственное возможное будущее Украины – это независимое государство.

И постепенно они склонили полк на свою сторону. На многих произвели впечатление подробности о сталинском геноциде, особенно о Голодоморе, но важнейшим стало осознание того, что лишь разделение Советской Армии на отдельные армии национальных образований поможет покончить с той деградацией, которая была уделом рядового советского военнослужащего.

Двадцать девятого июня Мартиросян обратился к Верховному Совету УССР с запросом относительно суверенитета. Он сообщил, что существует опасность применения силы и предупредил, что в армии есть силы, способные разогнать этот парламент и любой другой, подобный ему.

Шестнадцатого июля украинский парламент ратифицировал Декларацию о суверенитете, и на фоне общей поддержки требования о прохождении службы украинскими призывниками лишь на территории Украины, настроения в 55-м полку начали изменяться в пользу создания отдельной украинской армии. Вскоре

офицеры с такими настроениями, отчасти вдохновленные примером 55-го полка, появились и в других воинских частях.

Двадцать шестого ноября генерал Михаил Моисеев, начальник Генштаба Советской Армии, обратился в Верховный Совет СССР с заявлением, что не считает возможным дать право украинским гражданам служить исключительно на украинской территории, потому что это будет равнозначно разделению армии, 17 процентов которой составляли призывники из Украины.

Однако, несмотря на это предостережение, в Запорожье целый воздушно-десантный полк отказался выполнять приказ о передислокации в Семипалатинск, где проводились ядерные испытания. Жены офицеров объявили голодовку на центральной площади города, а офицеры попросили у Кравчука политического убежища.

В конце концов, принимая во внимание рост напряженности в частях Советской Армии, расположенных в Украине, офицеры со всей республики, в том числе из 55-го полка, организовали 3 февраля в Киеве встречу для обсуждения вопроса о создании Союза офицеров Украины – очевидном предвестнике самостоятельных украинских вооруженных сил. Мартиросян не присутствовал на первой встрече, но после активной дискуссии в кулуарах ее организаторы решили предложить ему возглавить этот союз, хоть он и не был этническим украинцем. На делегатов произвели впечатление его выступления на съезде, а поскольку он был народным депутатом, они знали, что ему не угрожает арест. После встречи многих офицеров, бывших ее участниками, немедленно отправили в отставку за «дискредитацию звания советского офицера», но в воинских частях по всей республике продолжали разрабатываться планы проведения учредительного съезда новой организации, пока наконец не была назначена дата открытия учредительной конференции.

После того, как Мартиросян завершил выступление, раздались реплики с мест. Полковник из части, дислоцированной под Ужгородом, сказал: «Я думаю, мы все согласны с тем, что украин-

ская армия нужна, но она должна быть создана законом, принятым Верховной Радой. Если люди начнут вооружаться, репрессии неизбежны». Другой делегат призывал положить конец политической деятельности коммунистов в армии и прибавил: если партия имеет в армии замполитов, то и Рух должен их иметь.

Разгорелась также дискуссия на тему «горячих точек», например, Баку, куда Советская Армия вошла в январе 1990 года. Делегаты заявляли, что это чужие войны и украинцы не должны принимать в них участие. Один из делегатов утверждал, что в горячие точки украинских солдат отправляли больше, чем военнослужащих других национальностей.

«Мы видели в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, – сказал Мартиросян, – как может быть использована имперская армия. Украинская армия должна быть другой. Она должна использоваться лишь для защиты людей, а не для нападения на них».

Делегаты, среди которых было много отставных офицеров и офицеров запаса, дружно зааплодировали.

Пять лет гласности полностью расшатали тоталитарную систему в Украине и вернули республике острое ощущение собственной идентичности. Однако лишь жители Западной Украины подавляющим большинством поддержали идею независимого государства. Событием, которое побудило к этому людей и в остальных частях республики, стал путч 19–21 августа 1991 года.

Путч напомнил всем украинцам об их бесправии в советской системе. На протяжении трех дней судьба Украины полностью зависела от событий, происходящих в Москве. Украина уже собиралась подписывать новый Союзный договор, который обеспечил бы ей большую самостоятельность, чем прежде, но путч изменил ситуацию – в случае победы мятежников республика получила бы не большую самостоятельность, а массовые аресты. С провалом путча угроза для украинского самоопределения исчезла, хотя и не благодаря каким-то действиям самой Украины.

На эту реальность Украина отреагировала всплеском национального самосознания. Корреспонденты киевского радио и те-

левидения отбросили коммунистический контроль и призывали к запрету Коммунистической партии. Депутаты-националисты разработали план проведения голосования за независимость и захвата здания парламента с помощью решительно настроенных киевских рабочих в случае провала голосования.

Двадцать четвертого августа предложение провозгласить независимость Украины было поставлено на голосование, и подавляющим большинством голосов, включая почти все голоса деморализованных коммунистов, предложение было принято и независимость провозглашена.

ЛЬВОВ, 5 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА

Небо было серо-стального цвета в тот морозный день, когда колокола собора св. Юра возвестили о победе независимости на референдуме 1 декабря. Почти везде в Украине население проголосовало за независимое государство, официально подтвердив решение парламента. Во Львове за проголосовали 92 процента избирателей, а в некоторых районах Львовской области эта цифра достигала 99,5 процентов.

Тысячи людей набились в церковь со свечами, и многие опустились на колени. Еще тысячи стояли на улице, кутаясь в шубы и пальто, под снегом, который медленно падал на землю. В этой толпе были и бывшие борцы за права человека, и представители сопротивления предыдущего поколения – те бойцы УПА, которые воевали против советской власти в лесах после Второй мировой войны и лишь теперь, после многих лет, проведенных в советских лагерях, начинавшие публично рассказывать о своей жизни и судьбе.

Голосование за независимость, которое состоялось в Верховной Раде в августе, еще больше склонило общественное мнение в пользу этой идеи. Осенью начали изменяться настроения даже в очень русифицированной Восточной Украине. Провал августовского переворота и готовность депутатов-ком-

мунистов голосовать за независимость, их несостоятельность в защите советской системы – все это помогло убедить русскоязычных украинцев в том, что колесо истории повернулось и украинская независимость стала неизбежной. Поэтому они дали себя уговорить, что у независимой Украины лучшие перспективы, и проголосовали за это.

Мирослав-Иван Любачивский, кардинал когда-то запрещенной Греко-Католической церкви, стоял на амвоне в окружении икон в богато украшенных серебряных окладах.

«Независимость, которую у нас теперь есть, – сказал он, – это победа не только наша, но и предыдущих поколений. Раньше многие люди сражались за независимость и погибали за нее, мы же достигли своей цели мирным путем. Теперь мы должны сделать все, чтобы сохранить это достижение. Впереди еще долгий путь».*

* Около 21:45 15 января 1994 года Михаил Бойчишин (в то время глава секретариата Руха) вышел из штаб-квартиры организации и пошел домой. Около 23-х часов двое вооруженных мужчин прорвались к офису Руха через охрану, сказав, что у них «посылка для Бойчишина». Бойчишин так и не появился дома, и его судьба с тех пор неизвестна. Глава Руха Вячеслав Черновол в интервью японской газете *Asahi Shimbun* сказал, что поведение правоохранительных органов, у которых после длительного бездействия дошли руки до имитации поисков Бойчишина, убедило его в том, что похищение было актом политического террора. Он лишил Рух человека, отвечавшего за финансовые дела, накануне парламентских выборов 27 марта 1994 года, что могло закончиться потерей 5–10 мест в парламенте. Рух также получил документальные подтверждения злоупотреблений в высших эшелонах власти в Украине и существования скрытых мафиозных структур. Именно Бойчишин был намерен обнародовать их. Он сказал Черноволу: «Давайте покажем накануне выборов их истинное лицо».

14

РЕЛИГИЯ

Конечно, когда люди совершенно ограблены, ...они ищут спасения у потусторонней силы!

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

ДЕКАБРЬ 1991 ГОДА

Снег падал и укрывал белесой дымкой город, превращая московские небоскребы в расплывчатые серые тени, а крыши домов, с высоты птичьего полета казались горизонтальными белыми полосами. Автобус остановился в Верхнем Новоспасском проезде, из него вышел молодой человек в фуражке и направился к Новоспасскому монастырю.

Сергей Осипов – рабочий-строитель и бывший осужденный – воспитывался в атеистической семье, но в последнее время пристрастился к церковным службам.

В девять вечера Осипов прошел под входной аркой и пересек мощеный монастырский двор, присыпанный снегом. Он остановился на мгновение, чтобы посмотреть на панораму города с его уличными фонарями и освещенными окнами, а затем поднялся по лестнице монастырской церкви, чтобы присоединиться к сотням других людей, пришедших на вечернюю службу.

Служба длилась примерно три часа. Некоторые из верующих, в основном женщины с детьми, сидели на скамейках вдоль каменных стен, однако большинство стояли. После службы церковь опустела, но около ста человек, включая Сергея, остались на исповедь.

Три монаха поставили аналои перед стеной, покрытой старинными иконами в богатых золотых окладах, и верующие образовали к ним три длинные очереди. Сергей стал во вторую. В церкви было тихо, слышно было только потрескивание горящих перед иконами свечей в позолоченных подсвечниках.

Очередь медленно продвигалась вперед, и Сергей смотрел, как советские граждане делятся заботами своей незадачливой жизни. Очередь Сергея на исповедь наступила уже около второго часа ночи. Он разговаривал со священником почти двадцать минут. Священник слушал внимательно, время от времени поглаживая бороду. Наконец Сергей склонил голову, священник покрыл ее епитрахилью и прочитал молитву. Сергей поцеловал Библию и крест и вышел из церкви на холод, снова прошел через арку на улицу и там остановил такси, чтобы вернуться домой.

Эта сцена в Новоспасском монастыре отразила тот факт, что в 1991 году религия в СССР переживала свое возрождение.

Десятилетиями религию в Советском Союзе строго преследовали. Когда коммунистический режим перевернул иерархию между человеком и Богом, притеснения религии стали его важнейшим философским приоритетом. Этот режим не запретил религию, но создал такие условия, чтобы она умерла сама. Детей в школах воспитывали атеистами, а официальное преподавание религии было под запретом. В то же время открыто верующему человеку было невозможно сделать карьеру.

«Нет, нет никакого возрождения религии, о котором иногда говорят, – рассказывал мне отец Сергей Желудков как-то вечером в Москве в 1982 году. – В Пскове всего несколько человек ходят в церковь. Ни журналисты, ни учителя не ходят, потому что это будет стоить им работы. Дети не носят нательных крестов. Они не хотят неприятностей в школе. Но даже если бы не было преследований, трудно сказать, сколько людей пришло бы. Большинство посещающих службы – это пожилые женщины.

Видимо, есть в эмоциональной природе женщин что-то такое, что делает их более чувствительными к религии, чем мужчин. Для женщин это что-то вроде клуба. Они могут разговаривать между собой во время службы, но их присутствие – это свидетельство того, что советское государство не смогло уничтожить религию полностью. Те, кто сейчас молятся в церквях, – бывшие комсомольцы. Они родились в 1910-м или немного ранее. Это дети революции, которых одинокая старость заставила забыть обо всех атеистических установках».

В 1988 году в СССР начали происходить изменения в религиозной политике. В апреле Горбачев встретился в Кремле с патриархом Пименом. Здесь впервые принимали предстоятеля Церкви со времен встречи Сталина с церковными иерархами во время Второй мировой войны. Официальная пресса, всегда представлявшая религию злом, а верующих – суеверными, теперь стала говорить о них с большей симпатией. Ходатайства об открытии церквей, по 10–20 лет пролежавшие нетронутыми, были удовлетворены, а местные чиновники прекратили донимать священников.

Горбачевская стратегия реформ вызвала изменения в общественной атмосфере. Когда за веру в Бога прекратили преследовать, она вышла на поверхность, и везде начали появляться первые ростки религиозного возрождения.

Эти изменения отразились и в судьбах отдельных людей.

«РЕЧНОЙ», ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, ИЮЛЬ 1987 ГОДА

Солнце безжалостно припекало, когда Александр Горбунов, секретарь местного парткома, стоял у группы бревенчатых домов, наблюдая, как огромный экскаватор вгрызается в землю, роя траншею под водопровод для совхоза «Речной». Вдали ло-

шадь тянула телегу с сеном, и куда-то спешил автомобиль, поднимая большие тучи пыли. Вдруг раздался треск, и у Горбунова задрожали руки. Вместе с черной землей экскаватор зачерпнул человеческие кости. Он все работал, и его ковш каждый раз заполнялся костями и черепами, поднимал их высоко вверх и сбрасывал на обочину.

Горбунов крикнул экскаваторщику остановиться, и тот, наконец, выключил мотор, но был недоволен, потому что должен был выполнять план, и Горбунов как представитель партии не смог найти оснований для прекращения работы.

Он знал, что здесь по соседству в сталинские времена были лагеря. И когда над этими сибирскими сельскохозяйственными землями садилось солнце, его косые лучи часто падали на странные холмы, покрытые буйной растительностью и усеянные множеством разных грибов. Пожилые люди давно говорили, что там внутри – человеческие останки, но до этого случая Горбунов никогда не видел никаких костей. Пораженный и взволнованный, он покинул место работ и вернулся домой.

Горбунов, член партии с 1974 года, работал в селе Ачаир механиком на ремонтно-тракторной станции совхоза «Первомайский». В начале 1987 года он уже почти утратил веру в коммунизм, но оставался избранным партийным секретарем совхоза и занимался всеми его делами.

Он надеялся, что как партийный секретарь сможет помогать людям, но его опыт руководителя в коммунистической системе подсказывал, что он – часть структуры, не подлежащей реформированию. Горбунов видел, как директор совхоза Владимир Ноздрычев раздает квартиры своим друзьям, а алкоголизм достиг такого масштаба, что руководителям совхоза приходится самим доить коров, потому что все остальные пьяные в дым.

В 1987 году власти начали поощрять создание «неформальных организаций» в помощь перестройке, и директор дома культуры в Ачаире, по происхождению сибирский казак, организо-

вал казачий хор. Горбунов, который тоже был казаком, поступил в этот хор. В то же время в Омске и окружающих город селах начали открываться церкви, а митрополит Омский и Тарский Феодосий стал появляться на местном радио и телевидении.

Под впечатлением от этих изменений в официальном отношении к религии один из хористов предложил поехать в Омск и получить благословение Феодосия. Горбунов никогда не бывал в церкви, но помня о происшествии в «Речном», согласился поехать с хором. Когда Феодосий узнал, что приехали участники казачьего хора, он провел службу за возрождение сибирского казачества, которое, по его словам, строило свою жизнь на основе религии, дисциплины и почтения к старшим.

Служба в омском соборе продолжалась более двух часов и произвела сильное впечатление на Горбунова. Затем, когда Феодосий прошествовал по церкви с серебряным крестом, Горбунов вместе с другими хористами был допущен к целованию креста.

Позже Феодосий в беседе с хористами посоветовал им открыть в Ачаире церковь в честь своих предков-казаков.

Вернувшись в Ачаир, Горбунов решил, что, хоть он и партсекретарь, но попробует открыть церковь. В селе был пустой дом, в котором ранее размещался медпункт, и Горбунов начал собирать подписи под ходатайством о передаче дома епархии, чтобы его можно было использовать как церковь. Скоро он собрал триста подписей, и на этом основании сельсовет проголосовал за удовлетворение ходатайства.

Деревянное здание стало началом неслыханного до сих пор в Ачаире коллективного добровольного дела. Идея с церковью была новой и поэтому вызвала интерес. По всему селу стали собирать государственные стройматериалы для реконструкции будущей церкви. Лес брали с колхозного склада, линолеум и краску – из ремонтной мастерской, металл и проволоку – из электротехнической мастерской. В то же время добровольные помощники тщательно отмывали здание, ремонтировали и красили пол.

На Пасху 7 апреля 1991 года церковь была, наконец, готова, и в ней состоялась первая литургия. Ее возглавил митрополит Феодосий, а после службы он встретился с собравшимися перед церковью сельчанами.

«Кто все это организовал?» – спросил он.

«Александр Горбунов, наш партсекретарь», – ответили из толпы.

«Слава Богу, – сказал Феодосий. И, повернувшись к Горбунову, спросил: Александр Владимирович, а как насчет того, чтобы стать священником?»

«Я же партийный секретарь, – ответил Горбунов, – и если стану священником, люди меня не поймут. К тому же надо иметь знания...»

«Вы будете учиться в Омской духовной семинарии, – сказал Феодосий. – Нам не нужны великие проповеди, нам нужны священники, способные выполнять обряды».

Горбунова такое предложение застигло врасплох, и он попросил время на обдумывание. Вскоре он вышел из партии, уволился с тракторной станции и поехал в Омск учиться на священника. Во время учебы он работал водителем у Феодосия, а в августе вернулся в Ачаир в рясе и с крестом на шее.

Отец Александр стал отправлять службы в только что восстановленной церкви. По воскресеньям службу посещало от 10 до 15 человек, но на церковные праздники собиралось и до двухсот.

Сначала к отцу Александру относились скептически – многие в селе говорили, что никогда не смогут поверить священнику, который некогда был партсекретарем. Однако со временем мнение большинства скептиков изменилось.

Возрождение религии в Ачаире вызвало цепную реакцию. Старые жители села вспомнили, что когда-то здесь был монастырь, закрытый в 1924 году, когда трех монахов-основателей арестовали и расстреляли. В то же время директор совхоза

«Речной» Виталий Мещеряков, под впечатлением успеха с церковью в Ачаире, пожертвовал сто тысяч рублей на строительство храма на территории своего совхоза. Но отец Александр предложил взамен отметить обнаруженное на территории «Речного» место массового захоронения, построив именно монастырь. Феодосий эту идею благословил, и Мещеряков согласился.

Отцу Александру, однако, не давало покоя отсутствие информации о местах захоронений. В конце 1991 года он уехал в Омск, где встретился с Ференцем Надем, который пережил ленинградскую блокаду, а потом работал следователем по уголовным делам в Омске. В свое время Надь провел расследование по трудовым лагерям на этой территории.

Надь сказал, что лагерь вблизи Ачаира был колонией-фермой, где заключенные выращивали овощи для восемнадцати других лагерей Омской области, узники которых строили предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, жилые дома и гидроэлектростанции. Эти заключенные были в основном представителями интеллигенции – юристами, врачами и учителями. Они выращивали овощи вручную, не имея ни обуви, ни теплой одежды для работы под дождем и в мороз. Медицинской помощи не было, и каждый день умирало до десяти человек – от пневмонии, дистрофии и дизентерии. Однако лагерное начальство это не беспокоило: еженедельно в Омск прибывали поезда с новыми заключенными, поэтому население лагерей постоянно пополнялось.

Этот лагерь проработал более двадцати лет, пока его не снесли после смерти Сталина, и, по оценке Надя, в могильных рвах в районе «Речного» теперь находились кости примерно 60 тысяч человек.

С тех пор, как был организован совхоз, его рабочие часто находили кости во время рытья ям под фундаменты или выкапывания колодцев, и никто уже не удивлялся, когда видел детей, играющих костями или даже черепами. Иногда женщины собирали эти кости и хоронили на сельском кладбище. Но крестья-

не не пытались найти места массовых захоронений или как-то отметить их.

Вернувшись из Омска, отец Александр стал регулярно посещать увиденное четыре года назад место братской могилы, когда его раскопал экскаватор. Однажды священник наткнулся на женщину, которая отгораживала на том месте участок под сад. «Здесь нельзя сажать, – сказал отец Александр. – Здесь похоронены люди».

«Мне не дадут землю в другом месте, – ответила женщина. – Если здесь нельзя, то я повешусь».

Убежденный, что строительство монастыря – это насущная духовная потребность, отец Александр попытался собрать деньги на этот проект. Он попросил своих прихожан делать пожертвования и рассказал о планах строительства будущего монастыря в одной из передач омского радио. «Человека можно считать добродетельным только тогда, когда он помнит тех, кто жил до него, своих предков, – сказал он. – В монастыре священники все время будут читать псалмы и молиться за похороненных в этом месте, как и о всех других православных христианах, погибших в сибирских лагерях. Монастырь также будет собирать информацию о сталинских лагерях в этой области и сообщать ее родственникам погибших».

Реакция на призыв отца Александра была мгновенной. Люди приносили в епархию деньги в конвертах. Одна женщина написала: «Я жертвую деньги, унаследованные от бабушки. Она умерла, и я отдаю их церкви». Другие объясняли, что жертвуют в память о родственнике или в честь заключения брака или рождения ребенка.

Однажды домой к отцу Александру пришла женщина с коровой.

«Зачем вы привели корову?» – спросил он.

«Мой отец умер в лагере, – ответила женщина и расплакалась. – Его кости лежат здесь. Нам дали разрешение в колхозе, и мы вместе с доярками выбрали лучшую корову».

Тридцатого октября 1991 года на месте братской могилы собралось человек сорок, в том числе митрополит Феодосий и отец Александр. Небо было пасмурное, над полями дул ледяной ветер.

Присутствующие смотрели, как отец Александр и еще четверо священников устанавливают высокий деревянный крест на месте захоронения. Митрополит Феодосий прочитал псалмы и попросил Господа упокоить души умерших, чьи останки были здесь похоронены. «Мы молимся за мертвых в этом мире, а они молятся за нас на том свете», – сказал он.

Вдруг серые облака разошлись, и люди закричали: «Смотрите, просвет в небе!»

Отец Александр повернулся к ним. «Это знак Божий, – сказал он. – Быть на этом месте монастырю».

ИНЯКИНО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ, 7 ИЮЛЯ 1989 ГОДА

Раскаты грома прозвучали в пустой Успенской церкви, и старая Мария Апалина перекрестилась, а молодой бородатый священник продолжил читать вечернюю молитву. Желтые свечи горели в подсвечниках, и Апалина смотрела, как другие пожилые женщины вокруг нее слушают службу – некоторые со слезами на глазах. Еще месяц назад церковь была закрыта – это была первая литургия за двадцать один год. Вдруг над полями сверкнула молния, пошел дождь, забивая через дырявую крышу в церковь, а порыв ветра задул большинство свечей. И все же для Апалиной это был один из самых счастливых дней в ее жизни.

Мысленно она возвратилась к событию, свидетелем которого стала 52 года назад. Был июнь 1937-го, жаркий летний день,

и Апалина, в то время пятнадцатилетняя девушка, работала в полях колхоза «Доброволец» вместе с другими сельскими подростками. Вдруг раздался бой церковных колоколов. Бросив работу, дети побежали в церковь. Там уже собралась большая толпа, а перед церковью стояло несколько военных грузовиков.

На колокольне находились мужчины в красноармейской форме, они разбивали деревянные стойки колоколов кувалдами, а потом сталкивали колокола вниз. Большинство крестьян-мужчин оставались в полях, а женщины из толпы кричали: «Что вы делаете с колоколами, ироды?!» Дети плакали.

Один из солдат сказал, что из колоколов сделают оружие. Вдруг во дворе церкви появился Андрей Семенов, председатель колхоза. Он поднялся на колокольню, схватил кувалду и начал яростно крушить одну из стоек. В исступлении он поскользнулся, на глазах у всех потерял равновесие, резко дернувшись, упал с пятидесятиметровой высоты на землю и тут же скончался на месте.

Через несколько часов на дверь церкви повесили замок, закрыв ее навсегда.

Закрытие церкви ознаменовало собой начало периода религиозных притеснений, который продолжался в Инякино более 50 лет. Оставшись в своем селе без церкви, Апалина и ее родители ездили на службы в церковь села Боровое, что в 10 километрах, – одну из двух церквей, оставленных на весь Шиловский район с 52-тысячным населением.

Руководство колхоза, в котором работала семья Апалиных, заставляло колхозников «добровольно», то есть бесплатно, отрабатывать один день по воскресеньям. Учитель сельской школы накануне религиозных праздников предупреждал детей, чтобы они не ходили в церковь, а в Боровом учителя и комсомольцы всячески позорили учеников, которые пытались посещать церковь.

Успенская церковь постепенно подвергалась разрушительному действию времени. Сначала из нее убрали иконы, потом

сломали замок и разорили все внутри. Наконец, не выдержала крыша и деформировался пол. Трухлявый деревянный купол расшатался во время сильной бури и упал внутрь церкви.

В 1980-х годах жители села Инякино почти утратили свою былую религиозность. Если кого-то из детей замечали в церкви в Боровом, то высмеивали перед всем классом за мракобесие и исключали из пионеров. Шестеро детей Апалиной давно отказались ходить в церковь в Боровое, как в любую другую, и православные традиции сохраняли только она сама и еще несколько пожилых женщин, собираясь дома друг у друга и читая без священника молитвы на Пасху, Троицу и Вознесение.

Однако в 1988 году Апалина с большим удивлением увидела религиозных деятелей, в том числе патриарха Пимена, на телевидении. Она обсудила это с другими верующими в селе, и они рассказали, что читали в газетах об открытии церквей. Ободренные очевидными изменениями, Апалина и несколько других верующих пошли к председателю колхоза Виктору Романову с просьбой о помощи в получении разрешения на открытие Успенской церкви. К удивлению Апалиной, Романов согласился.

Год спустя разрешение открыть церковь вновь, наконец, получили, и в село пришли перемены. Церковь, построенная в первой половине XVIII века, была почти полностью разрушена. С потолка свисали бревна, пол просел и покорежился, большинство ступеней прогнили. Все внутреннее пространство церкви было заполнено гнилым деревом, соломой, горами семян и самым разным мусором. Однако Романов выделил на восстановление церкви деньги из колхозного фонда, а десятки людей согласились оказать добровольную помощь. Объем работ оказался огромным. Целый месяц верующие потратили только на уборку мусора. Затем заново положили пол и построили новые ступени. Свисавшие сверху бревна убрали.

В июле 1989 года было уже расчищено достаточно места, чтобы провести службу, поэтому несколько старушек принесли иконы, которые прятали дома десятилетиями, и пристроили их на балках. Священником этой общины был назначен отец Иоанн Мартен, и вот во время бури и ливня состоялась первая литургия.

Прошли месяцы, колхозники привыкли к тому, что в селе действует церковь, и отец Иоанн начал проводить венчания и отпевания, а Апалина стала петь в церковном хоре. Сначала некоторые из колхозников были недовольны использованием колхозных средств на реставрацию церкви, но Романов, мать которого была очень религиозным человеком, проигнорировал эти жалобы. «Моя задача – строить, а не разрушать», – сказал он.

Даже учителя начали посещать службы, а в сентябре, перед началом учебного года, почти пятьдесят детей приняли причастие. «Люди стали добрее друг к другу, – говорила Апалина. – Они начали бояться Бога и беспокоиться о своих грехах. Раньше люди были, как собаки. Не было ни жалости, ни доброты. Люди стали вежливее. Раньше они такими не были».

ОКТЯБРЬ 1992 ГОДА

В только что восстановленной церкви горел в железной печке огонь. Пол был свежевыкрашен, на белых каменных стенах висели иконы.

Свет пасмурного дня сочился сквозь высокие арочные окна. Апалина вместе с хором пела заупокойные молитвы, а крестьяне сгрудились вокруг открытого гроба с 39-летней женщиной, умершей от рака. Отец Иоанн ходил с позолоченным кадилом, разнося запах ладана. Присутствующие зажгли свечи, словно освещая путь покойной к Богу. Отец умершей плакал. Наконец молодые люди с белыми нарукавными повязками подняли гроб на плечи и понесли его на улицу, где возглавили ход похоронной процессии вокруг церкви.

Затем все собрались на дороге. Здесь были и едва ковылявшие старики, как Апалина, и малые дети. Духовой оркестр заиграл траурный марш, и все пошли за гробом, провожая молодую женщину в ее последний путь на сельское кладбище, до которого было около двух километров.

После похорон Апалиной вспомнилось, что у нее много лет не было даже собственной Библии. «Теперь мы учим детей Закону Божьему, – сказала она, – и они будут другими. Тот, кто читает Библию, знает, что будет. Я читаю Библию, и меня ничто не может удивить или напугать».

Затем она задумалась над событиями последних нескольких лет.

«Кто мог надеяться на такие изменения? – сказала она. – Но опять-таки – даже ангел не может увидеть Бога, то почему мы должны на это надеяться?»

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ № 5 ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

Однажды очень холодным днем в марте 1990 года Владимир Хотко, осужденный за убийство, вышел в центр футбольного поля, чтобы обратиться к заключенным колонии строгого режима. Вокруг него собрались полторы тысячи человек. «Нам только сказали, что позволяют построить на территории лагеря церковь, – сказал Хотко. - Помогать нам никто не будет, но если мы найдем деньги, то сможем это сделать».

Толпа затихла. Хотко всматривался в лица заключенных – убийц, насильников, хулиганов и воров. Большинство из них никогда не слышали о Десяти Заповедях, тем более не придерживались их в своей жизни. В конце концов несколько заключенных начали обходить толпу с открытыми рюкзаками, и здесь случилось неожиданное. Сначала несколько человек, а потом почти все полезли в карманы своих тюремных курток и достали

оттуда мятые бумажки. Кто-то давал пять рублей, кто-то двадцать пять.

Через полчаса Хотко собрал 18 000 рублей. Это было более чем достаточно для начала.

Строительство церкви стало для Хотко возможностью через веру искупить свою вину. После окончания школы в Ленинграде Хотко работал на тракторном заводе им. Кирова в Тихвине, где стал комсомольским вожаком, а затем, в возрасте 25 лет, председателем профсоюза. Казалось, он обречен на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице, но в 1985 году он развелся с женой. Сначала это не имело негативных последствий, но потом между бывшими супругами стали происходить все более ожесточенные споры из-за их общей однокомнатной квартиры. Несколько раз они пытались решить эту проблему, но безуспешно. В конце концов они встретились в квартире одного из друзей, где, как отмечалось в материалах судебного дела, начали спорить. Атмосфера все накалялась, и Хотко стал жестоко избивать и пинать бывшую жену ногами. Когда он остановился, женщина была уже мертва.

Эти удары, ставшие смертельными для бывшей жены, разбили и жизнь самого Хотко. Его арестовали и посадили в ленинградское СИЗО, где он через несколько дней пытался повеситься. Оправившись после попытки самоубийства, он узнал, что две тысячи работников его завода подписали петицию с требованием приговорить его к смертной казни. Суд состоялся в декабре 1986 года, и Хотко приговорили к тринадцати годам колонии строгого режима.

Для бывшего комсомольского вожака переезд в трудовую колонию № 5 был переходом в другой мир. К тому же у Хотко никогда не было проблем с законом, его никогда не привлекали к ответственности за насилие. С другой стороны, благодаря работе на заводе им. Кирова у него был технический опыт, и это означало, что он может быть полезен в экономической деятель-

ности колонии. Его назначили бригадиром в строительный цех. Семь дней в неделю и двенадцать часов в день Хотко ремонтировал мастерские и бараки колонии.

В первые годы перестройки лагерный режим немного изменился. До того заключенные могли обращаться к представителям администрации только «гражданин начальник», а разговаривать с ними – только по поводу лагерных правил. Если на заключенном видели крест, его срывали с шеи. Однако весной 1988 года появились признаки либерализации. Заключенным впервые позволили обращаться к тюремщикам по имени, а иностранцам разрешили посетить лагерь. В то же время колонию открыли и для священников.

Сначала над теми, кто пытался поговорить со священником, смеялись. Однако со временем отношение изменилось. Заключенные увидели, что священники – это единственные посетители колонии, с кем можно встретиться и обсудить свои проблемы. Для многих важным оказалось то, что священнику можно доверять, что он никому не расскажет об услышанном.

Шли месяцы, и Хотко начали мучить угрызения совести из-за убийства жены. Он беспокоился о своей маленькой дочери и надеялся, что ее защитит какой-нибудь ангел-хранитель.

Священники принесли в колонию экземпляры Библии, и Хотко начал ее читать. Он увидел, что эта книга учит доброте. Уголовный кодекс не давал ему такого представления о правильном и неправильном, как Библия, и в то же время в Библии говорилось, что грех можно искупить, а грешник может получить прощение.

Из Ленинградской духовной семинарии в колонию приехал отец Владимир Сорокин и начал отправлять службы в лагерном клубе. Постепенно вокруг отца Владимира сформировалась группа из примерно сорока заключенных, включая Хотко, и они стали регулярно посещать службы.

Это посещение церковных служб изменило Хотко. Он понял, что в глубине души давно уже не атеист, и с горечью вспоминал, как верил в марксизм-ленинизм и учил этому других. Веру в эту идеологию утратили и другие заключенные, в том числе бывшие чиновники, арестованные (по их мнению, несправедливо) по обвинению в коррупции.

Свои чувства Хотко обсуждал с другими, и в конце концов вместе с еще пятью заключенными обратился к начальнику лагеря Сергею Матюхину за разрешением построить церковь.

Матюхина эта просьба удивила, и он сначала отказал. Однако шесть заключенных написали ходатайство в Ленинградское управление МВД, и в феврале 1990 года Матюхин сказал им, что они могут попробовать. Однако он настоял, чтобы у церкви не было крестов, колокольни и колоколов.

Давая разрешение, даже с такими ограничениями, Матюхин подвергал себя определенному риску. В стране заправляли коммунисты, а порядок в лагере обеспечивал «оперативный отдел», связанный с КГБ. Этот отдел был угрозой не только для заключенных, но и для либеральных членов администрации колонии. Однако Хотко было нужно только официальное разрешение. Он не думал, что КГБ отнесется толерантно к сооружению церкви на территории колонии, поэтому немедленно начал соревнование со временем.

В марте 1990 года Хотко и еще пятеро заключенных с разрешения Матюхина организовали общую встречу заключенных, во время которой собрали 18 000 рублей. Затем поручили Тимуру Хуриеву, архитектору по специальности, разработать проект церкви и договорились с Матюхиным, что строители из строительного цеха будут пользоваться в нерабочее время лагерной техникой, в частности трактором, экскаватором и краном.

И наконец, когда в июне 1990 года заключенные уже могли начать строительство, в колонию прибыл митрополит Ленинградский Алексий II, чтобы освятить закладку первого

камня в фундамент будущей церкви. Для многих заключенных это было первое в жизни присутствие на церковном богослужении.

В тот же вечер Хотко, чтобы не терять времени, собрал строителей, и они всю ночь забивали копром бетонные сваи. Друзья привозили заключенным на своих легковых и грузовых автомобилях кирпич. В летние месяцы строительная бригада работала почти до рассвета. Церковь постепенно вырастала.

Успехи заключенных в строительстве церкви раздражали оперативный отдел. Хотко вызвали туда и приказали как бригадиру не предоставлять людей и материалы для строительства церкви. Когда он отказался выполнить этот приказ, его предупредили, что его и других инициаторов этого проекта отправят в сибирские или уральские колонии.

Хотко знал, что малейшее изменение политического климата позволит оперативному отделу выполнить свою угрозу. И все же работа над церковью продолжалась.

Оперативный отдел неоднократно отказывал грузовикам с кирпичом в разрешении на въезд на территорию лагеря, заставляя Хотко обращаться к Матюхину. В конце концов сотрудники отдела поехали на местный кирпичный завод и конфисковали там 13 000 кирпичей, предназначенных для церкви, которые были уже оплачены заключенными. Их возвратили только после того, как об этом инциденте рассказали ленинградские телерепортеры, проинформированные отцом Владимиром.

Окончательное разрешение этого конфликта наступило со смертью патриарха Пимена и избранием на его место Алексия II, который начал рассказывать о строительстве этой церкви в интервью местной и центральной прессе. Широкое и благоприятное публичное освещение этой темы связало руки оперативному отделу, и, избавившись от его запугивания, заключенные ускорили работу над церковью и даже запланировали установить кресты, колокольню и колокола.

В апреле 1991 года было завершено строительство основной части церкви, и из Ленинградской духовной семинарии приехали иконописцы с иконостасом для алтаря.

Однако, когда начали работу над крышей, цены в СССР благодаря премьер-министру Павлову подскочили втрое, и заключенным не хватило денег. Проект был спасен благодаря двум бывшим заключенным, которые теперь стали бизнесменами и пожертвовали на строительство соответственно сто тысяч и пятьсот тысяч рублей. Вскоре после того Алексий II организовал передачу церкви четырех колоколов и двух тонн меди для покрытия куполов.

В апреле 1992 года на куполе были установлены два позолоченных креста, подаренных духовной семинарией, а 11 сентября церковь открыла свои двери.

Церковные купола, колокольня и кресты на них возвышались над сараями, бараками и заводами колонии. Службы проводили трижды в день, их посещали до двухсот человек.

В октябре 1992 года Алексий II обратился к Ельцину с просьбой о помиловании Хотко. «Те, кто сотворил чудо строительства этой церкви, – написал он в письме к Ельцину, – заслуживают освобождения».

Эпилог

В нашей крови есть нечто враждебное любому настоящему прогрессу.

Петр Чаадаев. «Философические письма. Письмо первое»

НОЯБРЬ 1993 ГОДА

На сцене актового зала одного из московских предприятий потный, коренастый, коротко стриженый человек в болтающемся на шее галстуке громко приказал двум своим сторонникам поднять как можно выше над головой транспарант со словами «Нам нужна Великая Россия». Мужики подняли транспарант, но шесты, на которых он держался, стали гнуться, и транспарант упал на пол. «Вот видите, в каком состоянии русские, – обратился к трем сотням людей, сидевшим в зале, Владимир Жириновский, лидер Либерально-демократической партии. – Мы не можем даже удержать лозунги о своем собственном величии».

С момента объявления выборов в новую Государственную Думу России Жириновский неутомимо занимался своей предвыборной кампанией. «Нас спасут только надежные государственные границы, – говорил он. – Как минимум, мы должны вернуться к границам СССР, но еще лучше – к нашим границам 1913 года, когда в Российскую империю входили Польша и Финляндия. Мы способны запугать иностранцев, и я вам откровенно скажу – я буду их шантажировать. Я скажу им: если вы будете вмешиваться в дела России, мы примем соответствующие меры. Мы это сделаем, потому что мы голодные, униженные и

оскорбленные, и все это из-за вас. Американцы не будут драться. Они не умеют. В космосе есть оружие, нацеленное на США. Если Ельцин говорил, что часть наших ракет не будет направлена в сторону Америки, то я скажу, что мы все ракеты нацелим на Америку. Последняя историческая роль России – это спасти мир от американского экспансионизма».

После завершения выступления Жириновского окружила толпа. Не согласится ли он пообщаться с группой студентов? «Студенты? Пожалуйста, конечно...» Не возьмет ли он письмо от сестры одной женщины, несправедливо уволенной в Подольске? Жириновский взял письмо и положил его в нагрудный карман.

Когда Жириновский и члены его партии вышли на холодный ночной воздух, было несомненное ощущение, что среди растерянных и возмущенных избирателей России он становится все более популярным.

Выдвижение Жириновского стало возможным благодаря несостоятельности России в построении правового государства.

В последние месяцы 1991 года мир стал свидетелем агонии Советского Союза. Горбачев и его сторонники боролись за сохранение какой-то союзной структуры, но центробежные тенденции оказались сильнее.

В конце ноября СССР еще продолжал существовать, но принятие многих решений было передано республикам. Однако единственной республикой, способной самостоятельно уничтожить этот союз, была Россия, а Ельцин колебался. Он хотел сохранить СССР, но устранить Горбачева с поста главы государства, однако не мог сделать этого законно, пока существовал Советский Союз. В конце концов Ельцин решился на разрыв с советской структурой. Он приказал российскому правительству прекратить уплату налогов в союзный бюджет, и этот пример был вскоре подхвачен другими республиками.

В ноябре 1991 года V Съезд народных депутатов РСФСР подавляющим большинством голосов предоставил Ельцину осо-

бые полномочия, включая право управлять государством с помощью указов. Также ему было предоставлено право назначать председателей областных администраций и принимать решения относительно общих направлений экономической реформы, в том числе либерализации цен.

Первого декабря 1991 года подавляющее большинство украинцев проголосовало на референдуме за независимость, а 8 декабря Ельцин, Кравчук и глава Белоруссии Станислав Шушкевич тайно встретились в Беловежской Пуще неподалеку от Бреста и договорились заменить Советский Союз Содружеством Независимых Государств. Ельцин проинформировал об этом соглашении президента Джорджа Буша и только после этого попросил Шушкевича сообщить эту новость Горбачеву.

Сначала Горбачев пытался бороться с Беловежским соглашением, созвав внеочередной Съезд народных депутатов СССР, но от этой идеи пришлось отказаться, когда руководители среднеазиатских республик присоединились к Беловежскому пакту, а российский парламент его ратифицировал. Ельцин тем временем начал ликвидацию советских институтов, закрыв МИД СССР и захватив МВД и Министерство безопасности.

В конце концов Горбачев смирился и 25 декабря в телевизионном обращении сообщил о своей отставке. Над Кремлем был спущен советский флаг, и за несколько дней до своей 69-й годовщины СССР, созданный 30 декабря 1922, прекратил свое существование.

Между тем большая часть власти Советского Союза перешла к России, а в России – к Ельцину.

Впервые за несколько столетий Россия осталась без империи, и теперь у нее был избранный президент. Но Ельцин быстро показал, что не уважает принцип разделения власти. Верховный Совет начал свои заседания, однако Ельцин его демонстратив-

но проигнорировал. По закону об особых полномочиях он имел право издавать указы, вступавшие в силу через две недели, если Верховный Совет не выдвинет возражений. Однако Ельцин часто издавал по 15 указов одновременно, не оставляя парламенту времени для их рассмотрения и оценки.

Ельцин назначил Егора Гайдара, бывшего заведующего отделом газеты «Правда», вице-премьером и министром экономики. Планы Гайдара предусматривали, в частности, либерализацию цен и ограничение роста денежной массы для ускорения банкротств и начала реструктуризации экономики. Его речи пестрели экономическими терминами, которых многие депутаты не понимали. Однако, в конце концов, стало очевидно, что Гайдар собирается одним ударом ликвидировать почти всю плановую экономику.

Руслан Хасбулатов поначалу был союзником Ельцина. Он помогал организовать голосование за особые полномочия Ельцина, а также ратификацию Беловежского соглашения. Учитывая эту помощь он ожидал получить важную должность в правительстве. Им пренебрегли, так же, как и Руцким.

Второго января 1992 года Гайдар ввел свою экономическую программу. Отпуская цены, он предполагал их рост в 3–5 раз и последующий спад. В действительности цены подскочили в 5–7 раз в первый же месяц, съев все сбережения граждан. Пожилые люди, много лет откладывавшие деньги, вдруг остались без копейки. Потребление продуктов питания резко сократилось (позже оно стабилизировалось), и люди военного поколения, чтобы выжить, вынуждены были продавать на улицах свои вещи.

Ускорение инфляции привело к дефициту оборотного капитала и остановкам производства, а в сильно монополизированной экономике это означало, что в случае прекращения производства одним предприятием все остальные, зависящие от него, останавливались также. Чтобы выжить, предприятия влезали в огромные долги друг перед другом, надеясь на финансовую помощь государства.

Первые протесты пришли от Фронта национального спасения, который сформировался в октябре 1992 года из сопротивлявшихся развалу СССР. Однако вскоре к оппозиции присоединился и Хасбулатов, обозленный пренебрежением Ельцина. В то же время Хасбулатов усилил контроль над Верховным Советом, вознаграждая лояльных ему людей зарубежными командировками, лучшими квартирами и служебными автомобилями.

В апреле, когда народное недовольство выросло еще больше, Аман Тулеев, председатель Кемеровского облсовета, заявил, что реформы привели к обнищанию людей, и призвал назначить премьер-министром человека с настоящим опытом работы в промышленности. К нему присоединил свой голос и Хасбулатов, назвав реформаторов «мальчиками в розовых штанишках».

Тем временем становилось понятно, что Центробанку придется смягчить кредитную политику, чтобы ликвидировать задолженности между предприятиями, достигшие уже 3 триллионов рублей, т. е. половины стоимости промышленной продукции. В середине 1992-го была произведена эмиссия для предоставления кредитов, и инфляция прыгнула с 10 до 25–30 процентов в месяц. Производство в первой половине 1992-го снизилось более, чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 1991 года.

В этой ситуации Хасбулатов и Руцкой усилили атаку на правительство. К ним присоединились директора военных предприятий, образовавшие блок «Гражданский союз» во главе с Аркадием Вольским, бывшим членом ЦК КПСС. В конце июня Ельцин, которого в ноябре поддерживали две трети парламента, столкнулся с ситуацией, когда две трети Верховного Совета теперь были против него.

Правительство обратило внимание на приватизацию, но это не помогло снизить напряжение между исполнительной и законодательной ветвями власти.

В то время в России происходило самое масштабное отчуждение собственности в истории. Учитывая это обстоятельство, проблема заключалась не в том, стоит ли проводить приватизацию, а в том, кто будет ее осуществлять и иметь возможность распределять здания, предприятия и землю. Сначала казалось, что этим процессом занимаются и правительство, и парламент. Однако через несколько месяцев стало понятно, что приватизация будет происходить путем указов и только правительство будет контролировать этот процесс.

Ельцин не приложил никаких усилий, чтобы начать диалог со своими критиками в парламенте. В сентябре правительство – в рамках своей программы приватизации – выпустило для каждого российского гражданина ваучеры номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Каждый ваучер должен быть использован для покупки доли в приватизируемой российской промышленности. Ожидалось, что это поможет создать класс собственников. Однако на практике граждане не знали, что делать с этими ваучерами, и многие продавали их за наличные деньги или даже за бутылку водки.

Между тем все эти приватизационные усилия породили главный источник коррупции. Создавались коммерческие фирмы для продажи нефти и газа, экспорт которых ранее был монополией государства, и эти фирмы за взятки получали экспортные лицензии от правительства. Таким образом, участники этой торговли стали узаконенными миллионерами и вместе со всеми имевшими доступ к государственному имуществу хранили свои огромные состояния за рубежом и занимались демонстративным расточительством в России, где стало продаваться больше роскошных моделей «мерседеса», чем во всей Западной Европе вместе взятой.

Видя все это, члены парламента были возмущены и прежде всего тем, что их лишили доли «добычи».

Приближались холода, а почти половина населения жила ниже уровня бедности. Однако вместо поиска компромисса обе стороны заняли позицию «все или ничего». Хасбулатов в частных разговорах называл Ельцина «пьяницей» и «психически больным», а в правительстве ходило предложение распустить парламент. Ельцин пытался сосредоточить весь процесс принятия решений в исполнительной ветви власти, и в конце ноября в российском правительстве было бюрократов и бюрократизма не меньше, чем при Советском Союзе.

Несмотря на катастрофическое снижение уровня жизни, симпатии народа оставались преимущественно на стороне Ельцина. Хасбулатов был чеченцем, и этнические предубеждения действовали против него. Однако важнее было, пожалуй, другое: большинство россиян продолжали верить, что после краха коммунизма только радикальные реформы позволят надеяться на лучшее будущее.

Первого декабря начал работу VII Съезд народных депутатов, и срок чрезвычайных полномочий Ельцина истек. Первым предложением депутатов было введение поправки к конституции, которой съезду придавалось бы постоянное право утверждать премьер-министра и ключевых министров. Предложение не набрало необходимых двух третей голосов, но надежды на спасение Гайдара было мало – его назначение на должность можно было отклонить простым большинством. Делая уступку съезду, Ельцин согласился на парламентское вето при назначении министров обороны, иностранных дел, безопасности и внутренних дел. Однако съезд, приняв эти уступки, все же отклонил кандидатуру Гайдара. Первым премьер-министром России стал Виктор Черномырдин – управленец с опытом работы в промышленности, поддержанный «Гражданским союзом».

Наконец, съезд принял решение о проведении 11 апреля 1993 года референдума о принципах новой конституции. Однако 20 марта Ельцин объявил в телеобращении,

что подписывает указ с запретом любых действий парламента, ограничивающих полномочия президента. Это привело к ходатайству об импичменте на том основании, что своим указом Ельцин нарушил существующую конституцию.

Голосование по вопросу смещения Ельцина с поста состоялось в Большом Кремлевском дворце, и, хотя большинство депутатов высказались за это предложение, оно все же не набрало нужных двух третей голосов. Впоследствии был назначен новый референдум на 25 апреля – о доверии президенту и его экономической политике.

Результат референдума показал убедительную победу Ельцина. Эта демонстрация народной поддержки ошеломила депутатов, которые были уверены в непопулярности ельцинской экономической политики.

Воодушевленный результатами референдума, Ельцин продолжил управлять с помощью указов, хотя срок предоставленных ему в ноябре 1991 года чрезвычайных полномочий уже истек. В ответ парламент начал направлять указы Ельцина в Конституционный суд, приостанавливая таким образом их действие. В результате, вскоре по всей стране законы и указы стали противоречить друг другу, и россияне не знали, кому же принадлежит законная власть.

Между тем социальный кризис в стране углублялся.

ИНСТИТУТ ИМ. БАКУЛЕВА, ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 6 МАЯ 1993 ГОДА

Запеленутых младенцев возили на каталках по коридору встревоженные матери, пытаясь привлечь к себе внимание медицинского персонала, а тем временем врач Валентина Шведунова в тихом кабинете проводила срочную беседу с Юрием и Ириной Журавлевыми, родителями двенадцатилетнего Сергея. «Ваш

сын умирает, – сказала она. – Инфекция распространяется, а у нас нет антибиотиков, чтобы ее побороть. Единственная наша надежда – это радикальная операция».

Юрий и Ирина заплакали. Рядом, в палате, задыхался их сын. Его постоянно мучила рвота. «Если это единственный шанс спасти сына, – сказал Юрий, – то нечего возразить. Но, пожалуйста, прооперируйте как можно скорее».

В Институт им. Бакулева Сергея привезли в марте 1993 года с целью проведения баллонной ангиопластики для корректировки сужения клапана аорты. Эта процедура предусматривает введение в сердце катетера через артерию на ноге или руке и надувания внутри сердца баллона для расширения суженной артерии сердечного клапана. Сергею она была нужна потому, что створки клапана у него были сомкнуты по краям, оставляя лишь маленькое отверстие для тока крови и повышая давление в левом желудочке до 260. Сделать операцию ему порекомендовали, когда это давление превысило 150.

Сергей жил в Твери – небольшом городе в 168 километрах от Москвы. Его отец был местным журналистом, а мать работала воспитательницей в детском саду. Сергей ходил в школу и прилежно учился. Его сердечная недостаточность была компенсированной, поэтому, за исключением периодической слабости, он ни на что не жаловался. Однако желудочек сердца не мог компенсировать этот недостаток пожизненно, и со временем, несомненно, начались бы перебои, а потом сердце Сергея оказалось бы под постоянной угрозой.

Сергея положили в больницу 19 марта, а на следующий день выполнили нужную процедуру – как казалось, успешно. Кровяное давление в его левом желудочке снизилось до 140, оно было еще слишком высоким, но гораздо лучше, чем до операции. В последующие после процедуры дни Сергей – спокойный и способный мальчик – большую часть времени посвящал чтению.

Врач Кето Мчедлишвили, детский кардиолог, наблюдавшая Сергея, предположила, что уже скоро он сможет поехать домой.

Однако на третий день у Сергея поднялась температура. Это обеспокоило врача. В советское время Институт им. Бакулева имел в своем арсенале 12–15 наименований антибиотиков, включая такие самые современные, как лонгацеф и фортум. Но весной 1993 года число имеющихся антибиотиков сократилось до пяти – клафорана, бруламицина, гентамицина, ампициллина и оксициллина, и даже из них некоторые были дефицитом.

Доктор Мчедлишвили знала, что повышение температуры после баллонной ангиопластики у детей – явление довольно обычное, но у Сергея она повысилась через три дня после процедуры. Это означало, что в организм могла попасть инфекция.

Мчедлишвили пыталась выбросить из головы жуткие мысли. Она знала, что в случае серьезной инфекции в институте может не найтись нужных антибиотиков.

Критический дефицит лекарств был одной из самых серьезных проблем института, поэтому врачи всегда применяли сначала обычные антибиотики, даже если знали, что бактериальный возбудитель скорее всего окажется к ним невосприимчивым. Именно так произошло и при лечении Сергея. Ему сделали инъекции ампициллина, и температура упала. Однако уровень гемоглобина, который должен быть выше 10, упал ниже 9. Затем Сергея отвезли в реабилитационный центр института, размещенный в бывшем доме отдыха КПСС в подмосковном лесу. Мальчик проводил время за игрой в пинг-понг и шахматы с другими пациентами, чтением и прогулками с матерью в подлеске.

Через пять дней у Сережи снова начала повышаться температура, и его немедленно перевезли обратно в институт. На этот раз ему сделали переливание крови и ввели антибактериальное средство – метрогил. Антибиотик изменили на клафоран. Врачи – доктор Шведунова, Людмила Плотникова, заместитель заведующего отделом детской хирургии, Баграт Алекян, хирург, оперировавший Сергея, – были теперь по-настоящему обеспокоены.

Тот факт, что в течение девяти дней у мальчика то повышалась, то понижалась температура, почти неоспоримо свидетель-

ствовал о наличии инфекции. В то же время у него снижалось артериальное давление, указывая на проблему с аортальным клапаном. Однако эхокардиограф ничего не обнаружил, а все анализы крови на гемокультуры дали отрицательный результат.

В военных лабораториях Советского Союза разрабатывали чрезвычайно чувствительные гемокультуры, но в институте все они были продукцией обычной российской фармацевтической промышленности и отличались низкой чувствительностью и длительным периодом появления результатов.

Клафоран дал определенный эффект, и на несколько дней температура у Сережи опустилась до нормальной, но вскоре снова поднялась почти до 39. Врачи дали мальчику гентамицин и оксициллин. Температура упала на несколько дней, а потом опять повысилась.

Двадцать первого апреля гемокультура наконец идентифицировала инфекцию как стафилококк, но не указала штамма. В то же время врачи продолжали снимать эхограммы, и 23 апреля, более чем через месяц после выполнения баллонной ангиографии, ультразвук обнаружил первые признаки вегетативного роста вокруг сердечного клапана.

Теперь врачам стало ясно, что случилось что-то ужасное и для спасения мальчика нужна срочная операция. Наблюдая за развитием ситуации, доктор Шведунова вспоминала другого пациента и другие времена.

В 1986 году у шестилетней девочки после операции по исправлению дефекта внутрижелудочковой перегородки развился бактериальный эндокардит. Чтобы побороть инфекцию, врачи института применили целый арсенал антибиотиков, из которых сегодня им были доступны только два – клафоран и гентамицин.

Доктор Владимир Подзолков, заведующий отделом врожденных сердечных заболеваний, через Фармакологический комитет добился закупки за валюту препарата специально для спасения жизни этого ребенка. Через сорок два дня после первой

операции девочку прооперировали второй раз. Врачи оценивали ее шанс на выживание как один из ста, но она выжила. Антибиотики сдерживали инфекцию достаточно долго, чтобы хирургия спасла девочке жизнь.

Сереже давали бруламицин, но он мало влиял на температуру – она снижалась лишь на короткое время. Инфекция прогрессировала, и антибиотики десятилетней давности помогали мало.

Теперь за Сережу и его мать переживало все отделение. Двадцать третьего апреля доктор Мчедлишвили пригласила Ирину на беседу. «Положение становится серьезным, – сказала она. – Его сердечный клапан инфицирован, и мальчик не реагирует на терапевтическое лечение. Мы рассматриваем вопрос повторной операции».

Ошеломленная этой новостью Ирина побежала звонить мужу в Тверь. Между тем доктор Мчедлишвили зашла к Владимиру Коваленко, заведующему терапевтическим отделением. Она объяснила ситуацию, и Коваленко выдал ей комплект ампул нового швейцарского антибиотика, который в институт прислали в качестве образца. «Можете использовать это, – сказал он мрачно, – но этого хватит только на четыре дня».

Двадцать пятого апреля у Сергея появились признаки серьезного заболевания. Он спокойно сидел в своей палате, читая «Робинзона Крузо», как вдруг стал задыхаться, началась неудержимая рвота.

Швейцарский препарат дал временное облегчение, но все усилия найти дополнительные ампулы на складах или через Фармакологический комитет были напрасными.

Отец Сергея приехал в институт и увидел, как врачи и медсестры постоянно заходят и выходят из Сережиной палаты. Впервые ему стало страшно за жизнь сына.

Двадцать девятого апреля стали готовиться к операции. Доктор Скопин – хирург, достигший немалых успехов в транс-

плантации аорты и сердечных клапанов у взрослых по методикам, разработанным им совместно с Анатолием Малашенковым, – осмотрел мальчика и решил, что сможет его прооперировать.

Однако теперь у Сергея начали проявляться признаки тяжелой сердечной недостаточности. Ему было очень трудно дышать, в брюшной полости скопилась жидкость, и его постоянно рвало. Ультразвук показал обширные абсцессы в сердечном клапане и стенках аорты.

Диаметр артерий у Сергея был слишком маленьким для искусственного сердечного клапана, и Скопин решил заменить его аортальный клапан и аорту взятыми у донора – жертвы несчастного случая.

Впрочем, прогноз был не очень хорошим. У института не было аппарата для гемосорбции – устройства, которое с помощью антимикробных и антитоксиновых фильтров очищает кровь и снижает действие инфекции. Поэтому операция проходила бы в условиях сильной инфицированности, и сердечная мышца могла не выдержать шока от этого нового вмешательства.

Получив согласие родителей на операцию, врачи начали подготовку. Ирина пыталась накормить Сергея, но он сказал, что ему трудно есть и лучше он почитает. Мальчик с растущим беспокойством смотрел на родителей, которые плакали в его присутствии, но сам оставался спокойным, ни на что не жаловался и читал «Робинзона Крузо» до момента, когда его на каталке повезли в операционную.

Операция длилась четыре часа и с технической точки зрения прошла хорошо. Сереже заменили аорту и клапан, а абсцесс, который теперь распространился на все сердце, был дренирован. Однако после завершения операции, когда Сергея отключили от аппарата «сердце-легкие», врачам не удалось вновь запустить его сердце. Через двадцать минут доктор Скопин вышел из операционной и сообщил Ирине и Юрию, что их сын умер.

Смерть Сергея ошеломила сотрудников Бакулевского института. Многие успели полюбить этого спокойного, любознательного мальчика, который переносил тяжелые испытания своих последних дней стоически и без жалоб. Все помнили, что Сережа внешне выглядел вполне здоровым, когда прибыл в институт полтора месяца назад, и можно было ожидать, что он проживет еще как минимум лет пятнадцать, если бы не процедура ангиопластики.

«Нас никогда не оставляет страх, что не хватит антибиотиков и нечем будет лечить пациентов», – сказала доктор Шведунова.

А тем временем за стенами больницы продолжалась борьба за власть между Ельциным и парламентом.

В мае кризис власти начал сказываться на процессе разработки новой конституции. Ельцин, недовольный проектом, представленным комиссией Верховного Совета, созвал Конституционное совещание – преимущественно из представителей исполнительной власти – для разработки альтернативного проекта. В результате образовалось два центра написания конституции, ни один из которых не признавал права на существование другого.

В то же время возникали ожесточенные конфликты вокруг приватизации. Населению раздали ваучеры, но их считали неэффективными и способствующими инфляции. Депутаты опасались, что мафия использует их для скупки всей промышленной базы страны. Они предпочитали такую форму приватизации, когда не люди со стороны, а рабочие стали бы совладельцами собственных предприятий, и в дальнейшем эти предприятия контролировали бы их директора.

В середине мая правительственная программа приватизации была представлена на ратификацию в Верховный Совет, который ее отклонил.

Отказ разозлил правительство, решившее не подавать новую версию программы в парламент, а продолжать проводить

приватизацию с помощью указов. Теперь стало очевидным, что ни исполнительная власть, ни парламент не заинтересованы в разрешении возникших между ними противоречий. Затем наступило время принятия бюджета на 1993 год. Исполнительная власть предполагала рост инфляции на 8 процентов в месяц, но уже летом он достиг 20–25 процентов. В ответ Верховный Совет сделал перерасчет бюджета, повысив пенсии и зарплаты учителям, врачам и другим бюджетникам. Результатом стал дефицит бюджета в 28 триллионов рублей, т. е. 25 процентов валового национального продукта.

Правительство заявило, что пересмотренный парламентом бюджет сведет на нет все усилия по сдерживанию инфляции и подорвет процесс реформ. Ельцин решил, что будет игнорировать этот бюджет. Напряжение резко возросло.

В августе Ельцин пообещал «горячую осень» и начал посещать места дислокации важнейших воинских частей в Московской области, чтобы заручиться поддержкой. Он также в 2–3 раза повысил зарплату офицерам. Затем Ельцин и Хасбулатов обменялись предложениями уйти в отставку. И, наконец, 18 сентября Хасбулатов, выступая перед депутатами, прибег к личным оскорблениям в адрес Ельцина, поставив вопрос о его алкоголизме.

«Это недопустимо, – сказал он, – когда чиновники делают вид, что в этом [пьянстве] нет ничего особенного. Мол, пьет – значит, наш мужик. Но если это так [и здесь Хасбулатов кивнул в сторону Кремля и щелкнул себя двумя пальцами по горлу], то пусть мужицкими делами и занимается, а не государственными».

Об этом жесте и замечаниях Хасбулатова немедленно донесли Ельцину, который решил, что пришла наконец пора покончить с этим парламентом раз и навсегда.

Двадцать первого сентября Ельцин издал указ № 1400, которым распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет. И объявил на 11–12 декабря выборы в новый, меньший по количеству депутатов орган – Государственную Думу.

Депутаты отреагировали на это отказом покинуть Белый дом, и тогда правительство отключило в здании отопление, воду и электричество и окружило его колючей проволокой, а затем – милицией и внутренними войсками.

В сентябре 1993 года население относилось к обеим сторонам конфликта с безразличием, но члены радикально настроенных групп националистов и фашистов прибыли в Белый дом защищать парламент. Оружие им предоставили депутаты, которые боялись штурма здания, а на улице демонстранты, преимущественно члены Коммунистической партии, собрались на протест против роспуска парламента и были избиты милицией.

Армия была на стороне Ельцина, а областные советы по всей стране выразили поддержку парламенту, поэтому в Даниловском монастыре для преодоления кризиса были организованы переговоры, но ни одна сторона не пошла на уступки.

Второго октября, в атмосфере постоянного роста напряжения, на Смоленской площади произошло столкновение между милицией и демонстрантами. Третьего октября тысячи демонстрантов-коммунистов собрались перед милицейским ограждением на Крымском мосту. Они стояли в ста метрах от ОМОНа, вооруженного дубинками и щитами. Почти всю предыдущую неделю демонстрантов била милиция, и теперь пострадавшие в тех схватках, уже вооруженные камнями и палками, были в первых рядах.

«Ну, – сказал Виталий Уражцев, народный депутат, – вперед!» Градом полетели камни, демонстранты бросились на милицию. Сзади напирали другие участники марша, линия заграждения была прорвана, у милиционеров стали отбирать щиты и дубинки, которыми их же и избивали. К удивлению толпы, милиция стала разбегаться.

Демонстранты двинулись к Белому дому. На Смоленской площади они атаковали баррикаду, составленную из пожарных машин и грузовиков, и милиция с внутренними войсками вновь

отошли назад. Было захвачено около двадцати машин, многие из них – с ключами, оставленными в замках зажигания. Движение к Белому дому продолжилось, и взятые на Смоленской площади грузовики раздавили ограждение из колючей проволоки вокруг здания, расчистив путь пешим демонстрантам, которые вошли на площадь Свободной России с северной стороны. И снова милиция не оказывала никакого сопротивления.

Николай Троицкий обратился к участникам шествия, когда они заходили на площадь: «Как это получилось?» «Не знаю, – ответил один из демонстрантов, – сначала они нас не пускали, а потом дали пройти». Другой добавил: «Ерин перешел на сторону народа. Милиция с нами!»

Руцкой, Хасбулатов и парламентские лидеры появились на балконе Белого дома, выходившего на площадь. Перед ними расстилалось море красных флагов и раздавались крики «Ура!» и «Революция!». Это красочное зрелище привело многих депутатов к утрате чувства реальности. После тринадцати дней осады, когда они сидели без света и воды, отрезанные от мира, теперь им казалось, что они видят не толпу коммунистов, а стихийное и успешное народное восстание.

Руцкой, под защитой двух охранников, державших перед ним бронещиты, обратился к людям на площади: «Мы победили. Теперь нам нужно сформировать колонны и захватить мэрию, а затем Останкино». Он призвал мужчин призывного возраста образовывать отряды и спустился вниз проинспектировать их. В это же время большой отряд фашистской группировки Русское Национальное Единство во главе с Александром Баркашовым уже направлялся к мэрии.

Толпа атаковала мэрию с двух направлений. Самая большая группа сосредоточилась перед главным входом. Два грузовика, захваченные демонстрантами ранее, протаранили окна. Меньшая группа, возглавляемая баркашовцами, зашла с обратной стороны здания, разбила окна из зеркального стекла и про-

рвалась внутрь через поврежденные жалюзи. К этому времени милиция уже убежала, оставив автобусы и грузовики, из них некоторые – тоже с ключами в замках зажигания. Боевики завели их и двинулись на Останкино.

За какие-то два часа Москва изменилась. Милиция исчезла, а автобусы и грузовики с автоматическим оружием и советскими красными флагами, торчащими из окон, ехали к Останкинскому телецентру, не встречая никакого сопротивления. Одновременно в том же направлении двинулись тысячи людей, выкрикивая «Долой предателя Ельцина!» и «Бей жидов!». Первые грузовики с демонстрантами прибыли в Останкино в 17:30. Там все увидели, что, несмотря на захват мэрии, телецентр практически не охраняется. Дорогу не перекрыли, и транспорт двигался по улице Королева в обоих направлениях между двумя зданиями телецентра, будто ничего не случилось.

Начали прибывать и протестующие, которые шли в Останкино пешком, и в 19 часов на площади у телецентра собралось почти 4 тысячи человек, в том числе около пятидесяти – с автоматами. Кто-то стал сооружать баррикады из досок и стройматериалов, а демонстранты построились в колонны. Молодые люди просили пустые бутылки и «коктейли Молотова». Демонстрантам казалось, что сейчас они повторят свой успех с захватом мэрии.

С грохотом военные грузовики начали таранить огромные окна первого этажа телецентра. Вперед выдвинулся молодой человек с гранатометом на плече, который он, похоже, впервые держал в руках. После пятиминутной паузы гранатомет выстрелил, и граната выбила дверь. Протестующие приготовились к захвату телецентра и началу вещания на всю страну.

Однако в этот момент изнутри здания по демонстрантам открыли огонь десятки пулеметов. Площадь наполнилась воплями и криками, а кинжальный огонь не утихал, пока оранжевые трассирующие пули не слились в сплошной огненный шквал.

Большинство вооруженных демонстрантов, в том числе баркашовские фашисты, оказались под защитой навеса на входе в телецентр, но почти все остальные не были защищены ничем, и территория быстро покрылась телами убитых и раненых.

Раненые лежали в лужах крови и кричали «Не стреляйте!», «Пожалуйста, помогите!». А их тела продолжали прошивать пули. Солдаты, расположившись за бетонными стенами затемненного здания, стреляли в каждого, кто поднимал голову. Они застрелили велосипедиста, случайно заехавшего на поле боя, и изрешетили уличную моечную машину, из которой полились потоки воды. Повсюду лежали изувеченные тела и оторванные конечности.

Для эвакуации раненых на площадь стали заезжать грузовики. Корреспондент «Радио “Свобода”» Андрей Бабицкий оставил свое убежище в подземном переходе, чтобы перенести на своей спине пятидесятилетнего мужчину, который не мог идти самостоятельно.

«Куда вас ранили?»

«Куда-то в плечи и в зад».

Вдруг Андрей почувствовал, как в спину мужчины что-то дважды глухо ударило, и тот замолчал. Через несколько секунд, затаскивая мужчину в кабину грузовика, Бабицкий увидел, что у него рубашка на спине пропиталась кровью, и понял, что мужчину застрелили насмерть.

Один из депутатов, Игорь Муравьев, полз к грузовику почти 15 метров, а когда стал подниматься, пули ударили по асфальту, выбив под его грудью красные искры.

Толпа бросилась бежать по улице Королева, пытаясь укрыться в парке. БТРы ездили по улице, стреляя наугад и целясь все ниже, чтобы окончательно разогнать демонстрантов. Однако многие из них не хотели убегать, а прятались за деревьями или камнями и надеялтс на помощь воинских частей, которые – как они верили – встанут на их защиту.

Раздавались призывы идти к Белому дому за оружием, но к девяти вечера, когда трассирующие пули еще светились в небе и еще были слышны крики и стоны, стало уже понятно, что битва за Останкино проиграна.

Между тем четыре телеканала были отключены от эфира, работало только Российское ТВ, вещавшее из резервной студии. Оно объявило, что Останкино захватила вооруженная толпа. В 20:45 по телевидению выступил Гайдар. Он призвал москвичей выйти на улицу и продемонстрировать свою поддержку президенту. За несколько часов перед зданием Моссовета собралось более десяти тысяч человек.

Ельцин тоже сделал заявление, назвав уличные бои «преднамеренными действиями, заранее спланированными бывшими парламентариями». Он объявил чрезвычайное положение, а на заседании в Министерстве обороны командующие военных округов заявили о своей поддержке Ельцина.

В 21 час чувство радости в Белом доме сменилось потрясением, когда депутаты начали возвращаться из Останкино. Илья Константинов сказал остальным депутатам: «Это кровавая каша». Олег Плотников, депутат умеренной фракции «Смена», добавил: «Я никогда в жизни не видел столько трупов».

В буфете на третьем этаже воцарилась жуткая тишина: депутаты начали осознавать, что было ошибкой отправлять толпу на штурм мэрии и пытаться захватить Останкино. Кто-то стал рассуждать, на чьей стороне будет армия, и большинство депутатов согласились, что военные всегда будут на стороне сильного.

В полночь, когда опасения неизбежного штурма здания проельцинскими армейскими подразделениями становились все сильнее, внутри Белого дома запретили любое движение. В 3 часа ночи распространились слухи, что Белый дом собираются заблокировать танками и БТРами. Слухи оказались ложными, но корреспонденты государственных информационных агентств получили указание покинуть здание.

Между тем, примерно в 4 часа, Ельцин поехал в Министерство обороны и, ссылаясь на побоище у Останкинского телецентра, принялся убеждать министра обороны Павла Грачева отдать приказ о штурме парламента.

В 6:55 журналисты в буфете шестого этажа вдруг проснулись от звука интенсивной пулеметной стрельбы и увидели, что Белый дом атакуют.

Следующие одиннадцать часов армейские подразделения атаковали Белый дом, применяя танки и автоматическое оружие, и в конце концов решили исход борьбы за власть в пользу Ельцина – ценой почти в 150 человеческих жизней.

После октябрьских событий в России произошли глубокие изменения в умонастроениях. Несмотря на то, что сначала опросы общественного мнения свидетельствовали о поддержке штурма российского парламента, после непрерывного воспроизведения российским телевидением кадров самого штурма многие начали задумываться, почему семь лет демократических реформ увенчались борьбой за власть между бывшими союзниками и массовым побоищем в центре Москвы.

В течение нескольких недель после этого противостояния участвовавших в нем солдат, для обеспечения их безопасности, переводили в Таманскую и Кантемировскую дивизии под Москвой. В то же время имели место выявления общественной поддержки ранее маргинальным политическим фигурам. В конце октября глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов появился в телепрограмме «Общественное мнение» вместе с другими политическими деятелями, в том числе Гайдаром. После дискуссии зрителей попросили позвонить в студию и оценить выступления участников. Благодаря убедительной позиции Зюганова, рейтинг которого никогда ранее не превышал 4–5 процентов, за него проголосовало на этот раз 36 процентов зрителей, что поставило его на второе место после Гайдара.

Правительство отказалось назвать количество людей, убитых во время штурма Белого дома, поэтому стала фигурировать неофициальная цифра – 1500 погибших. Газета «Комсомольская правда» 4 ноября писала: «Через месяц после московской трагедии мы не знаем ни числа погибших, ни их имен. Без этой правды... жить можно, но трудно чувствовать себя человеком».

Между тем, другие газеты начали развивать теорию сознательной провокации. Как, спрашивалось там, удалось демонстрантам-коммунистам прорваться через милицейские кордоны и захватить мэрию, а затем беспрепятственно в течение двух часов идти к Останкинскому телецентру и не быть остановленными ни солдатами, ни милицией? И если милиция оставляла свои посты в панике, а не по плану, то почему министру внутренних дел Виктору Ерину после этих событий было присвоено звание Героя России за подавление путча?

По всей Москве стали появляться надписи на стенах, называвшие Ельцина убийцей, как и другие признаки того, что, применив в борьбе с коммунизмом коммунистические методы, президент утратил свой моральный авторитет.

12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

На улице Герцена, 44, в избирательном штабе «Выбора России», проельцинского политического блока, возглавляемого Гайдаром, молодые люди внимательно смотрели на дисплей компьютера и складывали в пачки листы бумаги, вылетающие из скоростного принтера. В подвальном помещении накрывались столы для торжественного банкета.

Владимир Боксер, руководитель предвыборной кампании блока в Москве, был в курсе того, что Жириновский активно набирает голоса во многих регионах. Но когда начали поступать звонки от местных штабов и наблюдателей на участках, Боксер уверился, что «Выбор России» одержит убедительную победу.

Первыми позвонили наблюдатели. Как и ожидалось, наличествовали некоторые жалобы на нарушения в ходе голосования. В 18 часов Боксер получил первые результаты от особых избирательных участков – больниц, торговых морских судов, геологических экспедиций и воинских частей. Там избиратели голосовали с утра и все одновременно, поэтому сведения от них поступали раньше остальных.

Записав результаты, Боксер увидел несколько тревожную картину. На многих участках, особенно в воинских частях, Жириновский получил лучшие результаты, чем ожидалось. Впрочем, несколько успокаивало, что в московских больницах проельцинский блок лидировал со значительным отрывом. Как правило, в Москве результаты голосования в больницах почти не отличались от общегородских.

В 20 часов избирательный штаб заполнили российские и иностранные журналисты и многочисленные знаменитости из политического и художественного мира. Было подано красное вино, некоторые из самых известных гостей давали интервью перед камерами. В то же время группа людей собралась перед телевизором, показывавшем, как телеведущая Тамара Максимова, вся в белом, открывала торжественный прием в Кремлевском дворце съездов, заранее названный «праздником демократии» и посвященный объявлению результатов первых за 76 лет многопартийных выборов в России.

В 20:30 штаб «Выбора России» получил первые значимые результаты с Дальнего Востока. Члены штаба были потрясены, увидев, что голосование на Камчатке и Сахалине принесло целый ряд решительных побед Жириновскому. В течение следующего часа звонки с Дальнего Востока продолжали поступать, и преимущество Жириновского только увеличивалась, пока не стало ясно, что по количеству полученных голосов Либерально-демократическая партия почти вдвое опережает «Выбор России».

Многие гости перешли на цокольный этаж для участия в банкете, но Боксер оставался у телефонов, надеясь, что из Сибири

поступят лучшие новости. Но к 23-м часам стало понятно, что партия Жириновского лидирует и в Сибири.

В полночь сотрудники штаба получили результат из Александрова Владимирской области – первого из округов, близких к Москве. Там партия Жириновского получила 40 процентов голосов, а «Выбор России» – всего 16. Эта новость вызвала волну паники. И уже было очевидным, что первые результаты не были случайностью. Жириновский побеждал по всей стране.

Теперь ожидали результатов от Поволжья и Урала – в надежде, что они компенсируют победу Жириновского в Сибири.

Наблюдая за приемом в Кремле, сотрудники штаба отметили, что Жириновский и его окружение находятся в приподнятом настроении, прогуливаются по залу и похлопывают людей по спине. Боксер с удивлением увидел, что многие представители либеральной интеллигенции выстроились в очередь, чтобы пожать руку Жириновскому. Максимова, которой трудно было сохранять улыбку, сказала аудитории: «Не думайте только о политике. Мы должны веселиться». Однако в этот момент литературный критик и сторонник Ельцина Юрий Карякин, который давал интервью перед камерой, воскликнул: «Россия! Одумайся, ты – одурела».

В конце концов Боксер оставил место у телефонов и присоединился к остальным в цокольном помещении, где почти все уже некоторое время напивались до беспамятства. После часа ночи прибыл Гайдар, и Боксер увидел, что он бледен и явно подавлен. «Ну Володя, – сказал Гайдар, – как думаешь – мы все потеряли?»

«Не знаю, – ответил Боксер. – В Москве мы явно побеждаем. Если удастся собрать достаточно голосов в остальной стране, может быть, избежим катастрофы».

Сотрудники штаба стояли тесными группами и приглушенными голосами обсуждали то, что теперь выглядело неоспоримой победой Жириновского. Никто не знал точно, что это будет

означать, но многие стали сравнивать эти результаты с победой Гитлера на выборах в Рейхстаг в 1932 году.

Мрачное настроение усиливалось, и люди из банкетного зала стали понемногу расходиться, пока в три часа ночи в помещении не осталось человек двадцать пять. Маленькая группка, в том числе Головков, пела революционные песни – как быстро выяснилось, это были единственные песни, известные им всем.

Они пели песню Гражданской войны с рефреном «…я честно погиб за рабочих», пели песню из фильма «Чапаев», где командир Красной Армии Чапаев, умирая, смотрит на кружащее в небе воронье, и поет: «…черный ворон, что ж ты вьешься надо мной, ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой…»

И, наконец, расстроенные реформаторы запели: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон, но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!»

Послесловие

ФЕВРАЛЬ 1993 ГОДА

Падал легкий снег, и Москва казалась потерянной в этой белизне – белизне бесцветного расплывчатого неба, тумана, застилавшего улицы и дома, и накрывшего город снега. В этой полярной вьюге люди с авоськами и мешками едва прокладывали себе путь, протаптывая тропы в неубранном снегу. Ветви деревьев гнулись от налипшего снега, а стеклянные витрины кафе были разрисованы морозными химерными узорами. Автобусы, трясясь, выписывали сложные фигуры на дорогах, а в десятках окон вычурного небоскреба отражался оранжевый диск северного солнца.

Тем утром у меня не было неотложных дел в центре Москвы, но поскольку истекал срок действия паспорта, я решил пойти в посольство США и продлить его. Я доехал на метро от «Коломенской» до «Маяковской» и, выйдя на поверхность, направился пешком по Садовому кольцу к старому зданию на улице Чайковского.

Времена, конечно, изменились. Россияне уже не спешили пробежать мимо посольства США, глядя прямо перед собой, чтобы не привлечь внимания КГБ. Теперь у посольства стояла длинная очередь желающих получить визу.

Я вынул свой паспорт и показал его одетому в серое охраннику. На мгновение возникла заминка. Что-то знакомое было в этом крепко сбитом усатом мужчине. Откуда я мог его знать?

«Мистер Саттер, – сказал охранник, даже не взглянув на мой паспорт, – сколько лет, сколько зим! Знаете, мы все получали массу удовольствия от ваших репортажей».

Я вдруг вспомнил, где его видел. Это было в начале 1980-х годов. Толпа иностранцев наблюдала, как этот мой собеседник и еще двое охранников тащили по улице советского гражданина в пункт обогрева на углу. Гражданин пытался забежать в посольство. Он кричал: «Я хочу свободы!», но вместо свободы его ждали побои и «лечение» в психиатрической больнице.

«Вы наслаждались моими репортажами?» – спросил я.

«Конечно, – сказал охранник, все еще улыбаясь, словно опыт общения с диссидентами нас сдружил. – Я помню, что вы первым сообщили о том инциденте с бактериологическим оружием в Свердловске*. А где вы, кстати, были?»

Я объяснил, что был в Америке и Франции, а теперь приехал в Москву на неопределенное время.

«Теперь здесь множество американцев», – сказал он.

«Да, теперь наступила новая эпоха».

«Что ж, – сказал он с широкой улыбкой, – хорошо, что вы вернулись».

Человеческий разум – удивительная вещь. Как трудно его полностью закабалить, и все же с какой готовностью мы калечим самих себя, когда того требует общество! Этот охранник вряд ли был единственным советским гражданином, который годами жил двойной жизнью, одной частью своего сознания разделяя менталитет режима, а другой нормально воспринимая действительность вместе с остальными людьми. Лишь под влиянием потока свободной информации, появившейся из-за политики гласности, он и другие советские граждане начали отбрасывать

* В апреле 1979 года из-за взрыва на секретном заводе бактериологического оружия в Свердловске произошел выброс в атмосферу бактерий сибирской язвы, повлекший за большое количество смертей. В марте 1980-го я написал статью об этом инциденте для газеты *Financial Times,* основываясь на информации из неофициальных источников, которая позже оказалась абсолютно точной.

свои идеологические клише, и именно этот процесс – и более, нежели любой другой, – привел к краху Советского Союза.

В течение тех долгих лет, когда СССР угрожал всему миру, как-то не принималось во внимание, что сила этой страны зависела не от традиций, не от консенсуса, не от конструктивной правовой системы, а от правдоподобия идеи, способной расколоть сознание советских граждан и сделать политическую лояльность вопросом почти религиозной веры.

В советских условиях было не важно, что люди скептически относятся к этой идеологии или принимают ее лишь частично. Важно было то, что эта идеология определяла интеллектуальные категории для большинства населения и таким образом заставляла огромную нацию искать моральные абсолюты в требованиях государства.

Своим могуществом эта идеология обязана тому, что предлагала альтернативу агностицизму модернизма XX века.

В ситуации, когда наука подрывала доверие к богооткровенной религии, марксизм-ленинизм предлагал простую и последовательную картину реальности, которая была проще самой реальности, и стоило только гражданину усвоить основные принципы, ему уже никогда не приходилось ни в чем сомневаться. В то же время опровергнуть эту идеологию было очень трудно. Факты здесь не помогали, так как с помощью диалектической аргументации любое явление, якобы противоречащее идеологии, можно было толковать как находящееся в процессе превращения в свою противоположность.

А еще важнее, пожалуй, было то, что эта идеология порождала ощущение какой-то цели. Считалось, что советские граждане участвуют в большом историческом проекте – строительстве коммунизма, и эта иллюзия давала смысл их жизни – часто мрачной и бессмысленной.

Политическая стабильность Советского Союза зависела от трех факторов: отсутствия серьезных национальных конфликтов, пассивности рабочего класса и солидарности правящей элиты. Все эти условия гарантировались идеологией, и все они были уничтожены гласностью.

В течение многих лет главной основой идеологии было то, что социализм является логической кульминацией национальной истории и традиций каждого из народов, живущих на территории СССР. Однако с началом гласности поддерживать это утверждение далее стало невозможно. Утверждение о добровольном присоединении к СССР республик Прибалтики не соответствовало статьям секретных протоколов Пакта Молотова–Риббентропа, а представление о Советском Союзе как содружестве равных государств было бессмысленным на фоне искусственных голодоморов в Украине, унесших миллионы жизней.

Новая информация вдохновила национальные движения. Местные власти реагировали созданием народных фронтов в поддержку перестройки, но после краха коммунистической идеологии возник психологический вакуум, который мог заполнить только национализм, и первых прокоммунистических лидеров заменили люди, отстаивавшие не советские, а национальные интересы. Советская идеология прививала также идею, что трудящиеся в социалистическом лагере были в большей безопасности и жили лучше, чем их коллеги на Западе. Однако жуткий контраст между верой трудящихся в справедливость их общественного строя и их реальными условиями жизни не выдержал испытания гласностью. Рабочие смотрели фильмы, где видели супермаркеты в США, и понимали, что это тот самый достаток, который якобы должен был обеспечить коммунизм в Советском Союзе.

После начала забастовки шахтеров в западносибирском городе Междуреченске 10 июля 1989 года это забастовочное движение распространилось на все угледобывающие области стра-

ны, и стихийность и единодушие этой забастовки засвидетельствовали потери советской идеологией своей силы.

Сила идеологии до 1985 года гарантировала и единство партии. Однако попытки Горбачева использовать гласность для мобилизации населения против его консервативных оппонентов позволили реформаторам партии, которые раньше не могли защитить свои независимые позиции, искать помощи в высших государственных и партийных кругах. Результатом стал постоянно углубляющийся раскол между консерваторами и реформаторами на каждом уровне власти. В итоге идеология, которая по замыслу должна была руководить каждым аспектом жизни общества, вскоре не смогла уже управлять даже Коммунистической партией.

Когда Горбачев стал реформировать Советский Союз, у него за плечами был многолетний опыт работы в партийном аппарате, и идеологию он рассматривал как один из методов манипуляции и потому не осознавал, что для большинства советских граждан эта идеология является предметом веры. Именно поэтому он так легкомысленно повел себя с основополагающими убеждениями советских граждан.

Однако теократическую систему непросто реконструировать, лишь изменив доктрину. Пытаясь сохранить структуру общества и государства без прежней идеологии, Горбачев начал процесс, который мог завершиться либо сворачиванием реформ, либо крахом СССР, потому что, как только люди прекращают верить в тоталитарную идеологию, они теряют желание жить при тоталитарных институтах.

Маркс считал, что бытие определяет сознание, но нигде не было так очевидно, как в Советском Союзе, первом марксистском государстве, что именно сознание определяет бытие. В СССР людям прививали ложное сознание, и с помощью него их же закабалили.

В этих условиях гласность могла только уничтожить советскую систему. Не потому, что любое отдельное разоблачение оказывалось критическим для режима, а скорее потому, что сама идея правдивой информации могла только разрушать систему коллективного заблуждения, когда режим считался верховным арбитром истины, а советская система – осуществлением исторической судьбы человечества, участие в которой было привилегией каждого советского гражданина.

Создавая Советский Союз, большевики поддались на все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне. Но преданность советского народа они получили, скрыв тот факт, что сделали это в интересах дьявола. Советский Союз рухнул потому что, когда долго обманываемый советский народ благодаря гласности понял, кому он действительно служил, то сбросил это ментальное иго, связывавшее его с системой зла, и начал искать других богов.

Спустя несколько недель после того эпизода у американского посольства я наблюдал, как небольшая толпа собралась вокруг отца Димитрия Дудко во дворе церкви Николая Чудотворца в Черкизово, в ста километрах от Москвы.

В 1980 году отца Димитрия из-за его откровенных проповедей арестовали по обвинению в антисоветской агитации, и вскоре он ошеломил московскую интеллигенцию, выступив по телевидению с заявлением о своем отречении от антисоветской деятельности. Выйдя из Лефортовской тюрьмы, он уединился и избегал контактов со своими «духовными детьми». В конце концов его назначили на служение в отдаленном приходе, и он, как и многие из его прихожан, начал искать какой-то новый путь.

«Скажите, батюшка, – спрашивала сгорбленная старушка, – как нам нужно относиться к колдуньям и знахарям?»

«Черная магия и сатанизм, – отвечал отец Димитрий, – хуже любого большевизма. Они могут помогать телу, но убивают душу».

Другая женщина спросила его, почему так много алкоголиков.

«Пьянство – признак отсутствия у нас веры в Бога. Оно отвлекает нас от жестокой реальности, однако единственный путь справиться с трагедией – путь к Богу. Потому что все, чего мы не получаем в этой жизни, получим в жизни вечной».

На вопрос, что такое смерть, он ответил: «Смерть – не конец человеческого существования, а лишь переход из этого полного скорби мира в мир иной, где не будет тягот, печали и забот».

Отец Димитрий выглядел уставшим. Он уже давно разговаривал с людьми, которые пришли к нему за наставлениями. Один верующий сказал, что лечит людей заговорами.

«Как вы это делаете?» – спросил отец Димитрий.

«Сначала я читаю слова православной молитвы, а затем добавляю свои собственные заклинания».

«Вы должны отказаться от заклинаний».

«Но это сведет заговоры на нет».

«Тогда надо прекратить заниматься исцелением».

«А как нам относиться к коммунистам, которые признают религию?» – поинтересовался еще один верующий.

«Среди коммунистов есть много порядочных людей, – ответил отец Димитрий. – Коммунизм не укоренился в их душах. Люди говорят, что они верили в марксизм-ленинизм, но материализм их не удовлетворял».

Группа прошла за отцом Димитрием в его комнату в домике возле церкви. Сеанс вопросов и ответов продолжался до позднего вечера. На дворе полумесяц сиял над снегами, в печке огонь лизал дрова, а эта группа людей, переживших СССР, смотрела в неопределенное будущее со смущением и надеждой.

Благодарности

Россия неохотно позирует для своего портрета и никогда не демонстрировала этого лучше, чем в те годы, когда я работал над этой книгой.

Я начал собирать информацию в 1979 году, работая в Москве для лондонской газеты *Financial Times,* в условиях государственно-милицейского террора. Старался добавлять новую информацию во время революционных изменений в Советском Союзе, а завершил книгу уже после того, как СССР прекратил свое существование. Учитывая эти обстоятельства, книгу было бы невозможно написать без помощи многих людей и организаций.

Первым следует упомянуть Дж. Д. Ф. Джонса – бывшего главного редактора *Financial Times.* Это он предложил мне стать московским корреспондентом своей газеты, когда я работал в Чикаго репортером, объезжая город вместе с ночным полицейским патрулем. Я признателен ему не только за это, но и за те усилия, которые он приложил, чтобы создать интеллигентную и культурную атмосферу в редакции газеты, а также за организацию помощи со стороны редакции и МИД Великобритании, когда советские власти пытались выдворить меня из страны в 1979 году. Тогда на мою защиту решительно встал также Госдепартамент США.

В Москве 1979–1982 годов собирать информацию и защищать моих советских информаторов мне помогала группа людей, из которых многие теперь мои коллеги. Мэри Броксап, британский советолог и моя помощница в 1978–1979 годах, посоветовала мне написать книгу о сюрреалистической жизни в СССР. Дебора Сюард, теперь работающая в *Associated Press,* была моей незаменимой помощницей в 1980–1982 годах – записывала свидетельства, систематизировала материалы и координировала мои передвижения, всегда стараясь свести к минимуму наши риски столкновения с КГБ. Ей, в свою очередь, помогали Мари Йованович, Люсия Перес-Морено и Джейн Темпест.

В сохранении материалов этого проекта мне помогала также группа верных друзей, в том числе Сигридур Сневарр и Петрина Бахманн из посольства Исландии, Женевьева Мейясу из французского посольства, Моррис Джекобс из посольства США, а в самих США – Строб Талбот.

Я получал помощь и от многих советских друзей. Феликс Серебров, Вячеслав Лучков, Инна Мак-Клеллан, Аркадий Шапиро – все они старались найти людей с интересным для меня жизненным опытом. За несколько месяцев до своего ареста в январе 1981 года Серебров, член Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, познакомил меня с Алексеем Никитиным, Анатолием Корягиным, Александром Шатравкой и Адольфом Мюльбергом. Все они занимают заметное место на страницах этой книги.

Хочу поблагодарить также Роя Медведева, историка-марксиста, который, несмотря на наши разногласия, уделил немало своего времени, чтобы разъяснить мне особенности советской системы, и великодушно обеспечивал меня плодами своих важных исследований.

После отъезда из Москвы я получил несколько грантов, которые сыграли решающую роль в покрытии моих расходов. В 1984 году я получил стипендию Мемориального фонда Симона Гугенхайма, а затем гранты от Фонда Линды и Гарри Брэдли, Фонда Смита Ричардсона, Фонда Эрхарт и Американского института мира. Завершить эту книгу было бы невозможно без этой своевременной и щедрой помощи.

Я также провел в ноябре 1986 года месяц в качестве временного стипендиата в Институте перспективных исследований России им. Кеннана в Вашингтоне.

В своих исследованиях за пределами Советского Союза я мог пользоваться ресурсами «Радио “Свобода”» в Мюнхене, в частности его архивом самиздата – богатым источником сведений о жизни в СССР. Я благодарен за помощь Питеру Дорнану, Марио Корти и Сюзанне Франк из отдела самиздата и Иванке Ребет, библиотекарю «Радио “Свобода”».

За годы работы над этой книгой я получал необходимую помощь от редакции журнала *Reader's Digest* и от Института внешнеполитических исследований в Филадельфии.

Начиная с 1986 года редакторы *Digest* настаивали, чтобы Государственный департамент США запретил советским журналистам въезд в США в ответ на действовавший тогда в отношении меня запрет въезда в СССР. Благодаря этому я получил визу и побывал в Советском Союзе в 1986 и 1988 годах, хотя фактически оставался персоной нон грата. В 1990 году *Digest* пригрозил отменить планы русскоязычного издания журнала, если мне не будет разрешено въехать в СССР, и этот ультиматум, подкрепленный сильным давлением со стороны Госдепартамента, сработал: мне выдали многоразовую визу.

Digest не только защищал меня, но и давал работу. В 1990, 1991 и 1992 годах он постоянно заказывал мне статьи об СССР, и эти задания и командировки позволили мне расширить книгу, собрав информацию о перестройке и постперестроечном времени. Я особенно признателен бывшему редактору Кену Гилмору, редактору Кену Томлинсону, шефу вашингтонского бюро Биллу Шульцу, исполнительному редактору Крису Уилкоксу и бывшему редактору международного отдела Дж. Д. Паница за их содействие и помощь.

В 1990–1991 годах я работал в Институте внешнеполитических исследований как стипендиат Фонда Торнтона Д. Хупера. Тот год и следующий я жил в Вашингтоне, но часть недели работал в Филадельфии. За сотрудничество и поддержку со стороны этого института хочу поблагодарить его бывшего директора Дэниэла Пайпса и заместителя директора Алана Люксембурга. Благодарю также за помощь и дружбу сотрудников института Росса Мунро, Адама Гарфинкла, Джудит Шапиро и особенно Кристен Купер, мою ассистентку, которая много часов отпечатывала и систематизировала мои записи.

В 1992-м я поехал на год в Москву. Там я получил щедрую помощь от российского ученого Ольги Принцевой, с которой

познакомился за год до этого. В июле 1993-го я вернулся в США вместе с Ольгой, и в следующем году мы поженились.

В январе 1993 года я на короткое время вернулся в США и вновь встретился с Дэвидом Эдвардсом, моим другом еще с тех времен, когда я был студентом магистратуры в Оксфордском университете. На тот момент мои финансовые ресурсы были почти исчерпаны, и Дэвид нашел для меня выгодную работу, позволившую завершить книгу. Поэтому я перед ним в неоплатном долгу.

На последних этапах работы над книгой мне помогли своими замечаниями и предложениями друзья и коллеги, которые прочитали рукопись полностью или частично. Моя благодарность Владимиру Войновичу, Джону Ллойду, Нэнси Липпинкот, Михаилу Михайлову, Маршалу Бременту и Шарлотте Баллард.

Но наибольшую пользу мне принесли терпение, солидарность и консультации моего редактора Эшбела Грина и издательства «Альфред А. Кнопф».

Хочу поблагодарить Александра Шатравку за разрешение использовать материал из его неопубликованной рукописи «Записки из чрева людоеда», которая затем была переписана и переименована в «На пути в Америку».

Также хочу выразить признательность Мари-Элен Гугенхайм за ее помощь в первые годы работы над этим проектом, а еще – моим старшим детям Рафаэлю и Клэр за их искреннюю готовность принять те ограничения, которые работа над книгой накладывала на всю нашу жизнь. Моя благодарность Гершону Брауну, Майклу Зейдману, Эндрю и Кристине Нагорски и Кэрол Брикки за их дружбу и солидарность, а также всем остальным людям, названным и не названным на этих страницах, которые верили в меня на протяжении всех тех лет, затраченных на написание этой книги.

Я также хочу поблагодарить Елену Постникову, которая прочитав русское издание этой книги, вышедшей в 2005 году, сообщила о необходимости нового перевода.

Об авторе

Дэвид Сэттер родился в Чикаго в 1947 году. Окончил Чикагский и Оксфордский университеты. Он начал свою карьеру в 1972 году в качестве репортера отдела криминальной хроники *Chicago Tribune*. В 1976 году он стал московским корреспондентом *Financial Times*. Он работал в Москве на протяжении шести лет и стал известен благодаря глубокому знанию советской тоталитарной системы. Затем он стал специальным корреспондентом по советским делам *The Wall Street Journal,* часто внося свой вклад в редакционную страницу газеты.

Дэвид Саттер сегодня является одним из мировых ведущих экспертов по России и бывшему Советскому Союзу. Помимо книги «Век безумия» (*Age of Delirium*), документальный фильм по которой был отмечен премией, автор написал еще три книги о России: *Darkness at Dawn: the Rise of the Russian Criminal State* (2003), *It Was a Long Time Ago and It Never Happened Anyway: Russia and the Communist Past* (2011) и *The Less You Know, the Better You Sleep: Russia's Road to Terror and Dictatorship under Yeltsin and Putin* (2016). Последняя вышла также в украинском переводе «Менше знаєш, краще спиш: шлях Росії до терору та диктатури за Єльцина і Путіна» (Дух і Літера, 2016).

В мае 2013 года Дэвид Саттер стал советником русской службы «Радио "Свобода"», а в сентябре 2013 года он стал аккредитованным корреспондентом «Радио "Свобода"» в Москве. Три месяца спустя он был выслан из России и стал первым высланным корреспондентом из США со времен холодной войны.

В настоящее время Дэвид Саттер является сотрудником Института внешней политики Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS) и старшим научным сотрудником Института Хадсона в Вашингтоне, округ Колумбия.

З питань замовлення та придбання книг
просимо звертатися:

Видавництво «ДУХ І ЛІТЕРА»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Волоська, 8/5, корпус 5, оф. 210, Київ, 04070, Україна

Телефони: +38 (044) 425-60-20
+38 **(050) 425-60-20** (Vodafone)
+38 **(073) 425-60-20** (Lifecell)

E-mail: **duh-i-litera@ukr.net** – відділ продажу
litera@ukma.kiev.ua – видавництво

Сайт та інтернет-книгарня: **www.duh-i-litera.com**

Надаємо послуги «Книга-поштою»

Друк та палітурні роботи:

МАЙСТЕР КНИГ

м. Київ, вул. Виборзька, 84,
тел. (044) 458 0935
e-mail: info@masterknyg.com.ua
www.masterknyg.com.ua
Свідоцтво про реєстрацію ДК № 3861 від 18.08.2010 р.